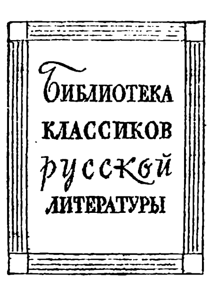
И. А. ГОНЧАРОВ

3

И. Гончаров


Библиотека
классиков
русской
литературы

И. А. ГОНЧАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Москва

И. А. ГОНЧАРОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 3

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

Очерки путешествия в двух томах

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1959

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

ТОМ ВТОРОЙ

I

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

В конце 1853 и в начале 1854 годов

Вход на Нагасакский рейд.— Первые визиты японцев.— Вид рейда и города.— Батареи; деревни.—Переводчики и баниосы.—Караульные лодки и гребцы.— Передача письма к губернатору.— Ежедневные сношения с японцами.— Доставка провизии. — Визит голландцев из фактории. — Буря.— Новый переводчик. — Переговоры о церемониале свидания адмирала с нагасакским губернатором. — Губернаторские секретари. — Торжественный поезд в Нагасаки. — Пристань и носилки.— Японские солдаты.— Улица и домы. — Свидание с губернатором.— Передача письма от русского правительства к японскому.— Японское угощение. — Ожидание ответа из Едо. — Другой губернатор. — Еще переводчик. — Годовщина похода. — Спектакль на корвете «Оливуца». — Смерть сиогуна. — Гроза. — Ответ из Едо. — Катанье на шлюпках. — Паппенберг. — Крысий остров. — Подарки. — Важное известие из Едо. — Отъезд.

Нагасакский рейд. С 10 августа 1853 года.

От островов Бонин-Сима до Японии — не путешествие, а прогулка, особенно в августе: это лучшее время года в тех местах. Небо и море спорят друг с другом, кто лучше, кто тише, кто синее, словом, кто более понравится путешественнику. Мы в пять дней прошли 850 миль. Наше судно, как старшее, давало сигналы другим трем и одно из них вело на буксире. Таща его на двух канатах, мы могли видеться с бывшими там товарищами; иногда перемолвим и слово, написанное на большой доске складными буквами.

9-го августа, при той же ясной, но, к сожалению, чересчур жаркой погоде, завидели мы тридесятое государство. Это были еще самые южные острова, крайние пределы, только

островки и скалы японского архипелага, носившие европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, далее Якуносима, Номосима, Ивосима, потом пошли *саки*: Тагасаки, Коссаки, Нагасаки. *Сима* значит остров, *саки* — мыс, или наоборот, не помню.

Вот достигается, наконец, цель десятимесячного плавания, трудов. Вот этот запертой ларец, с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить и золотом, и оружием, и хитрой политикой на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее, и внутренние, произвольные законы своего муравейника противоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде.

«Долго ли так будет?» — говорили мы, лаская рукой шестидесятифунтовые бомбовые орудия. Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства: ведь в географии и статистике мест с оседлым населением земного шара почти только один пробел и остается — Япония. Странная, занимательная пока своею неизвестностью земля растянулась от 32 до 40 с лишком градусов широты, следовательно с одной стороны южнее Мадеры. В ней господствует зной и морозы, растут пальма и сосна, персик и клюква. Там есть горы, равные нашим высочайшим горам, горящие пики, и в горах — мы знаем уже — родится лучшая медь в свете, но не знаем еще, нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и, наконец, что дороже золота, лучшего каменного угля, этого самого дорогого минерала XIX столетия.

Мы завидели мыс Номо, обозначающий вход на Нагасакский рейд. Все собрались на юте, любуясь на зеленые, ярко обливаемые солнцем берега. Но здесь нас не встретили уже за несколько миль лодки с фруктами, раковинами, обезьянами и попугаями, как на Яве и в Сингапуре, и особенно с предложением *перевезти на берег*: напротив!

Мы входили немного с стесненным сердцем, по крайней мере я, с тяжелым чувством, с каким входят в тюрьму, хотя бы эта тюрьма была обсажена деревьями.

Но это что несется мимо нас по воде: какая-то маленькая, разукрашенная разноцветными флюгарками шлюпка-игрушка? «Это у них религиозный обряд»,— сказал один из нас. «Нет,— перебил другой,— это просто суеверный обычай».— «Гаданье,— заметил третий,— видите, видите, еще такая же плывет? — это гаданье; они пробуют счастья».— «Нет, позвольте,— заговорил кто-то,— у Кемпфера говорится...» — «Просто игрушки: мальчишки пустили»,— проворчал сквозь

зубы дед. И чуть ли это мнение было не справедливее всех ученых замечаний. Но здесь всякая мелочь казалась знаменательною особенностью.

Вдруг появилась лодка, только уж не игрушка, и в ней трое или четверо японцев, два одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой, тоненькой повязкой кругом головы, чтоб волосы не трепались, да такой же повязкой около поясницы — вот и все. Впрочем, наши еще утром видели японцев.

Я только что проснулся, Фаддеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу. «Что ж это за люди?» — спросил я. «Японец, должно быть»,— отвечал он. Японцы остановились саженях в трех от фрегата и что-то говорили нам, но ближе подъехать не решались; они пятились от высунувшихся из полупортиков пушек. Мы махали им руками и платками, чтоб они вошли.

Наконец они решились, и мы толпой окружили их: это первые наши гости в Японии. Они с боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, приседали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно: на них была синяя верхняя кофта с широкими рукавами и халат, туго обтянутый вокруг поясницы и ног. Халат держался широким поясом. А еще? еще ничего; ни панталон, ничего...

Обувь состояла из синих коротких чулок, застегнутых вверху пуговкой. Между большим и следующим пальцем шла тесемка, которая прикрепляла к ноге соломенную подошву. Это одинаково и у богатых и у бедных.

Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! За поясом у одного, старшего, заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки.

Мы повели гостей в капитанскую каюту: там дали им наливки, чаю, конфект. Они еще с лодки всё показывали на нашу фор-брам-стеньгу, на которой развевался кусок белого полотна, с надписью на японском языке: «Судно Российского государства». Они просили списать ее, по приказанию, разумеется, чтоб отвезти в город, начальству.

Через полчаса явились другие, одетые побогаче. Они привезли бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения: не съезжать на берег, не обижать японцев и т. п. Им так понравилась наливка, что они выпросили, что осталось в бутылке, для гребцов будто бы, но я уверен, что они им и понюхать не дали.

В бумаге еще правительство, на французском, английском и голландском языках, просило остановиться у так

называемых *Ковальских* ворот, на первом рейде, и не ходить далее в избежание *больших неприятностей*, прибавлено в бумаге, без объяснения, каких и для кого. Надо думать, что для губернаторского брюха.

Японское правительство — как мы знали из книг и потом убедились, и при этом случае и впоследствии сами,— требует безусловного исполнения предписанной меры, и, в случае неисполнения, зависело ли оно от исполнителя, или нет, последний остается в ответе. Например, иностранные корабли не иначе допускаются на второй и третий рейды, как с разрешения губернатора. Мы разрешения не требовали, но к нам явилась третья партия японцев, человек восемь, кроме гребцов, и привезла «разрешение» идти и на второй рейд. Все эти посещения быстро следовали одно за другим. Губернатор поспешил прислать разрешение, не зная, намерены ли мы, по первому извещению, остановиться на указанном месте. Если б ему предписано было, например, истребить нас, он бы, конечно, не мог, но все-таки должен бы был стараться об этом, а в случае неудачи *распороть себе брюхо.*

Я полагаю так, судя по тому, что один из нагасакских губернаторов несколько лет назад распорол себе брюхо оттого, что командир английского судна не хотел принять присланных чрез этого губернатора подарков от японского двора. Губернатору приказано было отдать подарки, капитан не принял, и губернатор остался виноват, *зачем не отдал.*

Вскрывать себе брюхо — самый употребительный здесь способ умирать поневоле, по крайней мере так было в прежние времена. Заупрямься кто сделать это, правительство принимает этот труд на себя; но тогда виновный, кроме позора публичной казни, подвергается лишению имения, и это падает на его семейство. Кто-то из путешественников рассказывает, что здесь в круг воспитания молодых людей входило, между прочим, искусство ловко, сразу распарывать себе брюхо. Впоследствии, при случае как-нибудь, расскажу об этом, что узнаю, подробнее. Теперь некогда.

Третья партия японцев была лучше одета: кофты у них из тонкой, полупрозрачной, черной материи, у некоторых вытканы белые знаки на спинах и рукавах — это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. Но некоторые получают от своих начальников и вообще от высших лиц право носить их гербы, а высшие сановники — от сиогуна, как у нас ордена.

Но не все имеют право носить по две сабли за поясом: эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам; солдаты носят по одной, а простой класс вовсе не носит; да он же ходит голый, так ему не за что было бы и прицепить ее, разве зимой.

Кофта у гостей или хозяев наших — как хотите — застегивалась длинными шелковыми шнурками.

Они объявили, что они переводчики, *оппер-толки* и *ондер-толки*, то есть старшие и младшие. Они назначаются для сношений с голландской факторией. Мы посадили их в капитанскую каюту, и они вынули бумагу, в которой предлагалось множество вопросов.

Переводчиков здесь целое сословие: в короткое время у нас перебывало около тридцати, а всех их около шестидесяти человек; немного недостает до счета семидесяти толковников. Они знают только голландский язык и употребляются для сношений с голландцами, которые, сидя тут по целым годам, могли бы, конечно, и сами выучиться по-японски. Но кто станет учить их? это запрещено под смертною казнью. По-китайски японцы знают все, как мы по-французски, как шведы по-немецки, как ученые по-латыни. Пишут и по-японски и по-китайски, но только произносят китайские письмена по-своему. Вообще все, язык, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание, все пришло к ним от китайцев.

Мы уже были предупреждены, что нас встретят здесь вопросами, и оттого приготовились отвечать, как следует, со всею откровенностью. Они спрашивали: откуда мы пришли, давно ли вышли, какого числа, сколько у нас людей на каждом корабле, как матросов, так и офицеров, сколько пушек и т. п.

Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах? В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на все искренно и простодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смышленые физиономии, на косички и на приседанья.

Они ознакомились с нами и ободрились ласковым обхождением. Им принесли сладких пирожков, наливок, вина. Они вглядывались во все с любопытством, осматривали все в каюте, раскрыли рот от удивления, когда кто-то дотронулся до клавишей фортепиано. Им предложили сигар, но они не знали, как с ними обойтись: один закуривал, не откусив кончика, другой не с той стороны. Сигары были не по них: крепки. Одному сделалось дурно от духоты в каюте, а может быть и от качки, хотя волнение было слабое и движение фрегата едва заметное. Они вообще очень нежны. Например, не могли вовсе сидеть в каюте, беспрестанно отирали пот с головы и лица, отдувались и обмахивались веерами. Они вынимали из-за пазухи свой табак, чубуки из пальмового дерева, с серебряным мундштуком и трубочкой, величиной с половину самого

маленького женского наперстка. Табак лежал в бумажном кисете, не более porte-monnaie [1]. Японец брал оттуда щепоть табаку, скатывал его в комок, как вату или пеньку, когда хотят положить ее в ухо, клал в трубку и, курнув раза три, выбрасывал пепел и прятал трубку за пазуху. Все это делалось с удивительной быстротой. Табак очень тонок и волокнист, как лен, красно-желтого цвета, и напоминает немного вкусом турецкий, но только очень слаб, а видом похож на рыжие густые волосы.

Как навастривали они уши, когда раздавался какой-нибудь шум на палубе: их пугало, когда вдруг люди побегут по вантам или потянут какую-нибудь снасть и затопают. Они ехали с нами, а лодка их с гребцами шла у нас на бакштове.

Наконец мы вошли на первый рейд и очутились среди островов и холмов. Здесь застал нас штиль, и потом подул противный ветер; надо было лавировать. «Куда ж вы? — говорили японцы, не понимая лавировки,— вам надо сюда, налево». Наконец вошли и на второй рейд, на указанное место.

Что это такое? декорация или действительность? какая местность! Близкие и дальние холмы, один другого зеленее, покрытые кедровником и множеством других деревьев — нельзя разглядеть каких,— толпятся амфитеатром, один над другим. Нет ничего страшного; все улыбающаяся природа: за холмами, верно, смеющиеся долины, поля... Да смеется ли этот народ? Судя по голым, палимым зноем гребцам, из которых вон трое завернулись, сидя на лодке, в одно какое-то пестрое одеяло от солнца, нельзя думать, чтоб народ очень улыбался среди этих холмов. Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу.

Вон деревни жмутся в теснинах, кое-где разбросаны хижины. А это что: какие-то занавески, с нарисованными на них, белой и черной краской, кругами? гербы Физенского и Сатсумского удельных князей, сказали нам гости. Дунул ветерок, занавески заколебались и обнаружили пушки: в одном месте три, с развалившимися станками, в другом одна вовсе без станка — как страшно! Наши артиллеристы подозревают, что на этих батареях есть и деревянные пушки.

Где же Нагасаки? Города еще не видать. А! вот и Нагасаки. Отчего ж не Нангасаки? оттого, что настоящее название — *Нагасаки*, а буква *н* прибавляется так, для шика, так же как и другие буквы к некоторым словам. «Нагасаки — единственный порт, куда позволено входить одним только голландцам»,— сказано в географиях, и куда, надо бы прибавить давно, прочие ходят без позволения. Следовательно, привилегия ни в каком случае не на стороне голландцев во многих отношениях.

---

[1] кошелька *(франц.)*.

«Так это Нагасаки!» — слышалось со всех сторон, когда стали на якорь на втором рейде, в виду третьего, и все трубы направились на местность, среди которой мы очутились. В Нагасаки три рейда: один очень открыт с моря и защищен с двух сторон. Там налево, на срытом холме, строится батарея и, кажется, по замечанию наших артиллеристов, порядочная. Но город, конечно, не весь виден, говорили мы: это, вероятно, только часть, и самая плохая, предместье; тут всё домишки да хижины! Где же здания, дворцы, храмы, о которых пишет Кемпфер и другие, особенно Кемпфер, насчитывая их невероятное число? Должно быть, там дальше, за мысом.

Но какие виды вокруг! что за перспектива вдали! Вот стоишь при входе на второй рейд, у горы Паппенберг, и видишь море, но зато видишь только профиль мыса, заграждающего вид на Нагасаки, видишь и узенькую бухту Кибач, всю. Передвинешься на средину рейда — море спрячется, зато вдруг раздвинется весь залив налево, с островами Кагена, Катакасима, Каменосима, и видишь мыс en face [1], а берег направо покажет свои обработанные террасы, как исполинскую зеленую лестницу, идущую по всей горе, от волн до облаков.

Мы стали прекрасно. Вообразите огромную сцену, в глубине которой, верстах в трех от вас, видны высокие холмы, почти горы, и у подошвы их куча домов с белыми известковыми стенами, черепичными или деревянными кровлями. Это и есть город, лежащий на берегу полукруглой бухты. От бухты идет пролив, широкий, почти как Нева, с зелеными холмистыми берегами, усеянными хижинами, батареями, деревнями, кедровником и нивами.

Декорация бухты, рейда, со множеством лодок, странного города, с кучей сереньких домов, пролив с холмами, эта зелень, яркая на близких, бледная на дальних холмах, все так гармонично, живописно, так не похоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из волшебного балета?

Что за заливцы, уголки, приюты прохлады и лени, образуют узор берегов в проливе! Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор, лесистое, и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обстановленная деревьями бухта, сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый сильный ветер чуть-чуть рябит волны; там беспечно отдыхает вытащенная на берег лодка, уткнувшись одним концом в воду, другим в песок.

Налево широкий и длинный залив, с извилинами и углублениями. Посредине его Паппенберг и Каменосима — две горы-игрушки, покрытые ощетинившимся лесом, как будто

---

[1] спереди *(франц.)*.

две головы с взъерошенными волосами. Их обтекают со всех сторон миньятюрные проливы, а вдали видна отвесная скала и море.

Направо идет высокий холм с отлогим берегом, который так и манит взойти на него по этим зеленым ступеням террас и гряд, несмотря на запрещение японцев. За ним тянется ряд низеньких, капризно-брошенных холмов, из-за которых глядят серьезно и угрюмо довольно высокие горы, отступив немного, как взрослые из-за детей. Далее пролив, теряющийся в море; по светлой поверхности пролива чернеют разбросанные камни. На последнем плане синеет мыс Номо.

Пролив отделяет нагасакский берег от острова Кагена, который, в свою очередь, отделяется другим проливом от острова Ивосима, а там чисто, море — и больше ничего.

Везде уступы, мыски или отставшие от берега, обросшие зеленью и деревьями глыбы земли. Местами группы зелени и деревьев лепятся на окраинах утесов, точно исполинские букеты цветов. Везде перспектива, картина, точно артистически обдуманная прихоть!

Но с странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения. Люди появляются редко; животных не видать; я только раз слышал собачий лай. Нет людской суеты; мало признаков жизни. Кроме караульных лодок, другие робко и торопливо скользят у берегов, с двумя-тремя голыми гребцами, с слюнявым мальчишкой или остроглазой девчонкой.

Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен, словом кипения жизни или «мышьей беготни», по выражению поэта?[1] Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешенная синими, белыми, красными тканями? Оттуда слышен однообразный звук бум-бум-бум японского барабана: это, скажут вам, Физенский или Сатсумский князья объезжают свои владения.

Вы знаете, что Япония разделена на уделы, которые все зависят от сиогуна, платят ему дань и содержат войска. Город Нагасаки принадлежит ему, а кругом лежат владения князей.

Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это все заселится, оживится?

Мы спрашиваем об этом здесь у японцев, затем и пришли, да вот не можем добиться ответа. Чиновники говорят, что надо

---

[1] См. «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» А. С. Пушкина (1830).

спросить у губернатора, губернатор пошлет в Едо, к сиогуну, а тот пошлет в Миако, к микадо, сыну неба: сами решите, когда мы дождемся ответа!

Все мы стояли на палубе, кто чем занят; у всех почти трубы в руках. Одни занимались уборкою парусов, другие прилежно изучали карту, и в том числе дед, который от карты бегал на ют, с юта к карте; и хотя ворчал на неверность ее, на неизвестность места, но был доволен, что труды его кончались. Другие просто думали о том, что видели, глядя туда и сюда, в том числе и я. Меня хотя и занимала новость предмета и проникался я прелестью окружавших нас картин природы, но тут же, рядом с этими впечатлениями, чувствовалась и особенно предчувствовалась скука. Я бы охотно променял Японию на Манилу, на Бразилию или на Сандвичевы острова — на что хотите. Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров в неискусных или, скорее, несвободных, связанных какими-то ненужными путами руках!

Да я ли один скучаю? Вон Петр Александрович сокрушительно вздыхает, не зная, как он будет продовольствовать нас: дадут ли японцы провизии, будут ли возить свежую воду; а если и дадут, то по каким ценам? и т. п. От презервов многие *«воротят носы»*, говорит он.

Кстати о презервах: кажется, я о них не говорил ни слова. Это совсем изготовленная и герметически закупоренная в жестянках провизия всякого рода: супы, мясо, зелень и т. п. Полезное изобретение — что и говорить! Но дело в том, что эту провизию иногда есть нельзя: продавцы употребляют во зло доверенность покупателей; а поверить их нельзя: не станешь вскрывать каждый, наглухо закупоренный и залитой свинцом ящик. После уже, в море, окажется, что говядина похожа вкусом на телятину, телятина — на рыбу, рыба — на зайца, а все вместе ни на что не похоже. И часто все это имеет один цвет и запах. Говорят, у французов делают презервы лучше: не знаю. Мы купили их в Англии.

Вон и другие тоже скучают: Савич не знает, будет ли уголь, позволят ли рубить дрова, пустят ли на берег освежиться людям? Барон насупился, думая, удастся ли ему... хоть увидеть женщин. Он уж глазел на все японские лодки, ища между этими голыми телами не такое красное и жесткое, как у гребцов. Косы и кофты мужчин вводили его иногда в печальное заблуждение...

Японцы уехали. Настал вечер; затеплились звезды, и, вдобавок, между ними появилась комета. Мы наблюдаем ее уже третий вечер, едва успевая ловить на горизонте — так рано скрывается она.

Нас, издали, саженях во ста от фрегата и в некотором расстоянии друг от друга, окружали караульные лодки, ярко освещенные разноцветными огнями в больших, круглых, кра-

шеных фонарях из рыбьей кожи; на некоторых были даже смоляные бочки. С последним лучом солнца по высотам загорелись огни и нитями опоясали вершины холмов, унизали берега — словом, нельзя было нарочно зажечь иллюминации великолепнее в честь гостей, какую японцы зажгли из страха, что вот сейчас, того гляди, гости нападут на них. Везде перекликались караульные; лодки ходили взад и вперед. Гребцы гребли стоя, с криком *оссильян*, *оссильян*, чтоб дружнее работать. По горам, в лесу, огни, точно звезды, плавали, опускаясь и подымаясь по скатам холмов: видно было, что везде расставлены люди, что на нас смотрели тысячи глаз, сторожили каждое движение.

Все мало-помалу утихало на наших судах. Пробили зорю, сыграли гимн «Коль славен наш господь в Сионе», и матросы улеглись. Многие из нас и чаю не пили, не ужинали: всё смотрели на берега и на их отражения в воде, на иллюминацию, на лодки, толкуя, предсказывая успех или неуспех дела, догадываясь о характере этого народа. Потом, один за другим, разбрелись. Я остался и вслушивался в треск кузнечиков, доносившийся с берега, в тихий плеск волн; смотрел на игру фосфорических искр в воде и на дальние отражения береговых огней в зеркале залива. Здесь уже не было буруна, наводящего тоску на душу, как на Бонин-Сима, только зарница ярко играла над холмами. И я, наконец, ушел и лег спать, но долго еще мерещились мне женоподобные, приседающие японцы, их косы, кофты, и во сне преследовал долетавший до ушей крик: «Оссильян, оссильян!»

«Хи! Хи! Хи!» — слышу в каюте у соседа, просыпаясь поутру, спустя несколько дней по приходе, потом тихий шепот и по временам внезапное возвышение голоса на каком-нибудь слове. Фаддеев стоит подле меня, с чаем. «Давно ты тут?»— «В начале седьмой склянки, ваше высокоблагородие».— «А теперь которая?» — «Да вон, слышишь?» В это время забил барабан, заиграла музыка, значит восемь часов. «Что там такое рядом в каюте?» — спросил я. «Известно что, японец!» — отвечал он. «Зачем они приехали?» — «А кто их знает?» — «Ты бы спросил».— «А как я его спрошу? нам с ним говорить-то все равно, как свинье с курицей...»

От японцев нам отбоя нет: каждый день, с утра до вечера, по нескольку раз. Каких тут нет: оппер-баниосы, ондер-баниосы, оппер-толки, ондер-толки, и потом еще куча сволочи, их свита. Но лучше рассказать по порядку, что позамечательнее.

На другой день, а может быть, и дня через два после посещения переводчиков, приехали три или четыре лодки, украшенные флагами, флажками, значками, гербами и пиками — всё атрибуты военных лодок, хотя на лодках были те же голые гребцы и ни одного солдата. Нам здесь все еще было ново, и мы с нетерпением ждали, что это такое. Лодки хоть куда: не-

много похожи на наши зимние крестьянские розвальни: широкие, плоскодонные, с открытой кормой. Они все чисто выстроены из белого леса, с навесом, покрытым циновками. Весла у гребцов длинные, состоящие из двух частей, связанных посредине. Весло привязано к лодке, и гребец, стоя, ворочает его к себе и от себя. Гребцов, смотря по величине лодки, бывает от 4 до 8 и даже до 12 человек. Лодка — это плавучий дом. Тут есть все: маленький очаг — варить пищу, и вся домашняя утварь. На караульных лодках по очереди дежурят чиновники, чтоб наблюдать за нашими действиями. Этот порядок принят издавна в отношении ко всем иностранным судам.

Сначала вошли на палубу переводчики. «Оппер-баниосы»,— говорили они почтительным шепотом, указывая на лодки, а сами стали в ряд. Вскоре показались и вошли на трап, потом на палубу двое японцев, поблагообразнее и понаряднее прочих. Переводчики встретили их, положив руки на колени и поклонившись почти до земли. За ними вошло человек двадцать свиты.

Оппер-баниосы, один худой, с приятным лицом, с выдавшеюся верхнею челюстью и большими зубами, похожими на клыки, как у многих японцев. Другой, рябоватый, с умным лицом, и с такою же челюстью, как у первого. На них, сверх черной кофты из льняной материи и длинного шелкового халата, были еще цветные шелковые же юбки, с разрезанными боками и шелковыми кистями. За пазухой, по обыкновению, был целый магазин всякой всячины: там лежала трубка, бумажник, платок для отирания пота и куча листков тонкой, проклеенной, очень крепкой бумаги, на которой они пишут, отрывая по листку, в которую сморкаются, и, наконец, завертывают в нее, что нужно. Они присели, положив руки на колени, то есть поклонились нашим.

По-японски их зовут *гокейнсы*. Они старшие в городе, после губернатора и секретарей его, лица. Их повели на ют, куда принесли стулья; гокейнсы сели, а прочие отказались сесть, почтительно указывая на них. Подали чай, конфект, сухарей и сладких пирожков. Они выпили чай, покурили, отведали конфект и по одной завернули в свои бумажки, чтоб взять с собой; даже спрятали за пазуху по кусочку хлеба и сухаря. Наливку пили с удовольствием.

Когда дошло дело до вопроса: зачем они приехали, один переводчик, толстый и рябой, по имени Льода, стал перед гокейнсами, низко поклонился и, оставшись в наклоненном положении, передал наш вопрос. *Гокейнс* тихо, тихо, почти шепотом и скоро начал говорить, также нагнувшись к переводчику, и все другие переводчики, и другой гокейнс, и часть свиты тоже наклонились и слушали. «Хи, хи, хи!» — твердил переводчик отрывисто, пока гокейнс отвечал ему. Частица *хи* означает подтверждение речи, вроде *да, слушаю.* Ее употребляют только

младшие, слушая старших. Потом, когда гокейнс кончил, Льода потянул воздух в себя — и вдруг, выпрямившись перед нами, перевел, что они приехали предложить некоторые вопросы.

Он говорил обыкновенным голосом, а иногда вдруг возвышал его на каком-нибудь слове до крика, кивал головой, улыбался. Прочие переводчики молчали: у них правило, когда старший тут, другой молчит, но непременно слушает; так они поверяют друг друга. Эта система взаимного шпионства немного похожа на иезуитскую. Так их переводчик *Садагора* — который страх как походил на пожилую девушку с своей седой косой, недоставало только очков и чулка в руках — молчал, когда говорил *Льода*, а когда Льоды не было, говорил Садагора, а молчал *Нарабайоси* и т. д.

«Отчего у вас,— спросили они, вынув бумагу, исписанную японскими буквами,— сказали на фрегате, что корвет вышел из Камчатки в мае, а на корвете сказали, что в июле?» — «Оттого,— вдруг послышался сзади голос командира этого судна, который случился тут же,— я похерил два месяца, чтоб не было придирок да расспросов, где были в это время и что делали». Мы все засмеялись, а Посьет что-то придумал и сказал им в объяснение.

Корвет в самом деле вышел в мае из Камчатки, но заходил на Сандвичевы острова. Мы спросили японцев, зачем это им? «Что вам за дело, где мы были? вам только важно, что мы пришли».

Чтобы согласить эту разноголосицу, Льода вдруг предложил сказать, что корвет из Камчатки, а мы из Петербурга вышли в одно время. «Лучше будет, когда скажете, что и пришли в одно время, в три месяца». Ему показали карту и объяснили, что из Камчатки можно прийти в неделю, в две, а из Петербурга в полгода. Он сконфузился и стал сам смеяться над собой.

Тут же показали им кстати Россию и Японию. Увидев, как последняя мала, они добродушно стали хохотать.

Им заметили, что напрасно они обременяют себя и других этими вопросами. «В Едо надо послать»,— отвечали они. Потом следовал другой, третий вопрос, всё в том же роде. «И всё надо в Едо посылать?»— «Всё!» — сказал, потянув в себя воздух, Льода. «Ну, много же у вас дела в Едо!» — подумал кто-то подле меня вслух. Но я, вспомнив, какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера нашего знаменитого пленника, Головнина, нашел еще, что эти вопросы не так глупы. Они уехали поздно ночью, улыбаясь, приседая и кланяясь.

А между тем наступал опять вечер, с нитями огней по холмам, с отражением холмов в воде, с фосфорическим блеском моря, с треском кузнечиков и криком гребцов: «Оссильян, оссильян!» Но это уж мало заняло нас: мы привыкли, ознакомились с местностью, и оттого шканцы и ют тотчас опустели, как

только буфетчики, Янцен и Витул, зазвенели стаканами, а вестовые, с фуражками в руках, подходили то к одному, то к другому с приглашением: «Чай кушать».

Баниосам, на прощанье, сказано было, что есть два письма: одно к губернатору, а другое выше; чтоб за первым он прислал чиновника, а другое принял сам. «Скажем губернатору»,— отвечали они. Они, желая выведать о причине нашего прихода, спросили: не привезли ли мы потерпевших кораблекрушение японцев, потом: не надо ли нам провизии и воды — две причины, которые японцы только и считали достаточными для иноземцев, чтоб являться к ним, и то в последнее время. А прежде, как известно, они и потерпевших кораблекрушение, своих же японцев, не пускали назад, в Японию. «Вы уехали из Нипона,— говорили они,— так ступайте, куда хотите». С иностранцами поступали еще строже: их держали в неволе.

Но время взяло свое, и японцы уже не те, что были сорок, пятьдесят и более лет назад. С нами они были очень любезны; спросили об именах, о чинах и должностях каждого из нас и всё записали, вынув из-за пазухи складную железную чернильницу, вроде наших старинных свечных щипцов. Там была тушь и кисть. Они ловко владеют кистью. Я попробовал было написать одному из оппер-баниосов свое имя кистью, рядом с японскою подписью — и осрамился: латинских букв нельзя было узнать.

Прошло дня два: в это время дано было знать японцам, что нам нужно место на берегу и провизия. Провизии они прислали небольшое количество в подарок, а о месте объявили, что не смеют дать его без разрешения из Едо.

На третий день после этого приехали два баниоса: один бывший в прошедший раз, приятель наш *Бабá-Городзаймон*, который уже ознакомился с нами и освоился на фрегате, шутил, звал нас по именам, спрашивал название всего, что попадалось ему в глаза, и записывал. Он был, по-видимому, очень добр, жив, сообщителен. Другой — *Самбро*. Не думайте, чтоб в понятиях, словах, манерах японца (за исключением разве сморканья в бумажки да прятанья конфект: но вспомните, как сморкаются две трети русского народа и как недавно барыни наши бросили ридикюли, которые наполнялись конфектами на чужих обедах и вечерах) было что-нибудь дикое, странное, поражающее европейца. Ровно ничего: только костюм да действительно нелепая прическа бросаются в глаза. Во всем прочем это народ, если не сравнивать с европейцами, довольно развитой, развязный, приятный в обращении и до крайности занимательный своеобразностью воспитания. Об этом придется говорить ниже.

Баниосы привезли с собой переводчиков, Льоду и Садагору. Их принял сначала Посьет, потом адмирал, в своей каюте. Баниосов посадили на массивные кресла, несколько человек свиты сели сзади, на стульях. Адмирал поместился на софе,

против них, а мы вчетвером у окошек, на длинном диване. Льода и Садагора стояли согнувшись, так что лиц их вовсе было не видать, и только шпаги торчали вверх. Баба́-Городзаймон, наклонясь немного к Льоде и втягивая в себя воздух, начал говорить шепотом, скоро и долго. У него преприятная манера говорить: он говорит, как женщина, так что самые его отказы и противоречия смягчены этим тихим, ласковым голосом. «Хи, хи, хи»,— отрывисто и усердно повторял Льода, у которого подергивало плечи и пот катился струями по вискам. В каюте было душно, а снаружи жарко, до 20°.

Льода, выслушав, выпрямился, обратился к Посьету, который сидел подле баниосов, и объявил, что губернатор просит прислать письмо, адресованное собственно к нему. Про другое, которое следовало переслать в Едо, к высшим властям, он велел сказать, что оно должно быть принято с соблюдением церемониала, а он, губернатор, определить его сам не в состоянии и потому послал в столицу просить разрешения. «А как скоро можно сделать путь туда и обратно?»— спросили их, зная, впрочем, что этот путь можно сделать недели в три и даже, как говорит английский путешественник Бельчер, в две недели. Им сказано было и об этом. Баба́ отвечал, однако ж, что, вероятно, на ответ понадобится дней тридцать. Он извинялся тем, что надо обдумать ответ, но адмирал настаивал, чтоб ответ прислали скорее. Тогда Садагора отвечал, что курьер помчится, *как птица*.

Один из свиты все носился с каким-то ящиком, завязанным в платок. Когда отдали письмо Баба́-Городзаймону, он развязал деревянный лакированный ящик, поставил его на стол, принял письмо обеими руками, поднял его, в знак уважения, ко лбу, положил в ящик и завязал опять в платок, украшенный губернаторскими гербами. После этого перевязал узел шнурком, достал из-за пазухи маленькую печать, приложил к шнурку и отдал ящик своему чиновнику, сказав что-то переводчику. «Хи, хи, хи!» — повторял тот и, обратившись к нам, перевел, что письмо будет доставлено верно и в тот же день.

Адмирал предложил им завтракать в своей каюте, предоставив нам хозяйничать, а сам остался в гостиной. Мы сели за большой стол. Подали, по обыкновению, чаю, потом все сладкое, до которого японцы большие охотники, пирожков, еще не помню чего, вино, наливку и конфекты. Японцы всматривались во все, пробовали всего понемножку и завертывали в бумажку, то конфекту, то кусочек торта, а Льода прибавил к этому и варенья и все спрятал в свою обширную кладовую, то есть за пазуху: «детям»,— сказал он нам. Гостям было жарко в каюте, они вынимали маленькие бумажные платки и отирали пот, другие, особенно второй баниос, сморкались в бумажки, прятали их в рукав, обмахивались веерами. О. А. Гошкевич завел ящик с музыкой, и вдруг тихо, под сурдиной, раз-

далось «grâce, grâce» [1] из «Роберта» [2]. Но это мало подействовало: Баба́ сказал, что у него есть две табакерки с музыкой: голландцы привезли. В углу накрыт был другой стол, для нескольких лиц из свиты. Баба́ не пил совсем вина: он сказал, что постоянно страдает головною болью и «оттого,— прибавил он,— вы видите, что у меня не совсем гладко выбрита голова». Ему предложили посоветоваться с нашим доктором, но он поблагодарил и отказался.

Вообще мы старались быть любезны с гостями, показывали им, после завтрака, картинки и, между прочим, в книге Зибольда изображение японских видов: людей, зданий, пейзажей и прочего. Они попросили показать фрегат одному из баниосов, который еще в первый раз приехал. Их повели по палубам. Они рассматривали пушки, ружья и внимательно слушали объяснения о ружьях с новыми прицелами, купленных в Англии. Все занимало их, и в этом любопытстве было много наивного, детского, хотя японцы и удерживались слишком обнаруживаться.

Они пробыли почти до вечера. Свита их, прислужники, бродили по палубе, смотрели на все, полуразиня рот. По фрегату раздавалось щелканье соломенных сандалий и беспрестанно слышался шорох шелковых юбок, так что, в иную минуту, почудится что-то будто знакомое... взглянешь и разочаруешься! Некоторые физиономии до крайности глуповаты.

Тут были, между прочим, два или три старика, в панталонах, то есть ноги у них выше обтянуты синей материей, а обуты в такие же чулки, как у всех, и потом в сандалии. Коротенькие мантии были тоже синие. «Что это за люди?» — спросили. «Солдаты»,— говорят. Солдаты! нельзя ничего выдумать противоположнее тому, что у нас называется солдатом. Они, от старости, едва стояли на ногах и плохо видели. Седая косичка, в три волоса, не могла лежать на голове и торчала кверху, сквозь редкую косу проглядывала лысина цвета красной меди. Вообще не видно почти ни одной мужественной, энергической физиономии, хотя умных и лукавых много. Да если и есть, так зачесанная сзади кверху коса и гладко выбритое лицо делают их непохожими на мужчин.

С лодок налезло на трапы и русленя множество голых, полуголых и оборванных гребцов. На некоторых много-много, что синий длинный халат — и больше ничего: ни панталон, ни кофт, ни сандалий. О шапках я не упоминаю, потому что здесь эта часть одежды не существует. На юге, в Китае, я видел, носят еще зимние маленькие шапочки, а летом немногие ходят в остроконечных малайских соломенных шапках, похо-

---

[1] «пощадите, пощадите» *(франц.)*.

[2] Имеется в виду опера французского композитора Мейербера (1791—1864) «Роберт Дьявол» (1830).

жих на крышку от суповой миски, а здесь ни одного японца не видно с покрытой головой. Они даже редко прикрывают ее и веером, как китайцы. Едет иногда лодка с несколькими человеками: любо смотреть, как солнце жарит их прямо в головы; лучи играют на бритых, гладких лбах, точно на позолоченных маковках какой-нибудь башни, и на каждой голове горит огненная точка. Как бы, кажется, не умереть или по крайней мере не сойти с ума от этакой прогулки, под солнечными лучами, а им ничего, да еще под здешними лучами, которые, как медные спицы, вонзаются в голову!

Баба́ обещал доставить нам большое удобство: мытье белья в голландской фактории. Наконец японцы уехали. Кто-то из них кликнул меня и схватил за руку. «А, Баба, adieu!» [1]— «Adieu»,— повторил и он.

Дни мелькали за днями: вот уже вторая половина августа. Японцы одолели нас. Ездят каждый день раза по два, то с провизией, то с вопросом или с ответом. Уж этот мне крайний Восток: пока, кроме крайней скуки, толку нет! Разглядываешь, от нечего делать, их лица и не знаешь, что подумать о их происхождении. Как им ни противно быть в родстве с китайцами, как ни противоречат этому родству некоторые резкие отличия одних от других, но всякий раз, как поглядишь на оклад и черты их лиц, скажешь, что японцы и китайцы близкая родня между собою. Те же продолговатые, смугло-желтые лица, такое же образование челюстей, губ, выдавшиеся лбы и виски, несколько приплюснутый нос, черные и карие, средней величины, глаза. Я не говорю уже о нравственном сходстве: оно еще более подтверждает эту догадку. Вероятно, и те и другие вышли из одной колыбели, Средней Азии, и, конечно, составляли одно племя, которое в незапамятные времена распространилось по юго-восточной части материка и потом перешло на все окрестные острова.

Татарский пролив и племенная, нередкая в истории многих, имеющих один корень народов, вражда могли разделить навсегда два племени, из которых в одно, китайское, подмешались, пожалуй, и маньчжуры, а в другое, японское,— малайцы, которых будто бы японцы, говорит Кемпфер, застали в Нипоне и вытеснили вон. В языке их, по словам знающих по-китайски, есть некоторое сходство с китайским. И опять могло случиться, что первобытный, общий язык того и другого народа— у китайцев так и остался китайским, а у японцев мог смешаться с языком quasi-малайцев, или тех островитян, которых они застали на Нипоне, Киузиу и других островах и которые могли быть, пожалуй, и курильцы.

Чем это не мнение, скажите на милость? Я знаю, что я не понравился бы за это японцам, до того, что они не прочь бы

---

[1] прощайте! *(франц.)*

посадить меня и в клетку, благо я теперь в Японии. Они сами производят себя от небесных духов, а потом соглашаются лучше происходить с севера, от курильцев, лишь не от китайцев. Но я готов отстаивать свое мнение, теперь особенно, когда я только что расстался с китайцами, когда черты лиц их так живы в моей памяти и когда я вижу другие, им подобные. Чем же это не мнение? Ведь Кемпфер выводит же японцев прямо — откуда бы вы думали? — от вавилонского столпотворения! Он ведет их толпой, или *колонией*, как он называет, из-за Каспийского моря, через всю Азию в Китай и оттуда в Японию, прямо так, как они есть, с готовым языком, нравами, обычаями, чуть не с узелком под мышкой, в котором были завязаны вот эти нынешние их кофты с гербами и юбки. Замечу еще, что здесь, кроме различия, которое кладут между простым и непростым народом, образ жизни, пища, воспитание и занятия, есть еще другое, резкое, несомненно племенное различие. Когда всматриваешься пристально в лица старших чиновников и их свиты и многих других, толпящихся на окружающих нас лодках, невольно придешь к заключению, что тут сошлись и смешались два племени. Простой народ действительно имеет в чертах большое сходство с малайцами, которых мы видели на Яве и в Сингапуре. А так как у японцев строже, нежели где-нибудь, соблюдается нетерпимость смешения одних слоев общества с другими, то и немудрено, что поработившее племя до сих пор остается не слитым с порабощенным.

Сравните японское воспитание с китайским: оно одинаково. Одна и та же привилегированная, древняя религия Синто, или поклонение небесным духам, как и в Китае, далее буддизм. Но и тут и там господствует более нравственно-философский, нежели религиозный дух и совершенное равнодушие и того и другого народа к религии. Затем одинакое трудолюбие и способности к ремеслам, любовь к земледелию, к торговле, *одинакие* вкусы, один и тот же род пищи, одежда — словом, во всем найдете подобие, в иных случаях до того, что удивляешься, как можно допустить мнение о разноплеменности этих народов!

И те и другие подозрительны, недоверчивы; спасаются от опасностей за системой замкнутости, как за каменной стеной; у обоих одна и та же цивилизация, под влиянием которой оба народа, как два брата в семье, росли, развивались, созревали и состарелись. Если бы эта цивилизация была заимствована японцами от китайцев только по соседству, как от чужого племени, то отчего же маньчжуры и другие народы кругом остаются до сих пор чуждыми этой цивилизации, хотя они еще ближе к Китаю, чем Япония?

Нет, пусть японцы хоть сейчас посадят меня в клетку, а я, с упрямством Галилея, буду утверждать, что они — отрезанные ломти китайской семьи, ее дети, ушедшие на острова и,

по географическому своему положению, запершиеся там до нашего прихода. И самые острова эти, если верить геологам, должны составлять часть, оторвавшуюся некогда от материка...

Вам, может быть, покажется странно, что я вхожу в подробности о деле, которое, в глазах многих, привыкших считать безусловно Китай и Японию за одно, не подлежит сомнению. Вы, конечно, того же мнения, как и эти многие, как и я, как и все, вероятно, словом — tout le monde [1]. Только японцы оскорбляются, когда иностранцы, по *невежеству* и *варварству*, как говорят они, смешивают их с китайцами. Я затронул этот вопрос только потому, что я... в Японии теперь. А кто сюда попадет, тот неминуемо коснется и вопроса о сходстве японцев с китайцами. Это здесь капитальный вопрос. Я только следую примеру других. Что делать: от скуки вдался в педантизм!

Зато избавляю себя и вас от дальнейших воззрений и догадок: рассмотрите эти вопросы на досуге, в кабинете, с помощью ученых источников. Буду просто рассказывать, что вижу и слышу.

Говоря об источниках, упомяну, однако ж, об одном, чуть ли не самом любопытном. Устав от Кемпфера, я напал на одну старую книжку, в библиотеке моего соседа по каюте, тоже о Японии или о *Японе*, как говорит заглавие, и *о вине гонения на христиан*, сочинения Карона и Гагенара, *переведенные чрез Степана Коровина, Синбирипина и Ивана Горлицкого.* К сожалению, конец страницы с обозначением года издания оторван. За этой книгой я отдыхал от подробных и подчас утомительных описаний почтенного Кемпфера и других авторитетов. Что за краткость, что за добродушие! какой язык! Не могу не поделиться с вами ученым наслаждением и выпишу на выдержку, с дипломатическою точностью, два-три места о Японии и о японцах.

«... остров Ябадии, о котором сказует Птоломей, есть оной, его же ныне нарицают островом Нифон».

«...империя Японская ныне обретается сочинена из многих островов, из которых некия могут быти и не острова, но полуострова».

«Компания Голландская во Индии восточной пребываша тогда в таком великом благоденствии, по истинне весма великом...»

«...Что ж бы то такое ни было, воспитание ли, или как то естественно, что жены там (в Японии) добры, жестоко верны и очень стыдливы».

«...Много имеют японцы благосклонности к отцам и к матерям и так умствуют, что тот, который в этом поползнется, того уже боги показнят».

«...Доходы вельмож бывают от разного произношения стра-

---

[1] весь свет (*франц.*).

ны, которою кто владеет. У инных земля много произносит жита, инные вынимают много золота и сребра, а прочии меди, олова, свинца...»

И этим языком и тоном написана вся эта любопытная книга, вероятно современница «Телемахиды»![1]

Я ленился записывать имена всех приезжавших к нам *гокейнсов* и *толков*. Баба́ ездил почти постоянно и всякий раз привозил с собой какого-нибудь нового баниоса, вероятно, приятеля, желавшего посмотреть большое судно, четырехаршинные пушки, ядра, с человеческую голову величиной, послушать музыку и посмотреть ученье, военные тревоги, беганье по вантам и маневры с парусами. Однажды при них заставили матрос маршировать: японцы сели на юте на пятках и с восторгом смотрели, как четыреста человек стройно перекидывали в руках ружья, точно перья, потом шли, нога в ногу, под музыку, будто одна одушевленная масса. При них катались и на шлюпках, которые, как птицы, с распущенными крыльями скользили по воде, опрокинувшись почти совсем на бок.

Японцы тихо, с улыбкой удовольствия и удивления, сообщали друг другу замечания на своем звучном языке. Некоторые из них, и особенно один из переводчиков, *Нарабайоси 2-й* (их два брата, двоюродные, иначе *Гейстра*), молодой человек лет 25-ти, говорящий немного по-английски, со вздохом сознался, что все виденное у нас приводит его в восторг,что он хотел бы быть европейцем, русским, путешествовать и заглянуть куда-нибудь, хоть бы на Бонин-Сима...

Бедный, доживешь ли ты, когда твои соотечественники, волей или неволей, пустят других к себе или повезут своих в другие места? Ты, конечно, будешь из первых. Этот Нарабайоси 2-й очень скромен, задумчив; у него нет столбняка в лице и манерах, какой заметен у некоторых из японцев, нет также самоуверенности многих, которые совершенно довольны своею участью и ни о чем больше не думают. Видно, что у него бродит что-то в голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окружающего его... И он не один такой. В этих людях будущность Японии — и наш успех.

Красивых лиц я почти не видал, а оригинальных много, большая часть, почти все. Вон, посмотрите, они стоят в куче на палубе, около шпиля, а не то заберутся на вахтенную скамью. Зачесанные снизу косы придают голове вид груши, кофты напоминают надетые в рукава кацавейки или мантильи с широкими рукавами, далее халат и туфли. Одно лицо толстое, мясистое, другое длинное, худощавое, птичье; брови дугой, и такой взгляд, который сам докладывает о глупости головы; третий рябой — рябых много — никак не может спрятать верх-

[1] «Телемахида» — поэма русского поэта В. К. Тредиаковского (1703—1769), представляющая переложение стихами прозаического романа французского писателя Фенелона «Похождения Телемака».

них зубов. Один смотрит, подняв брови, как матросы, купаясь, один за другим бросаются с русленей прямо в море и на несколько мгновений исчезают в воде; другой присел над люком и не сводит глаз с того, что делается в кают-компании; третий, сидя на стуле, уставил глаза в пушку и не может от старости свести губ. Стоят на ногах они неуклюже, опустившись корпусом на коленки, и большею частью смотрят сонно, вяло: видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее. Это всё свита.

Банносы тоже, за исключением некоторых, Бабы́-Городзаймона, Самбро, не лучше: один скажет свой вопрос или ответ и потом сонно зевает по сторонам, пока переводчик передает. Разве ученье, внезапный шум на палубе или что-нибудь подобное разбудит их внимание: они вытаращат глаза, навострят уши, а потом опять впадают в апатию. И музыка перестала шевелить их. Нет оживленного взгляда, смелого выражения, живого любопытства, бойкости — всего, чем так сознательно владеет европеец.

Один только, кроме Нарабайоси 2-го, о котором я уже говорил, обратил на себя мое внимание, еще один — и тем он был заметнее. Я не знаю его имени: он принадлежал к свите и не входил с банносами в каюту, куда, по тесноте и жару, впускались немногие, только необходимые лица. Он высок ростом, строен и держал себя прямо. Совестно ли ему было, что он не был допущен в каюту, или просто он признавал в себе другое какое-нибудь достоинство, кроме чести быть японским чиновником, и понимал, что́ окружает его,— не знаю, но он стоял на палубе гордо, в красивой, небрежной позе. Лицо у него было европейское, черты правильные, губы тонкие, челюсти не выдавались вперед, как у других японцев. Незаметно тоже было в выражении лица ни тупого самодовольствия, ни комической важности или наивной, ограниченной веселости, как у многих из них. Напротив, в глазах, кажется, мелькало сознание о своем *японстве* и о том, что ему недостает, чего бы он хотел. Видите ли, и японец может быть интересен, но как редко! Если он приедет еще раз, непременно познакомлюсь с ним, узнаю его имя, зазову в каюту и как-нибудь дознаюсь, что он такое. Я даже думаю, не инкогнито ли он тут, не из любопытства ли замешался в свиту и приехал посмотреть, что мы за люди.

Вечером в тот день, то есть когда японцы приняли письмо, они, по обещанию, приехали сказать, что «отдали письмо», в чем мы, впрочем, нисколько не сомневались.

Дня через три приехали опять *гокейнсы*, то есть один Баба́ и другой, по обыкновению, новый, смотреть фрегат. Они пожелали видеть адмирала, объявив, что привезли ответ губернатора

на письма от адмирала и из Петербурга. Баниосы передали, что его превосходительство «*увидел письмо с удовольствием и хорошо понял*» и что постарается все исполнить. Принять адмирала он, без позволения, не смеет, но что послал уже курьера в Едо и ответ надеется получить скоро.

Время между тем тянулось и, наконец, дотянулось до 9-го сентября. Ждали ответа из Едо, занимались и скучали, не занимались — и тоже скучали. Развлечений почти никаких. То наши поедут на корвет, то с корвета приедут к нам — обедать, пить чай. Готовят какую-то пьесу для театра. Японцы посещают нас, но пока реже. Вскоре, однако ж, они стали посещать нас чаще, и вот почему. В начале приезда мы просили прислать нам провизии, разумеется, за деньги и сказали, что иначе не возьмем. В ответ на это японцы запели свою песню, то есть что надо послать в Едо, в верховный совет, тот доложит сиогуну, сиогун микадо, и потому ответа скоро получить — *унмоглик*! невозможно. Губернатор прислал только небольшое количество живности и зелени, прося принять это в подарок. Ему сказали, что возьмут с условием, если и он примет ответный подарок, *контр-презент*, как они называют.

Наши, взятые из Китая и на Бонин-Сима, утки и куры частию состарелись, не столько от времени, сколько от качки, пушечных выстрелов и других дорожных и морских беспокойств, а частью просто были съедены. Надо было послать транспорт в Китай, за быками и живностью, а шкуну, с особыми приказаниями, на север, к берегам Сибири. Об этом объявили губернатору затем, чтоб он дал приказание своим, при возвращении наших судов, впустить их беспрепятственно на рейд. Он ужасно встревожился, опасаясь, вероятно, не за подкреплением ли идут суда, и поспешно прислал сказать, чтобы мы не посылали транспорта, что свежую провизию мы можем покупать от голландцев, а они будут получать от японцев.

Мы обрадовались, и адмирал принял предложение, а транспорт все-таки послал, потому что быков у японцев бить запрещено, как полезный рабочий скот, и они мяса не едят, а все рыбу и птиц, поэтому мы говядины достать в Японии не могли. Да притом надо было послать бумаги и письма, через Гон-Конг и Ост-Индию, в Европу. Губернатор ужасно опростоволосился. А мы в выигрыше: в неделю два раза дается длинная записка прислать того, другого, третьего, живности, зелени и т. п. От этого, по средам и пятницам, куча японцев толпится на палубе. Вот сегодня одна партия приехала сказать, что другая везет свинью, и точно привезли. Вчера не преминули сначала дать знать, что привезут воды, а потом уже привезли. Даже и ту воду, которая следовала на корвет, они привезли сначала к нам на фрегат, сказать, что привезли, а потом уже на корвет, который стоит сажен на сто пятьдесят ближе к городу. Теперь беспрестанно слышишь щелканье соломенных

подошв, потом визг свиньи, которую тащат на трап, там глухое падение мешка с редькой, с капустой; вон корзинку яиц тащат, потом фруктов, груш, больших, крепких и годных только для компота, и *какисов* или *какофиг*.

Мы воспользовались этим случаем и стали помещать в реестрах разные вещи: трубки японские, рабочие лакированные ящики с инкрустацией и т. п. Но вместо десяти, двадцати штук они вдруг привезут три, четыре. На мою долю досталось, однако ж, кое-что: ящик, трубка и другие мелочи. Хотелось бы выписать по нескольку штук на каждого, но скупо возят. За ящик побольше берут по 12 таилов (таил — около 3 р. асс.), поменьше —8.

Промахнувшись раз, японцы стали слишком осторожны: адмирал сказал, что, в ожидании ответа из Едо об отведении нам места, надо свезти пока на пустой, лежащий близ нас, камень хронометры, для поверки.Об этом вскользь сказали японцам: что же они? на другой день на камне воткнули дерево, *чтоб сделать камень похожим на берег*, на который мы обещали не съезжать. Фарсёры!

30-го августа, в Александров день, был завтрак у именинника барона Шлипенбаха на корвете. Было очень весело. Между различными развлечениями было одно очень замечательное. На палубу явилось человек осьмнадцать мальчиков, от 12 до 16 лет. Они стройно и согласно пели романсы, хоровые песни: у одного чистый, звучный сопрано, у другого прекрасный контральто. Наконец двое самых маленьких плясали по-русски. Их заставляли говорить наизусть басни Крылова. У всех нерусские физиономии — кто бы это были? Камчадалы! Они учатся в школе, в Петропавловске, и готовятся в лоцманские и штурманские должности. Вот где зажглась искра просвещения и искусства! Все эти мальчики по праздникам ездили на фрегат и прекрасно хором пели обедню.

Нас посетил в начале сентября помощник здешнего обер-гофта, или директора голландской фактории, молодой человек, по имени... забыл как. Самого обер-гофта зовут Донкер Курциус. Он происходит из старой голландской фамилии. С помощником приехала куча японских переводчиков: они не отходили от него ни на шаг. С ним заговорили по-французски, но он просил говорить не иначе, как по-голландски, опасаясь японцев. Жалкое положение — сидеть в тюрьме, бог знает из чего! Этот молодой человек уже девять лет здесь. Он сказал, что на другой день явится сам обер-гофт, с визитом. Но тот ни на другой, ни на третий день не являлся, потом дал знать, что нездоров. Наконец, когда, по возвращении нашего транспорта из Китая, адмирал послал обер-гофту половину быка, как редкость здесь, он благодарил коротенькою записочкой, в которой выражалось большое удовольствие, что адмирал понял настоящую причину его мнимой невежливости.

2-го сентября, ночью часа в два, задул жесточайший ветер: порывы с гор, из ущелий, были страшные. В три часа ночи, несмотря на луну, ничего не стало видно, только блистала неяркая молния, но без грома, или его не слыхать было за ветром.

Трудно, живучи на берегу, представить себе такой ветер! Гул от него, шум снастей, командный крик — просто ад! Я в свое окошечко видел блуждающий свет фонарей, слышал, точно подземный грохот, стук травимой цепи и глухое, тяжелое падение другого якоря. Рассвело. Я вышел на палубу, жарко; дышать густым, влажным и теплым воздухом было тяжело до тоски. Я перешел в капитанскую каюту, сел там на окно и смотрел на море: оно напоминало выдержанный нами в китайском море ураган. Отдали третий якорь. Весь рейд был как один огромный водоворот. Вода крутилась и кипела, ветер с воем мчал ее в виде пыли, сек волны, которые, как стадо преследуемых животных, метались на прибрежные каменья, потом на берег, затопляя на мгновение хижины, батареи, плетни и палисады. Японские лодки, притаясь под берегом, качались, как скорлупки.

Часов в семь утра мгновенно стихло, наступила отличная погода. Следующая и вчерашняя ночи были так хороши, что не уступали тропическим. Какие нежные тоны — сначала розового, потом фиолетового, вечернего неба! какая грациозная, игривая группировка облаков! Луна бела, прозрачна, и какой мягкий свет льет она на все!

Но скучно и жарко: бесконечное наше лето, начавшееся с января у берегов Мадеры, тянется до сих пор, как кошмар. Пройдет ли оно? Сегодня хотя и прохладно, но надолго ли? «Дайте срок: ужо задует от тропиков, будет вам прохлада!»— пророчески, как Сибилла, ворчит дед. Дни идут однообразно. Встают матросы в четыре часа (они ложатся в восемь), и начинается мытье палубы с песком и каменьями. Это делается над моей головой. Проснешься, послушаешь и опять заснешь, да ведь как сладко, под это трение камня и песку об доски, как под дробный стук дождя в деревянную кровлю! От шести до семи с половиной встают и офицеры и идут к поднятию флага, потом пьют чай, потом — кто куда. Начинается ученье, тревоги, движение парусами. Я, если хороша погода, иду на ют и любуюсь окрестностями, смотрю в трубу на холмы, разглядываю деревни, хижины, движущиеся фигуры людей, вглядываюсь внутрь хижин, через широкие двери и окна, без рам и стекол, рассматриваю проезжающие лодки, с группами японцев; потом сажусь за работу и работаю до обеда. Обедают от часу до половины третьего, потом сон, потом прогулка, одни и те же битые и перебитые разговоры. А там чай, прогулка по палубе, при звуках музыки нашего оркестра, затем картина вечерней зари и великолепно сияющих, точно бенгальскими огнями, в здешнем редком и прозрачном воздухе, звезд. Ходишь вечером

посидеть то к тому, то к другому; улягутся, наконец, все, идти больше не к кому, идешь к себе и садишься вновь за работу.

Приезд японцев не раз прерывает наши дневные занятия. Заслышишь щелканье их туфлей по палубе, оставишь перо, возьмешь фуражку и пойдешь смотреть, зачем приехали. Вот так приехали они 5 сентября. Мне нездоровилось: я, ослабевший, заснул до обеда. Фаддеев будит: «Поди, ваше высокоблагородие, японцы здесь: приехал новый, такой *толстой*». Я застал его уже у адмирала, с другими японцами. У него круглое, полное и смуглое лицо, без румянца, как у всех у них, с выдавшимися донельзя верхними зубами, с постоянною, отчасти невольною, по причине выдавшихся зубов, улыбкою. Он очень проворен и суетлив; зовут его *Кичибе*. Он приехал поговорить о церемониале, с каким нужно принять посланника и бумагу в верховный совет. А! значит, получен ответ из Едо, хотя они и говорят, что нет: лгут, иначе не смели бы рассуждать о церемониале, не зная, примут ли нас. Мне поручено составить проект церемониала, то есть как поедет адмирал в город, какая свита будет сопровождать его, какая встреча должна быть приготовлена и т.п. Это очень важное дело здесь.

6-го. Так и есть, ответ получен. Сегодня явился опять новый старший переводчик *Кичибе* и сказал, что будто сейчас получили ответ. У меня бумага о церемониале была готова, когда меня позвали в адмиральскую каюту, где были японцы. К. Н. Посьет стал им передавать изустно, по-голландски, статьи церемониала. Кичибе улыбался, кряхтел, едва сидел от нетерпения на стуле, выслушивая его слова. Он ссылался на нашего посланника Резанова, говоря, что у него было гораздо меньше свиты. Ему отвечали, что это нам не пример, что нынешнее посольство предпринято в бо́льших размерах, оттого и свиты больше. Адмирал потому более настаивал на этом, что всем офицерам хотелось быть на берегу.

Не предвидя возможности посылать к вам писем из Нагасаки, я перестал писать их и начал вести дневник. Но случай послать письмо представляется, и я вырываю несколько листов из дневника, чем и заключу это письмо. Сообщу вам, между прочим, о нашем свидании с нагасакским губернатором, как оно записано у меня под 9-м сентября.

«Что это, откуда я? где был, что видел и слышал? Прожил ли один час из тысячи одной ночи, просидел ли в волшебном балете, или это так мелькнул перед нами один из тех калейдоскопических узоров, которые мелькнут раз в воображении, поразят своею яркостью, невозможностью и пропадут без следа?

Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видали много картин в восточном вкусе и потом забывали, как минутную мечту, как вздорный сон, прервавший строгую думу, оторвавший вас от настоящей жизни? Ну, а если б вдруг вам сказали, что этот балет, эта мечта, узор, сон — не балет, не меч-

та, не узор и не сон, а чистейшая действительность? «Где-нибудь на островах, у Излера?»[1] — возразите вы. Да, на островах конечно, но не у Излера, а у Овосавы Бунгоно-ками-сама, нагасакского губернатора. Мы сейчас от него.

Не подумайте, чтоб там поразила нас какая-нибудь нелепая пестрота, от которой глазам больно, груды ярких тканей, драгоценных камней, ковров, арабески — все, что называют восточною роскошью,— нет, этого ничего не было. Напротив, все просто, скромно, даже бедно, но все странно, ново: что шаг, то небывалое для нас.

Еще 5, 6 и 7 сентября ежедневно ездили к нам гокейнсы договариваться о церемониале нашего посещения. Вы там в Европе хлопочете в эту минуту о том, *быть или не быть*, а мы целые дни бились над вопросами: *сидеть* или *не сидеть*, *стоять* или *не стоять*, потом *как и на чем* сидеть и т. п. Японцы предложили сидеть по-своему, на полу, на пятках. Станьте на колени и потом сядьте на пятки — вот это и значит сидеть по-японски. Попробуйте, увидите, как ловко: пяти минут не просидите, а японцы сидят по нескольку часов. Мы объявили, что не умеем так сидеть; а вот не хочет ли губернатор сидеть по-нашему, на креслах? Но японцы тоже не умеют сидеть по-нашему, а кажется, чего проще? с непривычки у них затекают ноги. Припомните, как угощали друг друга *Журавль и Лисица*,— это буквально одно и то же.

На другой день рано утром явились японцы, середи дня опять японцы и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная, широкая лодка, с шелковым хвостом на носу, с разрубленной кормой. Это младшие *толки* едут сказать, что сейчас будут старшие *толки*, а те возвещают уже о прибытии *гокейнсов*. Зачем еще? «Да все о церемониале».— «Опять?» — «Мнение губернатора привезли».— «Ну?» — «Губернатор просит, нельзя ли на полу-то вам посидеть?..» — начал со смехом и ужимками Кичибе.

Он, воротясь из Едо, куда был послан, кажется, присутствовать при переговорах с американцами, заменил Льоду и Садагору, как старший.

«Ах ты, боже мой! ведь сказали, что не сядем, не умеем, и платья у нас не так сшиты, и тяжело нам сидеть на пятках...» — «Да вы сядьте хоть не на пятки, просто, только протяните ноги куда-нибудь в сторону...» — «Не оставить ли их на фрегате?» — ворчали у нас и, наконец, рассердились. Мы объявили, что привезем свои кресла и стулья и сядем на них, а губернатор пусть сидит на чем и как хочет.

Кичибе, Льода и Садагора — все поникли головой, но потом согласились. Все это говорили они в капитанской каюте. Адмирал объявил им утром свой ответ и, узнав, что они вечером

---

[1] Излер И. — владелец увеселительного сада в Петербурге.

приехали опять с пустяками, с объяснениями о том, как сидеть, уже их не принял, а поручил разговаривать с ними нам. «Да вот еще,— просили они,— губернатор желал бы угостить вас, так просит принять завтрак».— «С удовольствием»,— приказал сказать адмирал. «После разговора о делах,— продолжал Кичибе,— губернатор пойдет к себе *отдохнуть*, и вы тоже пойдете отдохнуть в другую комнату,— прибавил он, вертясь на стуле и судорожно смеясь,— да и... позавтракаете».— «Одни? — спросили его,— вы никак с ума сошли? У нас в Европе этого не делается».— «По-японски это весьма употребительно,— сказали они,— мы так всегда...»

Но, кажется, лгали: они хотели подражать адмиралу, который велел приготовить, в первое свидание с японцами на фрегате, завтрак для гокейнсов и поручил нам угощать их, а сам не присутствовал. Боже мой! сколько просьб, молений! Кичибе вертелся, суетился; у него по вискам лились потоки испарины. Льода кланялся, улыбался, как только мог хуже. Суровый Садагора и тот осклабился. Но мы были непреклонны. Все *толки* опечалились. Со вздохом перешли они потом к другим вопросам, например к тому, в чьих шлюпках мы поедем, и опять начали усердно предлагать свои, говоря, что они этим хотят выразить нам уважение. Но мы уклонились и сказали, что у нас много своих; опять упрашиванья с их стороны, отказ с нашей. У них вытянулись лица.

Все это такие мелочи, о которых странно бы было спорить, если б они не вели за собой довольно важных последствий. Уступка их настояниям в пустяках могла дать им повод требовать уступок и в серьезных вопросах и, пожалуй, повести к некоторой заносчивости в сношениях с нами. Оттого адмирал и придерживался постоянно принятой им в обращении с ними системы: кротости, вежливости и твердости, как в мелочных, так и в важных делах. По мелочам этим, которыми начались наши сношения, японцам предстояло составить себе о нас понятие, а нам установить тон, который должен был господствовать в дальнейших переговорах. Поэтому обстоятельство это гораздо важнее, нежели кажется с первого взгляда.

У нас стали думать, чем бы оказать им внимание, чтоб смягчить отказы, и придумали сшить легкие полотняные или коленкоровые башмаки, чтоб надеть их сверх сапог, входя в японские комнаты. Это — восточный обычай скидать обувь: и японцам, конечно, должно понравиться, что мы не хотим топтать их пола, на котором они едят, пьют и лежат. Пошла суматоха: надо было в сутки сшить, разумеется на живую нитку, башмаки. Всех заняли, кто только умел держать в руках иглу. Судя по тому, как плохо были сшиты мои башмаки, я подозреваю, что их шил сам Фаддеев, хотя он и обещал дать шить паруснику. Некоторые из нас подумывали было ехать в калошах, чтоб было что снять при входе в комнату, но для однообразия

последовали общему примеру. Впрочем, я, пожалуй, не прочь бы и сапоги снять, даже сесть на пол, лишь бы присутствовать при церемонии.

Вечером, видим, опять едут японцы. «Который это раз? зачем?» — «Да все о церемониале».— «Что еще?» — «Губернатор просит, нельзя ли вам угоститься без него: так выходит хорошо по-японски»,— говорит Кичибе. «А по-русски не выходит»,— отвечают ему. Начались поклоны и упрашиванья. «Ну, хорошо, скажите им,— приказал объявить адмирал, узнав, зачем они приехали,— что, пожалуй, они могут подать чай, так как это их обычай; но чтоб о завтраке и помину не было».

Японцы обрадовались и тому, особенно Кичибе. Видно, ему приказано от губернатора непременно устроить, чтоб мы приняли завтрак: губернатору, конечно, предписано от горочью, а этому от сиогуна. «Еще губернатор,— начал Кичибе,— просит насчет шлюпок: нельзя ли вам ехать на нашей...» — «Нельзя»,— коротко и сухо отвечено ему.

Стали потом договариваться о свите, о числе людей, о карауле, о носилках, которых мы требовали для всех офицеров непременно. И обо всем надо было спорить почти до слез. О музыке они не сделали, против ожидания, никакого возражения; вероятно, всем, в том числе и губернатору, хотелось послушать ее. Уехали.

На другой день, 8-го числа, явились опять, попробовали, по обыкновению, настоять на угощении завтраком, также на том, чтоб ехать на их шлюпках, но напрасно. Им очень хотелось настоять на этом, конечно затем, чтоб показать народу, что мы *не едем сами*, а *нас везут*, словом, что чужие в Японии воли не имеют.

Потом переводчики попросили изложить по-голландски все пункты церемониала и отдать бумагу им, для доставления губернатору. Им сказано, что бумага к вечеру будет готова и чтоб они приехали за ней; но они объявили, что лучше подождут. Я ушел обедать, а они все ждали, потом лег спать, опять пришел, а они не уезжали, и так прождали до ночи. Им дали на юте обедать, и Посьет обедал с ними. Нужды нет, что у них не едят мяса, а они ели у нас пирожки с говядиной и суп с курицей. Велели принести с лодок и свой обед, между прочим рыбу, жареную, *прессованную* и разрезанную правильными кусочками. К. Н. Посьет говорит, что это хорошо. Не знаю, правда ли: он в деле гастрономии такой снисходительный.

Они уехали, сказав, что свидание назначено завтра, 9-го числа, что *рентмейстер*, первый после губернатора чиновник в городе, и два губернаторские секретаря приедут известить нас, когда губернатор будет готов принять. Мы назначили им в 10 часов утра. Тут они пустились в договоры, как примем, где посадим чиновников. «На креслах, на диване, на полу: пусть сядут, как хотят, направо, налево, пусть влезут хоть

на стол»,— сказано им. «Нельзя ли нарисовать, как они будут сидеть?» — сказал Кичибе.

Ну сделайте милость, скажите, что делать с таким народом? А надо говорить о деле. Дай бог терпение! Вот что значит запереться от всех: незаметно в детство впадешь.

Настало вожделенное утро. Мы целый месяц здесь: знаем подробно японских свиней, оленей, даже раков, не говоря о самих японцах, а о Японии еще ничего сказать не могли. «Фаддеев! весь парадный костюм мне приготовить; и ты поедешь; оденься». Все нарядились в парадные платья. Я спросил белый жилет, смотрю — он уже не белый, а желтый. Шелковые галстуки, лайковые перчатки — все были в каких-то чрезвычайно ровных, круглых и очень недурных пятнах, разных видов, смотря по цвету, например на белых перчатках были зеленоватые пятна, на палевых оранжевые, на коричневых массака и так далее: всё от морской сырости. «Что ж ты не проветривал? — строго заметил я Фаддееву,— видишь, ни одной годной пары нет?» — «Да это так нарочно сделано»,— отвечал он, пораженный круглой, правильной формой пятен. «А галстуки тоже нарочно с пятнами?» Фаддеев стороной посмотрел на галстуки. «И они в пятнах,— сказал он про себя,— что за чудо!»

Но о перчатках нечего было и хлопотать: мы с апреля, то есть с мыса Доброй Надежды, и не пробовали надевать их: напрасный труд, не наденешь в этом жару, а и наденешь, так будешь не рад — не скинешь после.

В 10-м часу приехали сначала оппер-баниосы, потом и секретари. Мне и К. Н. Посьету поручено было их встретить на шканцах и проводить к адмиралу. Около фрегата собралось более ста японских лодок, с голым народонаселением. Славно: пестроты нет, все в одном и том же костюме, с большим вкусом! Мы с Посьетом ждали у грот-мачты, скоро ли появятся гости, и что за секретари в Японии, похожи ли на наших?

Вот идут по трапу и ступают на палубу, один за другим, и старые и молодые японцы, и об одной и о двух шпагах, в черных и серых кофтах, с особенно тщательно причесанными затылками, с особенно чисто выбритыми лбами и бородой, словом молодец к молодцу: длиннолицые и круглолицые, самые смуглые, и изжелта, и посветлее, подслеповатые и с выпученными глазами, то донельзя гладкие, то до невозможности рябые. А что за челюсти, что за зубы! И все это лезло, лезло на палубу... Да будет ли конец? Показались переводчики, а за ними и секретари. «Которые же секретари? где?» — спрашивали мы. «Да вот!..»

Весь этот люд, то есть свита, все до одного вдруг, как по команде, положили руки на колени и поклонились низко, и долго оставались в таком положении, как будто хотят играть в чехарду. «Это-то секретари?» На трап шли, переваливаясь с ноги на ногу, два старика, лет 70-ти каждый, плешивые,

с седыми жиденькими косичками, в богатых штофных юбках, с широкой бархатной по подолу обшивкой, в белых бумажных чулках, и, как все прочие, в соломенных сандалиях. Они едва подняли веки на нас, на все, что было кругом, и тотчас же опустили. Грянула музыка — опять они подняли веки и опять опустили. Потом тихо поплелись, шаркая подошвами, куда мы повели их, не глядя по сторонам. Оппер-баниосы тут же поступили в их свиту и шли за ними. И они, в свою очередь, *хикали*, когда те обращали к ним речь. Сначала их привели в капитанскую каюту и посадили, по вчерашнему рисунку, на два кресла. Прочие не смели сесть. Секретари объявили, что желали бы видеть адмирала.

Так же сонно, не глядя ни на что вокруг, спустились они в адмиральскую каюту. Там, чтоб почтить их донельзя, подложили им на кресла, в отличие от свиты, по сафьянной подушке, так что ноги у них не доставали до полу. Чего, кажется, почетнее? Им принесли чаю и наливки. Чай они хлебнули, а от наливки отказались, сказав, что им некогда, что они приехали только от губернатора объявить, что его превосходительство ожидает русских. Они просили нас не тотчас ехать вслед за ними, чтоб успеть приехать вовремя и встретить нас. «Наши лодки так скоро, как ваши, ходить не могут»,—прибавили они. Баниосы остались, чтоб ехать с нами.

9-го сентября. День рождения его императорского высочества великого князя Константина Николаевича. Когда, после молебна, мы стали садиться на шлюпки, в эту минуту, по свистку, взвились кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежали по реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех наций мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на солнце. Вместе с гимном «Боже, царя храни» грянуло троекратное ура. Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пятисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодушно огласили воздух криком изумления и восторга.

Впереди шла адмиральская гичка: К. Н. Посьет ехал в ней, чтоб установить на берегу почетный караул. Сзади ехал катер с караулом, потом другой, с музыкантами и служителями, далее шлюпка с офицерами, за ней катер, где был адмирал со свитой. Сзади шел еще вельбот; там сидел один из офицеров. Впереди, сзади, по бокам торопились во множестве японские шлюпки — одни, чтоб идти рядом, другие хотели обогнать. Ехали медленно, около часа; музыка играла все время. По батареям, пристаням, холмам — везде толпились кучи бритых голов, разноцветных, больше синих халатов. Лодки, как утки, плавали вокруг, но близко к нам не подходили.

Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защищаться от досады, глядя на места, где природа сделала с своей стороны

все, чтоб дать человеку случай приложить и свою творческую руку и наделать чудес, и где человек ничего не сделал. Вон тот холм, как он ни зелен, ни приютен, но ему чего-то недостает: он должен бы быть увенчан белой колоннадой, с портиком или виллой, с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю да пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозились люди. Тут, на высокой горе, стоять бы монастырю, с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров крестом. Здесь бы хорошо быть складочным магазинам, перед которыми теснились бы суда, с лесом мачт...

«А что, если б у японцев взять Нагасаки?» — сказал я вслух, увлеченный мечтами. Некоторые засмеялись. «Они пользоваться не умеют,— продолжал я,— что бы было здесь, если б этим портом владели другие? Посмотрите, какие места! Весь восточный океан оживился бы торговлей...»

Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями, через Китай и Корею, с Европой и Сибирью; но мы подъезжали к берегу. «Где же город?» — «Да вот он»,— говорят. «Весь тут? за мысом ничего нет? так только-то?»

Мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых, невзрачных, одноэтажных домов. Налево, где я предполагал продолжение города, ничего не было: пустой берег, маленькие деревушки да отдельные, вероятно рыбачьи, хижины. По мысам, которыми замыкается пролив, все те же дрянные батареи да какие-то низенькие и длинные здания, вроде казарм. К берегам жмутся неуклюжие большие лодки. И все завешено: и домы, и лодки, и улицы, а народ, которому бы очень не мешало завеситься, ходит уж чересчур нараспашку.

Я начитался о многолюдстве японских городов и теперь понять не мог, где же помещается тут до шестидесяти тысяч жителей, как говорит, кажется, Тунберг? «Сколько жителей в Нагасаки?» — спросил я однажды Баба́-Городзаймона, через переводчика, разумеется. Он повторил вопрос по-японски и посмотрел на другого баниоса, тот на третьего, этот на ондер-баниоса, а ондер-баниос на переводчика. И так вопрос и взгляд дошли опять до Ба́бы, но без ответа. «Иногда бывает меньше,— сказал, наконец, Садагора,— а в другой раз больше». Вот вам и ответ! Они всего боятся; все им запрещено: проврутся во вздоре — и за то беда. Я спросил однажды, как зовут сиогуна. «Не знаем»,— говорят. Впрочем, у них имя государя действительно почти тайна, или по крайней мере они, из благоговения, не произносят его; по смерти его ему дают другое имя. У них вообще есть обычай менять имена по нескольку раз в жизни, в разные эпохи, например при женитьбе и тому подобных обстоятельствах.

Мы все ближе и ближе подходили к городу: везде, на высотах, и по берегу, и на лодках, тьмы людей. Вот, наконец, и голландская фактория. Несколько голландцев сидят на балконе. Мне показалось, что один из них поклонился нам, когда мы поравнялись с ними. Но вот наши передние шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором был и я, держался на веслах, ожидая, пока там все установится.

Берег! берег! Наконец мы ступили на японскую землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не очень занимательный, хоть и не выходить!

На пристань вела довольно высокая, из дикого камня, лестница. Набережная плотно убита была песком: это широкая площадка. Домы были завешены сплошной, синей и белой, холстиной. Караул построился в две шеренги по правую сторону пристани, офицеры по левую. Сзади толпился тощей кучкой народ, мелкий, большею частью некрасивый и голый. Видно было, что на набережную пустили весьма немногих: прочие глядели с крыш, из-за занавесок, провертя в них отверстия, с террас, с гор — отовсюду. В толпе суетился какой-то старик с злым лицом, тоже не очень одетый. Он унимал народ, не давал лезть вперед, чему, кроме убедительных слов, немало способствовала ему предлинная жердь, которая была у него в руках.

Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла, караул и офицеры отдали честь. А где же встреча, кто ж примет: одни переводчики? Нет, это шутки! Велено спросить, узнать и вытребовать.

Переводчики засуетились, забегали, а мы пока осматривали носилки или «норимоны» по-японски, которые, по уговору, ожидали нас на берегу. Их было двенадцать или еще, кажется, больше, по числу офицеров. Я думаю, их собрали со всего города. Они заменяют в Японии наши кареты. Носилки, довольно красивые на взгляд, обиты разными материями, украшены значками и кистями. Но в них сесть было нельзя: или ног, или головы девать некуда. «Не для пыток ли заведены у них эти экипажы?» — подумаешь, глядя на них. Полунагие носильщики, на толстой жерди, продетой вверху, несут норимоны на плечах. Все это крайне неловко, не то что в Китае. В Гон-Конге меня носили в препокойных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на святой неделе. В них сидишь, как в креслах. Кроме носилок, была тут, говорят, еще и лошадь. Я не заметил лошади и не знаю, зачем она была. В этой суматохе простительно и слона не заметить. Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти клетки, то есть носилки, но тотчас же выскочили и пошли пешком.

Наконец явился какой-то старик с сонными глазами, хорошо одетый; за ним свита. Он стал неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не знаю, торжественность ли они выра-

жают этим апатическим взглядом, но только сначала, без привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры, в юбках, с косичками и голыми коленками.

Я стоял сзади, в свите адмирала, в хвосте нашей колонны. Вдруг впереди раздалась команда: «Марш вперед!» — музыка грянула, и весь отряд тронулся с места. Слышались мерные и дробные шаги идущих в ногу матросов. Отошли не более ста сажен по песчаной набережной и стали подниматься на другую каменную лестницу. По сторонам расставлены были, на сажень один от другого, японские... Ужели это солдаты? Посмотрите, что это такое: взятые на подбор, поменьше ростом, японцы, в маленьких, в форме воронки, лакированных шапках, с сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми коленками. На плечах у них, казалось, были ружья: надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах, а может быть, были одни чехлы без ружей. Здесь все может быть, чего в других местах не бывает.

Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по лестнице, штыки сверкали на солнце, музыка уходила вперед и играла все глуше и глуше. Скомандовали: «Левое плечо вперед!» — колонна сжалась, точно змей, в кольцо, потом растянулась и взяла направо: музыка заиграла еще глуше, как будто вошла под свод, и вдруг смолкла.

Над головой у нас голубое, чудесное небо, вдали террасы гор, кругом странная улица, с непохожими на наши домами и людьми тоже.

Мы завернули за колонной направо, прошли ворота и очутились на чистом, мощеном дворе, перед широким деревянным крыльцом, без дверей.

Прежде всего бросается в глаза необыкновенная опрятность двора, деревянной, крытой циновками лестницы, наконец и самих японцев. В этом им надо отдать справедливость. Все они отличаются чистотой и опрятностью, как в своей собственной персоне, так и в платье. Как бы в этой густой косе не присутствовать разным запахам, на этих халатах не быть пятнам? Нет ничего. Не говорю уже о чиновниках: те и опрятно и со вкусом одеты; но взглянешь и на нищего, видишь наготу или разорванный халат, а пятен, грязи нет. Тогда как у китайцев, например, чего не натерпишься, стоя в толпе! Один запах сандального дерева чего стоит! от дыхания, напитанного чесноком, кажется муха умрет на лету. От японцев никакого запаха. Глядишь на голову: через косу сквозит бритый, но чистый череп; голые руки далеко видны в широком рукаве: смуглы, правда, но все-таки чисты. Манеры у них приличны; в обращении они вежливы — словом, всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дела иметь: медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Бить их жаль. Они такой порядок устроили у себя, что если б и захотели не отказать или вообще сделать что-нибудь

такое, чего не было прежде, даже и хорошее, так не могут, по крайней мере добровольно. Например: вот они решили, лет двести с лишком назад, что европейцы вредны и что с ними никакого дела иметь нельзя, и теперь сами не могут изменить этого. А уж, конечно, они убедились, особенно в новое время, что если б пустить иностранцев, так от них многому бы можно научиться: жить получше, быть посведущее во всем, сильнее, богаче.

Правительство знает это, но, по старой памяти, боится, что христианская вера вредна для их законов и властей. Пусть бы оно решило теперь, что это вздор и что необходимо опять сдружиться с чужестранцами. Да как? Кто начнет и предложит? Члены верховного совета? — Сиогун велит им распороть себе брюхо. Сиогун? — Верховный совет предложит ему уступить место другому. Микадо не предложит, а если б и вздумал, так сиогун не сошьет ему нового халата и даст два дня сряду обедать на одной и той же посуде.

Известно, что этот микадо (настоящий, законный государь, отодвинутый узурпаторами-наместниками, или сиогунами, на задний план) не может ни надеть два раза одного платья, ни дважды обедать на одной посуде. Все это каждый день меняется, и сиогун аккуратно поставляет ему обновки, но простые, подешевле.

Японцы так хорошо устроили у себя внутреннее управление, что совет не может сделать ничего без сиогуна, сиогун без совета и оба вместе без удельных князей. И так система их держится и будет держаться на своих искусственных основаниях до тех пор, пока не помогут им ниспровергнуть ее... американцы или хоть... мы!

А теперь они еще пока боятся и подумать выглянуть на свет божий из-под этого колпака, которым так плотно сами накрыли себя. Как они испуганы и огорчены нашим внезапным появлением у их берегов! Четыре большие судна, огромные пушки, множество людей и твердый, небывалый тон в предложениях, самостоятельность в поступках! Что ж это такое?

Как они засуетились, когда попросили их убрать подальше караульные лодки от наших судов, когда вдруг вздумали и послали одно из судов в Китай, другое на север, без позволения губернатора, который привык, чтоб судно не качнулось на японских водах без спроса, чтоб даже шлюпки европейцев не ездили по гавани! Теперь им холодно объявляют, чего хотят и чего не хотят. Они думают противиться, иногда вдруг заговорят по-прежнему, *требуют*, а сами глазами умоляют не отказать, чтоб им не досталось свыше. Им поставится всякая наша вина в вину. Узнав, что завтра наше судно идет в море, они бегут к губернатору и торопятся привезти разрешение. Мы хохочем. Они объявили, что с батарей будут палить, завидя суда в море, и этим намекнули, что у них есть пушки, которые даже

палят. Палите, отвечаем с улыбкой. Просят не ездить далеко по рейду — мы ничего не отвечаем и едем. А губернатор все еще поднимает нос: делает запросы, хочет настаивать, да вдруг и спустится, уступит.

Давно ли сарказмом отвечали японцы на совет голландского короля отворить ворота европейцам? Им приводили в пример китайцев, сказав, что те пускали европейцев только в один порт, и вот что из этого вышло: открытие пяти портов, торговые трактаты, отмена стеснений и т. п. «Этого бы не случилось с китайцами,— отвечали японцы,— если б они не пускали и в один порт».

А вот теперь иностранцы постучались и в их заветные ворота, с двух сторон. Пришел и их черед практически решать вопрос: *пускать* или *не пускать* европейцев, а это все равно для японцев, что быть или не быть. Пустить — гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать... но их и теперь четыре судна, а пожалуй, придет и десять, всё с длинными пушками. А у них самих недлинные, и без станков или на соломенных станках. Есть еще ружья с фитилями, сабли, даже по две за поясом у каждого, и отличные... да что́ с этими игрушками сделаешь?

Пустить или не пустить — легко сказать! Пустить — когда им было так тихо, покойно, хорошо — и спать и есть. Не пустить... а как гости сами пойдут, да так, что губернатор не успеет прислать и позволения? С кем посоветоваться? у кого спросить? Губернатор не смеет решить. Он пошлет спросить в верховный совет, совет доложит сиогуну, сиогун — микадо. Этот, прямой и непосредственный родственник неба, брат, сын или племянник луны, мог бы, кажется, решить, но он сидит с своими двенадцатью супругами и несколькими стами их помощниц, сочиняет стихи, играет на лютне и кушает каждый день на новой посуде. Губернатору велят на всякий случай прогнать, истребить иностранцев или по крайней мере ни за что не пускать в Едо. Губернатору лучше бы, если б мы, минуя Нагасаки, прямо в Едо пришли: он отслужил свой год и, сдав должность другому, прибывшему на смену, готовился отправиться сам в Едо, домой, к семейству, которое удерживается там правительством и служит порукой за мужа и отца, чтоб он не нашалил как-нибудь на границе. А пока мы здесь, он не может ехать, даже когда приедет другой губернатор. И вот губернатор начинает спроваживать гостей — нейдут; чуть он громко заговорит или не исполняет просьб, не шлет свежей провизии, мешает шлюпкам кататься — ему грозят идти в Едо; если не присылает, по вызову, чиновников — ему говорят, что сейчас поедут сами искать их в Нагасаки, и чиновники едут. «Будьте вы прокляты!» — думает, вероятно, он, и чиновники то же, конечно, думают; только переводчик Кичибе ничего не думает: ему все равно, возьмут ли Японию, нет ли, он продолжает улыбаться, показывать

свои фортепиано изо рту, *хикает* и перед губернатором и перед нами.

Но что же делать им? и пустить нельзя, и не пустить мудрено. Они пробуют хитрить: то скажут, что мы съели всех свиней в Нагасаки, и скоро не будет свежей провизии; продают утку по талеру за штуку, думая этим надоесть. Ничего не берет! Талеры платят и едят дорогих уток, все равно как дешевых. Как поступить? Свысока ли, как прежде, или как требует время и обстоятельства? Они, в недоумении, пробуют и то и другое. Они видят, что их система замкнутости и отчуждения, в которой одной они искали спасения, их ничему не научила, а только остановила их рост. Она, как школьная затея, мгновенно рушилась при появлении учителя. Они одни, без помощи; им ничего больше не остается, как удариться в слезы и сказать: «Виноваты, мы дети!» — и, как детям, отдаться под руководство старших.

Кто же будут эти старшие? Тут хитрые, неугомонные промышленники, американцы, здесь горсть русских: русский штык, хотя еще мирный, безобидный, гостем пока, но сверкнул уже при лучах японского солнца, на японском берегу раздалось *вперед*! Avis au Japon! [1]

Если не нам, то американцам, если не американцам, то следующим за ними — кому бы ни было, но скоро суждено опять влить в жилы Японии те здоровые соки, которые она самоубийственно выпустила, вместе с собственною кровью, из своего тела, и одряхлела в бессилии и мраке жалкого детства.

Я не раз упомянул о *разрезывании брюха*. Кажется, теперь этот обычай употребляется реже. После нашего прихода, когда правительство убедится, что и ему самому, не только подданным, придется изменить многое у себя, конечно будут пороть брюхо еще реже. А вот пока что говорит об этом обычае мой ученый источник, из которого я привел некоторые места в начале этого письма.

«Каким же образом тое отправляется, как себе чрево распарывать, таким: собирают своих родителей и вместе идут в пагод, посреди того пагода постилают циновки и ковры, на тех садятся и пиршествуют, на прощании ядят изрядно и сладко, а пьют много. И как уже пир окончится, тот, который должен умереть, вставает и разрезывается накрест, так что его внутренняя вся вон выходят. Которыя ж смеляе, то, по таком действии, и глотку себе перерезывают. Думаю, что разных образцов, как себе чрево распарывать, между ими боле до пятьдесяти восходит».

Кажется, иностранцам, если только уступит правительство, с японским народом собственно не будет больших хлопот. Он чувствует сильную потребность в развитии, и эта потребность

[1] К сведению Японии! *(франц.)*

проговаривается во многом. Притом он беден, нуждается в сообщении с другими. Порядочные люди, особенно из переводчиков, обращавшихся с европейцами, охают, как я писал, от скуки и недостатка жизни умственной и нравственной. Низший класс тоже с завистью и удивлением поглядывает на наши суда, на людей, просит у нас вина, пьет жадно водку, хватает брошенный кусок хлеба, с детским любопытством вглядывается в безделки, ловит на лету в своих лодках какую-нибудь тряпку, прячет. К нам подъехала недавно лодка: в ней были два гребца, а на носу небрежно лежал хорошо одетый мальчик, лет тринадцати. Видно, что он выпросился погулять, посмотреть корабль и других людей. Гребцы, по обыкновению, хватали все, что им ни бросали, но не ели, а подавали ему: он смотрел с любопытством и прятал. Им спустили на веревке бутылку вина, водки, дали сухарей, конфект — всё брали. Да и высший класс, кажется, тяготится отчуждением от мира и своей сонной и бесплодной жизнию. Кто-то из переводчиков проговорился нам, что, в приезд Резанова, в их верховном совете только двое, из семи или осьми членов, подали голос в пользу сношений с европейцами, а теперь только два голоса говорят против этого. Кликни только клич — и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы. Они общежительны, охотно увлекаются новизной; и не преследуй у них шпионы, как контрабанду, каждое прошептанное с иностранцами слово, обмененный взгляд, наши суда сейчас же, без всяких трактатов, завалены бы были всевозможными товарами, без помощи сиогуна, который все барыши берет себе, нужды нет, что Япония, по словам властей, страна бедная и торговать будто бы ей нечем.

Сколько у них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости! Куча способностей, дарований — все это видно в мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что нет только содержания, что все собственные силы жизни перекипели, перегорели и требуют новых, освежительных начал. Японцы очень живы и натуральны; у них мало таких нелепостей, как у китайцев; например, тяжелой, педантической, устарелой и ненужной учености, от которой люди дуреют. Напротив, они всё выведывают, обо всем расспрашивают и всё записывают. Все почти бывшие в Едо голландские путешественники рассказывают, что к ним нарочно посылали японских ученых, чтоб заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между тем китайский ученый не смеет даже выразить свою мысль живым, употребительным языком: это запрещено; он должен выражаться, как показано в книгах. Если японцы и придерживаются старого, то из боязни только нового, хотя и убеждены, что это новое лучше. Они сами скучают и зевают, тогда как у китайцев, по рассказам, этого нет. Решительно японцы — французы, китайцы — немцы здешних мест.

Но пока им не растолковано и особенно не доказано, что им

хотят добра, а не зла, они боятся перемен, хотя и желают, не доверяют чужим и ведут себя, как дети. Они теперь мечутся, меряют орудия, когда они на них наведены, хотят в одну минуту выучиться строить батареи, лить пушки, ядра и даже — стрелять. Они не понимают, что Россия не была бы Россией, Англия Англией в торговле, войне и во всем, если б каждую заперли на замок. Не дети ли, когда думали, что им довольно только не хотеть, так их и не тронут, не пойдут к ним даже и тогда, если они претерпевших кораблекрушение и брошенных на их берега иностранцев будут сажать в плен, купеческие суда гонять прочь а военные учтиво просить уйти и не приходить? Они думали, что и все так будет, что не доберутся до них, не захотят или не смогут.

Вот они теперь ссылаются на свои законы, обычаи, полагая, что этого довольно, что все это будет уважено безусловно, несмотря на то, что сами они не хотели знать и слышать о чужих законах и обычаях. За настойчивостью кроется страх, что мы не послушаем, не исполним их капризов. Им хочется отказать в требованиях, но хочется и узнать, что им за это будет: в самом ли деле будут драться, и больно ли? Ужели не пощадят их? Кажется, нет — и, пожалуй, припомнят всё: пролитую кровь христиан, оскорбление посланников, тюрьмы пленных, грубости, надменность, чванство. Еще дела не начались, а на Лючу, в прихожей у порога, и в Китае также, стоит нетерпеливо, как у долго не отпирающихся дверей, толпа миссионеров; они ждут не дождутся, когда настанет пора восстановить дерзко поверженный крест...

А нечего делать японцам против кораблей: у них, кроме лодок, ничего нет. У этих лодок, как и у китайских джонок, паруса из циновок, очень мало из холста, да еще открытая корма: оттого они и ходят только у берегов. Кемпфер говорит, что в его время сиогун запретил строить суда иначе, чтоб они не ездили в чужие земли. «Нечего, дескать, им там делать».

Но я забыл, что нас ждет Овосава Бунгоно-ками-сама, нагасакский губернатор. Мы остановились на крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях, или первой комнате, устланной белыми циновками, мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был Кичибе. Уж он маялся от нетерпения: ему, по-видимому, давно хотелось очнуться от своей неподвижности, посуетиться, поговорить, пошуметь и побегать. Только что мы на крыльцо, он вскочил, начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал рукой на анфиладу комнат, приглашая идти. Тут началась церемония надеванья коленкоровых башмаков. Мы натаскивали, натаскивали с Фаддеевым, едва натащили. Я не узнал Фаддеева: весь в красном, в ливрее, с стоячим воротником, на вытяжке, а лицо на сторону — неподражаем! Он числился при адмиральской каюте, с откомандированием, для прислуги, ко мне.

Мы пошли по комнатам: с одной стороны, заклеенная, вместо стекол, бумагой оконная рама доходила до полу, с другой— подвижные бумажные, разрисованные, и весьма недурно, или сделанные из позолоченной и посеребренной бумаги, ширмы, так что не узнаешь, одна ли это огромная зала, или несколько комнат.

В глубине зал сидели, в несколько рядов, тесной кучей, на пятках человеческие фигуры, в богатых платьях, с комическою важностью. Ни бровь, ни глаз не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли, мигают ли эти фигуры, живые ли они, наконец? И сколько их! Вот целые ряды в большой комнате; вот две массивные фигуры седых стариков посажены в маленьком проходе, как фарфоровые куклы; далее тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые и старые, с густыми и жиденькими косичками, похожими на крысий хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством за нами, а ведь этого ничего не было у них сорок лет, и почти никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. Между тем все они уставили глаза в стену или в пол и, кажется, побились об заклад о том, кто сделает лицо глупее. Все, более или менее, успели в этом; многие, конечно, неумышленно.

Общий вид картины был оригинален. Я был как нельзя более доволен этим странным, фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная. Раздавались только наши шаги. «Башмаки, башмаки!» — слышу вдруг чей-то шепот. Гляжу — на мне сапоги. А где башмаки? «Еще за три комнаты оставил»,— говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад: в самом деле, коленкоровые башмаки лежали на полу. Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть так же смирно и без нас, как при нас; они и не взглянули на меня. Догоняю товарищей, но отсталых не я один: то тот, то другой наклонится и подбирает башмаки. Наконец входим в залу, светлее и больше других: справа стоял, в нише, золоченый большой лук: знак ли это губернаторского сана, или так, украшение — я добиться не мог. Зала, как и все прочие комнаты, устлана была до того мягкими циновками, что идешь, как по тюфяку. Здесь эффект сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их тридцать.

В одно время с нами показался в залу и Овосава Бунгоно-ками-сама, высокий, худощавый мужчина, лет пятидесяти, с важным, строгим и довольно умным выражением в лице. Овосава — это имя, Бунгоно — нечто вроде фамилии, которая, кажется, дается, как и в некоторых европейских государствах, от владений, поместьев или земель, по крайней мере так у высшего сословия. Частица *но* повторяется в большей части фамилий и есть, кажется, не что иное, как грамматическая форма. *Ками* — почетное название, вроде нашего *и кавалер*; *сама* — господин, титул, прибавляемый сзади имен всех чиновных лиц.

Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно взглянул на ноги — проклятых башмаков нет как нет: они лежат подле сапог. Опираясь на руку барона Криднера, которую он протянул мне из сострадания, я с трудом напялил их на ноги. «Нехорошо»,— прошептал барон и засмеялся слышным только мне да ему смехом, похожим на кашель. Я, вместо ответа, показал ему на его ноги: они были без башмаков. «Нехорошо», — прошептал я в свою очередь.

А между тем губернатор, после первых приветствий, просил передать ему письмо и, указывая на стоявший на столике маленький лакированный ящик, предложил положить письмо туда.

Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но губернатор просил прежде *отдохнуть*, бог ведает от каких подвигов, и потом уже возобновить разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания прошла, по уговору, стоя.

В *отдыхальне*, как мы прозвали комнату, в которую нас повели и через которую мы проходили, уже не было никого: сидящие фигуры убрались вон. Там стояли привезенные с нами кресло и четыре стула. Мы тотчас же и расположились на них. А кому недостало, те присутствовали тут же, стоя. Нечего и говорить, что я пришел в отдыхальню без башмаков: они остались в приемной зале, куда я должен был сходить за ними. Наконец я положил их в шляпу, и дело там и осталось.

За нами вслед, шумной толпой, явились знакомые лица — переводчики: они ринулись на пол и в три ряда уселись посвоему. Мы завели с ними разговор. «У вас стекол нет вовсе в рамах?» — спросил К. Н. Посьет. «Нет», — был ответ. «У вас все домы в один этаж или бывают в два этажа?» — спрашивал Посьет. «Бывают в два»,— отвечал Кичибе и поглядел на Льоду. «И в три»,— сказал тот и поглядел на Садагору. «Бывают тоже и в пять»,— сказал Садагора. Мы засмеялись. «Часто у вас бывают землетрясения?»— спросил Посьет. «Да, бывают»,— отвечал Садагора, глядя на Льоду. «Как часто: в десять или двадцать лет?»— «Да, и в десять и в двадцать лет бывают»,— сказал Льода, поглядывая на Кичибе и на Садагору. «Горы расседаются, и домы падают»,— прибавил Садагора. И в этом тоне продолжался весь разговор.

Вдруг из дверей явились, один за другим, двенадцать слуг, по числу гостей; каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени, кланялся, ставил чашку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнатах, вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то одну, то другую руку и насилу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматен, только без сахару.

Опять появились слуги: каждый нес лакированную, деревянную подставку, с трубкой, табаком, маленькой глиняной

жаровней, с горячими углями и пепельницей, и тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки: набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел; а нам каково со стула? Я опять вспомнил угощенье *Лисицы* и *Журавля.*

Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если только можно назвать трубкой эти наперстки, в которые не поместится щепот нюхательного, не то что курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке, с первого взгляда, похож на кучу какой-то темно-красной пыли.

Кичибе суетился: то побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов *отдохнуть.* «Хорошо, можно»,— отвечали ему и в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтоб они больше одной рюмки вина не пили.

Только что мы перестали курить, явились опять слуги, каждый с деревянным, гладко отесанным и очень красивым, хотя и простым ящиком. Поставили перед нами по ящику: кто постарше, тем на ножках, прочим без ножек. Открываем— конфекты. Большой кусок чего-то вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец мелкие, сухие конфекты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего, недурно: если, на основании известной у нас в народе поговорки, можно «съесть и обсахаренную подошву», то морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти многого не выдумаешь, или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от вареной в сахаре моркови до пороху включительно, что и доказали китайцы и японцы, выдумав и то, и другое.

Наконец, не знаю в который раз, вбежавший Кичибе объявил, что если мы *отдохнули*, то губернатор ожидает нас, то есть если устали, хотел он, верно, сказать. В самом деле устали от праздности. Это у них называется дело делать. Мы пошли опять в приемную залу, и начался разговор.

Прежде всего сели на перенесенные в залу кресла, а губернатор на маленькое возвышение, на четверть аршина от пола. Кичибе и Льода оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и, как выстрел, пронзительный взгляд, потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Льода лежал все время так и только исподлобья бросал такие же пронзительные взгляды то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Льода присутствовал только для

поверки перевода и, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом, ровным бордюром вдоль стен, сидели на пятках все чиновники и свита губернатора.

Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только что он кончил, один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, стал, или, вернее, пал на колени, с поклоном принял бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени, без поклона подал бумагу ему и сел на свое место.

После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье вороны, голос Кичибе: он по-голландски передал содержание бумаги нам. Смеяться он не смел, но втягивал воздух в себя; гримасам и всхлипываньям не было конца.

В бумаге заключалось согласие горочью принять письмо. Только было, на вопрос адмирала, я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу, таким же порядком прочел ее; тот же старик, секретарь, взял и передал ее, с теми же церемониями, Кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что «письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может».

Оно покажется нелогично, не прочитавши письма, сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но, имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это крайний Восток. Я выше сказал, что они народ незакоренелый без надежды и упрямый: напротив, логичный, рассуждающий и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту; там же, напротив, где для них все ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы [1] привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи и отчуждение от света [2].

Но если вспомнить, что делалось в эпоху младенчества наших старых государств, как встречали всякую новизну, кото-

---

[1] Л о й л а Игнатий (1491—1556) — испанский монах, основатель реакционного католического ордена иезуитов. Считал оправданным любое преступление, совершенное в интересах католической церкви.

[2] Гончаров сравнивает изгнание католических миссионеров из Японии в конце XVI века с массовым избиением католиками протестантов (гугенотов) в Париже в ночь под праздник св. Варфоломея, 24 августа 1572 года.

рой не понимали, всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали физиков и астрономов, то едва ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделаться от иноземцев. Удивительно ли после этого, что осторожность и боязнь повторения старых зол отдалили их от нас, помешали им вырасти и что у них осталось только их природная смышленость да несколько опытов, давших им фальшивое понятие обо всем, что носит название образованности?

Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкою физиономий на смышленые, живые, вовсе глупые или только затупелые от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели, по обыкновению, сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых из почтения. Если губернатор и казался умнее прочих, так это, может быть, потому, что он был старше всех. А в Едо, верно, и он кажется глуп. Одно лицо забавнее другого.

Вон и все наши приятели: Баба́-Городзаймон например, его узнать нельзя: он, из почтения, даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть, и так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами: ни Самбро, ни Ойе-Саброски, ни переводчики не показывают вида, что замечают нас.

Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия: это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть. Что касается до лежанья на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это если не комедия, то балет в восточном вкусе, во всяком случае спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят точно одурелые или как фигуры воскового кабинета, не делают таких глупых лиц и не валяются по полу, а обходятся между собою проще и искреннее, как и мы не таскаем же между собой везде караул и музыку. Так думалось мне, и мало ли что́ думалось!

Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого: всё смесь, нежные, смягченные тоны того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и

индийцах, и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь, в толпе низшего класса, в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не из ярких, большею частью синий. В платьях же других, высших классов, допущены все смешанные цвета, но с большою строгостью и вкусом в выборе их.

Пробегая глазами только по платьям и не добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и выдавшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу: вместо крайнего Востока как будто на крайнем Западе: цвета в туалете — как у европейских женщин. Я заметил не более пяти штофных, и то неярких, юбок у стариков; у прочих, у кого гладкая серая или дикого цвета юбка, у других темно-синего, цвета Adelaïde, vert de gris, vert de pomme [1], словом все наши новейшие модные цвета, couleurs fantaisie[2], были тут.

Губернатор был в халате и юбке одного цвета, pensée[3], с темными тоненькими полосками. Мантилья его покроем отличалась от других. У всех прочих спина и рукава гладкие: последние, у кисти руки, широки; все вместе похоже на мантильи наших дам; у него рукава с боков разрезаны, и от них идут какие-то надставки, вроде маленьких крыльев. Это, как я узнал после, полупарадный костюм, соответствующий нашим вицмундирам. Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах?

Обычай сидеть на пятках происходит у них будто бы, как я читал где-то, оттого, что восточные народы считают неприличным показывать ноги, особенно перед высшими лицами. Не думаю: по крайней мере, сидя на наших стульях, они без церемонии выказывают голые ноги выше, нежели нужно, и нисколько этим не смущаются. Пусть они не считают нас за старших, но они воздерживались бы от этого по привычке, если б она у них была. Вся разница в восточной манере сидеть от нашей произошла, кажется, от простой и самой естественной причины. В Европе нежарко: мы ищем света и строим домы с большими окнами, сидим на возвышениях, чтоб быть ближе к свету; нам нужны стулья и столы. В Азии, напротив, прячутся от солнца: от этого окошек почти нет. Зачем же им в полупотемках громоздиться на каких-то хитро придуманных подставках, когда сама природа указывает возможность сесть там, где стоишь? А если приходится сидеть, обедать, беседовать, заниматься делом на том же месте, где ходишь, то, разумеется, пожелаешь, чтоб ноги были у всех чисты. От этого на Востоке, при входе, и надо снять туфли или сандалии. Самые земные

---

[1] серовато-зеленый и ярко-зеленый *(франц.)*.
[2] пестрые цвета *(франц.)*.
[3] темно-фиолетового *(франц.)*.

поклоны у них происходят от обычая сидеть на пятках. Стоять перед старшим или перед гостем, по их обычаю, неучтиво: они, встречая гостя, сейчас опускаются на пол, а сидя на полу, как же можно иначе поклониться почтительно, как не до земли?

С какой холодной важностью и строгостью в лице, с каким достоинством говорил губернатор, глядя полусурово, но с любопытством на нас, на новые для него лица, манеры, прически, на шитые золотом и серебром мундиры, на наше открытое и свободное между собой обращение! Мы скрадывали невольные улыбки, глядя, как он старался поддержать свое истинно японское достоинство.

Но это длилось недолго. Вдруг, когда он стал объяснять, почему скоро нельзя получить ответа из Едо, приводя, между причинами, расстояние, адмирал сделал ему самый простой и естественный вопрос: «А если мы сами пойдем в Едо морем, на своих судах: дело значительно ускорится? Мы, при хорошем ветре, можем быть там в какую-нибудь неделю. Как он думает?» Какая вдруг перемена с губернатором: что с ним сделалось? куда делся торжественный, сухой и важный тон и гордая мина? Его японское превосходительство смутился. Он вдруг снизошел с высоты своего величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть; потом склонил немного голову на левую сторону и с умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом говорил тихо и долго. «Хи, хи, хи!» — слышалось только из Кичибе, который, как груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверх дном шлюпку, лежал на полу, судорожно подергиваясь от этого всем существом его произносимого *хи*. Губернатор говорил, что «*японскому глазу больно* видеть чужие суда в двух портах Японии, кроме Нагасаки; что ответа мы тем не ускорим, когда пойдем сами», и т. п.

После «делового» разговора начались взаимные учтивости. С обеих сторон уверяли, что очень рады познакомиться. Мы не лгали: нам в самом деле любопытно было видеть губернатора, тем более, что мы месяц не сходили с фрегата и во всяком случае видели в этом развлечение. Но за г. Овосаву можно было поручиться, что в нем в эту минуту сидел сам отец лжи, дьявол, к которому он нас, конечно, и посылал мысленно. Говорят, не в пору гость хуже татарина: в этом смысле русские были для него действительно хуже татар. Я сказал выше, что Овосаве оставалось всего каких-нибудь два месяца до отъезда, когда мы приехали. Событие это, то есть наш приход, так важно для Японии, что правительство сочло необходимым присутствие обоих губернаторов в Нагасаки. Не правда ли, что Овосава Бунгоно имел причину сетовать на наше посещение?

После размена учтивостей губернатор встал и хотел было уходить, но адмирал предложил еще некоторые вопросы. Губурнатор просил отложить их до другого времени, опасаясь, конечно, всяких вопросов, на которые, без разрешения из Едо,

не знал, что отвечать. Он раскланялся и скрылся. Мы пошли назад. За нами толпа чиновников и переводчиков. Тут был и Бабà-Городзаймон. «Здравствуй, Бабà!» — сказал я уже не помню, на каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же день услали с нашим письмом в Едо. Он был счастлив: он тоже отслужил годичный срок и готовился уехать с губернатором к семейству, в объятия супруги, а может быть и супруг: у них многоженство не запрещено.

Проходя чрез *отдыхальню*, мы были остановлены переводчиками. Они заступили нам дорогу и просили покушать. В комнате стоял большой, прекрасно сервированный стол, установленный блюдами, бутылками всех форм, с мадерой, бордо, и чего-чего там не было! И все на европейский лад. Вероятно, стол, посуда и вина, а может быть, и кушанья, взяты были у голландцев. Адмирал приказал повторить свое неизбежное условие, то есть чтоб губернатор участвовал в завтраке. Кичибе, кланяясь, разводил руками, давился судорожным смехом и все двигался к столу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали — всё напрасно. Мы покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не слушая переводчиков. Едва мы вышли на крыльцо, музыка заиграла, караул отдал честь полномочному, и мы в прежнем порядке двинулись к пристани.

На пристани вдруг вижу в руках у Фаддеева и у прочих наших слуг те самые ящики с конфектами, которые ставили перед нами. «Что это у тебя?» — спросил я. «Коробки какие-то».— «Где ты взял?»— «Китаец дал... то бишь японец». — «Зачем?»— «Не могу знать». — «Зачем же ты брал, когда не знаешь?» — «Отчего не взять? Он сказал: на вот, возьми, отнеси домой, господам». — «Как же он тебе сказал, на каком языке?» — «По-своему».— «А ты понял!» — «Понял, ваше высокоблагородие. Чего не понять? говорит да дает коробки, так значит: *отнеси господам*».

Вон этот ящик стоит и теперь у меня на комоде. Хотя разрушительная десница Фаддеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России. В нем лежит пока табак, японский же.

— Чего вам дали? — спросили мы музыкантов на пристани.
— По рюмке воды,— угрюмо отвечало несколько голосов.
— Неужели? — спросил кто-то.
— Точно так, ваше благородие.
— Что ж вы?
— Выпили.
— Зачем же?
— Мы думали, что это... не вода.
— Да может быть, вода-то хорошая? — спросил я.
— Нештó: лучше морской,— отвечал один.

— Это полезно для здоровья,— заметил я.

Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных взглядов. Матросы долго не давали прохода музыкантам, напоминая им японское угощение.

Едва мы тронулись в обратный путь, японские лодки опять бросились за нами с криком «оссильян», взапуски, стараясь перегнать нас, и опять напрасно.

ДНЕВНИК

С 15 сентября по 11 ноября

15 и 16 сентября. Вчера приезжали японцы, вызванные нами: два оппер-баниоса. Их побранили за то, что лодки японские осмеливаются становиться близко; сказали, что будем насильно отбуксировывать их дальше и ездить кататься за линию лодок. Наш транспорт облепили лодки, с расспросами, где он был да долго ли и т. п. Мало этого: переводчики приехали еще к нам, вызвали Посьета из-за обеда узнать, правду ли объявили им. Он рассердился и сказал, чтоб они об этом вперед не спрашивали; что они во зло употребляют наше снисхождение. Сегодня были японцы с ответом от губернатора, что если мы желаем, то можем стать на внутренний рейд, но не очень близко к берегу, потому что будто бы помешаем движению японских лодок на пристани. Говорят, сегодня приехал новый губернатор на смену *Овосава Бунгоно.* Нового зовут *Мизно Чикогоно-ками-сама.* У нас был еще новый, приехавший из Едо же переводчик, *Эйноске.* Я спал и не видал никого. Приезжие и вида не показывают, что американцы были у них в Едо. Они думают, что мы и не знаем об этом; что вообще в Европе, как у них, можно утаить, что, например, целая эскадра идет куда-нибудь или что одно государство может не знать, что другое воюет с третьим. Адмирал хочет посылать транспорт опять в Шанхай, узнать: война или мир в Европе?

А тепло, хорошо; дед два раза лукаво заглядывал в мою каюту: «У вас опять тепло,— говорил он утром,— а то было засвежело». А у меня жарко до духоты. «Отлично, тепло!» — говорит он обыкновенно, войдя ко мне и отирая пот с подбородка. В самом деле 21° по Реомюру тепла в тени.

17-го. Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петербург: не до посетителей было, между тем они приезжали опять предложить нам стать на внутренний рейд. Им сказано, что хотим стать дальше, нежели они указали. Они поехали предупредить губернатора и завтра хотели быть с ответом. О береге все еще ни слова: выжидают, не уйдем ли. Вероятно, губернатору велено не отводить места, пока в Едо не прочтут письма из России и не узнают, в чем дело, в надежде, что, может быть, и на берег выходить не понадобится.

18, 19, 20-го. Приехали *гокейнсы* и переводчики: один гокейнс — новый, с глупым лицом, приехавший с другим губернатором из Едо. Я познакомился с новым переводчиком Эйноске. Он говорит по-английски очень мало, но понимает почти все. Он научился у голландцев, из которых некоторые знают английский язык. Эйноске учится немного и по-французски. Он сказал, что у него много книг, большею частью голландских; есть и французские. По-голландски он, по словам Посьета, знает хорошо. Они привезли приглашение стать на рейд, где мы хотели; даже усердно приглашали, настаивали, чтоб фрегат со второго рейда перешел в проход, ведущий на ближайший к Нагасаки рейд. Адмирал, напротив, хотел, чтоб суда наши растянулись и чтоб корвет стал при входе на внутренний рейд, шкуна и транспорт поместились в самом проходе, а фрегат остался бы на втором рейде, который нужно было удержать за собой. Иначе, лишь только фрегат вошел бы в проход, японцы выстроили бы линию из своих лодок позади его и загородили бы нам второй рейд, на котором нельзя было бы кататься на шлюпках; а они этого и добивались. Но мы поняли и не согласились. А как упрашивали они, утверждая, что они хлопочут только из того, чтоб нам было покойнее! «Вы у нас гости,— говорил Эйноске,— представьте, что пошел в саду дождь и старшему гостю (разумея фрегат) предлагают зонтик, а он отказывается...» — «Чтоб уступить его младшим (мелким судам)»,— прибавил Посьет.

Японские лодки вздумали мешать нашим ездить подальше и даже махали, чтоб те воротились. Сейчас подняли красный флаг, которым у нас вызывают гокейнсов: им объявили, чтоб этого не было; что если их лодки будут подходить близко, то их отведут силой дальше. Вообще их приняли сухо, а адмирал вовсе не принял, хотя они желали видеть его. Он приказал объявить им, что «и так много делают снисхождения, исполняя их обычаи: не ездят на берег; пришли в Нагасаки, а не в Едо, тогда *как могли бы* сделать это, а они не ценят ничего этого, и потому кататься будем».

19 числа перетянулись на новое место. Для буксировки двух судов, в случае нужды, пришло 180 лодок. Они вплоть стали к фрегату: гребцы, по обыкновению, голые; немногие были в простых, грубых, синих полухалатах. Много маленьких девчонок (эти все одеты чинно), но женщины ни одной. Мы из окон бросали им хлеб, деньги, роздали по чарке рому: они всё хватали с жадностью. Их много налезло на пушки, в порта. Крик, гам!

Корвет перетянулся, потом транспорт, а там и мы, но без помощи японцев, а сами, на парусах. Теперь ближе к берегу. Я целый день смотрел в трубу на домы, деревья. Всё хижины да дрянные батареи, с пушками на развалившихся станках. Видел я внутренность хижин: они без окон, только со входами;

видел голых мужчин и женщин, тоже голых сверху до пояса: у них надета синяя простая юбка — и только. На порогах, как везде, бегают и играют ребятишки; слышу лай собак, но редко.

21-го. Сегодня жарко, а вечером поднялся крепкий ветер; отдали другой якорь. Японцев не было: свежо, да и незачем; притом в последний раз холодно расстались.

Вечером была славная картина: заходящее солнце вдруг ударило на дальний холм, выглядывавший из-за двух ближайших гор, у подошвы которых лежит Нагасаки. Бледная зелень ярко блеснула на минуту, лучи покинули ее и осветили гору, потом пали на город, а гора уже потемнела; лучи заглядывали в каждую впадину, ласкали крутизны, которые, вслед за тем, темнели, потом облили блеском разом три небольшие холма, налево от Нагасаки, и, наконец, по всему берегу хлынул свет, как золото. Маленькие бухты, хижины, батареи, кусты, густо росшие по окраинам скал, как исполинские букеты, вдруг озарились — все было картина, поэзия, все, кроме батарей и японцев. С этими никакие лучи не сделали бы ничего.

24-го. Ничего не было, и даже никого: японцы, очевидно, сердятся за нашу настойчивость кататься по рейду, несмотря на караульные лодки, а может быть, и за холодный прием.

25-го сентября — ровно год, как на «Палладе» подняли флаг и она вышла на Кронштадтский рейд: значит, поход начался. У нас праздник, молебен и большой обед. Вызвали японцев: приехал *Хагивари-Матаса*, старший из баниосов, только что прибывший из Едо с новым губернатором.

Японцев опять погладили по голове: позвали в адмиральскую каюту, угостили наливкой и чаем и спросили о месте на берегу. Они сказали, что через день или два надеются получить ответ из Едо. Им объявили, что мы не прочь ввести и фрегат в проход, если только они снимут цепь лодок, заграждающих вход туда. Они сначала сослались, по обыкновению, на свои законы, потом сказали, что люди, нанимаясь в караул на лодках, снискивают себе этим пропитание. Посьет, по приказанию адмирала, отвечал, что ведь законы их не вечны, а всего существуют лет двести, то есть стеснительные законы относительно иностранцев, и что пора их отменить, уступая обстоятельствам. Эйноске очень умно и основательно отвечал: «Вы понимаете, отчего у нас эти законы таковы (тут он показал рукой, каковы они, то есть стеснительны, но сказать не смел), нет сомнения, что они должны измениться. Но корабли европейские,— прибавил он,— начали посещать, прилежно и во множестве, Нагасаки всего лет десять, и потому не было надобности менять».

Вот как поговаривают нынче японцы! А давно ли они не боялись скрутить руки и ноги приезжим гостям? давно ли называли европейские правительства дерзкими за то, что те смели писать к ним?

У нас все еще веселятся по поводу годовщины выхода в море. Музыка играет, песенники поют. Матросы тоже пировали, получив от начальства по лишней чарке. Были забавные сцены. В кают-компанию пришел к старшему офицеру писарь, с жалобой на музыканта Макарова, что он *изломал ему спину*. «И больно?» — спросили его. «Точно так-с,— отвечал он с той улыбкой человека навеселе, в которой умещаются и обида и удовольствие,— писать вовсе не могу»,— прибавил он, с влажными глазами и с той же улыбкой, и старался водить рукой по воздуху, будто пишет. «Да, видно, Макаров пьян?» — «Точно так-с». Позвали Макарова. Тот был трезвее его и хранил важную и угрюмую мину. «За что ты прибил его?» — был вопрос. «Я не прибил, я только ударил его в грудь...» — сказал он. «Точно так-с, в грудь»,— подтвердил писарь. «За что ж ты его?» — «С кулаком к роже лез!» — отвечал Макаров. «Ты лез?» — «Точно так-с, лез»,— отвечал писарь. Все хохотали. Прогнали обоих и велели помириться.

Вечером другая комедия: стали бить зорю; вдруг тот, кто играет на рожке, заиграл совсем другое. Вахтенный офицер строго остановил его. Когда все кончили, он подошел к нему. Матрос был не очень боек от природы, что показывало и лицо его. «Что ты заиграл?» — спросил офицер. Молчание. «Что ты заиграл?» — «Ошибся! — отвечал тот,— забыл». — «А есть не забываешь?» — «Никак нет-с». — «Сколько раз в день?» — «Два раза».— «Когда?» — «За обедом и за ужином».— «А за завтраком?» — «И за завтраком». — «Стало быть, сколько же раз?» — «Два раза».— «Как два раза: обед?» — «Точно так».— «Ужин?» — «Ужин».— «И завтрак?» — «Точно так-с».— «Сколько же раз?» — «Два раза...» — «А за завтраком?» — «Это не еда, это кашица».

27-го. Ни одного японца не было. Утро ясное и свежее, ветерок; не более 15 или 16° тепла. Наши гонялись на шлюпках и заезжали далеко, к неудовольствию японцев. Их маленькие лодки отделились от больших и пошли, не знаю зачем, за нашими катерами. Было свежо, катера делали длинные и короткие галсы, вдруг поворачивали, лавировали и обреза́ли один другого, то есть пересекали, гоняясь, друг другу путь. Те остановились и не знали, что им делать. Я стоял на юте, и одна японская лодка, проходя мимо, показала на наших. Я отвечал жестом, что они далеко будут кататься.

Наши и корветные офицеры играли «Женитьбу» Гоголя и «Тяжбу». Сцена была на шканцах корвета. «Тяжба» — на Нагасакском рейде! Я знал о приготовлениях; шли репетиции, барон Криднер дирижировал всем; мне не хотелось ехать: я думал, что чересчур будет жалко видеть. Однако ничего, вышло недурно, мичман Зеленый хоть куда: у него природный юмор, да он еще насмотрелся на лучших наших комических актеров. Смешон Лосев свахой. Все это было чрезвычайно забавно, по ори-

гинальности, самой неловкости актеров. Едучи с корвета, я видел одну из тех картин, которые видишь в живописи и не веришь: луну над гладкой водой, силуэт тихо качающегося фрегата, кругом темные, спящие холмы и огни на лодках и горах. Я вспомнил картины Айвазовского.

28 и 29-го. Японцы приезжали от губернатора сказать, что он не может совсем снять лодок в проходе; это вчера, а сегодня, то есть 29-го, объявили, что губернатор желал бы совсем закрыть проезд посредине, а открыть с боков, у берега, отведя по одной лодке. Адмирал приказал сказать, что если это сделают, так он велит своим шлюпкам отвести насильно лодки, которые осмелятся заставить собою средний проход к корвету. Переводчики, увидев, что с ними не шутят, тотчас убрались и чаю не пили.

Вчера привезли свежей и отличной рыбы, похожей на форель, и огромной. Одной стало на тридцать человек, и десятка три пронсов (раков, вроде шримсов, только большего размера), превкусных. Погода как летняя, в полдень 17 градусов в тени, но по ночам холодно.

Мой дневник похож на журнал заключенного — не правда ли? Что делать! Здесь почти тюрьма и есть, хотя природа прекрасная, человек смышлен, ловок, силен, но пока еще не умеет жить нормально и разумно. Странно покажется, что мы здесь не умираем со скуки, не сходя с фрегата; некогда скучать: работа есть у всех. Адмирал не может видеть праздного человека; чуть увидит кого-нибудь без дела, сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать, а казалось, можно бы morgen, morgen, nur nicht heute[1], кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из нее.

30-го. Ничего замечательного. Требовали баниосов, но они не явились: рассердились, вероятно, на нас за то, что мы погрозили отбуксировать их лодки прочь, как только они вздумают мешать нам, и вообще с ними стали действовать порешительнее. Они привезли провизию и, между прочим, больших круглых раков, видом похожих на пауков. Но эти раки мне не понравились: клешней у них нет, и шеи тоже, именно нет того, что хорошо в раках; ноги недурны, но крепки; в средине рака много всякой дряни, но есть и белое мясо, которым наполнен низ всей чашки.

Вечером была всенощная накануне покрова. После службы я ходил по юту и нечаянно наткнулся на разговор мичмана Болтина с сигнальщиком Феодоровым, тем самым, который ошибся и, вместо повестки к зоре, заиграл повестку к молитве. Этот Феодоров отличался крайней простотой. «Смотри в трубу на луну,— говорил ему Болтин, ходивший по юту,— и как скоро

---

[1] завтра, завтра, не сегодня (*немецк.*).

увидишь там трех, четырех человек, скажи мне».— «Слушаю-с». Он стал смотреть и долго смотрел. «Что ж ты ничего не говоришь?» — «Да там всего только двое, ваше благородие». — «Что ж они делают?» — «Ничего-с».— «Ну, смотри».— «Что ж это за люди?» — спросил Болтин. Тот молчал. «Говори же!»— «Каин и Авель»,— отвечал он. «Вот еще заметь эти две звезды и помни, как их зовут: вот эту Венера, а ту Юпитер».— «Слушаю-с».— «И если что-нибудь с ними случится, донеси».— «Слушаю-с». И он серьезно стал смотреть в ту сторону. Чрез минуту я спросил его, в каких местах он бывал с тех пор, как мы вышли из Англии. Он молчал. «Говори же!» — «На Надежде» (мыс Доброй Надежды). «А до этого?» — «Забыл».— «Вспомни!» Он молчал. «Где же?» Молчал. «Ну, припомни названия разных вин, так доберешься». Молчание. «Какие же есть вина?»— «Пенное». — «Ну, а французские?» — «Ренское».— «А мадера?» — «Точно-с, есть и мадера. Мы и сами там были»,— добавил он. «А что же звезды?» — вдруг спросил Болтин. Феодоров беспокойно оглянулся: хвать — одной нет; она уже скрылась за горизонт. «Где же?» — «Только одна осталась». — «А где другая?» — «Не могу знать».— «А как ее зовут?» Молчание. «Ну как?» — «Мадера»,— подумав, отвечал Феодоров. «А другую?»— «Питер»,— сказал он. И это было нам развлечением, за неимением других.

Октября 1-го. Праздник у нас, и в природе праздник. Вспомните наши ясно прохладные осенние дни, когда где-нибудь в роще или длинной аллее сада гуляешь по устланным увядшими листьями дорожкам; когда в тени так свежо, а чуть выйдешь на солнышко, вдруг осветит и огреет оно, как летом, даже станет жарко; но лишь распахнешься, от севера понесется такой пронзительный и приятный ветерок, что надо закрыться. А небо синее, все светло, нарядно. Здесь тоже, хоть и 32° широты, а погода как у нас. Только вечернее небо, перед захождением и восхождением солнца, великолепно и не похоже на наше. Вот и сегодня то же: бледно-зеленый, чудесный, фантастический колорит, в котором есть что-то грустное; чрез минуту зеленый цвет перешел в фиолетовый; в вышине несутся клочки бурых и палевых облаков, и, наконец, весь горизонт облит пурпуром и золотом — последние следы солнца; очень похоже на тропики.

Японцев, кажется, не было... ах, виноват — были, были: с рыбой и раками. Баниосы всё не едут: они боятся показаться, думая, как бы им не досталось за то, что не разгоняют лодок; а может быть, они, видя нашу кротость, небрежничают и не едут. Но стоит только сказать, что мы сейчас сами пойдем на шлюпках в Нагасаки,— тотчас явятся, нет сомнения. Если попугать их и потребовать губернатора — и тот приедет. Но тогда понадобилось бы изменить уже навсегда принятый адмиралом образ действия, то есть кротость и вежливость.

Иногда, однако ж, не мешало бы пугнуть их порядком. Вот сегодня, например, часу в восьмом вечера, была какая-то процессия. Одну большую лодку тащили на буксире двадцать небольших, с фонарями; шествие сопровождалось неистовыми криками: лодки шли с островов к городу; наши К. Н. Посьет и Н. Назимов (бывший у нас) поехали на двух шлюпках к корвету в проход; в шлюпку Посьета пустили поленом, а в Назимова хотели плеснуть водой, да не попали — грубая выходка простого народа! Посьет сейчас же поворотил и приблизился к лодке; там было человек двадцать: все присмирели, спрятавшись на дно лодки.

2-го и 3-го. Так и есть: страх сильно может действовать. Вчера, второго октября, послали записку к японцам, с извещением, что если не явятся банносы, то один из офицеров послан будет за ними в город. Поздно вечером приехал переводчик сказать, что банносы завтра будут в 12 часов.

Явились в 11 часов трое: Ойе-Саброски, другой, прибывший из Едо, и третий, новый. Они извинились, что не ехали долго, сваливая все на переводчика, который будто не так растолковал, и сказали, что этого вперед уже не случится. Вчера отвели насильно две их лодки дальше от фрегата; сам я не видал этого, но, говорят, забавно было смотреть, как они замахали руками, когда наши катера подошли, приподняли их якорь и оттащили далеко. Банносы ни слова об этом. Им сказали о брошенном полене со шлюпки и о других глупостях: они извинялись, отговариваясь, что не знали об этом. Вчерашняя процессия — шествие лодок — просто визит управляющего князя Физенского голландцам, а не религиозный праздник, как мы думали. О береге сказали, что ежедневно ждут ответа.

Сегодня суббота: по обыкновению, привезли провизию и помешали опять служить всенощную. Кроме зелени всякого рода, рыбы и гомаров, привезли, между прочим, маленького живого оленя или лань, за неимением свиней; говорят, что больше нет; остались поросята, но те нужны для приплода.

С баниосами были переводчики *Льода* и *Сьоза.* Я вслушивался в японский язык и нашел, что он очень звучен. В нем гласные преобладают, особенно в окончаниях. Нет ничего грубого, гортанного, как в прочих восточных языках. А баниосы сказали, что русский язык похож будто на китайский, — спасибо! Мы заказали привезти много вещей, вееров, лакированных ящиков и тому подобного. Не знаем, привезут ли.

4-го. Воскресенье: началось, по обыкновению, обедней, потом приезжали переводчики сказать, что исполнят наше желание и отведут лодки дальше, но только просили, чтоб мы сами этого не делали. Мы объявили им накануне, что, видно, губернаторские приказания не исполняются, так мы, пожалуй, возьмем на себя труд помочь его превосходительству и будем отбук-

сировывать. Вечер у нас был замечательный. Когда стемнело, мы видим вдруг в проливе, ведущем к городу, как будто две звезды плывут к нам; но это не японские огни — нет, что-то яркое, живое, вспыхивающее. Мы стали смотреть в ночную трубу, но все потухло; видим только: плывут две лодки; они подплыли к корме, и вдруг раздалось мелодическое пение... Серенада! это корветские офицеры, с маленькими камчадалами, певчими, затеяли серенаду из русских и цыганских песен. Долго плавали они при лунном свете около фрегата и жгли фальшфейеры; мы стояли на юте и молча слушали. Адмирал поблагодарил, когда они кончили, и позвал офицеров пить чай. Маленьких певчих напоили тоже чаем. Японская лодка, завидев яркие огни, отделилась от прочих и подошла, но не близко: не смела и, вероятно, заслушалась новых сирен, потому что остановилась и долго колыхалась на одном месте.

5-го. Сегодня дождь, но теплый, почти летний, так что даже кот Васька не уходил с юта, а только сел под гик. Мы видели, что две лодки, с значками и пиками, развозили по караульным лодкам приказания, после чего эти отходили и становились гораздо дальше. Адмирал не приказал уже больше и упоминать о лодках. Только, если последние станут преследовать наши, велено брать их на буксир и таскать с собой.

6, 7, 8, 9 и 10-го. Зарезали лань и ели во всех видах: в котлетах, в жарком — отлично! точно лучшая говядина, только нежнее и мягче. П. А. Тихменев косится на лань: он не может есть раков и зайца и т. п., «не показано,— говорит, — да и противно». Про лань говорит, что это «собака». За десертом подавали новый фрукт здешний, по-голландски называемый *kakies*, красно-желтый, мягкий, сладкий и прохладительный, вроде сливы; но это не слива, а род фиги, или *смоквы*, как называет отец Аввакум, привезенной будто бы сюда еще португальцами и называющейся у них *какофига*. Отец Аввакум говорит, что и в Китае таких плодов много... Но не до лани и не до плодов теперь: много нового и важного.

7-го октября был ровно год, как мы вышли из Кронштадта. Этот день прошел скромно. Я живо вспомнил, как год назад, я в первый раз вступил на море и зажил новою жизнью, как из покойной комнаты и постели перешел в койку и на колеблющуюся под ногами палубу, как неблагосклонно встретило нас море, засвистал ветер, заходили волны; вспомнил снег и дождь, зубную боль — и прощанье с друзьями...

Я видел, наконец, японских дам: те же юбки, как и у мужчин, закрывающие горло кофты, только не бритая голова, и у тех, которые попорядочнее, сзади булавка поддерживает косу. Все они смуглянки, и куда нехороши собой! Говорят, они нескромно ведут себя,— не знаю, не видал и не хочу чернить репутации японских женщин. Их нынче много ездит около фрегата: все некрасивые, чернозубые; большею частью смотрят

смело и смеются; а те из них, которые получше собой и понаряднее одеты, прикрываются веером.

Но это все неважное: где же важное? А вот: 9-го октября, после обеда, сказали, что едут гокейнсы. И это не важность: мы привыкли. Вахтенный офицер посылает сказать обыкновенно К. Н. Посьету. Гокейнсов повели в капитанскую каюту. Я был там. «А! Ойе-Саброски! Кичибе!» — встретил я их, весело подавая руки; но они молча, едва отвечая на поклон, брали руку. Что это значит? Они, такие ласковые и учтивые, особенно Саброски: он шутник и хохотун, а тут... Да что это у всех такая торжественная мина; никто не улыбается? «Болен, что ли, Саброски?» — спросил я. «Нет...» — «Что ж он такой скучный, да и все?» Ответа не было. Только Кичибе постоянно показывал верхние зубы и суетился, по обыкновению: то побежит вперед баниосов, то воротится и крякнет, и нехотя улыбается. И Эйноске тут. У этого черты лица правильные, взгляд смелый, не то что у тех.

Из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какою глядят на нас и на все европейское Эйноске, Сьоза, Нарабайоси 2-й, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят и представляют немую, покорную оппозицию: это jeune Japon [1]. Садагора — нянька, приставленная к голландцам, и гроза их, Льода, напротив, принадлежат, кажется, к разряду застарелых и закоснелых японцев. Они похожи на тех загрубевших в преданиях слуг, которые придерживаются старины; их ничем не переломаешь. Они находят все старое прекрасным, перемен не желают и все новое считают грехом. Садагора — старый, грубый циник, Льода, напротив, льстивый, кланяющийся плут. Кичибе составляет juste milieu [2] между тем и другим; он посвежее их: у него нет застарелой ненависти к новому и веры в японскую систему правления, но ему не угнаться и за новыми. Он просто служит за жалованье, кому и как хотите. Есть еще Ясиро, Кичибе-сын и много подростков, всё кандидаты в переводчики. У них наследственные должности: сын по большей части занимает место отца.

Баниосы объявили, что они желают поговорить с адмиралом. Мы с Посьетом давай ломать голову, о чем? «Верно, о месте»,— говорил он. «Но нерадостное, должно быть!» — прибавил я. Я сказал адмиралу о их желании. Он велел пустить их к себе. Все сели; воцарилось молчание. Саброски повесил голову совсем на грудь; другой баниос, подслеповатый, громоздкий старик, с толстым лицом, смотрел осовелыми глазами на все и по временам зевал; третий, маленький, совсем исчезал между ними, стараясь подделаться под мину и позу своих соседей. Эйноске задумчиво молчал. Один Кичибе гоголем сидел и ждал, когда ему велят говорить. Мы ждали, что́ будет.

[1] молодая Япония *(франц.)*.
[2] золотую середину *(франц.)*.

Наконец Саброски, вздохнув глубоко и прищурив глаза, начал говорить так тихо, как дух, как будто у него не было ни губ, ни языка, ни горла; он говорил вздохами; кончил, испустив продолжительный вздох. Кичибе, с своей улыбкой, с ясным взглядом и наклоненной головой, просто, без вздохов и печали, объявил, что сиогун, ни больше, ни меньше, как *gestorben* — умер!

Мы окаменели на минуту, потом — ничего. «Скажите,— заметил адмирал чиновникам,— что я вполне разделяю их печаль». Баниосы поклонились, некоторые опять вздохнули, Ойе вновь заговорил шепотом. «Хи! хи! хи!» — слышалось только от Кичибе, как предсмертная икота. Потом он, потянув воздух в себя, начал переводить, по обычаю, расстановисто, с спирающимся хохотом в горле — знак, что передает какой-нибудь отказ, и этим хохотом смягчает его, золотит пилюлю. «Из Едо... по этому печальному случаю... получить скоро ответ — хо, хо, хо — унмоглик, «невозможно!» — досказал он, наконец, так, как будто из него выдавили последние слова.

На это приказано отвечать, что возражение пришлют письменное. «Все заняты похоронами покойного и восшествием на престол нового сиогуна,— продолжал Кичибе переводить,— все это требует церемоний» и т. п. Велено было спросить: скоро ли отведут нам место на берегу? Долго говорил Саброски ответ. Кичибе, выслушав его, сказал, что «из Едо об этом... — тут горло ему совсем заперло смехом...— не получено никакого разрешения».— «Однако ж могли получить три раза,— строго заметили ему,— отчего же нет ответа?» Кичибе перевел вопрос, потом, выслушав возражение, начал: «Из Едо не получено об этом никакого — хо, хо, хо — разрешения». — «Это мы слышали,— переводил К. Н. Посьет,— но будет ли разрешение и скоро ли? нам надо поверять хронометры. Вы не цените нашей вежливости и внимания: другие давно бы съехали сами. Теперь мы видим, что Нагасаки просто западня, в которую заманивают иностранцев, чтоб водить и обманывать. От столицы далеко, переговоры наскучат, гости утомятся и уйдут — вот ваша цель! Но об этом узнает вся Европа; и ни одно судно не пойдет сюда, а в Едо — будьте уверены». Кичибе опять передал и опять начал свое: «Из Едо... не получено — хо, хо, хо!.. никакого...»

Хоть кого из терпения выведут! «Спросите губернатора: намерен ли он дать нам место, или нет? Чтоб завтра был ответ!» — были последние слова, которыми и кончилось заседание.

Потом им подали чаю и наливки. Они выпили по рюмке, подняли головы, оставили печальный тон, заговорили весело, зевали кругом на стены, на картины, на мебель; совсем развеселились; печали ни следа, так что мы стали догадываться, не хитрят ли они, не выдумали ли, если не все, так эпоху собы-

тия. По их словам, сиогун умер 14 августа, а мы пришли 10-го. Может быть, он умер и в прошлом году, а они сказали, что теперь, в надежде, не уйдем ли. Поверить их трудно: они, может быть, и от своих скрывают такой случай, по крайней мере долго. Мы не знали, что и подумать, толковали и догадывались. Адмирал приказал написать губернатору, что мы подождем ответа из Едо на письмо из России, которое, как они сами говорят, разошлось в пути с известием о смерти сиогуна. Верховный совет не знал, в чем дело, и потому ответа дать не мог. Но как же такое известие могло идти более двух месяцев из Едо до Нагасаки, тогда как в три недели можно съездить взад и вперед? Нечисто! Ясно, что сиогун или умер позже, или они знали раньше, да без надобности не объявили нам об этом, или, наконец, вовсе не умер. Последнее, однако ж, невероятно: народ, уважающий так глубоко своих государей, не употребит такого предлога для побуждения, и то не наверное, иностранцев к отплытию. Адмирал, между прочим, приказал прибавить в письме, что «это событие случилось до получения первых наших бумаг и не помешало им распорядиться принятием их, также определить церемониал свидания российского полномочного с губернатором и т. п., стало быть не помешает и дальнейшим распоряжениям, так как ход государственных дел в такой большой империи остановиться не может, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому мы подождем ответа из горочью, и вообще не покинем японских берегов без окончательного решения дела, которое нас сюда привело».

Так японцам не удалось и это крайнее средство, то есть объявление о смерти сиогуна, чтоб заставить адмирала изменить намерение: непременно дождаться ответа. Должно быть, в самом деле *японскому глазу больно видеть* чужие суда у себя в гостях! А они, без сомнения, надеялись, что лишь только они сделают такое важное возражение, адмирал уйдет, они ответ пришлют года через два, конечно отрицательный, и так дело затянется на неопределенный и продолжительный срок.

Через день японцы приехали с ответом от губернатора о месте на берегу, и опять Кичибе начал: «Из Едо... не получено» и т. п. Адмирал не принял их. Посьет сказал им, что он передал адмиралу ответ и не знает, что он предпримет, потому что его превосходительство ничего не отвечал. Это пугает наших милых хозяев: они уж раз приезжали за какими-то пустяками, а, собственно, затем, чтоб увериться, не затеваем ли мы что-нибудь, не проговоримся ли о своих намерениях. И точно затеваем: хотим сами съехать на берег с хронометрами. Посьет уж запустил об этом словцо. Они всё отзывались, что губернатор распорядиться не может, что ему за это достанется. «Ну, а если мы сами съедем или другие сделали бы это, тогда не достанется?» — спросил он. «Это будет не дружески»,— был ответ. «А это по-дружески, когда вам говорят, что нам необходимо по-

верить хронометры, что без этого нельзя в море идти, а вы не отводите места?» — «Из Едо... хо, хо, хо... не получено»,— начал Кичибе.

Подите с ними! Они стали ссылаться на свои законы, обычаи. На другое утро приехал Кичибе и взял ответ к губернатору. Только что он отвалил, явились и баниосы, а сегодня, 11 числа, они приехали сказать, что письмо отдали, но что из Едо не получено и т. п. Потом заметили, зачем мы ездим кругом горы Папенберга. «Так хочется»,— отвечали им.

На фрегате ничего особенного: баниосы ездят каждый день выведывать о намерениях адмирала. Сегодня были двое младших переводчиков и двое ондер-баниосов: они просили, нельзя ли нам не кататься слишком далеко, потому что им велено следить за нами, а их лодки не угоняются за нашими. «Да зачем вы следите?» — «Велено»,— сказал высокий старик в синем халате. «Ведь вы нам помешать не можете».— «Велено, что делать! *Мы и сами желали бы, чтоб это скорее изменилось*», — прибавил он.

У меня, между матросами, есть несколько фаворитов, между ними *Дьюпин*, широкоплечий, приземистый матрос, артиллерист. Он широк не в одних только плечах. Его называют *огневой*, потому что он смотрит, между прочим, за огнями; и когда крикнут где-нибудь в углу: *фитиль!* он мчится что есть мочи по палубе подать огня. Специальность его, между прочим, состоит в том, что он берет и приподнимает, как поднос, кранец с ядрами и картечью и, поставив, только ухнет, а кранец весит пудов пять. Трудно встретить человека, крепче и плотнее сложенного. Я часто разговариваю с ним. «Жарко, Дьюпин»,— говорю я ему. «Точно так, тепло, хорошо, ваше высокоблагородие».— отвечает он. А так тепло, что приходишь в совершенное отчаяние, не зная, куда деться. «Да ты, смотри, не напейся холодного после работы,— говорю я шутя,— или на сырости не ложись ночью». — «Слушаю, ваше высокоблагородие»,— отвечает он серьезно. «Я подарю тебе шерстяные чулки: надевай смотри». И велел Фаддееву дать ему пару. Дьюпин еще в тропиках надел их и, встретив меня, стал благодарить. «Благодарю покорнейше, ваше высокоблагородие; теперь хорошо, тепло»,— говорил он. «Холодно что-то, Дьюпин»,— сказал я ему, когда здесь вдруг наступили холода, так что надо было приниматься за байковые сюртуки. «Точно так, выше высокоблагородие, свеженько, хорошо». А сам был босиком. «Что же ты босиком?»— спросил я. «Лучше: ноги не горят, да и палубы не затопчешь сапогами». Вот я на днях сказал ему, что «видел, как японец один поворачивает пушку, а вас тут,— прибавил я,— десятеро возитесь около одной и насилу двигаете ее».— «Точно так, ваше высокоблагородие,— отвечал он,— куда нам! Намедни и я видел, что волной плеснуло на берег, вон на ту низенькую батарею, да и смыло пушку, она и поплыла, а японец

едет подле, да и толкает ее к берегу. Уж такие пушки у них!» Потом, подумав немного, он сказал: «Если б пришлось драться с ними, ваше высокоблагородие, неужели нам ружья дадут?» — «А как же?» — «По лопарю бы довольно». (*Лопарь* — конец толстой веревки.)

13-го октября. Нового ничего. Холодно и ясно; превосходная погода: все так светло, празднично. Холмы и воды в блеске; островки и надводные камни в проливе, от сильной рефракции, кажутся совершенно отставшими от воды; они как будто висят на воздухе. Зори вечерние (утренних я никогда не вижу) обливают золотом весь горизонт; зажгутся звезды, прежде всего Юпитер и Венера. Венера горит ярко, как большая свеча. Вчера мы смотрели в трубу на Сатурна: хорошо видели и кольца. У Юпитера видны три спутника; четвертый прячется за планетой.

17, 18 и 19 октября. Ждем судов наших и начинаем тревожиться. Ну, пусть транспорт медлит за противным NO муссоном, лавируя миль по двадцати в сутки, а шкуна? Вот уж два месяца, как ушла; а ей сказано, чтоб долее семи недель не быть. Делают разные предположения.

Вчера, 18-го, адмирал приказал дать знать баниосам, чтоб они продолжали, если хотят, ездить и без дела, а так, в гости, чтобы как можно более сблизить их с нашими понятиями и образом жизни. Младшие переводчики перепутали все, и двое ондер-баниосов, не бывших ни разу, явились спросить, что нам нужно, думая, что мы их вызывали за делом. Сегодня, 19-го, явились опять двое и, между прочим, Ойе-Саброски, «с маленькой просьбой от губернатора,— сказали они, — завтра, 20-го, поедет князь Чикузен, или Цикузен, от одной пристани к другой в проливе, смотреть свои казармы и войска, так не может ли корвет немного отодвинуться в сторону, потому что князя будут сопровождать до ста лодок, так им трудно будет проехать». Им отвечали, что гораздо удобнее лодкам обойти судно, нежели судну, особенно военному, переходить с места на место. Так они и уехали.

С Саброски был полный, высокий ондер-баниос, но с таким неяпонским лицом, что хоть сейчас в надворные советники, лишь только юбку долой, а юбка штофная, голубая: славно бы кресло обить! Когда я стал заводить ящик с музыкой и открыл его, он смотрел по-детски и немного глупо на движение вала.

После обеда, говорят, проезжал какой-то князь, с поездом. Погода была сегодня так хороша, тепла, как у нас в июле, и так ясна, как у нас никогда не бывает. Но по вечерам вообще туманно, по ночам сыро и очень холодно. Скучновато: новостей нет, и занятия как-то идут вяло. Почиваем, кушаем превосходную рыбу ежедневно, в ухе, в пирогах, холодную, жареную; раков тоже, с клешнями, без клешней, толстокожих, с усами

и без оных, круглых и длинных. Уж некоторые, в том числе и я, начинаем жаловаться на расстройство желудка от этой монашеской пищи. Фаддеев учится грамоте. Я было написал ему прописи, но он избегает учиться у меня. Я застаю его за какой-то замасленной бумагой, на которой написаны преуродливые азы. Фаддеев копирует их усердно и превосходит уродливостью; а с моих не копирует. «Кто написал тебе?» — спросил я. «Агапка,— отвечает он,— он взялся выучить меня писать». — «А ты что ему за это?» — «Две чарки водки».

25-го. Давно я не принимался за свой дневник: скучно что-то, и болен я. Между тем много кое-чего бы надо было записать. Во-первых, с 20 на 21 ночью была жестокая гроза. Накануне и в тот день шел дождь, потом к вечеру начала блистать молния. Все это к ночи усиливалось. Ночь темная, ни зги не видно, только молния вдруг обливала нестерпимым блеском весь залив и горы. Осмотрели громовые отводы. Какие удары! молния блеснет — и долго спустя глухо загремит гром — значит, далеко; но чрез минуту вдруг опять блеск почти кровавый, и в то же мгновение раздается удар над самой палубой. И поминутно, поминутно, как будто начинает что-то сыпаться с гор: сначала в полтона, потом загремит целым аккордом. Смотреть больно, слушать утомительно. Началось часов с семи, а кончилось в 3-м часу ночи. Один раз молния упала так близко, что часовой крикнул: «*Огонь с фор-русленей упал*!» В другой раз попала в Паппенберг, в третий — в воду, близ кормы. Я видел сам. Недаром Кемпфер, Головнин и другие пишут, что грозы ужасны в Японии. На другой день было очень жарко, парило, потом стало прохладно, и до сих пор все хорошая погода.

Наконец, 23-го утром, запалили японские пушки: «А! судно идет!» Которое? Мы взволновались. Кто поехал навстречу, кто влез на марсы, на салинги — смотреть. Уж не англичане ли? Вот одолжат! Нет, это наш транспорт из Шанхая, с письмами, газетами и провизией.

21-го приехали Ойе-Саброски с Кичибе и Эйноске. Последний решительно отказался от книг, которые предлагали ему и адмирал и я: боится. Гокейнсы сказали, что желали бы говорить с полномочным. Их повели в каюту. Они объявили, что, наконец, получен ответ из Едо!— Grande nouvelle! [1] Мы обрадовались. «Что такое? как? в чем дело?» — посыпались вопросы. Мы с нетерпением ожидали, что позовут нас в Едо или скажут то, другое...

Но вот Кичибе потянул в себя воздух, улыбнулся самою сладчайшею из своих улыбок — дурной признак! «Из Едо...— начал он давиться и кряхтеть,— прислан ответ».— «Ну?»— «Что письма ваши прибыли туда... благополучно»,— выговорил он наконец, обливаясь потом, как будто дотащил воз до

---

[1] Великая новость! *(франц.)*

места. «Ну?» — «Что... прибыли... благополучно!..»— повторил он. «Слышали. Еще что?» — «Еще... только и есть!» — «Это не ответ»,— заметили им. Они начали оправдываться, что они не виноваты и т. п. Адмирал сказал, что он надеется чрез несколько дней получить другой ответ, лучше и толковее этого. Потом спросили их о месте на берегу. «Из Едо...— начал, кряхтя и улыбаясь, Кичибе,— не получено...» И запел свою песню. «Знаем. Да что ж, будет ли ответ? Это, видно, губернатор виноват: он не хотел представить об этом?» Баниосы оправдывались, что нет, что ни он, ни они не виноваты. «Из Едо...» и т. д.

29. — Давно ли мы жаловались на жар? давно ли нельзя было есть мяса, выпить рюмки вина? А теперь, хоть и совестно, а приходится жаловаться на холод! Погода ясная, ночи лунные. NO муссон дует с резким холодком. Опять всем захотелось на юг, все бредят Манилой.

Вчера, 28-го, когда я только было собрался уснуть после обеда, мне предложили кататься на шлюпке в море. Мы этим нет-нет да и напомним японцам, что вода принадлежит всем и что мешать в этом они не могут, и таким образом мы удерживаем это право за европейцами. Наши давно дразнят японцев, катаясь на шлюпках.

Но знаете ли, что значит катанье у моряков? Вы думаете, может быть, что это робкое и ленивое ползанье наших яликов и лодок по сонным водам прудов и озер, с дамами, при звуках музыки и т. п.? Нет: с такими понятиями о катанье не советую вам принимать приглашения покататься с моряком: это все равно, если б вас посадили верхом на бешеную лошадь да предложили прогуляться. Моряки катаются непременно на парусах, стало быть в ветер, чего многие не любят, да еще в свежий ветер, то есть когда шлюпка лежит на боку и когда белоголовые волны скачут выше борта, а иногда и за борт.

Ветер дул NO, свежий и порывистый: только наш катер отвалил, сейчас же окрылился фоком, бизанью и кливером, сильно лег на бок и понесся пуще всякой тройки. Едва мы подошли к проливцу между Паппенбергом и Ивосима, как вслед за нами, по обыкновению, с разных точек бросились японские казенные лодки, не стоящие уже кругом нас цепью, с тех пор как мы отбуксировали их прочь, а кроющиеся под берегом. Лодки бросались не с тем, чтоб помешать нам,— куда им! они и не догонят, а чтоб показать только перед старшими, что исполняют обязанности караульных. Они бросаются, гребут, торопятся и лишь только дойдут до крайних мысов и скал, до выхода в открытое море, как спрячутся в бухтах и ждут. А когда наши шлюпки появятся назад, японцы опять бросятся за ними и толпой едут сзади, с криком, шумом, чтоб показать своим в гавани, что будто и они ходили за нашими в море. Мы хохочем.

Едва наш катер вышел за ворота, на третий рейд, японские лодки прижались к каменьям, к батареям и там остались. Паппенберг на минуту отнял у нас ветер: сделался маленький штиль, но лишь только мы миновали гору, катер пошел чесать. Волнение было крупное, катер высоко забирал носом, становясь, как лошадь, на дыбы, и бил им по волне, перескакивая чрез нее, как лошадь же. Куда тут японским лодкам! Матросы молча сидели на дне шлюпки, мы на лавках, держась руками за борт и сжавшись в кучу, потому что наклоненное положение катера всех сбивало в одну сторону.

Но холодно; я прятал руки в рукава или за пазуху, по карманам, носы у нас посинели. Мы осмотрели, подойдя вплоть к берегу, прекрасную бухту, которая лежит налево, как только входишь с моря на первый рейд. Я прежде не видал ее, когда мы входили: тогда я занят был рассматриванием ближних берегов, батарей и холмов.

А бухта отличная: на берегу видна деревня и ряд террас, обработанных до последней крайности, до самых вершин утесов и вплоть до крутых обрывов к морю, где уже одни каменья стоймя опускаются в океан и где никакая дикая коза не влезет туда. Нет вершка необработанной земли, и всё в гору, в гору. Везде посеян рис и овощи. Горы изрезаны по бокам уступами, и чтоб уступы не обваливались, бока их укреплены мелким камнем, как и весь берег, так что вода, в большом обилии необходимая для риса, может стекать по уступам, как по лестнице, не разрушая их. Видели скот, потом множество ребятишек; вышло несколько японцев из хижин и дач и стали в кучу, глядя, как мы то остановимся, то подъедем к самому берегу, то удалимся, лавируя взад и вперед. Мы глядели на некоторые беседки и храмы по высотам, любовались длинною, идущею параллельно с берегом, кедровою аллеею.

Не думайте, чтоб храм был в самом деле храм, по нашим понятиям, в архитектурном отношении, что-нибудь господствующее не только над окрестностью, но и над домами,— нет, это, по-нашему, изба, побольше других, с несколько возвышенною кровлею, или какая-нибудь посеревшая от времени большая беседка в старом заглохшем саду. Не мудрено, что Кемпфер насчитал такое множество храмов: по высотам их действительно много; но их, без трубы, не разглядишь, разве подъедешь к самому берегу, как мы сделали в этой бухте.

Какое бы славное предместие раскинулось в ней, если б она была в руках европейцев! Да это еще будет и, может быть, скоро... Знаете, что на днях сказал *Матабе*, один из опдер-толков, привозящий нам провизию? Его спросили: отчего у них такие лодки, с этим разрезом на корме, куда могут хлестать волны, и с этим неуклюжим высоким рулем? Он сослался на закон, потом сказал, что это худо: «Да ведь Япония не может долго оставаться в нынешнем ее положении,— прибавил он,— скоро надо

ожидать перемен». Каков Матабе? а не бойкий, невзрачный человек, и с таким простым, добрым и честным лицом! Оттого, может быть, он и говорит так.

Глядя вчера на эти обработанные донельзя холмы, я вспомнил Гон-Конг и особенно торговое заведение Джердина и Маттисона, занимающее целый угол. Там тоже горы, да какие! не чета здешним: голый камень, а бухта удобна, берега *приглубы*, суда закрыты от ветров. Что же Джердин? нанял китайцев, взял да и срыл гору, построил огромное торговое заведение, магазины, а еще выше над всем этим — великолепную виллу, сделал скаты, аллеи, насадил всего, что растет под тропиками, — и живет как бы жил в Англии, где-нибудь на о. Вайте. Я не видал в Гон-Конге ни клочка обработанной земли, а везде срытые горы для улиц да для дорог, для пристаней. Китайцы — а их там тысяч тридцать — не боятся умереть с голоду. Они находят выгоднее строить европейцам дворцы, копать землю, не все для одного посева, как у себя в Китае, а работать на судах, быть приказчиками и, наконец, торговать самим. Так должно быть и, конечно, будет и здесь, как справедливо предсказывает Матабе.

Я иззяб с этим катаньем. Был пятый час в исходе; осеннее солнце спешило спрятаться за горизонт, а мы спешили воротиться с моря засветло и проехали между каменьями, оторвавшимися от гор, под самыми батареями, где японцы строят домики для каждой пушки. Как издевался над этими домиками наш артиллерист К. И. Лосев! Он толковал, что домик мешает углу обстрела и т. п. Сторож японец начал браниться и кидать в нас каменья, но они едва падали у ног его. Мы хохочем. Сзади нас катер — и тому то же, и там хохот. Вот Паппенберг —и опять шпиль у его подошвы. Катер вышел из ветра и стал прямо; парус начал хлестать о мачту; матросы взялись за весла, а я в это время осматривал Паппенберг. С западной его стороны отвалился большой камень, с кучей маленьких; между ними хлещет бурун; еще подальше от Паппенберга есть такая же куча, которую исхлестали, округлили и избороздили волны, образовав живописную группу как будто великанов в разных положениях с детьми.

Когда в Нагасаки будет издаваться иллюстрация, непременно нарисуют эти каменья. И *Паппенберг* тоже, и *Крысий*, другой, маленький, пушистый островок. В тексте скажут, что с Паппенберга некогда бросали католических, *папских* монахов, отчего и назван так остров. В самом деле есть откуда бросать: он весь кругом в отвесных скалах, сажен в десять и более вышины. Только с восточной стороны, на самой *бахроме*, так сказать, берега, японцы протоптали тропинки да поставили батарею, которую, по обыкновению, и завесили, а вершину усадили редким сосняком, отчего вся гора, как я писал, имеет вид головы, на которой волосы встали дыбом. Вообще японцы лю-

бят утыкать свои холмы редкими деревьями, отчего они походят также и на пасхальные куличи, утыканные фальшивыми розанами. На Крысьем острове избиты были некогда испанцы и сожжены их корабли с товарами. На нем, нет сомнения, будет когда-нибудь хорошенький павильон; для другого чего-нибудь остров мал.

Только что мы подъехали к Паппенбергу, как за нами бросились назад таившиеся под берегом, ожидавшие нас, японские лодки и ехали с криком, но не близко, и так все дружно прибыли — они в свои ущелья и затишья, мы на фрегат. Я долго дул в кулаки.

Ноябрь. 1, 2, 3.— То дождь, то ясно, то тепло, даже жарко, как сегодня, например, то вдруг холодно, как на родине.

Японцы еще третьего дня приезжали сказать, что голландское купеческое судно уходит, наконец, с грузом в Батавию (не знаю, сказал ли я, что мы застали его уже здесь) и что губернатор просит — о чем бы вы думали? чтоб мы не ездили на судно! А мы велели сказать, что дадим письма в Европу и удивляемся, как губернатору могла прийти в голову мысль мешать сношению двух европейских судов между собою? Опять переводчики приехали, почти ночью, просить по крайней мере сделать это за Ковальскими воротами, близ моря. Им не хочется, чтоб народ видел и заключил по этому о слабости своего правительства; ему стыдно, что его не слушаются. Сказано, что нет. Переводчики объявили, что, может быть, губернатор *не позволит* пристать к борту, загородит своими лодками. «Пусть попробует,— сказано ему,— выйдут неприятные последствия — он ответит за них».

Радость, радость, праздник: шкуна пришла! Сегодня, 3-го числа, палят японские пушки. С салингов завидели шкуну. Часу в 1-м она стала на якорь подле нас. Сколько новостей!

5-е. — Тоска, несмотря на занятия, несмотря на внешнее *спокойствие*, на прекрасную погоду. Я вчера к вечеру уехал на наш транспорт; туда же поехал и капитан. Я увлек и отца Аввакума. Мы поужинали; вдруг является К. Н. Посьет и говорит, что адмирал изменил решение: прощай, Манила, Лючу! мы идем в Едо. Толки, споры. Говорят, сухарей нет: как идти? Адмирал думает оттуда уже послать транспорт в Шанхай, за полным грузом провизии, на несколько месяцев. Но, кроме недостатка провизии, в Едо мешает идти противный NO муссон. Сегодня вызвали баниосов; приехал Ойе-Саброски, Кичибе и Сьоза, да еще баниос, под пару Саброски (баниосы иначе не ездят, как парами). Он смотрит всякий раз очень ласково на меня своим, довольно тупым, простым взглядом и напоминает какую-нибудь безусловно добрую тетку, няньку или другую женщину-баловницу, от которой ума и наставлений не жди, зато варенья, конфект и потворства — сколько хочешь.

Все были в восторге, когда мы объявили, что покидаем Нагасаки; только Кичибе был ни скучнее, ни веселее других. Он переводил вопросы и ответы, сам ничего не спрашивая и не интересуясь ничем. Он как-то сказал, на вопрос Посьета, почему он не учится английскому языку, что жалеет, зачем выучился и по-голландски. «Отчего?» — «Я люблю,— говорит,— *ничего не делать, лежать на боку*».

Но баниосы не обрадовались бы, узнавши, что мы идем в Едо. Им об этом не сказали ни слова. Просили только приехать завтра опять, взять бумаги да подарки губернаторам и переводчикам, еще прислать, как можно больше, воды и провизии. Они не подозревают, что мы собираемся продовольствоваться этой провизией — на пути к Едо! Что-то будет завтра?

6-го. — Были сегодня баниосы и утром и вечером. Пришла и им забота. Губернаторы оба в тревоге. «Отчего вдруг вздумали идти? В какой день идут и... куда?» — хотелось бы еще спросить, да не решаются: сами чувствуют, что не скажут. Сегодня уж они не были веселы. С баниосами был старший из них, *Хагивари*. Их позвали к адмиралу. Они сказали, что губернаторы решили принять бумаги в Совет. Потом секретарь и баниосы начали предлагать вопросы: «Что нас заставляет идти внезапно?»— «Нечего здесь больше делать»,— отвечали им. «Объяснена ли причина в письме к губернатору?» — «В этих бумагах объяснены мои намерения»,— приказал сказать адмирал.

О подарках они сказали, что их не могут принять ни губернаторы, ни баниосы, ни переводчики: «Унмоглик!» — «Из Едо,— начал давиться Кичибе,— на этот счет не получено... разрешения».—«Ну, не надо. И мы никогда не примем,— сказали мы,— когда нужно иметь дело с вами».

Кичибе извивался, как змей, допрашиваясь, когда идем, воротимся ли, упрашивая сказать день, когда выйдем, и т. п. Но ничего не добился. «*Спудиг* (скоро), *зер спудиг*[1]», — отвечал ему Посьет. Они просили сказать об этом по крайней мере за день до отхода — и того нет. На них, очевидно, напала тоска. Наступила их очередь быть игрушкой. Мы мистифировали их, ловко избегая отвечать на вопросы. Так они и уехали в тревоге, не добившись ничего, а мы сели обедать.

Мы недоумевали, отчего так вдруг обеспокоились японцы нашим отъездом? почему просят сказать за день? Верно, у них есть готовый ответ, да, по своей привычке, медлят объявлять. Вечером явились опять и привезли Эйноске, надеясь, что он потолковее: допросится. Но так же бесполезно. Куда? хотелось им знать. «Куда ветер понесет», — отвечали с улыбкой. Наконец сказали, что будем где-нибудь близко согласно с тем, как объявил адмирал, то есть *что не уйдем от берегов Японии, не окончив дела*. «Но ответ вы получите в Нагасаки»,— заметили

---

[1] очень скоро *(голландск.)*.

они. Мы ничего не сказали. Беда им, да и только! «Вы представьте,— сказал Эйноске,— наше положение: нам велели узнать, а мы воротимся с тем же, с чем уехали».— «И мое положение представьте себе,— отвечал Посьет,— адмирал мне не говорит ни слова больше о своих намерениях, и я не знаю, что сказать вам». Так они и уехали.

7-го.— Комедия с этими японцами, совершенное представление на Нагасакском рейде! Только что пробило восемь склянок и подняли флаг, как появились переводчики, за ними и оппербаниосы, Хагивари, Саброски и еще другой, робкий и невзрачный с виду. Они допрашивали, не недовольны ли мы чем-нибудь? потом попросили видеться с адмиралом. По обыкновению, все уселись в его каюте, и воцарилось глубокое молчание.

Хагивари говорил долго, минут десять: мы думали, и конца не будет. Кичибе начал переводить его речь, по-своему, коротко и отрывисто, и передал, по-видимому, только мысль, но способ выражения, подробности, оттенки — все пропало. Он и ограничен и упрям. Если скажут что-нибудь резко по-голландски, он, сколько мы могли заметить, смягчит в переводе на японский язык или вовсе умолчит. Адмирал недоволен и хочет просить, чтоб его устранили от переговоров. Эйноске, напротив, все понимает и старается объяснить до тонкости.

Они начали с того, что «так как адмирал не соглашается остаться, то губернатор не решается удерживать его, но он предлагает ему на рассуждение одно обстоятельство, чтоб адмирал поступил сообразно этому, именно: губернатору известно наверное, что дней чрез десять, и никак не более одиннадцати, а может быть, и чрез семь, придет ответ, который почему-то замедлился в пути».

На это отвечено, что «по трехмесячном ожидании не важность подождать семь дней: но нам необходимо иметь место на берегу, чтоб сделать поправки на судах, поверить хронометры и т. п. Далее, если ответ этот подвинет дело вперед, то мы останемся, *в противном* случае уйдем... куда нам надо».

Между тем мы заметили, бывши еще в каюте капитана, что то один, то другой переводчик выходили к своим лодкам и возвращались. Баниосы отвечали, что «они доведут об этом заявлении адмирала до сведения губернатора и...»

Вдруг у дверей послышался шум и голоса. Эйноске встал, пошел к дверям, поспешно воротился и сказал, что приехали еще двое баниосов, но часовой не пускает их. Велено впустить. Вошли двое, знакомые лица, не знаю, как их зовут. Они поклонились, подошли к Хагивари и подали ему бумагу. Я смекнул, что они приехали с ответом из Едо. Хагивари, с видом притворного удивления, прочел бумагу, подал ее Саброски, тот прочел, передал дальше, и так она дошла до Кичибе. Они начали ахать, восклицать. Кичибе чуть не подавился совсем на первом слове: «Почта... почта... из Едо erhalten, получена!»

Я не мог выдержать, отвернулся от них и кое-как справился с неистовым желанием захохотать. Фарсёры! Как хитро: приехали попытаться замедлить, просили десять дней срока, когда уже ответ был прислан. Бумага состояла, по обыкновению, всего из шести или семи строк. «Четверо полномочных, groote herren, важные сановники,— сказано было в ней,— едут из Едо, для свидания и переговоров с адмиралом».

Вот тебе раз! вот тебе Едо! У нас как гора с плеч! Идти в Едо без провизии, стало быть, на самое короткое время, и уйти!

Спросили, когда будут полномочные. «Из Едо... не получено... об этом». Ну, пошел свое! Хагивари и Саброски начали делать нам знаки, показывая на бумагу, что вот какое чудо случилось: только заговорили о ней, а она и пришла! Тут уже никто не выдержал, и они сами и все мы стали смеяться. Бумага писана была от президента горочью, *Абе-Исено-ками-сама*, к обоим губернаторам о том, что едут полномочные, но кто именно, когда они едут, выехали ли, в дороге ли — об этом ни слова.

Японцы уехали, с обещанием вечером привезти ответ губернатора о месте. «Стало быть, о прежнем, то есть об отъезде, уже нет и речи»,— сказали они, уезжая, и стали отирать себе рот, как будто стирая прежние слова. А мы начали толковать о предстоящих переменах в нашем плане. Я, еще до отъезда их, не утерпел и вышел на палубу. Капитан распоряжался привязкой парусов. «Напрасно,— сказал я,— велите опять отвязывать, не пойдем».

После обеда тотчас явились японцы и сказали, что хотя губернатор и не имеет разрешения, но берет все на себя и отводит место. К вечеру опять приехали сказать, не хотим ли мы взять бухту *Кибач*, которую занимал прежний посланник наш, Резанов. Адмирал отвечал, что, во всяком случае, он пошлет осмотреть место прежде, нежели примет. Поехали осматривать Посьет, Корсаков и Гошкевич и возвратились со смехом и досадой, сказав, что место не годится: голое, песок, каменья. Ну, надо терпения с этим народом? Вот четвертый день всё идут толки о месте.

Мы хотя и убрали паруса, но адмирал предполагает идти, только не в Едо, а в Шанхай, чтобы узнать там, что делается в Европе, и запастись свежею провизиею на несколько месяцев. Японцам объявили, что место не годится. Губернатор отвечал, что нет другого: видно, рассердился. Мы возразили, что вон есть там, да там, да вон тут: мало ли красивых мест! «Если не дадут, уйдем,— говорили мы,— присылайте провизию».— «Не могу,— отвечал губернатор,— требуйте провизию по-прежнему, понемногу, от голландцев». Он надеялся нас тем удержать. «Ну, мы пойдем и без провизии»,— отвечено ему.

10-го. — Сегодня вдруг видим, что при входе в бухту Кибач толпится кучка народу. Там и баниосы и переводчики, смот-

рят, размеривают, втыкают колышки: ясно, что готовят другое место, но какое! тоже голое, с зеленью, правда, но это посевы риса и овощей; тут негде ступить.

Губернатор, узнав, что мы отказываемся принять и другое место, отвечал, что больше у него нет никаких, что указанное нами принадлежит князю Омуре, на которое он не имеет прав. Оба губернатора после всего этого успокоились: они объявили нам, что полномочные назначены, место отводят, следовательно если мы и за этим за всем уходим, то они уж не виноваты.

Адмирал просил их передать бумаги полномочным, если они прежде нас будут в Нагасаки. При этом приложена была записочка к губернатору, в которой адмирал извещал его, что он в «непродолжительном времени воротится в Японию, зайдет в Нагасаки, и если там не будет ни полномочных, ни ответа на его предложения, то он немедленно пойдет в Едо».

Баниосы спрашивали, что заключается в этой записочке, но им не сказали, так точно, как не объявили и губернатору, куда и надолго ли мы идем. Мы всё думали, что нас остановят, дадут место и скажут, что полномочные едут: но ничего не было. Губернаторы, догадавшись, что мы идем не в Едо, успокоились. Мы сказали, что уйдем сегодня же, если ветер будет хорош.

Часа в три мы снялись с якоря, пробыв ровно три месяца в Нагасаки: 10 августа пришли и 11 ноября ушли. Я лег было спать, но топот людей, укладка якорной цепи разбудили меня. Я вышел в ту минуту, когда мы выходили на первый рейд, к Ковальским, так называемым, воротам. Недавно я еще катался тут. Вон и бухта, которую мы осматривали, вон Паппенберг, все знакомые рытвины и ложбины на дальних высоких горах, вот Каменосима, Ивосима, вон, налево, синеет мыс Номо, а вот и простор, беспредельность, море!

II

ШАНХАЙ

Седельные острова. — Рыбачья флотилия. — Поездка в Шанхай на купеческой шкуне.— Гуцлав.— Янсекиян.— Пожар.— Река и местечко Вусун.— Военные джонки и европейские суда. — Шанхай.— О чае.— Простой народ.— Таможня.— Американский консул.— Резная китайская работа.— Улицы и базары.— Лавки и продавцы. — Фрукты, зелень и дичь. — Харчевни. — Европейские магазины. — Буддийская часовня. — Шанхайские доллары и медная китайская монета. — Окрестности, поля, гулянье англичан.— Лагерь и инсургенты. — Таутай Самква. — Осада города продавцами провизии.— Обращение англичан с китайцами.— Торговля опиумом.— Значение Шанхая.— Претендент на богдыханский престол.— Успехи христианства в Китае. — Фермы и земледельцы.— Китайские похороны.— Возвращение на фрегат.

С 11 ноября 1853 года.

Опять пловучая жизнь, опять движение по воле ветра или покой, по его же милости! Как воет он теперь и как холодно! Я отвык в три месяца от моря и с большим неудовольствием смотрю, как все стали по местам, как четверо рулевых будто приросли к штурвалу, ухватясь за рукоятки колеса, как матросы полезли на марсы и как фрегат распустил крылья, а дед начал странствовать с юта к карте и обратно. Мы пошли по 6 и по 7 узлов, в бейдевинд. За нами долго следила японская джонка, чтоб посмотреть, куда мы направимся. Я не знал, куда деться от холода, и, как был одетый в байковом пальто, лег на кровать, покрылся ваточным одеялом — и все было холодно. В перспективе не теплее: в Шанхае бывают морозы, несмотря на то, что он лежит под 31 градусом северной широты.

Сегодня выхожу на палубу часу в девятом: налево, в тумане, какой-то остров; над ним, как исполинская ширма, стоит

сизая туча, с полосами дождя. Пасмурно; дождь моросит; в воздухе влажно, пахнет немного болотом. Предчувствуешь насморк. Погода совершенно такая же, какая бывает в Финском заливе или на Неве в конце лета, в серенькие дни. «Что это за остров?» — спросил я. *«Гото»*,— говорят. «А это, направо?» — *«Ослиные уши»*.— «Что-о? почему это уши? — думал я, глядя на группу совершенно голых, темных каменьев,— да еще и ослиные?» Но, должно быть, я подумал это вслух, потому что кто-то подле меня сказал: «Оттого, что они торчмя высовываются из воды — вон видите?» Вижу, да только это похоже и на шапку, и на ворота, и ни на что не похоже, всего менее на уши. Ведь говорят же, что Столовая гора похожа на стол, а Львиная на льва: так почему ж и эти камни не назвать так? А вон, правее, еще три камня: командир нашего транспорта, капитан Фуругельм, первый заметил их. Они не показаны на карте, и вот у нас отмечают их положение. Они видны несколько правее от «Ушей», если идти из Японии, как будто на втором плане картины. Кто предлагал назвать их «Камнями Паллады», кто «Тремя Стражами», но они остались без названия.

Ветер стал свежеть: убрали брамсели, и вскоре взяли риф у марселей. Как улыбаются мне теперь картины сухопутного путешествия, если б вы знали, особенно по России! Едешь не торопясь, без сроку, по своей надобности, с хорошими спутниками; качки нет, хотя и тряско, но то не беда. Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаже, утонешь в перины, закроешься одеялом — и знать ничего не хочешь. Утром поздно уже, переспав два раза срок, путешественник вдруг освобождает с трудом голову из-под спуда подушек, вскакивает, с прической à l'imbécile [1], и дико озирается по сторонам, думая: «Что это за деревья, откуда они взялись и зачем он сам тут?» Очнувшись, шарит около себя, ища картуза, и видит, что в него, вместо головы, угодила нога, или ощупывает его под собой, а иногда и вовсе не находит. Потом пойдут вопросы: далеко ли отъехали, скоро ли приедут на станцию, как называется вон та деревня, что в овраге? Потом станция, чай, легкая утренняя дрожь, Теньеровские картины; там опять живая и разнообразная декорация лесов, пашен, дальних сел и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгий жар и снова станция, обед, приветливые лица да двугривенные; после еще сон, наконец знакомый шлагбаум, знакомая улица, знакомый дом, а там она, или он, или оно... Ах! где вы, милые, знакомые явления? А здесь что такое? одной рукой пишу, другой держусь за переборку; бюро лезет на меня, я лезу на стену... До свидания.

14-го. Вот и *Saddle-Islands*, где мы должны остановиться с судами, чтоб нейти в Шанхай и там не наткнуться или на мель,

---

[1] как у помешанного *(франц.)*.

или на англичан, если у нас с ними война. Мы еще ничего не знаем. Да с большими судами и не дойдешь до Шанхая: река Янсекиян вся усеяна мелями: надо пароход и лоцманов. Есть в Шанхае и пароход, «Конфуций», но он берет четыреста долларов за то, чтоб ввести судно в Шанхай. Что сказал бы добродетельный философ, если б предвидел, что его соименник будет драть по стольку с приходящих судов? проклял бы пришельцев, конечно. А кто знает: если б у него были акции на это предприятие, так, может быть, сам брал бы вдвое. Здесь неимоверно дорог уголь: тонн стоит десять фунт. стерл., оттого и пароход берет дорого за буксир.

Saddle-Islands лежат милях в сорока от бара или устья Янсекияна, да рекой еще миль сорок с лишком надо ехать, потом речкой Восунг, Усун или Woosung, как пишут англичане, а вы выговаривайте, как хотите. Отец Аввакум, живший в Китае, говорит, что надо говорить *Вусун*, что у китайцев нет звука *г*.

Saddle-Islands значит «Седельные острова»: видно уж по этому, что тут хозяйничали англичане. Во время китайской войны английские военные суда тоже стояли здесь. Я вижу берег теперь из окна моей каюты: это целая группа островков и камней, вроде знаков препинания; они и на карте показаны в виде точек. Они бесплодны, как бо́льшая часть островов около Китая; ветры обнажают берега. Впрочем, пишут, что здесь много устриц и — чего бы вы думали? нарциссов!

Сию минуту К. Н. Посьет вызвал меня посмотреть рыбачий флот. Я думал, что увижу десятка два рыбачьих лодок, и не хотел выходить: вообразите, мы насчитали до пятисот. Они все стоят в линию, на расстоянии около трех кабельтовых от нас, то есть около трехсот сажен — это налево. А справа видны острова, точно морские чудовища, выставившие темные, бесцветные хребты: ни зелени, ни возвышенностей не видно; впрочем, до них еще будет миль двенадцать. Я все смотрел на частокол китайских лодок. Что они там делают, эти рыбаки, а при случае, может быть, и пираты, как большая часть живущих на островах китайцев? Над ними нет управы. Китайское правительство слишком слабо и без флота ничего не может с ними сделать. Англичан и других, кто посильнее на море, пираты не трогают, следовательно тем до них дела нет. Даже говорят, что англичане употребляют их для разных послуг. Зато небольшим купеческим судам от них беда. Их уличить трудно: если они одолеют корабль, то утопят всех людей до одного; а не одолеют, так быстро уйдут, и их не сыщешь в архипелагах этих морей. Впрочем, они нападают только тогда, когда надеются наверное одолеть. Все затруднение поймать их состоит в том, что у них не одно ремесло. Сегодня они купцы, завтра рыболовы, а при всяком удобном случае — разбойники. Наши моряки любуются, как они ловко управляются на море с своими красными бочкообразными лодками и рогожными парусами:

видно, что море — их стихия. Старшего над ними, кажется, никого нет: сегодня они там, завтра здесь и всегда избегнут всякого правосудия. Народонаселение лезет из Китая врозь, как горох из переполненного мешка, и распространяется во все стороны, на все окрестные и дальние острова, до Явы — с одной стороны, до Калифорнии — с другой. Китайцев везде много: они и купцы, и отличные мастеровые, и рабочие. Я удивляюсь, как их еще по сю пору нет на мысе Доброй Надежды? Этому народу суждено играть большую роль в торговле, а может быть, и не в одной торговле.

Наше двухдневное плавание до сих пор было хорошо. В среду мы снялись с якоря, сегодня, в субботу, уже подходим. Всего сделали около 450 миль: это семьсот с лишком верст. Качка была, да не сильная, хотя вчера дул свежий ветер, ровный, резкий и холодный. Волнение небольшое, но злое, постоянное: как будто человек сердится, бранится горячо, и гневу его долго не предвидится конца. Фрегат шел, накренясь на левую сторону, и от напряжения слегка судорожно вздрагивал: под ногами чувствуешь точно что-нибудь живое, какие-то натянутые жилы, которые ежеминутно готовы разорваться от усилия. Так заметно, особенно для ног, давление воздуха на мачты, паруса и на весь остов судна.

Сегодня встаем утром: теплее вчерашнего; идем на фордевинд, то есть ветер дует прямо с кормы; ходу пять узлов, и ветер умеренный. «Свистать всех наверх — на якорь становиться!» — слышу давеча и бегу на ют. Вот мы и на якоре. Но что за безотрадные скалы! какие дикие места! ни кустика нет. Говорят, есть деревня тут: да где же? не видать ничего, кроме скал.

16-го. Вчера наши уехали на шкуне в Шанхай. Я не поехал, надеясь, что успею: мы здесь простоим еще с месяц. Меня звали, но я не был готов, да пусть прежде узнают, что за место этот Шанхай, где там быть и что делать? пускают ли еще в китайский город? А если придется жить в европейской фактории и видеть только ее, так не стоит труда и ездить: те же англичане, тот же ростбиф, те же much obliged [1] и thank you [2]. А у китайцев суматоха, беспорядок. Инсургенты в городе, войска стоят лагерем вокруг: нет надежды увидеть китайский театр, получить приглашение на китайский обед, попробовать птичьих гнезд. Хоть бы подрались они при нас между собою! Говорили, будто отсюда восемьдесят миль до Шанхая, а выходит сто пять,— это сто восемьдесят четыре версты.

Наши съезжали сегодня на здешний берег, были в деревне у китайцев, хотели купить рыбы, но те сказали, что и настоящий и будущий улов проданы. Невесело, однако, здесь. Впро-

---

[1] благодарю *(англ.)*.
[2] спасибо *(англ.)*.

чем, давно не было весело: наш путь лежал или по английским портам, или у таких берегов, на которые выйти нельзя, как в Японии, или незачем, как здесь, например.

Наши, однако, не унывают, ездят на скалы гулять. Вчера даже с корвета поехали на берег пить чай на траве, как, бывало, в России, в березовой роще. Только они взяли с собой туда дров и воды: там нету. Не правда ли, есть маленькая натяжка в этом сельском удовольствии?

В море. Пришло время каяться, что я не поехал в Шанхай. Безыменная скала, у которой мы стали на якорь, защищает нас только от северных, но отнюдь не от южных ветров. Сегодня вдруг подул южный ветер, и барометр стал падать. Скорей стали сниматься с якоря и чрез час были в море, вдали от опасных камней. Отважные рыбачьи лодки тоже скрылись по бухтам. Мы то лежим в дрейфе, то лениво ползем узел, два вперед, потом назад, ходим ощупью: тьма ужасная; дождь, как в Петербурге, уныло и беспрерывно льет, стуча в кровлю моей каюты, то есть в ют. Но в Петербурге есть ярко освещенные залы, музыка, театр, клубы — о дожде забудешь; а здесь есть скрип снастей, тусклый фонарь на гафеле, да одни и те же лица, те же разговоры: зачем это не поехал я в Шанхай!

Сегодня, 19-го, ветер крепкий гнал нас назад узлов по девяти. Я не мог уснуть всю ночь. Часов до четырех, по обыкновению, писал и только собрался лечь, как начали делать поворот на другой галс: стали свистать, командовать; бизань-шкот и грота-брас идут чрез роульсы, привинченные к самой крышке моей каюты, и когда потянут обе эти снасти, точно два экипажа едут по самому черепу. Ветер между тем переменился, и мы пошли на свое место. Нас догнал корвет; ночью жгли фальшфейеры. Часов в восемь мы опять были в желтых струях Янсекияна. Собственно, до настоящего устья будет миль сорок отсюда, но вода так быстра, что мы за несколько миль еще до этих Saddle-Islands встретили уже желтую воду.

Страшно подумать, что с 5-го августа, то есть со дня прихода в Японию, мы не были на берегу, исключая визита к нагасакскому губернатору. Это ровно три месяца. И когда сойдем, еще не знаю. Придет ли за нами шкуна сюда, или нет; буду ли я в Шанхае — неизвестно. Ходишь по палубе, слушаешь, особенно по вечерам, почти никогда не умолкающий здесь вой ветра. Слышишь и какие-то, будто посторонние, примешивающиеся тут же голоса, или мелькнет в глаза мгновенный блеск, не то отдаленного пушечного выстрела, не то блуждающего по горам огонька: или это только так, призраки, являющиеся в те мгновения, когда в организме есть ослабление, расстроенность... Корвет сегодня, 21-го, только воротился из нашей коротенькой экспедиции, или побега от южного ветра.

22-го. Я еще не был здесь на берегу — не хочется, во-первых, лазить по голым скалам, а во-вторых, не в чем: сапог нет,

или, пожалуй, вон их целый ряд, но ни одни нейдут на ногу. Кожа всего скорее портится в море; сначала она отсыреет, заплесневеет, потом ссыхается в жарких климатах и рвется почти так же легко, как писчая бумага. Я советую вам ехать в дальний вояж без сапог или в тех только, которые будут на ногах; но возьмите с собой побольше башмаков и ботинок... и то не нужно: везде сделают вам. Теперь я ношу ботинки китайской работы, сделанные в Гон-Конге... Вот что значит скука-то: заговоришься à propos des bottes [1].

23-го. Еще с утра вчера завидели шкуну; думали наша — нет: чересчур высок рангоут, а лавирует к нам. Капитан, отец Аввакум и я из окна капитанской каюты смотрели, как ее обливало со всех сторон водой, как ныряла она; хотела поворачивать, не поворачивала, наконец поворотила и часов в пять бросила якорь близ фрегата. Мы никак не ожидали, чтоб это касалось до нас. На шкуне были наши К. Н. Посьет и С. П. Шварц: они привезли из Шанхая зелень, живых быков, кур, уток, словом свежую провизию и новости, но не свежие: от августа, а теперь ноябрь.

В Китае мятеж; в России готовятся к войне с Турцией. Частных писем привезли всего два. Меня зовут в Шанхай: опять раздумье берет, опять нерешительность — да как, да что? Холод и лень одолели совсем, особенно холод, и лень тоже особенно. Вчера я спал у капитана в каюте; у меня невозможно раздеться; я пишу, а другую руку спрятал за жилет; ноги зябнут.

Вот уж четвертый день ревет крепкий NW; у нас травят канат, шкуну взяли на бакштов, то есть она держится за поданный с фрегата канат, как дитя за платье няньки. Это американская шкуна; она, говорят, ходила к южному полюсу, обогнула Горн. Ее зовут *Точкой*. Относительно к океану она меньше точки, или если точка, то математическая. Нельзя подумать, глядя на нее, чтоб она была у Горна: большая лодка и всего 12 человек на ней, и со шкипером. У ней изорвало вчера паруса, подмочило всю нашу провизию, кур, уток, а одного быка совсем унесло валом. Да и путешественники пришли на фрегат— точно из гостей от самого Нептуна.

Так и есть, как я думал: Шанхай заперт, в него нельзя попасть: инсургенты не пускают. Они дрались с войсками — наши видели. Надо ехать, разве потому только, что совестно быть в полутораста верстах от китайского берега и не побывать на нем. О войне с Турцией тоже не решено, вместе с этим не решено, останемся ли мы здесь еще месяц, как прежде хотели, или сейчас пойдем в Японию, несмотря на то, что у нас нет сухарей.

---

[1] Игра слов — буквально: «о башмаках», в переносном смысле: «о чем попало» *(франц.)*.

Янсекиян и Шанхай. Все, кто хотел ехать, начали собираться, а я, по своему обыкновению, продолжал колебаться, ехать или нет, и решил не ехать. Утром предполагали отправиться в восемь часов. Я встал в шесть и — поехал. Погода была порядочная, волнение умеренное, для фрегата вовсе незаметное, но для маленькой шкуны чувствительное. Я осмотрелся на шкуне: какая перемена после фрегата! Там не знаешь, что делается на другом конце, по нескольку дней с иным и не увидишься; во всем порядок, чистота. Здесь едешь, как в лодке. Палуба завалена всякой дрянью; от мачты и парусов негде поворотиться; черно, грязно, скользко, ноги прилипают к палубе. Шкипер шкуны, английский матрос, служивший прежде на купеческих судах, нанят хозяином шкуны, за 25 долларов в месяц, ходить по окрестным местам для разных надобностей. На руле сидел малаец, в чалме; матросы все китайцы.

Нас было человек десять: теснота такая, что почти проходу не было. Кроме офицеров, гг. Посьета, Назимова, Кроуна, Белавенца, Болтина, Овсянникова, кн. Урусова да нас троих, не офицеров: о. Аввакума, О. А. Гошкевича и меня, ехали пятеро наших матросов, мастеровых, делать разные починки на шкуне «Восток». Посьет, приехавший на этой шкуне, уж знал, что ни шкипер, несмотря на свое звание матроса, да еще английского, ни команда его не имели почти никакого понятия об управлении судном. Рулевой, сидя на кожаной скамеечке, правил рулем как попало. Он очень об этом не заботился: беспрестанно качал ногой, набивал трубку, выкуривал, выколачивал тут же, на палубу и опять набивал. На компас он и внимания не обращал; да и стекло у компаса так занесло пылью, плесенью и всякой дрянью, что ничего не видно на нем.

Шкипер немного больше заботился о судне. Это был маленький, худощавый человечек, в байковой куртке и суконной шапке, похожей на ночной чепчик. Он вынес изодранную карту Чусанского архипелага и островов Сэддль, положил ее на крышку люка, а сам сжался от холода в комок и стал незаметен, точно пропал с глаз долой. Положив ногу на ногу и спрятав руки в рукава, он жевал табак и по временам открывал рот... что за рот! не обращая ни на что внимания. Его беспрестанно побуждали офицеры, напоминали ему о ветре, о течении. Он крикнет что-нибудь на полуанглийском, полукитайском языке и опять пропадет. Рулевой правил наудачу; китайские матросы, сев на носу в кружок, с неописанным проворством ели двумя палочками рис.

Наши офицеры, видя, что с ними недалеко уедешь, принялись хозяйничать сами. Один оттолкнул рулевого, который давал шкуне *рыскать*, и начал править сам, другой смотрел на карту. Наши матросы заменили китайцев, тянули и отдавали по команде снасти, сделанные из травы и скрипевшие, как едущий по снегу обоз. Ветер, к счастию, был попутный, течение

тоже; мы шли узлов семь с лишком. Вот уже миновали знаки препинания, то есть Седельные острова. Вдали, налево, виден был, имеющий форму купола, островок Гуцлав, названный так в честь знаменитого миссионера Гуцлава.

Как ни холодно, ни тесно было нам, но и это путешествие, с маленькими лишениями и неудобствами, имело свою занимательность, может быть потому, что вносило хоть немного разнообразия в наши монотонные дни.

Посидев на палубе, мы ушли вниз и завладели каютой шкипера. Она состояла из двух чуланчиков, вроде нор, и, по черноте и беспорядку, походила в самом деле на какой-то лисятник. Всего более мутил меня запах проклятого растительного масла, употребляемого китайцами в пищу; запах этот преследовал меня с Явы: там я почуял его в первый раз в китайской лавчонке и с той минуты возненавидел. В Сингапуре и в Гон-Конге он смешивался с запахом чеснока и сандального дерева и был еще противнее; в Японии я три месяца его не чувствовал, а теперь вот опять! Оглядываюсь, чтоб узнать, откуда пахнет,— и ничего не вижу: на лавке валяется только дождевая кожаная куртка, вероятно хозяйская. Я отворил все шкафчики, поставцы: там чашки, чай — больше ничего нет, а так и разит!

Мы в крошечной каюте сидели чуть не на коленях друг у друга, а всего шесть человек, четверо остались наверху. К завтраку придут и они. Куда денешься? Только стали звать матроса вынуть наши запасы, как и остальные стали сходиться. Вон показались из люка чьи-то ноги, долго опускались, наконец появилось и все прочее, после всего лицо. Потом другие ноги, и так далее. Я сначала, как заглянул с палубы в люк, не мог постигнуть, как сходят в каюту: в трапе недоставало двух верхних ступеней, и потому надо было прежде сесть на порог или «карлинсы» и спускать ноги вниз, ощупью отыскивая ступеньку, потом, держась за веревку, рискнуть прыгнуть так, чтоб попасть ногой прямо на третью ступеньку. Выходить надо было на руках, это значит выскакивать, то есть упереться локтями о края люка, прыгнуть и стать сначала коленями на окраину, а потом уже на ноги. Вообще сходить в каюту надо было с риском. Однако ж к завтраку и к ужину все рискнули сойти. От обеда воздержались: его не было.

Кому не случалось обедать на траве, за городом, или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб, жареные индейки, пироги? Мне даже показалось, что тут подали те же три стакана и две рюмки, которые я будто уж видал где-то в подобных случаях. Вилка тоже, с переломленным средним зубцом, подозрительна: она махнула сюда откуда-нибудь из-под Москвы или из Нижнего. Вон соль в бумажке; есть у нас ветчина, да горчицу забыли. Вообще тут, кажется, отрешаются от всяких правил, наблюдаемых в другое

время. Один торопится доесть утиное крылышко, чтоб поспеть взять пирога, который исчезает с невероятною быстротою. А другой, перебирая вилкой остальные куски, ропщет, что любимые его крылышки улетели. Кто начинает только завтракать, кто пьет чай; а этот, ожидая, когда удастся, за толпой, подойти к столу и взять чего-нибудь посущественнее, сосет пока попавшийся под руку апельсин; а кто-нибудь обогнал всех и эгоистически курит сигару. Две собаки, привлеченные запахом жаркого, смотрят сверху в люк и жадно вырывают из рук поданную кость. Ничего, все было бы сносно, если б не отравляющий запах китайского масла! Мне просто дурно; я ушел наверх.

Один только О. А. Гошкевич не участвовал в завтраке, который, по простоте своей, был достоин троянской эпохи. Он занят другим: томится морской болезнью. Он лежит наверху, закутавшись в шинель, и, чуть пошевелится, собаки, не видавшие никогда шинели, с яростью лают.

Но вот, наконец, выбрались из архипелага островков и камней, прошли и Гуцлав. Тут, в открытом океане, стало сильно покачивать; вода не раз плескала на палубу. Пошел мелкий дождь. Шкипер надел свою дождевую куртку и — вдруг около него разлился запах противного масла. Ах, если б я прежде знал, что это от куртки!.. Вода все желтее и желтее. Вскоре вошли за бар, то есть за черту океана, и вошли в реку. Я «выскочил» из каюты посмотреть берега. «Да где ж они?» — «Да берегов нет».— «Ведь это река?» — «Река».— «Янсекиян?» — «Да, «сын океана» по-китайски».— «А берега?..» — «Вон, вон»,— говорит шкипер. Смотрю — ничего нет.

Наконец показалась полоса с левой стороны, а с правой вода — и только: правого берега не видать вовсе. Левый стал обозначаться яснее. Он так низмен, что едва возвышается над горизонтом воды и состоит из серой глины, весь защищен плотинами, из-за которых видны кровли, с загнутыми уголками, и редкие деревья да борозды полей, и то уж ближе к Шанхаю, а до тех пор кругозор ограничивается едва заметной темной каймой. Вправо остался островок. Я спросил у шкипера название, но он пролаял мне глухие звуки, без согласных. Пробовал я рассмотреть на карте, но там, кроме чертежа островов, были какие-то посторонние пятна, покрывающие оба берега. Потом ничего не стало видно: сумерки скрыли все, и мы начали пробираться по «сыну океана» ощупью. Два китайца беспрестанно бросали лот. Один кричал: three and half [1], потом half and four [2] и так разнообразил крик все время. Наши следили карту, поверяя по ней глубину. Глубина беспрестанно изменялась, от 8 до 3½ сажен. Как только доходило до последней цифры, шкипер немного выходил из апатии и иногда сам брался за руль.

---

[1] три с половиной *(англ.)*.
[2] половина и четыре *(англ.)*.

Нашим мелким судам трудно входить сюда, а фрегату невозможно, разве с помощью сильного парохода. Фрегат сидит 23 фута; фарватер Янсекияна и впадающей в него реки Вусун, на которой лежит Шанхай, имеет самую большую глубину 24 фута, и притом он чрезвычайно узок. Недалеко оставалось до Woosung (Вусуна), местечка при впадении речки того же имени в Янсекиян.

У Вусуна обыкновенно останавливаются суда с опиумом и отсюда отправляют свой товар на лодках в Шанхай, Нанкин и другие города. Становилось все темнее; мы шли осторожно. Погода была пасмурная. «Зарево!» — сказал кто-то. В самом деле налево, над горизонтом, рдело багровое пятно и делалось все больше и ярче. Вскоре можно было различить пламя и вспышки — от выстрелов. В Шанхае — сражение и пожар, нет сомнения! Это помогло нам определить свое место.

Наконец, при свете зарева, как при огненном столпе израильтян, мы, часов в восемь вечера, завидели силуэты судов, различили наш транспорт и стали саженях в пятидесяти от него на якорь. Китайцы, с помощью наших матросов, проворно убрали паруса и принялись за рис, а мы за своих уток и чай. Некоторые уехали на транспорт. Дремлется. Шкипер сошел вниз пить чай и рассказывал о своей шкуне, откуда она, где она была. Между прочим, он сказал, что вместе с этой шкуной выстроена была и другая, точно такая же, ее «sistership» [1], как он выразился, но что та погибла в океане, и с людьми. Потом рассказывал, как эта уцелевшая шкуна отразила нападение пиратов, потом еще что-то. Я, пробуждаясь от дремоты, видел только — то вдалеке, то вблизи, как в тумане — суконный ночной чепчик, худощавое лицо, оловянные глаза, масленую куртку, еще косу входившего китайца-слуги да чувствовал запах противного масла. На лавке, однако ж, дремать неудобно; хозяин предложил разместиться по нишам и, между прочим, на его постели, которая тут же была, в нише, или, лучше сказать, на полке. Из другой комнаты, или, вернее — чулана, слышалось храпенье. Там, на таких же полках, уже успели расположиться по двое, да двое на лавках. Это был маленький арсенал: вся противоположная двери стена убрана была ружьями, пиками и саблями. А утром хозяин снял с полки пару пистолетов, вынес их наверх и выстрелил на воздух, из предосторожности. «Зачем это оружие у вас?» — спросил я, указывая на пики, сабли и ружья. «Это еще старое,— сказал он,— я застал его тут. В здешних морях иначе плавать нельзя».

Я как был в теплом пальто, так и влез на хозяйскую постель и лег в уголок, оставляя место кому-нибудь из товарищей, поехавших на транспорт. Не знаю, что бы вы сказали, глядя, где и как мы улеглись. Вообразите себе большой сундук, у которого

---

[1] здесь: «сестра» *(англ.)*.

вынут один бок — это наше ложе, для двоих. Я тотчас же заснул, лишь только лег. Ночью, слышу, кто-то сильно возится подле меня, по-видимому, укладывается спать. Это А. Е. Кроун, возвратившийся с транспорта. Все замолчало, и мы заснули. Я проснулся потом от сильной духоты и запаху масла. Ах, хоть бы минуту дохнуть свежим воздухом! Я попробовал освободиться — нет возможности: мой сосед лежит, как гранитный камень, и не шелохнется, как я ни толкал его в бока: он совсем запер мне выход. Я думал, как мне поступить,— и заснул. Просыпаюсь — утро, светло; мы движемся. Китаец ставит чашки на стол; матрос принес горячей воды.

Пасмурно и ветрено; моросит дождь; ветер сильный. Мы идем по реке Вусуну; она широка, местами с нашу Оку. Ясно видим оба берега, низменные, закрытые плотинами; за плотинами группируются домы, кое-где видны кумирни или вообще здания, имеющие особенное назначение; они выше и нарядные прочих. Поля все обработаны; хотя хлеб и овощи сняты, но узор правильных нив красив, как разрисованный паркет. Есть деревья, но редко, и зелени мало на них: мне казалось, что это ивы. Вдали ничего нет: ни горы, ни холма, ни бугра — плоская и, казалось, топкая долина.

Ближе к Шанхаю река заметно оживлялась: беспрестанно встречались джонки, с своими, красно-бурого цвета, парусами, из каких-то древесных волокон и коры. Китайские джонки устройством похожи немного на японские, только у них нет разрезной кормы. У некоторых китайских лодок нос и корма пустые, а посредине сделан навес и каюта; у других, напротив, навес сделан на носу. Большие лодки выстроены из темно-желтого бамбукового корня, покрыты циновками и очень чисты, удобны и красивы, отделаны, как мебель или игрушки. Багры, которыми они управляются, и весла бамбуковые же. Между прочим, много идет на эти постройки камфарного дерева: оно не щепится. Его много в Китае и в Японии, но особенно на Зондских островах.

Лодки эти превосходны в морском отношении: на них одна длинная мачта с длинным парусом. Борты лодки, при боковом ветре, идут наравне с линией воды, и нос зарывается в волнах, но лодка держится, как утка; китаец лежит и беззаботно смотрит вокруг. На этих больших лодках рыбаки выходят в море, делая значительные переходы. От Шанхая они ходят в Нинпо, с товарами и пассажирами, а это составляет, кажется, сто сорок морских миль, то есть около двухсот пятидесяти верст.

Мили за три от Шанхая мы увидели целый флот купеческих трехмачтовых судов, которые теснились у обоих берегов Вусуна. Я насчитал до двадцати рядов, по девяти и десяти судов в каждом ряду. В иных местах стояли на якоре американские, так называемые «клиппера», то есть большие трехмачтовые суда, с острым носом и кормой, отличающиеся красотою и быстрым ходом.

С полудня начался отлив; течение было нам противное, ветер тоже. Крепкий NW дул прямо в лоб. Шкипер начал лавировать. Мы все стояли наверху. Паруса беспрестанно переносили то на правый, то на левый галс. Надо было каждый раз нагибаться, чтоб парусом не сшибло с ног. Шкуна возьмет вдруг направо и лезет почти на самый берег, того и гляди коснется его; но шкипер издаст гортанный звук, китайцы, а более наши люди, кидаются к снастям, отдают их, и освобожденные на минуту паруса хлещут, бьются о мачты, рвутся из рук, потом их усмиряют, кричат: «берегись!», мы нагнемся, паруса переносят налево, и шкуна быстро поворачивает. Минут через десять начинается то же самое. Мокро, скользко; переходя торопливо со стороны на сторону, того и гляди слетишь в люк. Мы сделали уже около десяти поворотов.

Вон и Шанхай виден. Суда и джонки, прекрасные европейские здания, раззолоченная кумирня, протестантские церкви, сады — все это толпится еще неясной кучей, без всякой перспективы, как будто церковь стоит на воде, а корабль на улице. Нетерпение наше усилилось: хотелось переодеться, согреться, гулять. Идти бы прямо, а мы еще все направо да налево. Вдруг — о горе! не поворотили вовремя — и шкуну потащило течением назад, прямо на огромную, неуклюжую, пеструю джонку; едва-едва отделались и опять пошли лавировать. Ветер неистово свищет; дождь сечет лицо.

Наконец, слава богу, вошли почти в город. Вот подходим к пристани, к доку, видим уже трубу нашей шкуны; китайские ялики снуют взад и вперед. В куче судов видны клипера, поодаль стоит, закрытый излучиной, маленький, двадцатишестипушечный английский фрегат «Spartan» [1], еще далее французские и английские пароходы. На зданиях развеваются флаги европейских наций, обозначая консульские дома.

Мы с любопытством смотрели на все: я искал глазами Китая, и шкипер искал кого-то с нами вместе. «Берег очень близко, не *пора ли поворачивать?»* — с живостью кто-то сказал из наших. Шкипер схватился за руль, крикнул — мы быстро нагнулись, паруса перенесли на другую сторону, но шкуна не поворачивала; ветер ударил сильно — она все стоит: мы были на мели. «Отдай шкоты!» — закричали офицеры нашим матросам. Отдали, и шкуна, располагавшая лечь на бок, выпрямилась, но с мели уже не сходила.

Шкипер сложил ногу на ногу, засунул руки в рукава и покойно сел на лавочку, поглядывая во все стороны. Китайцы проворно убирали паруса, наши матросы ловили разорвавшийся кливер, который хлестал по бушприту. На нас, кажется, насмешливо смотрели прочие суда и джонки. Совершенно то же самое, как сломавшаяся среди непроходимой грязи ось: карета

[1] «Спартанец» *(англ.)*.

передками упирается в грязь, сломанное колесо лежит возле, кучка извозчиков равнодушно и тупо глядит то на колесо, то на вас. Вы сидите, а мимо вас идут и скачут; иные усмехнутся, глядя, как вы уныло выглядываете из окна кареты, другие посмотрят с любопытством, а бóльшая часть очень равнодушно — и все обгоняют. Точно то же и на мели. Надо было достать лодку. Они вдали ходили взад и вперед, перевозя через реку, но на нас мало обращали внимания. Выручил В. А. Корсаков: он из дока заметил нас и тотчас же приехал. Нас двое отправились с ним, прочие остались с вещами, в ожидании, пока мы пришлем за ними лодку.

Под проливным дождем, при резком холодном ветре, в маленькой крытой китайской лодке, выточенной чисто, как игрушка, с украшениями из бамбука, устланной белыми циновками, ехали мы по реке Вусуну. Китаец правил стоя, одним веслом; он с трудом выгребал против ветра и течения. Корсаков показывал мне иностранные суда: французские и английские пароходы, потом купленный китайцами европейский бриг, которым командовал английский шкипер, то есть действовал только парусами, а в сражениях с инсургентами не участвовал. Потом ехали мы мимо военных джонок, назначенных против инсургентов же. С них поднялась пальба: китайский адмирал делал ученье. Тут я услыхал, что во вчерашнем сражении две джонки взорваны на воздух. Китайцы действуют, между прочим, так называемыми вонючими горшками (stinkpots). Они с марсов бросают эти горшки, наполненные какими-то особенными горючими составами, на палубу неприятельских судов. Вырывающиеся из горшков газы так удушливы, что люди ни минуты не могут выдержать и бросаются за борт. Китайские пираты с этими же горшками нападают на купеческие, даже на военные суда.

Чрез полчаса мы сидели в чистой комнате отели, у камина, за столом, уставленным, по английскому обычаю, множеством блюд. Спутники, уехавшие прежде нас в Шанхай, не очень, однако ж, обрадовались нам. «Вас много наехало!» — вместо всякого приветствия встретили они нас. «Да мы еще не все: чрез час придут человек шесть! — в свою очередь, не без удовольствия, отвечали мы.— А что?» — «Куда ж вы поместитесь? комнат нет, все разобраны: мы живем по двое и даже по трое».— «Ничего,— отвечали мы,— поживем и вчетвером». Так и случилось. Хозяин, с наружным отчаянием, но с внутренним удовольствием, твердил: «Дом мой приступом взяли!» — и начал бегать, суетиться. Откуда явились кушетки, диваны, подушки? Нумера гостиницы, и без того похожие на бивуаки, стали походить на контору дилижансов.

Гостиница наша, «Commercial house» [1], походила, как и все домы в Шанхае, на дачу. Большой двухэтажный камен-

---

[1] «Коммерческая» *(англ.)*.

ный дом, с каменной же верандой или галереей вокруг, с большим широким крыльцом, окружен садом, из тощих миртовых, кипарисных деревьев, разных кустов и т. п. Окна все с жалюзи: видно, что, при постройке, принимали в расчет более лето, нежели зиму. Стены тоненькие, не более как в два кирпича; окна большие; везде сквозной ветер; все неплотно. Дом трясется, когда один человек идет по комнате; через стенки слышен разговор. Но когда мы приехали, было холодно; мы жались к каминам, а из них так и валил черный, горький дым.

Вообще зима как-то не к лицу здешним местам, как не к лицу нашей родине лето. Небо голубое, с тропическим колоритом, так и млеет над головой; зелень свежа; многие цветы ни за что не соглашаются завянуть. И всего продолжается холод один какой-нибудь месяц, много — шесть недель. Зима не успевает воцариться и, ничего не сделав, уходит.

Целый вечер просидели мы все вместе дома, разговаривали о европейских новостях, о вчерашнем пожаре, о лагере осаждающих, о их неудачном покушении накануне сжечь город, об осажденных инсургентах, о правителе шанхайского округа, Таутае Самква, который был в немилости у двора и которому обещано прощение, если он овладеет городом. В тот же вечер мы слышали пушечные выстрелы, которые повторялись очень часто: это перестрелка императорских войск с инсургентами, безвредная для последних и бесполезная для первых.

На другой день, 28 ноября (10 декабря) утром, встали и пошли... обедать. Вы не поверите? Как же иначе назвать? В столовой накрыт стол человек на двадцать. Перед одним дымится кусок ростбифа, перед другим стоит яичница с ветчиной, там сосиски, жареная баранина; после всего уж подадут вам чаю. Это англичане называют завтракать. Позавтракаешь — и хоть опять ложиться спать. «Да чай это или кофе?» — спрашиваю китайца, который принес мне чашку. «Tea or coffee» [1],— бессмысленно повторял он. «Tea, tea»,— забормотал потом, поняв*ши*. «Не может быть: отчего же он такой черный?» Попробовал — в самом деле та же микстура, которую я, под видом чая, принимал в Лондоне, потом в Капштате. Там простительно, а в Китае — такой чай, заваренный и поданный китайцем!

Что ж, нету, что ли, в Шанхае хорошего чаю? Как не быть! Здесь есть всякий чай, какой только родится в Китае. Все дело в слове *хороший*. Мы называем «хорошим» нежные, душистые цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая: он слишком тонок. Эти чаи называются здесь *пекое* (Pekoe flower). Англичане хорошим чаем, да просто чаем (у них он один) называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым, смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и нёбо во рту, как

---

[1] Чай или кофе *(англ.)*.

почти все, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушанья щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов.

Оставляю, кому угодно, опровергать это: англичане в деле гастрономии — не авторитет. Замечу только, что некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе в чай цветы или какие-нибудь душистые специи; в Японии кладут иногда гвоздику. Кажется, о. Иоакинф тоже говорит о подобной противозаконной подмеси, которую допускают китайцы, кладя в черный чай жасминные, а в желтый розовые листки. Но это уж извращенный вкус самих китайцев, следствие пресыщения. Есть и у нас люди, которые нюхают табак с бергамотом или резедой, едят селедку с черносливом и т. п. Англичане пьют свой черный чай и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы.

У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность; у англичан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную приправу; оттого им все равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был черен, густ, щипал язык и не походил ни на какой другой чай. Американцы пьют один зеленый чай, без всякой примеси. Мы удивляемся этому варварскому вкусу, а англичане смеются, что мы пьем, под названием чая, какой-то приторный напиток. Китайцы сами, я видел, пьют простой, грубый чай, то есть простые китайцы, народ, а в Пекине, как мне сказывал отец Аввакум, порядочные люди пьют только желтый чай, разумеется без сахару. Но я — русский человек и принадлежу к огромному числу потребителей, населяющих пространство от Кяхты до Финского залива — я за пекое: будем пить *не с цветами*, а *цветочный чай*, и подождем, пока англичане выработают свое чутье и вкус до способности наслаждаться чаем Pekoe flower, и притом заваривать, а не варить его, по своему обычаю, как капусту.

Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем: надо знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий тридцатиградусный мороз в теплую комнату и сядешь около самовара, чтоб оценить достоинство чая. С каким наслаждением пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм! Ящик стоит 16 испанских талеров; в нем около 70 русских фунтов; и какой чай! У нас он продается не менее 5 руб. сер. за фунт.

После обеда... виноват, после завтрака, мы вышли на улицу; наша отель стояла на углу, на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов, только с бесконечными каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, налево — тоже, и все одинакие. Домы все окружены дворами, и большею частью красивые; архитектура у всех

почти одна и та же: все стиль загородных домов. Я пошел сначала к адмиралу по службе, с тем чтоб от него сделать большую прогулку. Улицы пестрели народом. Редко встретишь европейца; они все наперечет здесь. Всё азиатцы, индийцы, кучками ходят *парси*, или *фарси*, с Индийского полуострова или из Тибета. Они играют здесь роль псов, питающихся крупицами, падающими от трапезы богатых, то есть промышляют мелочами, которые европейцы не считают достойными внимания. Этих парси, да чуть ли не тех самых, мы видели уже в Сингапуре. Они ходят в длинном платье, похожем на костюмы московских греков; на голове что-то вроде узенького кокошника из цветного, лоснящегося ситца, похожего на клеенку. Они сильно напоминают армян.

Китайцы — живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь. Шум, суматоха, движение, крики и говор. На каждом шагу попадаются носильщики. Они беглым и крупным шагом таскают ноши, издавая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не похож на тот, что мы видели в Гон-Конге и в Сингапуре: он смирен, скромен и очень опрятен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов разных меньше по улицам, нежели в Гон-Конге, исключая, однако ж, рынков. Несет ли, например, носильщик груду кирпичей, они лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика; рубашка или кафтан его не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит две дощечки, в виде весов, и на дощечках лежат две кучи красиво сложенных серых кирпичей. С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит мерным своим криком, и если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Все это чисто, даже картинно: и бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его и легко надетая шапочка из серого тонкого войлока, отороченная лентой или бархатом. Заглянешь в ялик, к перевозчику: любо посмотреть, тянет сесть туда. Дерево лакировано — это бамбуковый корень; навес и лавки покрыты чистыми циновками. Если тут и есть какая-нибудь утварь, горшок с похлебкой, чашка, то около все чисто; не боишься прикоснуться и выпачкаться.

Между прочим, я встретил целый ряд носильщиков: каждый нес по два больших ящика с чаем. Я следил за ними. Они шли от реки: там с лодок брали ящики и несли в купеческие домы, оставляя за собой дорожку чая, как у нас, таская кули, оставляют дорожку муки. Местный колорит! В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на американские клипперы или английские суда.

Мы вышли на набережную; там толпа еще деятельнее и живописнее. Здесь сближение европейского с крайним Востоком резко. По берегу стоят великолепные европейские домы, с колоннадами, балконами, аристократическими подъездами, а швейцары и дворники — в своих кофтах или халатах, в шаро-

варах; по улице бродит такая же толпа. То идет купец, обритый донельзя, с тщательно заплетенной косой,в белой или серой маленькой куполообразной шляпе, с загнутыми полями, в шелковом кафтане или в бараньей шубке, в виде кацавейки; то чернорабочий, без шапки, обвивший, за недосугом чесаться, косу дважды около вовсе «нелилейного чела». Там их стоит целая куча, в ожидании найма или работы; они горланят на своем негармоническом языке. Тут цирюльник, с небольшим деревянным шкафчиком, где лежат инструменты его ремесла, раскинул свою лавочку, поставил скамью, а на ней расположился другой китаец и сладострастно жмурится, как кот, в то время как цирюльник, бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и т. п. Тут ходячая кухня, далее, у забора, лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани, вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега. Идет европеец — и толпа полегоньку сторонится, уступает место. На рейде рисуются легкие очертания военных судов, рядом стоят большие барки, недалеко и военные китайские суда, с тонкими мачтами, которые смотрят в разные стороны. Из-за стройной кормы европейского купеческого корабля выглядывает писанный рыбий глаз китайского судна. Все копошится, сгружает, нагружает, торопится, говорит, перекликается...

Я смотрел на противоположный берег Вусуна, но он низмен, ровен и ничего не представляет для глаз. На той стороне поля, хижины; у берегов отгорожены места для рыбной ловли — и больше ничего не видать. Едва ли можно сыскать однообразнее и скучнее местность. Говорят, многие места кажутся хороши, когда о них вспомнишь после. Шанхай именно принадлежит к числу таких мест, которые покажутся хороши, когда оттуда выедешь. Зевая на речку, я между тем прозевал великолепные домы многих консулов, таможню, теперь пустую, занятую постоем английских солдат с военных судов. Она была некогда кумирней и оттого резко отделяется от прочих зданий своею архитектурною пестротою. Я неприметно дошел до дома американского консула. Это последний европейский дом с этой стороны; за ним начинается китайский квартал, отделяемый от европейского узеньким каналом.

Дом американского консула, Каннингама, который в то же время и представитель здесь знаменитого американского торгового дома Россель и К°, один из лучших в Шанхае. Постройка такого дома обходится 50 тысяч долларов. Кругом его парк, или, вернее, двор с деревьями. Широкая веранда опирается на красивую колоннаду. Летом, должно быть, прохладно: солнце не ударяет в стекла, защищаемые посредством жалюзи. В подъезде, под навесом балкона, стояла большая пушка, направленная на улицу.

Дом... но вы знаете, как убираются порядочные, то есть богатые домы: и здесь то же, что у нас. Шелковые драпри до

полу, зеркала, как озера, вправленные в стены, ковры, бронза. Но не все, однако ж, как у нас: boiserie [1], например, массивные шкафы, столы и кровати — здешние, образцы китайского искусства, из превосходного темного дерева, с мозаическими узорами, мелкой, тонкой работы. Если у кого-нибудь из вас есть дедовский дом, убранный по-старинному, вы найдете там образцы этой мозаической мебели. Кровати особенно изумительно хороши: они обыкновенно двуспальные, с занавесками, как везде в Англии. И в домах и в гостиницах, везде вас положат на двуспальную кровать, будьте вы самый холостой человек. Дико мне казалось влезать под катафалк английских постелей, с пестрыми занавесами, и особенно неудобно класть голову на длинную, во всю ширину кровати, и низенькую круглую подушку, располагающую к апоплексическому удару. Но чего не делает привычка!

Китайцы, как известно, отличные резчики на дереве, камне, кости. Ни у кого другого, даже у немца, недостанет терпения так мелко и чисто выработать вещь, или это будет стоить бог знает каких денег. Здесь, по-видимому, руки человеческие и время нипочем. Если б еще этот труд и терпение тратились на что-нибудь важное или нужное, а то они тратятся на такие пустяки, что не знаешь, чему удивляться: работе ли китайца, или бесполезности вещи? Например, они на коре грецкого или миндального ореха вырезывают целые группы фигур в разных положениях, процессии, храмы, домы, беседки, так что вы можете различать даже лица. Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку, со всеми принадлежностями, с людьми, со всем; даже вы отличите рисунок рогожки; мало этого: сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура. Каких бы, кажется, денег должно стоить это? а мы за пять, за шесть долларов покупали целые связки таких орехов, как баранки.

Мне приходилось часто бывать в доме г. Каннингама, у которого остановился адмирал, и потому я сделал ему обычный визит. Китаец-слуга, нарядно одетый в национальный костюм, сказал, что г. Каннингам в своем кабинете, и мы отправились туда. Маленький, белокурый и невидный из себя, г. Каннингам встретил меня очень ласково, не похоже на английскую встречу: не стиснул мне руки и не выломал плеча, здороваясь, а так обошелся, как обходятся все люди между собою, исключая британцев. В кабинете — это только так, из приличия, названо кабинетом, а скорее можно назвать конторой — ничего не было, кроме бюро, за которым сидел хозяин, да двух-трех превысоких табуретов и неизбежного камина. Каннингам пригласил меня сесть. Я кое-как вскарабкался на антигеморроидальное седалище, и г. Каннингам тоже; мы с высот свободно обозревали

---

[1] панель из резного дерева *(франц.)*.

друг друга. «На чем вы приехали?» — спросил меня г. Каннингам. Я только было собрался отвечать, но пошевелил нечаянно ногой: круглое седалище, с винтом, повернулось, как по маслу, подо мной, и я очутился лицом к стене. «На шкуне»,— отвечал я в стену и в то же время с досадой подумал: «Чье это, английское или американское удобство?» и ногами опять приводил себя в прежнее положение. «Долго останетесь здесь?» — «Смотря по обстоятельствам»,— отвечал я, держа рукой подушку стула, которая опять было зашевелилась подо мной. «Сделайте мне честь завтра отобедать со мной»,— сказал он приветливо. «А теперь идите вон»,— мог бы прибавить, если бы захотел быть чистосердечен, и не мог бы ничем так угодить. Но визит кончился и без того.

От консула я пошел с бароном Криднером гулять. «Ну, покажите же мне все, что позамечательнее здесь,— просил я моего спутника,— вы здесь давно живете. Это куда дорога?» — «Эта?.. не знаю»,— сказал он, вопросительно поглядывая на дорогу. «Где ж город, где инсургенты, лагерь?» — сыпались мои вопросы. «Там где-то, в той стороне»,— отвечал он, показав пальцем в воздушное пространство. «А вон там, что это видно в Шанхае? — продолжал я,— повыше других зданий, кумирни или дворцы?» — «Кажется...» — отвечал барон Криднер. «Где лавки здесь? поведите меня: мне надо кое-что купить».— «Вот мы спросим»,— говорил барон и искал глазами, кого бы спросить. Я засмеялся, и барон Криднер закашлял, то есть засмеялся вслед за мной. «Что ж вы делали здесь десять дней?» — сказал я. «Вы завтра у консула обедаете?» — спросил он меня. «Ужинаю, только немного рано, в семь часов».— «У него будет особенно хороший обед, — задумчиво отвечал барон Криднер,— званый, и обедать будут, вероятно, в большой столовой. Наденьте фрак».

Между тем мы своротили с реки на канал, перешли маленький мостик и очутились среди пестрой, движущейся толпы, среди говора, разнообразных криков, толчков, запахов, костюмов, словом, на базаре. Здесь представлялась мне полная картина китайского народонаселения, без всяких прикрас, в натуре.

Знаете ли, чем поражен был мой первый взгляд? какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке или на ярмарке губернского города, вдалеке от Петербурга, где еще не завелись ни широкие улицы, ни магазины; где в одном месте и торгуют и готовят кушанье, где продают шелковый товар в лавочке, между кипящим огромным самоваром и кучей кренделей, где рядом помещаются лавка с фруктами и лавка с лаптями или хомутами. Разница в подробностях: у нас деготь и лыко — здесь шелк и чай; у нас груды деревянной и фаянсовой посуды — здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, видом, вонью и затейливостью перещеголяла нашу. Чего тут

нет? Жаль, что нельзя разглядеть всего: «с души рвет», как говорит Фаддеев, а есть чего поглядеть! Море, реки, земля, воздух — спорят здесь, кто больше принес в дар человеку,— и все это бросается в глаза... это бы еще не беда, а то и в нос.

Длинные, бесконечные, крытые переулки, или, лучше сказать, коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это все домы, выстроенные сплошь, с жильем вверху, с лавками внизу. Навесы крыш едва не касаются с обеих сторон друг друга, и оттого там постоянно господствует полумрак. В этом-то лабиринте вращается огромная толпа. От одних купцов теснота, с продавцами, кажется бы, и прохода не должно быть. Между тем тут постоянно прилив и отлив народа. Тут с удивительною ловкостью пробираются носильщики, с самыми громоздкими ношами, с ящиками чая, с тюками шелка, с охапкой хлопчатой бумаги, чуть не со стог сена. А вон пронесли двое покойника, не на плечах, как у нас, а на руках; там бежит *кули* с письмом, здесь тащат корзину с курами. И все бегут, с криками, с напевами, чтоб посторонились. Этот колотит палочкой в дощечку: значит, продает полотно; тот несет живых диких уток и мертвых, висящих чрез плечо, фазанов, или наоборот. Разносчики кричат, как и у нас. Вы только отсторонились от одного, а другой слегка трогает за плечо, вы пятитесь, но там торопливо кричит третий — вы отскакиваете, потому что у него в обеих руках какие-то кишки или длинная, волочащаяся по земле рыба. «Куда нам деться? две коровы идут»,— сказал барон Криднер, и мы кинулись в лавочку, а коровы прошли дальше. В лавочках, у открытых дверей, расположены припасы напоказ: рыбы разных сортов и видов — вяленая, соленая, сушеная, свежая, одна в виде сабли, так и называется саблей, другая с раздвоенной головой, там круглая, здесь плоская, далее раки, шримсы, морские плоды. Дичи неимоверное множество, особенно фазанов и уток; они висят на дверях, лежат кучами на полу.

Вот обширная в глубину лавка, вся наполненная мужиками, и бабами тоже. Это харчевня. Ну, так и хочется сказать: «Здорово, хлеб да соль!» Народ группами сидит за отдельными столами, как и у нас. Из маленьких синих чашек, без ручек, пьют чай, но не прикусывает широкоплечий ямщик по крошечке сахар, как у нас: сахару нет и не употребляют его с чаем. Зато все курят из маленьких трубок, с длинными, тоненькими чубуками; это опять противно нашему: у нас курят из коротеньких чубуков и предлинных трубок. Над ними клубится облаком пар от небольших, поставленных в разных углах лавки печей, и, поклубившись по харчевне, вырывается на улицу, обдает неистовым, крепким запахом прохожего и исчезает — яко дым. Чего тут нет! лепешки из теста лежат au naturel [1], потом, по

[1] в сыром виде *(франц.)*.

востребованию, опускаются в кипяток и подаются чрез несколько минут готовые. Рядом варится какая-то черная похлебка, едва ли лучше спартанской, с кусочками свинины или рыбы. Я видел даже щи — да, ленивые щи: в кипятке варится кочан отличной зеленой капусты и кусок, кажется, баранины. Есть и оладьи, и жареная свинина, и пирожки.

Много знакомого увидел я тут, но много и невиданного увидел, и особенно обонял. Боже мой, чего не ест человек! Конечно, я не скажу вам, что, видел я, ел один китаец на рынке, всенародно... Я думал прежде, что много прибавляют путешественники, но теперь на опыте вижу, что кое-что приходится убавлять.— Каких соусов нет тут! все это варится, жарится, печется, кипит, трещит и теплым, пахучим паром разносится повсюду. Напрасно стали бы вы заглушать запах чем-нибудь: ни пачули, ни сами четыре разбойника не помогут; особенно два противные запаха преследуют: отвратительного растительного масла, кажется кунжутного, и чесноку.

Отдохнешь у лавки с плодами: тут и для глаз и для носа хорошо. С удивлением взглянете вы на исполинские лимоны— апельсины, которые англичане называют пампль-мусс. Они величиной с голову шести-семилетнего ребенка; кожа в полтора пальца толщины. Их подают к десерту, но не знаю зачем: есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится: ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь неспелые, что, созревши, кожа делается тоньше и плод тогда сладок: разве так. Потом целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, *мандарины*, род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу со всеми волокнами, и вы получаете плод облупленный, как яйцо, сочный, почти прозрачный. Тут был и еще плод овальный, похожий на померанец, поменьше грецкого ореха; я забыл его название. Я взял попробовать, раскусил и выбросил: еще хуже пампль-мусса. Китайцы засмеялись вокруг, и недаром, как я узнал после. Были еще так называемые жужубы, мелкие сухие фиги, с одной маленькой косточкой внутри. Они сладки — про них больше нечего сказать; разве еще, что они напоминают собой немного вкус фиников: та же приторная, бесхарактерная сладость, так же вязнет в зубах. Орехов множество: грецких, миндальных, фисташковых и других. Зелень превосходная; особенно свежи зеленые, продолговатые кочни капусты, еще длинная и красная морковь, крупный лук и т. п.

Мы продолжали пробираться по рядам и вышли — среди криков и стука рабочих, которые, совершенно голые, немилосердно колотили хлопчатую бумагу в своих мастерских,— к магазину американца Фога. Там все есть: готовое платье, посуда, материи, вина, сыр, сельди, сигары, фарфор, серебро. Между съестными лавками мы наткнулись на китайскую лавочку, вроде галантерейной. Тут продавались всякие мелочи. Я купил до

тридцати резных фигур из мягкого, разноцветного камня *агальматолита* (agalmatolite, fragodite, pierre à magots ou á sculpture; Bildstein, Speckstein aus China) [1], попросту называемого *жировиком*. Камень этот, кроме Китая, находят местами в Венгрии и Саксонии.

Нет, я вижу, уголка в мире, где бы не запрашивали неслыханную цену. Китаец запросил за каменные изделия двадцать два доллара, а уступил за восемь. Этой слабости подвержены и просвещенные, и полупросвещенные народы, и, наконец дикари. Кто у кого занял: мы ли у Востока, он ли у нас?

Наконец мы вышли на маленькую, мутную речку, к деревянному, узенькому, дугообразному мостику. Тут стояла небольшая часовня; в ней идол Будды. У подножия нищий собирал милостыню. На мосту, в фуражке, в матросской рубашке, с ружьем на плече, ходил часовой с английского парохода «Спартан». При сходе с моста сидел китаец перед котлом вареного риса. Народ толпился у котла. Всякий клал несколько *кашей* (мелких медных монет) на доску, которою прикрыт был котел. Китаец поднимал тряпицу, доставал из котла рукой горсть рису, клал в свой фартук, выжимал воду и, уже сухой, подавал покупателю. Непривлекательна китайская кухня, особенно при масле, которое они употребляют в пищу! Коровьего масла у них нет: его привозят сюда для европейцев из Англии, и то, которое подавали в Шанхае, было несвежо. Иногда китайцы употребляют свиное сало.

Кстати о монете. В Шанхае ходит двух родов монета: испанские и американские доллары и медная китайская монета. Испанские, и именно Карла IV, предпочитаются всем прочим и называются, не знаю почему, шанхайскими. На них даже кладется от общества шанхайских купцов китайская печать, в знак того, что они не фальшивые. По случаю междоусобной войны банкиры необыкновенно возвысили курс на доллары, так что доллар, на наши деньги, вместо обыкновенной цены 1 р. 33 к., стоит теперь около 2 р. Но это только при получении от банкиров, а в обращении он, в сущности, стоит все то же, то есть вам на него не дадут товара больше того, что давали прежде. Все бросились менять, то есть повезли со всех сторон сюда доллары, и брали за них векселя на Лондон и другие места, выигрывая по два шиллинга на доллар. При покупке вещей за все приходилось платить чуть не вдвое дороже; а здесь и без того дорого все, что привозится из Европы. Беда, кому нужно делать большие запасы: потеря огромная! Прочие доллары, то есть испанские же, но не Карла IV, а Фердинанда и других, и мексиканские тоже, ходят по 80-ти центов. Кроме того, ходят полкроны и шиллинги, но их очень мало в обращении. Зато медной монеты, или

---

[1] Название разных сортов камня агальматолита на французском и немецком языках.

кашей, множество. Она чеканится из неочищенной меди, чуть не из самородка, и очень грязна на вид; величиной монета с четвертак, на ней грубая китайская надпись, а посредине отверстие, чтобы продевать бечевку. Я сначала не вдруг понял, что значат эти длинные связки, которые китайцы таскают в руках, чрез плечо и на шее, в виде ожерелья.

Я что-то купил в лавочке, центов на 30, и вдруг мне дали сдачи до тысячи монет. Их в долларе считают до 1500 штук. Я не знал, что делать, но выручили нищие: я почти все роздал им. Остатки, штук 50, в числе любопытных вещей, привезу показать вам.

«Однако ж час,— сказал барон,— пора домой; мне завтракать (он жил не в отели), вам обедать». Мы пошли не прежней дорогой, а по каналу и повернули в первую длинную и довольно узкую улицу, которая вела прямо к трактиру. На ней тоже купеческие домы, с высокими заборами и садиками, тоже бежали вприпрыжку носильщики с ношами. Мы пришли еще рано; наши не все собрались: кто пошел по делам службы, кто фланировать, другие хотели пробраться в китайский лагерь.

Чрез час по всему дому раздался звук гонга: это повестка готовиться идти в столовую. Чрез полчаса мы сошли к столу, около которого суетились слуги, всё китайцы. Особенно весело было смотреть на мальчишек. На их маленьких лицах, с немного заплывшими глазками, выгнутым татарским лбом и висками, было много сметливости и плутовства; они живо бегали, меняли тарелки, подавали хлеб, воду и еще коверкали, и без того исковерканный, английский язык. Между прочим, мы увидали тут темно-коричневое лицо, в белой чалме, и с зубами еще белее. Мне что-то лицо показалось знакомо, да и он глядел на нас с приветливой улыбкой. Я спросил его, кто он, откуда. «Madras-man [1],— отвечал он,— я вас знаю, я видел вас в Сингапуре».— «Как же ты сюда попал?» — «Так, приехал служить».— «Что ж там делал, чем был?» — «Купец».— «О, лжешь,— думал я,— хвастаешь, а еще полудикий сын природы!» Я сейчас же вспомнил его: он там ездил с маленькой каретой по городу и однажды целую улицу прошел рядом со мною, прося запомнить нумер его кареты и не брать другой. А здесь он был буфетчиком, раздавал гостям кушанья, китайским мальчишкам — щелчки.

Второй обед был полнее первого. Тут, кроме супа, была вареная баранина и жареная баранина, вареная говядина и жареная говядина, вареные куры и жареные куры, fowl, потом гусь, ветчина, зелень. Это только первая перемена. Вторая и последняя состояла из дичи и пирожного. И то и другое подаётся вместе, мне кажется, между прочим, с тою целью, чтоб гости разделились на партии, одни за пирожное, другие за жаркое. Пирожное то же самое, что я ел в Лондоне, в Портсмуте и на

---

[1] Житель Мадраса *(англ.)*.

мысе Доброй Надежды: appleepie [1], сладкая яичница и пудинг с коринкой.

После обеда пришел барон Криднер, и я же повел его показывать ему город и окрестности. Мы вышли на набережную Вусуна и пошли налево, мимо великолепного дома английского консула, потом португальского, датского и т. д. По дороге встречались, с мерным криком «а-а! а-а!», носильщики с чаем и щедро сыпали его по улице. Тут матросы с французских судов играли в пристенок: красивый, рослый и хорошо одетый народ. Мы подошли к впадающей в Вусун речке и к перевозу. Множество возвращающегося с работы простого народа толпилось на пристани, ожидая очереди попасть на паром, перевозивший на другую сторону, где первая кидалась в глаза куча навозу, грязный берег, две-три грязные хижины, два-три тощие дерева и за всем этим — вспаханные поля.

Мимо плетней огородов, чрез поля, поросшие кустарниками хлопчатой бумаги и засеянные разным хлебом, выбрались мы сначала в деревушку, ближайшую к городу. Хижины из бамбука, без окошек, с одними дверями, лепились друг к другу. По деревне извивалась грязная канавка, стояли кадки с навозом, для удобрения полей. Некуда было деться от запаха; мы не рады были, что зашли. Ноги у нас ползли по влажной, глинистой почве. На нас бросились лаять собаки, а на них бросилась старая китаянка унимать. Некоторые китайцы ужинали на пороге, проворно перекладывая двумя палочками рис из чашек в рот, и до того набивали его, что не могли отвечать на наше приветствие *чинь-чинь* (здравствуй), а только ласково кивали.

Но, несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости, даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом государстве и что недаром рука богдыхана касается однажды в год плуга, как главного, великого деятеля страны: всякая вещь обдуманно, не как-нибудь, применена к делу; все обработано, окончено; не увидишь кучки соломы, небрежно и не у места брошенной, нет упадшего плетня и блуждающей среди посевов козы или коровы; не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный, годный в дело предмет. Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, сор — все имеет свое назначение и идет в дело.

Почва по природе болотистая, а ни признака болота нет, нет также какого-нибудь недопаханного аршина земли; одна гряда и борозда никак не шире и не уже другой. Самые домики, как ни бедны и ни грязны, но выстроены умно; все рассчитано в них; каждым уголком умеют пользоваться: все на месте, и все в возможном порядке.

---

[1] яблочный пирог *(англ.)*.

Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую промепаду, отведенное европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города, между полей, мимо вала, отделяющего лагерь империалистов от городской земли. Все это место похоже на арену какого-нибудь цирка: земля так же рыхла, вспаханная лошадиными копытами. Мы застали и самое ристалище. Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед: одни на прекрасных лошадях лучшей а́нглийской породы, привезенных из Англии, другие на малорослых китайских лошадках. Только одно семейство каталось в шарабане, да еще одну леди, кажется жену пастора, несли четыре китайца в железных креслах, поставленных на двух бамбуковых жердях. Несколько пешеходов, офицеров с судов, да мы все составляли публику, или, лучше сказать, мы все были действующими лицами. Настоящую публику составляли китайцы, мирные городские или деревенские жители, купцы и земледельцы, кончившие дневной труд. Тут была смесь одежд: видна шелковая кофта и шаровары купца, синий халат мужика, камзол и панталоны империалиста, с вышитым кружком или буквой на спине. Вся эта публика буквально спустя рукова, однако ж с любопытством, смотрела на пришельцев, которые силою ворвались в их пределы и мало того, что сами свободно разгуливают среди их полей, да еще наставили столбов с надписями, которыми запрещается тут разъезжать хозяевам. Китайцы встречали или провожали замечанием каждого проезжего и смеялись. Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание: небывалое у них явление! Их женщины — пока еще так себе, хозяйственная принадлежность: им далеко до львиц.

К нам присоединились другие наши спутники. Мы, сквозь эту фалангу любопытных, подошли к валу, взошли на мостик, брошенный дугой через канавку, и стали смотреть на лагерь. Туда и оттуда беспрестанно носили мимо нас в паланкинах китайских чиновников и купцов. Над сбитыми в кучу палатками насажены были тысячи разноцветных флагов и значков, всё фамильные гербы и отличия этого чиновно-аристократического царства. По временам из лагеря попаливали, но больше холостыми зарядами, для того, как сказывали нам английские офицеры, чтоб показать, что они бдят. В самом деле только бдят и пугают друг друга. Они палят и в туман, ночью, не видя неприятеля. Хоть бы ночное нападение и пожар, который мы видели с реки Вусуна,— жалкая карикатура на сражение.

Империалистами командует здесь правитель шанхайского округа, Таутай Самква. Он собрал войско и расположил его лагерем у городских стен, а сам жил на джонках и действовал с реки. Как бы, кажется, не выгнать толпу бродяг и оборванцев? Но до сих пор все его усилия напрасны, европейцы сохраняют строгий нейтралитет, несмотря на то, что он предлагает каждому

европейцу по двадцати, кажется, долларов в сутки, если кто пойдет к нему на службу. Охотников до сих пор является мало. Ночное нападение ему не удалось. Он пробовал зажечь город, но и то неудачно: выгорело одно предместье, потому что город зажжен был против ветра и огонь не распространился. А сколько мелких и бесполезных жестокостей употреблено было! И это не устрашает инсургентов. Те заперлись себе в крепости, получают съестные припасы через стены из города — и знать ничего не хотят.

Пока я стоял на валу, несколько империалистов вдруг схватили из толпы одного человека, на вид очень смирного, и потащили к лагерю. Я думал, что это обыкновенная уличная сцена, ссора какая-нибудь, но тут случился англичанин, который растолковал мне, что империалисты хватают всякого, кто оплошает, и в качестве мятежника ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову как признак возмущения. А там ему рубят голову и втыкают на пику. За всякого приведенного инсургента дают награду. «Oh, that's bad, very bad!» (худо!),— заключил англичанин, махнул рукой и пошел прочь.

Но и инсургенты платят за это хорошо. На днях они объявили, что готовы сдать город и просят прислать полномочных для переговоров. Таутай обрадовался и послал к ним девять чиновников, или мандаринов, со свитой. Едва они вошли в город, инсургенты предали их тем ужасным, утонченным мучениям, которыми ознаменованы все междоусобные войны.

Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет впечатлений и приключений. Он каждый день с утра отправляется, с заряженным револьвером в кармане, то в лагерь, то в осажденный город, посмотреть, что там делается, нужды нет, что китайское начальство устранило от себя ответственность за все неприятное, что может случиться со всяким европейцем, который без особенных позволений и предосторожностей отправится на место военных действий.

Наши вздумали тоже идти в лагерь; я предвидел, что они недолго проходят, и не пошел, а сел, в ожидании их, на бревно подле дороги и смотрел, как ездили англичанки. Вот несется полная, величавая, одна из тех великолепных, драпирующихся в большую шаль, женщин, с победоносной походкой, от которых невольно сторонишься. Она, как монумент, крепко сидела не рослой лошади, и та, как будто чувствуя, кого несет на хребта, скакала плавно. Подле нее, свесив до полу ноги, ехал англичанин, такой жидкий и невеличественный, как полна и величественна была его супруга. Другая, низенькая и невзрачная женщина, точно мальчишка, тряслась на седле, на маленькой рыжей лошаденке, колотя по нем своей особой так, что слышно было. Третья — писаная, что называется, красавица: румяная, с алым ротиком, в виде сердечка, и ограниченностью в синих глазах. Все эти барыни были с такими тоненькими, не

скажу стройными, талиями, так обтянуты амазонками, что китайская публика, кажется, смотрела на них больше с состраданием, нежели с удовольствием.

Я недолго ждал своих; как я думал, так и вышло: их не пустили, и мы отправились другой дорогой домой, опять мимо полей и огородов... В некоторых местах поливали ведрами навоза поля; мы бежали, что стало сил, от этой пахучей идиллии. Уж вечерело. Солнце опустилось; я взглянул на небо и вспомнил отчасти тропики: та же бледно-зеленая чаша, с золотым отливом над головой, но не было живописного узора облаков, млеющих в страстной тишине воздуха; только кое-где, дрожа, искрились белые звезды. Луна разделила улицы и дороги на две половины, черную и белую. «Вот зима-то! Ах, если б нам этакую!» — говорил я, пробираясь между иссохшими кустами хлопчатой бумаги, клочья которой оставались еще кое-где на сучьях и белели, как снежный пух. В байковом пальто было жарко идти. Вдали скакали в город джентльмены и леди, торопясь обедать.

В шесть часов мы были уже дома и сели за третий обед — с чаем. Отличительным признаком этого обеда или *«ужина»*, как упрямо называл его отец Аввакум, было отсутствие супа и присутствие сосисок с перцем, или, лучше, перца с сосисками — так было его много положено. Чай тоже, кажется, с перцем. Есть мы, однако ж, не могли: только шкиперские желудки флегматически поглощали мяса через три часа после обеда.

Вечером мы собрались в *клубе*, то есть в одной из самых больших комнат, где жило больше постояльцев, где светлее горела лампа, не дымил камин и куда приносили больше каменного угля, нежели в другие номера. Театра нет здесь, общества тоже, если хотите в строгом смысле, нет. Всюду, куда забрались англичане, вы найдете чистую комнату, камин с каменным углем, отличный кусок мяса, херес и портвейн, но не общество. И не ищите его. Англичане всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку. Вас пригласят обедать; вы, во фраке и белом жилете, являетесь туда; если есть аппетит — едите, как едали баснословные герои или как новейшие извозчики, пьете еще больше, но говорите мало, ce n'est pas de rigueur [1], потом тихонько исчезаете. Но не думайте прийти сами, без зову. По делу можете, и то в указанный час; а просто побеседовать сами — нельзя. Да и день так расположен: утро все заняты, потом гуляют, с семи и до десяти и одиннадцати часов обедают, а там спят. В Англии есть клубы; там вы видитесь с людьми, с которыми привыкли быть вместе, а здесь европейская жизнь так быстро перенеслась на чужую почву, что не успела пустить корней, и оттого, должно быть, скучно. Не знаю, что делают молодые люди; немолодые наживают деньги. Какой-нибудь мистер Каннингам или другой, подобный ему представитель торгового дома,

---

[1] это необязательно *(франц.)*.

проживет лет пять, наживет тысяч двести долларов и уезжает, откуда приехал, уступая место другому члену того же торгового дома.

Мы очень разнообразили время в своем клубе: один писал, другой читал, кто рассказывал, кто молча курил и слушал, но все жались к камину, потому что как ни красиво было небо, как ни ясны ночи, а зима давала себя чувствовать, особенно в здешних домах.

Только Петр Александрович Тихменев, оставаясь один в Шанхае, перебрался в лучшую комнату и, общий баловень на фрегате, приобрел и тут как-то внимание целого дома. У него лучше и раньше прибиралась комната, в корзинке было больше угля, нежели у других. У нас у всех принесут горсть угля и потом не допросишься. Явная несправедливость! Мы вчетвером составили компанию на акциях для добывания каменного угля из нумера Петра Александровича. Так попросить — он бы или вовсе отказал, или дал бы *самую малость*, как он говорит. А нам нужно было натопить два нумера. Мы положили так: И. В. Фуругельм заговорит с Тихменевым о хозяйстве— это любимая его тема, а Воин Андреевич Корсаков и Александр Егорович Кроун в это время понесут корзину с углем. Мне досталась самая легкая роль: прикрыть отступление Воина Андреевича и Александра Егоровича, что я сделал, став к камину спиной и раздвинув немного, как делают, не знаю зачем, англичане, полы фрака. Фуругельм заговорил о шанхайской капусте, о том, какая она зеленая, сочная, расспрашивал, годится ли она во щи и т. п. Уголь давно уже пылал в каминах, а Петр Александрович все еще рассказывал о капусте. Мы дослушали из приличия, Фуругельм внимательно, я — рассеянно.

На другой день, вставши и пообедавши, я пошел, уже по знакомым улицам, в магазины купить и заказать кое-что. В улице, налево от гостиницы, сказали мне, есть магазин: четвертый или пятый дом. Я прошел шестой, а все магазина не вижу, и раза два ходил взад и вперед, не подозревая, что одно широкое, осененное деревьями крыльцо и есть вход в магазин. Меня встретил пожилой мужчина, черноволосый, с клинообразной бородой, в длинном шлафоре-сюртуке, не совсем чистым английским выговором. «Жид!»— шепнул мне бывший со мной Гошкевич, успевший уже обегать европейский квартал. Тут, как и у Фога и как во всякой провинции, было все в магазине. Мы накупили сапог, башмаков и отправились к Фогу за сигарами, но в дверях столкнулись с высоким черноволосым мужчиной. «Вот сам Фог,— сказал опять Гошкевич,— он — жид!» Он, как легавая собака дичь, чуял жидов.

Мы пошли прямо и вышли на речку. Я зашел за бароном Криднером. «Пойдемте, я вам буду показывать город»,— сказал я. Он молча последовал за мною. Речка, разделяющая европейский квартал от китайского, шириной всего сажен пять, мутна,

как и сам Япсекиян, как и Вусун. На речке толпятся джонки, на которых живут китайские семейства; по берегам движется целое народонаселение купцов, лодочников, разного рода мастеровых. В одном месте нас остановил приятный запах: это была мастерская изделий из камфарного дерева. Мы зашли в сарай и лавку и очутились среди гробов, сундуков и ларцев. Когда мы вошли, запах камфары, издали очень приятный, так усилился, что казалось, как будто к щекам нашим вдруг приложили по подушечке с камфарой. Мы хотели купить сундуки из этого дерева, но не было возможности объясниться с китайцами. Мы им по-английски, они по-своему; прибегали к пальцам, но ничего из этого не выходило. Две девки, работавшие тут же, и одна прехорошенькая, смеялись исподтишка, глядя на нас; рыжая собака с ворчаньем косилась: запах камфары сильно щекотал нервы в носу. Мы, шагая по стружкам, выбрались и пошли к Фогу, а потом отправились отыскивать еще магазин, французский, о существовании которого носились темные слухи и который не давался нам другой день.

Мы быстро миновали базар и все запахи, прошли мимо хлопчатобумажных прядилен, харчевен, разносчиков, часовни с Буддой и перебежали мостик. «Куда же теперь, налево или направо?» — спросил я барона. «Да куда-нибудь, хоть налево!» Прямо перед нами был узенький-преузенький переулочек, темный, грязный, откуда, как тараканы из щели, выходили китайцы, направо большой европейский каменный дом; настежь отворенные ворота вели на чистый двор, с деревьями, к широкому чистому крыльцу. Налево открылся нам целый новый китайский квартал, новый лабиринт лавок, почище и побогаче, нежели на той стороне. Тут были лавки с материями, мебельные; я любовался на китайскую мебель, о которой говорил выше, с рельефами и деревянной мозаикой. Здесь нет харчевен и меньше толкотни. Лавки начали редеть; мы шли мимо превысоких, как стены крепости, заборов из бамбука, за которыми лежали груды кирпичей, и, наконец, прошли через огромный двор, весь изрытый и отчасти заросший травой, и очутились под стенами осажденного города.

Известно, что китайцы — ужасные педанты, не признают городом того, который *не огорожен*; оттого у них каждый город окружен стеной, между прочим и Шанхай.

Но какая картина представилась нам! Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял ров; по ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более тысячи человек народу и горланили во всю мочь. На стене, облепив ее как мухи, горланила другая тысяча человек, инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города все, что только можно принести, притащить, привезти и приволочь. Живность, зелень, фрукты, дрова, целые бревна медленно ползли по стенам

вверх. Стена, из серого кирпича, очень высока, на глазомер сажен в шесть вышиною, и претолстая. Осажденные во все горло требовали — один свинью, другой капусты, третий курицу, торговались, бранились, наконец условливались; сверху спускалась по веревке корзина с деньгами и поднималась с курами, апельсинами, с платьем; там тащили доски, тут спорили. Кутерьма ужасная! Посторонним ничего нельзя было разобрать. Я убедился только, что продавцы осаждают город гораздо деятельнее и успешнее империалистов. Там слышны ленивые выстрелы: те осаждают, чтоб истребить осажденных, а эти — чтобы продлить их существование.

Наши проникли-таки потом в лагерь, в обществе английских офицеров, и видели груды жареных свиней, кур, лепешек и т. п., принесенных в жертву пушкам и расставленных у жерл.

Осаждающие могли бы, конечно, помешать снабжению города съестными припасами, если б сами имели больше свободы, нежели осажденные. Но они не смеют почти показываться из лагеря, тогда как мы видели ежедневно инсургентов, свободно разгуливавших по европейскому городу. У этих и костюм другой: лба уже они не бреют, как унизительного, введенного маньчжурами обычая. Но и тех и других англичане и американцы держат в руках. Посьет видел, как два всадника, возвращаясь из города в лагерь, проехали по земле, отведенной для прогулок англичанам, и как английский офицер с «Спартана» поколотил их обоих палкой за это так, что один свалился с лошади. Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу; и если б одно ядро попало в европейский квартал, тогда и осажденные и осаждающие не разделались бы с консулами. Одно и так попало нечаянно в колесо французского парохода: командир хотел открыть огонь по городу. Не знаю, как уладили дело.

Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним. К нам повадился ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, с «Спартана», молодой человек лет двадцати: он, кажется, тоже не прочь от приключений. Его звали Стокс; он беспрестанно ходил и в осажденный город и в лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и если впереди нас шел китаец и, не замечая нас, долго не сторонился с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала оторопеет, потом с улыбкой подавленного негодования посмотрит вслед. А нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских: те, как и всякая чернь в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца:

на лицах видишь почтительное и робкое внимание. Англичане вот как платят за это: на их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы! Наш хозяин, Дональд,— конечно, плюгавейший из англичан, вероятно нищий в Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без видов на успех — и этот Дональд, сказывал Тихменев, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что «меня даже жалость взяла»,— прибавил добрый Петр Александрович.

Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан, своею вежливостью, кротостью да и уменьем торговать тоже.

Полюбовавшись на осаду продавцов, мы пошли по берегу рва искать дом французского консула и французский магазин. Утром шел дождь, и ноги вязли в клейкой грязи. Мы кое-как выбрались к мостику, видели веющий над кучей кровель французский флаг, и всё не знали, как попасть к нему. Мы остановились в нерешительности у мостика, подле большого каменного европейского дома с настежь отворенными воротами. Я вошел на двор, отворил дверь в дом и очутился в светлом, чистом, прекрасном магазине, похожем на все европейские столичные магазины. «Где это я?» — спросил я вслух. «Во французском магазине Реми»,— отвечал забравшийся туда прежде нас Гошкевич. Ко мне подошел пожилой, невысокий брюнет и заговорил по-французски. «Посмотрите-ка на хозяина»,— сказал мне Гошкевич по-русски. Я посмотрел. «А что?»—«Разве не видите?» — «Вижу... Да что такое?» — «Жид!» — отвечал он.

Из этого очерка одного из пяти открытых англичанам портов вы никак не заключите, какую блистательную роль играет теперь, и будет играть еще со временем, Шанхай! И в настоящее время он в здешних морях затмил, колоссальными цифрами своих торговых оборотов, Гон-Конг, Кантон, Сидней и занял первое место после Калькутты, или «Калькатты», как ее называют англичане. А все опиум! За него китайцы отдают свой чай, шелк, металлы, лекарственные, красильные вещества, пот, кровь, энергию, ум, всю жизнь. Англичане и американцы хладнокровно берут все это, обращают в деньги и также хладнокровно переносят старый, уже заглохнувший упрек за опиум. Они, не краснея, слушают его и ссылаются одни на других. Английское правительство молчит — одно, что остается ему делать, потому что многие, стоящие во главе правления лица, сами разводят мак на индийских своих плантациях, сами снаряжают корабли и шлют в Янсекиян. За шестнадцать миль до Шанхая, в Вусуне, стоит целый флот так называемых опиумных судов. Там складочное место отравы. Другие суда привозят и сгружают, а эти только сбывают груз. Торг этот запрещен, даже проклят китайским правительством: но что толку в проклятии без силы? В таможню опиума, разумеется, не повезут, но если кто

провезет тайком, тому, кроме огромных барышей, ничего не достается.

Мало толку правительству и от здешней таможни, даром что таможенные чиновники заседают в том же здании, где заседал прежде Будда, то есть в кумирне. Китайцы с жадностью кидаются на опиум и быстро сбывают товар внутрь. Китайское правительство имеет право осматривать товар на судах только тогда, когда уверено, что найдет его там. А оно никогда не найдет, потому что подкупленные агенты всегда умеют заблаговременно предупредить хозяина, и груз бросят в реку или свезут: тогда правительство, за фальшивое подозрение, не разделается с иностранцами, и оттого осмотра никогда не бывает. Английское правительство оправдывается тем, что оно не властно запретить сеять в Индии мак, а присматривать-де за неводворением опиума в Китае — не его дело, а обязанность китайского правительства. Это говорит то же самое правительство, которое участвует в святом союзе против торга неграми!

Но что понапрасну бросать еще один слабый камень в зло, в которое брошена бесполезно тысяча? Не странно ли: дело так ясно, что и спору не подлежит; обвиняемая сторона молчит, сознавая преступление, и суд изречен, а приговора исполнить некому!

Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд! Другой пример меркантильности англичан еще разительнее: не будь у кафров ружей и пороха, англичане одною войной навсегда положили бы предел их грабежам и возмущениям. Поэтому и запрещено, под смертною казнью, привозить им порох; между тем кафры продолжали действовать огнестрельным оружием. Долго не подозревали, откуда они берут военные припасы: да однажды, на пути от одного из портов, взорвало несколько ящиков с порохом, который везли, вместе с прочими товарами, к кафрам — *с английских* же судов! Они возили это угощение для своих же соотечественников: это уж — из рук вон — торговая нация!

Страшно и сказать вам итог здешней торговли. Тридцать пять лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму около пятнадцати миллионов серебром. Из этого опиум составлял немного более четвертой части. Лет двенадцать назад, еще до китайской войны, привоз увеличился вдвое, то есть более, нежели на сумму тридцать миллионов серебром, и привоз опиума составлял уже четыре пятых и только одну пятую других товаров. Это в целом Китае. А теперь гораздо больше привозится в один Шанхай. Шанхай играет бесспорно первостепенную роль в китайской торговле. Он возвысился не на счет соседних городов: Амоя, Нингпо и Фу-Чу-Фу; эти места имели свой круг деятельности, свой род товаров, и все это имеют до сих пор.

Но Кантон и Гон-Конг не могли не потерять отчасти своего значения с тех пор, как открылась торговля на севере. Многие произведения северного края нашли ближайшую точку отправления, и приток их к этим двум местам уменьшился. Но опасение насчет предполагаемого совершенного упадка — неосновательно. Заключая в своих стенах около миллиона жителей и не один десяток в подведомственных ему и близлежащих областях, Кантон будет всегда служить рынком для этих жителей, которым нет надобности искать работы и сбыта товаров в других местах. Притом он мануфактурный город: нелегко широкий приток товаров его к южному порту поворотить в другую сторону, особенно когда этот порт имеет еще на своей стороне право старшинства. Гон-Конг тоже не падет от возвышения Шанхая, а только потеряет несколько, и потерял уже, как складочное место: теперь многие суда обращаются непосредственно в Шанхай, тогда как прежде обращались, с грузами или за грузами, в Гон-Конг.

Причины возвышения Шанхая заключаются в выгодном его географическом положении на огромной реке, на которой выше его лежит несколько многолюдных торговых мануфактурных городов, между прочим Нанкин и Сучеу-Фу. Шанхай сам по себе ничтожное место по народонаселению; в нем всего (было до осады) до трехсот тысяч жителей: это мало для китайского города, но он служил торговым предместьем этим городам и особенно провинциям, где родится лучший шелк и чай— две самые важные статьи, которыми пока расплачивается Китай за бумажные, шерстяные и другие европейские и американские изделия. Только торговля опиумом производится на звонкую, больше на серебряную монету.

Один из новых путешественников, именно г. Нопич, сделавший путешествие вокруг света на датском корвете «Галатея», под командою г. Стен-Билля, издал в особой книге собранные им сведения о торговле посещенных им мест. Это добросовестный и полезный труд. Хотя Нопич был в Китае в 1847—1848 годах, а с тех пор торговая статистика много изменилась, особенно в итогах, но некоторые общие выводы и данные сохраняют силу до сих пор. Между прочим нельзя не привести дельного его совета: при отправлении товаров в Китай строго сообразоваться со вкусом и привычками китайцев: сукна, например, и прочие подобные изделия должны быть изготовляемы по любимым их образцам, известных цветов, известной меры. Он даже дает мелочные, но полезные наставления, как укладывать материи, какими ярлыками снабжать и т. п. Советует еще не потчевать китайцев образчиками, с обещанием, если понравится товар, привезти в другой раз. «Китайцы,— говорит он,— любят, увидевши вещь, купить тотчас же, если она приходится по вкусу».

Теперь, по случаю волнений в Китае, торговля стонет, кризис в полном разгаре. Далеко отзовется этот удар, нанесенный

торговле; его, как удар землетрясения, почувствуют Гон-Конг, Сингапур, Индия, Англия и Соединенные Штаты. Хотя торг, особенно опиумом, не прекратился, но все китайские капиталисты разбежались, ушли внутрь, и сбыт производится лениво, сравнительно с прежним, и все-таки громадно само по себе. В самом Шанхае лавки и домы заперты, богатые купцы выбрались, а оставшиеся заплатили контрибуцию инсургентам. Один из этих купцов оказался католиком и был обложен пошлиною в восемьдесят тысяч испанских пиастров; но дело кончилось, кажется, на шести или семи тысячах.

Суда, хотя и не в прежнем числе, продолжают подвозить товары в город и окрестности, мимо таможни. Таутай, однако ж, протестовал против явного нарушения таможенных правил и отнесся к английскому консулу, требуя уплаты пошлин. Тот отвечал, что он не знает, имеет ли право местная власть требовать пошлин, когда она не в силах ограждать торговлю, о которой купцы должны заботиться сами. Во всяком случае решение дела оставлено до конца войны, а конца войны не предвидится, судя по началу; по крайней мере шанхайская война скоро не кончится.

В Нанкине, лежащем повыше на Янсекияне, теперь главный пункт инсургентов. Там же живет и главный начальник их, и вместе претендент на престол, Тайпин-Ван. Нанкинские инсургенты считают Шанхай слишком ничтожным пунктом и оттого не посылают туда подкрепления. Французский полномочный Бурбулон ездил, со свитою на пароходе, в Нанкин: Тайпин-Ван не принял его, а предоставил видеться с ним своему секретарю. На вопрос француза, как намерено действовать новое правительство, если оно утвердится, Тайпин-Ван отвечал, что подданные его, *как христиане*, приходятся европейцам братьями и будут действовать в этом смысле, но что обязательствами себя никакими не связывают. Тот так и воротился, с чем поехал. Но ответ этот принят европейцами глубоко к сведению. Вся эта восставшая сволочь объявляет себя христианами. Христианство это водворено протестантами, или пробравшимися с востока несторианами[1], и смешалось с буддизмом.

Впрочем, оно пробирается туда всеми возможными путями. И знаете ли, что содействует его водворению? религиозный индифферентизм китайцев! У них нет фанатизма, они не заразились им даже от буддистов. Учение Конфуция — не религия, а просто обиходная нравственность, практическая философия, не мешающая никакой религии. Католическое духовенство,

[1] То есть сторонниками осужденного официальной церковью течения в христианстве, так называемого несторианства, возникшего в V веке. Несториане считали Христа человеком (а не богочеловеком). Для народных масс несторианство нередко становилось формой социального протеста.

правда, не встретит в массе китайского народа той пылкости, какой оно требует от своих последователей, разве этот народ перевоспитается совсем, но этого долго ждать; зато не встретит и не встречает до сих пор и фанатического сопротивления, а только ленивое, систематическое противодействие со стороны правительства, как политическую предосторожность.

Практическому и промышленному духу китайцев, кажется, более по плечу дух протестантской, нежели католической проповеди. Протестанты начали торговлей и привели напоследок религию. Китайцы обрадовались первой и незаметно принимают вторую, которая ни в чем им не мешает. Католики, напротив, начинают религией и хотят преподавать ее сразу, со всею ее чистотою и бескорыстным поклонением, тогда как у китайцев не было до сих пор ничего похожего на религиозную идею. Есть у них, правда, поклонение небесным духам, но это поклонение не только не вменяется в долг народной массе, но составляет, как я уже, кажется, заметил однажды, привилегию и обязанность только богдыхана.

Мне в Шанхае подарили три книги на китайском языке: Новый завет, географию и Езоповы басни — это забота протестантских миссионеров. Они переводят и печатают книги в Лондоне — страшно сказать, в каком числе экземпляров: в миллионах, привозят в Китай и раздают даром. Мне называли имя английского богача, который пожертвовал, вместе с другими, огромные суммы на эти издания. Медгорст — один из самых деятельных миссионеров: он живет тридцать лет в Китае и беспрерывно подвизается в пользу распространения христианства; переводит европейские книги на китайский язык, ездит из места на место. Он теперь живет в Шанхае. Наши синологи были у него и приобрели много изданных им книг, довольно редких в Европе. Некоторые он им подарил.

Одно заставляет бояться за успех христианства: это соперничество между распространителями; оно, к сожалению, отчасти уже существует. Католические миссионеры запрещают своим ученикам иметь книги, издаваемые протестантами, которые привезли и роздали, между прочим в Шанхае, несколько десятков тысяч своих изданий. Издания эти достались, большею частью, китайцам-католикам, и они принесли их своим наставникам, а те сожгли.

Был уж седьмой час, когда я и Криднер стали сбираться обедать к американскому консулу. Надо было бриться, одеваться, и все это в холоде, в тесноте, на бивуаках. «Вы, верно, мои бритвы взяли?» — скажет мне Криднер, шаря по всем углам. «Нет, не брал; а вот вы не надели ли мои сапоги: я что-то не вижу их? Тут их целая куча лежала, а теперь нет». Тяжело, кажется, без слуги, доставать платье из глубины туго набитого чемодана. «Ну, уж эти путешествия!»— слышится из соседней комнаты, где такой же труженик, как мы, собирался тоже

на обед и собственноручно, охая, со стоном, чистит фрак. Щетка вырывается из непривычных рук вместе с платьем и, сопровождаемая бранью, падает на пол.

Мы пришли в самую пору, то есть последние. В гостиной собралось человек восемь. Кроме нас четверых или пятерых, тут были командиры английских и американских судов и еще какие-то негоцианты да молодые люди, служащие в конторе Каннингама, тоже будущие негоцианты.

Стол был заставлен блюдами. «Кому есть всю эту массу мяс, птиц, рыб?» — вот вопрос, который представится каждому, неангличанину и неамериканцу. Но надо знать, что в Англии и в Соединенных Штатах для слуг особенного стола не готовится; они едят то же самое, что и господа, оттого нечего удивляться, что чуть не целые быки и бараны подаются на стол.

Кругом по столу ходили постоянно три графина, с портвейном, хересом и мадерой, и останавливались на минуту перед каждым гостем. Всякий нальет себе, чего ему вздумается. Шампанское человек разносил в течение целого обеда и наливал сейчас же, как только заметит у кого-нибудь пустую рюмку. «Г. Каннингам желает выпить с вами рюмку вина»,— сказал, чисто по-английски, наливая мне шампанского, китаец, одетый очень порядочно и похожий в своем костюме немного на наших богатых ярославских баб. Он говорил это почти каждому гостю. Выпить с кем-нибудь рюмку вина — значит поднять свою рюмку, показать ее тому, с кем пьешь, а он покажет свою, потом оба кивнут друг другу и выпьют. Через минуту соседи мои стали пить со мной по рюмке, а там пошло наперекрест, кто с кем хотел.

Это была сущая напасть для непьющих, если б надо было выпивать по целой рюмке: но никто не обязывается к этому. Надо только налить или долить рюмку, а выпить можно хоть каплю.

Вино у Каннингама, разумеется, было прекрасное; ему привозили из Европы. Вообще же в продаже в этих местах, то есть в Сингапуре, Гон-Конге и Шанхае, вина никуда не годятся. Херес, мадера и портвейн сильно приправлены алкоголем, заглушающим нежный букет вин Пиренейского полуострова. Да их большею частью возят не оттуда, а с мыса Доброй Надежды. Шампанское идет из Америки и просто никуда не годится. Это американское шампанское свирепствует на Сандвичевых островах и вот теперь проникло в Китай.

Все убрали, кроме вина, и поставили десерт: все то же, что и в трактире, то есть гранаты, сухие фиги или жужубы, орехи, мандарины, пампль-мусс и, наконец, те маленькие апельсины или померанцы, которые я так неудачно попробовал на базаре. «Разве это едят?» — спросил я своего соседа. «Yes, o yes!» — отвечал он, взял один померанец, срезал верхушку,

выдавил всю внутренность, с косточками, на тарелку, а пустую кожу съел. «Что такое, разве это хорошо?» — «Попробуйте!» Я попробовал: кожа сладкая и ароматическая, между тем как внутри кисло. Все навыворот: у фруктов едят кожу, а внутренность бросают!

Я дал сильный промах и едва-едва поправился. Подали кофе и сигары. «Мне очень нравятся английские обычаи,— сказал я,— по окончании обеда остаются за столом, едят фрукты, пьют вино, курят и разговаривают...» — «У англичан не курят,— живо перебил мой сосед,— это наш обычай». Я смотрю на него, что он такое говорит. Я попался: он не англичанин, я в гостях у американцев, а хвалю англичан. Сидевший напротив меня барон Криднер закашлялся своим смехом. Но кто ж их разберет: говорят, молятся, едят одинаково и одинаково ненавидят друг друга!

После обеда нас повели в особые галереи играть на бильярде. Хозяин и некоторые гости, узнав, что мы собираемся играть русскую, пятишаровую партию, пришли было посмотреть, что это такое, но как мы с Посьетом в течение получаса не сделали ни одного шара, то они постояли, да и ушли, составив себе, вероятно, не совсем выгодное понятие о русской партии.

Третий, пятый, десятый и так далее дни текли однообразно. Мы читали, гуляли, рассеянно слушали пальбу инсургентов и империалистов, обедали три раза в день, переделали свои дела, отправили почту, и между прочим адмирал отправил курьером в Петербуррг лейтенанта Кроуна, с донесениями, образчиками товаров и прочими результатами нашего путешествия до сих мест. Стало скучно. Куда бы нибудь в другое место пора! — твердили мы.— Всех здесь знаем, и все знают нас. Со всеми кланяемся и разговариваем.

Утром 6-го декабря, в самый зимний и самый великолепный солнечный день, с 15° тепла, собрались мы вчетвером гулять на целый день: отец Аввакум, Воин Андреевич Корсаков, Посьет и я. Мы долго шли берегом до самого дока, против которого стояла шкуна. На плоту переехали рукав Вусуна, там же переезжало много китайцев на другом плоту. Какой-то старый купец хотел прыгнуть к нам на плот, когда этот отвалил уже от берега, но не попал и бухнулся в воду, к общему удовольствию собравшейся на берегу публики. Старик держал за руку сына или внука, мальчика лет семи — и тот упал. «Тата, тата! (тятя)»,— кричал он в воде. Посьет, пылкий мой сосед, являющийся всегда, когда надо помочь кому-нибудь, явился и тут и вытащил мальчика, а другие — старика.

Мы заехали на шкуну. Там, у борта, застали большую китайскую лодку с разными безделками: резными вещами из дерева, вазами, тростями из бамбука, каменными изваяниями

идолов и т. п. Я хотя и старался пройти мимо искушения, закрыв глаза и уши, однако купил этих пустяков долларов на десять. Мы слегка позавтракали на шкуне и, воротясь на берег, прошли чрез док. Док без шлюз, а просто с проходом, который закладывается илом, когда судно впустят туда; а надо выпустить — ил выкидывается на берег, в кучу: работа нелегкая! Но что значит труд для китайцев? Док принадлежит частному человеку, англичанину кажется. Большое пространство около дока завалено камфарными деревьями, необыкновенно длинными и толстыми. Этот лес идет на разные корабельные надобности.

Оттуда мы вышли в слободку, окружающую док, и по узенькой улице, наполненной лавчонками, дымящимися харчевнями, толпящимся, продающим, покупающим народом, вышли на речку, прошли чрез съестной рынок, кое-где останавливаясь. Видели какие-то неизвестные нам фрукты или овощи, темные, сухие, немного похожие видом на каштаны, но с рожками. Отец Аввакум указал еще на орехи, называя их «водяными грушами».

Воин Андреевич Корсаков, который способен есть все не морщась, что попадет под руку — китовину, сивуча, что хотите, пробует все с редким самоотвержением и не пахвалится. Много разных подобных лакомств, орехов, пряников, пастил и т. п. продается на китайских улицах.

С речки мы повернули направо и углубились в поля. Точно залы, а не нивы. Мы шли по маленьким, возвышающимся над нивами тропинкам, которые разграничивают поля. На межах растут большие деревья. Деревень нет, всё фермы. Каждый крестьянин живет отдельно в огороженном доме, среди своего поля, которое и обработывает. Похоже на Англию. На многих полях видели надгробные памятники, то чересчур простые, то слишком затейливые. Больше всего квадратные или продолговатые камни, а на одном поле видели изваянные из белого камня группы лошадей и всадников. Грубо сделано. Надо вспомнить, что и за артисты работают эти вещи!

Пробираясь чрез большое поле гуськом, по узенькой тропинке, мы вдруг остановились все четверо. Вдали шла процессия: носильщики несли... сундук не сундук — «гроб»,— сказал кто-то. Мы бросились в ту же сторону: она остановилась на одном поле. За гробом шло несколько женщин, все в широких белых платьях, повязанные белыми же платками, несколько детей и собака. Носильщики поставили гроб, женщины выли, или «вопили», как говорят у нас в деревнях. Четыре из них делали это равнодушно, как будто по долгу приличия, а может быть, они были и нанятые плакальщицы; зато пятая, пожилая, заливалась горькими слезами. Те, заметя нас, застыдились и понизили голоса; дети робко смотрели на гроб, собака с повисшим хвостом, увидя нас, тихо заворчала. Пятая женщина

не обращала ни на что внимания; она была поглощена горем. Рыдая, она что-то приговаривала; мы, конечно, не понимали слов, но язык скорби один везде. Она бросалась на гроб, обнимала его руками, клала на него голову, на минуту умолкала, потом со стоном начинала опять свою плачевную песнь. Тяжело было смотреть: мы еще скорее пошли прочь, нежели пришли, но нас далеко провожал голос ее, прерываемый всхлипываниями и рыданиями. На месте, где поставили гроб, не было могилы. Китайцы сначала оставляют гробы просто, иногда даже открытыми, и потом уже хоронят.

Мы шли по полям, засеянным разными овощами. Фермы рассеяны саженях во ста пятидесяти или двухстах друг от друга. Заглядывали в домы: «Чинь-чинь»,— говорили мы жителям: они улыбались и просили войти. Из дверей одной фермы выглянул китаец, седой, в очках с огромными круглыми стеклами, державшихся только на носу. В руках у него была книга. Отец Аввакум взял у него книгу, снял с его носа очки, надел на свой и стал читать вслух по-китайски, как по-русски. Китаец и рот разинул. Книга была — Конфуций.

Мы пошли обратно к городу, по временам останавливаясь и любуясь яркой зеленью посевов и правильно изрезанными полями, засеянными рисом и хлопчатобумажными кустарниками, которые очень некрасивы без бумаги: просто сухие, черные прутья, какие остаются на выжженном месте. Голоногие китайцы, стоя по колено в воде, вытаскивали пучки рисовых колосьев и пересаживали их на другое место.

В предместье мы опять очутились в чаду китайской городской жизни; опять охватили нас разные запахи, в ушах раздавались крики разносчиков, трещанье и шипенье кухни, хлопанье на бумагопрядильнях. Ах, какая духота! вон, вон, скорей на чистоту, мимо интересных сцен! Однако ж я успел заметить, что у одной лавки купец, со всеми признаками неги, сидел на улице, зажмурив глаза, а жена чесала ему седую косу. Другие у лавок ели, брились.

Подходя к перевозу, мы остановились посмотреть прелюбопытную машину, которая качала из бассейна воду вверх на террасы, для орошения полей. Это — длинная, движущаяся на своей оси лестница, ступеньки которой загребали воду и тащили вверх. Машину приводила в движение корова, ходя по вороту кругом. Здесь, как в Японии, говядину не едят: недостало бы мест для пастбищ; скота держат столько, сколько нужно для работы, от этого и коровы не избавлены от ярма.

Мы скучно и беспечно жили до 15-го декабря, как вдруг получены были с почтой известия о близком разрыве с западными державами. С часу на час ждали парохода с ост-индской почтой; и если б она пришла с известием о войне, нашу шкуну могли бы захватить английские военные суда. Наш 52-пушечный фрегат и 20-пушечный корвет, конечно, сильнее здеш-

них судов, но они за 90 миль, а в Вусун войти, по мелководью, не могут. Командиру шкуны и бывшим в Шанхае офицерам отдано было приказание торопиться к Saddle-Islands, для соединения с отрядом. Мне предоставлено на волю: остаться или воротиться потом на китайской лодке. Это крытые и большие лодки, из бамбука, гладкие, лакированные, с резьбой и разными украшениями. Но ехать на них девяносто миль — мученье: тесно и беспокойно, да и окатит соленой водой не один раз.

Я не знал, на что решиться, и мрачно сидел на своем чемодане, пока товарищи мои шумно выбирались из трактира. Кули приходили и выходили, таская поклажу. Все ушли; девятый час, а шкуне в 10 часу велено уйти. Многие из наших обедают у Каннингама, а другие отказались, в том числе и я. Это прощальный обед. Наконец я быстро собрался, позвал писаря нашего, который жил в трактире, для переписки бумаг, велел привести двух кули, и мы отправились.

Они на толстой бамбуковой жерди, с большими крашеными фонарями, понесли мой чемодан, покрикивая: «аа-аа-аа». Я и писарь едва успевали следовать за ними. Пришли к пристани: темнота; ни души там, ни одной лодки. Кули крикнул: из кучи джонок слабо отозвался кто-то и замолчал, но никто не ехал. Кули обернулся в другую сторону и крикнул громче. Около одного судна послышалась возня и зашевелилось весло: плыла лодка. В это же время послышалось сильное движение весел и от джонок. Наконец мы поехали; все темно; только река блистала от звезд, как стекло. Мы чрез полчаса едва добрались до шкуны. Вдали, в городе, попаливали.

На шкуне битком набито народу: некоторым и сесть было негде. Но в Вусуне многие отделились на транспорт, и стало посвободнее. Спали на полу, по каютам, по лавкам — везде, где только можно. Я лег в капитанской каюте, где горой лежали ящики, узлы, чемоданы. Бараны и куры, натисканные в клетках, криком беспрестанно напоминали о себе. Между ними была пара живых фазанов, которые, вероятно, в первый раз попали в такое демократическое общество. Против меня лежал отец Аввакум. Он, видно, рассуждал о чем-нибудь, хотел, кажется, сказать что-то, да не успел и заснул. На лице осталось раздумье, рот отворен, он опирается на локоть, и табакерка в руке. «Непременно упадет,— думал я,— лишь только качнет посильнее». А покачивало. Я все ждал, как это случится, да и сам заснул. Впросонках видел, как пришел Криднер, посмотрел на нас, на оставленное ему место, втрое меньше того, что ему нужно по его росту, подумал и лег, положив ноги на пол, а голову куда-то, кажется, на полку. Пришел Петр Александрович Тихменев, учтиво попросил у нас позволения лечь на полу! «Надеюсь, что вы позволите мне,— начал он, по своему обыкновению, красноречиво,— занять местечко:

я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому» и т. д. Ему никто не ответил, все спали или дремали; он вздохнул, разостлал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу.

Лишь только вышли за бар, в открытое море, Гошкевич отдал обычную свою дань океану; глядя на него, то же сделал, с великим неудовольствием, отец Аввакум. Из неморяков меня только одного ни разу не потревожила морская болезнь: я не испытал и не понял ее.

К вечеру мы завидели наши качающиеся на рейде суда, а часов в семь бросили якорь и были у себя — дома. Дома! Что называется иногда домом? Какая насмешка!

Прощайте! Не сетуйте, если это письмо покажется вам вяло, скудно наблюдениями или фактами и сухо; пеняйте столько же на меня, сколько и на Янсекиян и его берега: они тоже скудны и незанимательны, нельзя сказать только сухи: не мудрено, что они так отразились и в моем письме.

III

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

Взаимные подарки.—Новые лица.— Известия о японских полномочных.— Условия свидания с ними. — Новый год. — Опять поезд в Нагасаки. — Салют.— Полномочные и оба губернатора.— Приветствия; обед; разговоры.—Меж дометия. — Посещение полномочными фрегата. — Встреча; обед.— Подарки.— Японские сабли.— Парадный прием и обед у японцев. — Подарки от сиогуна. — Письма от верховного совета. — Частые поездки в Нагасаки для конференции.— Японский Новый год. — Вторичное посещение фрегата полномочными.— Прощальный обед у них. — Отъезд.

Опять Нагасакский рейд.

Четверо суток шли мы назад, от Saddle-Islands *домой*— так называли мы Нагасаки, где обжились в три месяца, как дома, хотя и рассчитывали прийти в два дня. Но мы не рассчитывали на противный ветер, а он продержал нас часов сорок почти на одном месте. На этом коротеньком переходе не случилось ничего особенного. Я не упоминаю о качке: и это не особенное в море. В конце четвертых суток увидели острова Гото, потом все скрылось в темноте. До сих пор хлопотали, как бы скорее прийти, а тут начали стараться не приходить скоро. Убавили парусов и стали делать около пяти миль в час, чтобы у входа быть не прежде рассвета. Мы незаметно подкрались в Нагасаки.

Рано утром услыхал я шум, топот; по временам мелькала в мое окошечко, облитая солнцем, зеленая вершина знакомого холма. Фаддеев принес чай и сказал, что японец приезжал уж с бумагой, с которой, по форме, является на каждое иностранное судно. «Да мы на якоре, что ли?» — спросил я. «Никак нет еще».— «Ведь мы на рейде?» — «Точно так».— «Зачем же дело стало?» — «Лавируем: противный ветер, не подошли

с полверсты». Но вот и дошли, вот раздалась команда: «Из бухты вон!» потом: «Якорь отдать!» Стали; я вышел на палубу.

Немного холодно, как у нас в сентябрьский день с солнцем, но тихо. Нагасакский ковш синеет, как само небо; вода чуть-чуть плещется. Холмы те же, да не те: бурые, будто выжженные солнцем. Такие точно в прошлом году, месяцем позже, явились мне горы Мадеры. И здесь, как там, молодая зелень проглядывает местами, но какая разница! Там цветущие сады, плющ и виноград вьются фестонами по стенам, цветы стыдливо выглядывают из-за заборов, в январе веет теплый воздух, растворенный кипарисом, миртом и элиотропом; там храмы, виллы, вино, женщины — полная жизнь! Здесь — огороды с редькой и морковью, заборы, но без цветов, деревянные кумирни, а не храмы, вместо вина — саки; есть и женщины, но какие? Первая страница жизни — и вдобавок холод!

Опять пошло по-прежнему. Вот и японцы едут: баниосы; с ними Сьоза. Они приехали поздравить с приездом. Поговорив с Посьетом в капитанской каюте, явились на ют к адмиралу, с почтением. Ойе-Саброски, с детским личиком своим, был тут старший. Присев перед адмиралом, он уж искал вокруг глазами, как бы сшалить что-нибудь. «А! Гончаров! Гончаров!» — закричал он детским голосом, увидев меня, и засмеялся; но его остановил серьезный вопрос: «Тут ли полномочные?» — «Будут, чрез три дня»,— отвечал он чрез Сьозу. «Если не будут,— приказано было прибавить,— мы идем, куда располагали, в Едо. Время дорого, и терять его не станем. Полномочные, может быть, уж здесь, да вы не хотите нам сказать». — «Нет, их нет»,— начали они уверять. Угроза так подействовала на них, что они сейчас же скрылись.

Вечером я читал у себя в каюте: слышу, за стенкой как будто колют лучину. «Что там?»—спрашиваю. «Да японцы тут». «Опять? Кто ж это лучину ломает?» Это разговаривает Кичибе. Я пошел в капитанскую каюту и застал там Эйноске, Кичибе, старшего из баниосов, *Хагивари Матаса*, опять Ойе-Саброски и еще двух подставных: все знакомые лица. «Здравствуй, Эйноске! Здравствуй, Кичибе!» Кичибе загорланил мое имя, Эйноске подал руку, Ойе засмеялся, а Хагивари потупился, как бык, и подал мне кулак. Тут же был и тот подставной баниос, который однажды так ласково, как добрая тетка, смотрел на меня.

Их повели к адмиралу. «Губернаторы приказали кланяться и поздравить с благополучным приездом»,— сказал Хагивари. Кичибе четыре раза повернулся на стуле, крякнул и начал давиться смехом, произнося каждый слог отдельно. «Благодарите губернаторов за внимание»,— отвечали им. Кичибе перевел ответ: все четыре бритые головы баниосов наклонились разом. Опять Хагивари сказал что-то. «Их превосходительства, губернаторы, приказали осведомиться о здоровье»,— перево-

дил Кичибе. «Благодарите. Надеемся, что и они здоровы»,— приказано отвечать. Поклон и ответ: «Совершенно здоровы». «Губернаторы желают,— продолжал Кичибе,— чтобы впредь здоровье полномочного было удовлетворительно». Им пожелали того же самого.

Бог знает, когда бы кончился этот разговор, если б баниосам не подали наливки и не повторили вопрос: тут ли полномочные? Они объявили, что полномочных нет и что они будут не чрез три дня, как ошибкой сказали нам утром, а чрез пять, и притом эти пять дней надо считать с 8 или 9-го декабря... Им не дали договорить. «Если в субботу,— сказано им (а это было в среду),—они не приедут, то мы уйдем». Они стали торговаться, упрашивать подождать только до их приезда, «А там делайте, как хотите»,— прибавили они.

Очевидно, что губернатору велено удержать нас, и он ждал высших лиц, чтобы сложить с себя ответственность во всем, что бы мы ни предприняли. Впрочем, положительно сказать ничего нельзя: может быть, полномочные и действительно тут — как добраться до истины? все средства к обману на их стороне. Они могут сказать нам, что один какой-нибудь полномочный заболел в дороге и что трое не могут начать дела без него и т. п.,— поверить их невозможно.

Мы еще с утра потребовали у них воды и провизии в таком количестве, чтоб нам стало надолго, если б мы пошли в Едо. Баниосы привезли с собой много живности, овощей, фруктов и — не ящики, а целые сундуки конфект, в подарок от губернаторов. Им заметили, что уж раз было отказано в принятии подарка, потому что губернатор не хотел сам принимать от нас ничего. Начались опять упрашиванья. Кичибе вылезал совсем из своих халатов, которых, по случаю зимы, было на нем до пяти, чтоб убедить, но напрасно. Провизию велено было сгрузить назад в шлюпки.

Тогда переводчики попросили позволения съездить к губернаторам, узнать их ответ. Баниосы остались. Им показывали картинки, заводили маленький орган, всячески старались занять их, а между тем губернаторский подарок пирамидой лежал на палубе. Свиньи, с связанными ногами, делали отчаянные усилия встать и издавали пронзительный визг; петухи, битком набитые в плетеную корзинку, дрались между собою, несмотря на тесноту; куры неистово кудахтали. По палубе носился запах чесноку, редьки и апельсинов. «Хи, хи, хи!» — твердил по-прежнему в каюте Кичибе, а Эйноске тихим, вкрадчивым голосом расспрашивал меня английским ломаным языком, где мы были. «В Китае»,— сказал я. «Что видели?» — «Много, между прочим войну инсургентов с империалистами».— «А еще?» — «Еще...» — Я знал, чего он добивается, но мне хотелось помучить его. «Еще американцев»,— сказал я. «Кого же?» — живо перебил он. «Коммодора Пер-

ри...» — «Коммодора Перри?..» — повторил он еще живее. «Не видали, а видели капитана американского корвета «Саратога»! — «Саратога!..» Все это знакомые японцам имена судов, бывших в Едо. «Где ж Перри? в Соединенных Штатах?» — спросил он, подвинув нос свой почти вплоть к моему носу. «Нет, не в Соединенных Штатах, а в Амое».— «В Амое?» — «Или в Нинпо».— «В Нинпо?» —«А может быть, и в Гон-Конге»,— заметил я равнодушно.

Чрез полчаса он передал этот разговор Хагивари: я слышал названия: «Амой, Нинпо, Гон-Конг». Тот записал.

— Что бы вам съездить хоть в Шанхай,— сказал я Эйноске,— там бы вы увидели образчик европейского города.

— О да,—отвечал он,— мне бы хотелось больше: я желал бы ехать вокруг света. Эта мысль обольщает меня.

— Да вот в Россию поедем,— говорил я.— Какие города, храмы, дворцы! какое войско увидел бы там!

— В Россию нет,— живо перебил он,— там женщин нет!

— Кто это вам сказал? — заметил я,— как женщин нет: plenty (много)! Да вы женаты?

— Да; у меня есть десятимесячная дочка; на днях ей оспу прививали.

— Так что же вам за дело до женщин? — спросил я.

Он усмехнулся. Каков японский Дон-Жуан!

К вечеру пришло от губернатора согласие принять подарки. Насчет приезда полномочных губернатор опять просил дать срок, вместо субботы, до четверга, прибавив, что они имеют полное доверие от правительства и большие права. Это все затем, чтоб заинтересовать нас их приездом. Баниосы сказали, что полномочные имеют до шестисот человек свиты с собой, и потому едут медленно и не все четверо вдруг, а по одному. На это приказано отвечать, что если губернатор поручится, что в четверг назначено будет свидание, тогда мы подождем, в противном случае уйдем в Едо.

Такое решение, по-видимому, очень обрадовало их; поэтому можно было заключить, что если не все четверо, то хоть один полномочный да был тут.

Живо убрали с палубы привезенные от губернатора конфекты и провизию и занялись распределением подарков с нашей стороны. В этот же вечер с баниосами отправили только подарок первому губернатору, Овосаве Бунгоно: малахитовые столовые часы, с группой бронзовых фигур, да две хрустальные вазы. Кроме того, послали ликеров, хересу и несколько голов сахару. У них рафинаду нет, а есть только сахарный песок.

Надо было прибрать подарок другому губернатору, оппербаниосам, двум старшим и всем младшим переводчикам, всего человекам двадцати. Хлопот бездна: нужно было перевернуть весь трюм на транспорте, достать зеркала, сукна, материи, карманные часы и т. п., потом назначать, кому что. В этом

предстояло немалое затруднение: всех главных лиц мы знали по имени, а прочих нет; их помнили только в лицо; оттого в списке у нас они значились под именами: косого, тощего, рябого, колченогого, а другие носили название некоторых наших земляков, на которых походили. Кое-как уладили и это. Дня два возились с подарками. Другому губернатору подарили трюмо, коврик и два разноцветные комнатные фонаря. Баниосам по зеркалу, еще сукна и материи на халаты. Никто не был забыт, кто чем-нибудь был полезен. Самым мелким чиновникам, под надзором которых возили воду и провизию, и тем дано было по халату и по какой-нибудь вещице.

Сукна у японцев нет, и не все они знают о его употреблении. Им нарочно дарили его, чтоб они узнавали, что это такое, и привыкали носить. Потребность есть: зимой они носят по три, по четыре халата из льняной материи, которые не заменят и одного суконного. А простой народ ходит, когда солнце греет, совсем нагой, а в холод накидывает на плечи какую-то тряпицу. Жалко было смотреть на бедняков, как они, с обнаженною грудью, плечами и ногами, тряслись, посинелые от холода, ожидая часа по три на своих лодках, пока баниосы сидели в каюте.

Еще дарили им зеркала, вместо которых они употребляют полированный металл или даже фарфор; раздавали картинки, термометры, компасы, дамские несессеры, словом все, что могло возбудить любопытство и обратиться в потребность.

На другой день, 24-го числа, в рождественский сочельник, погода была великолепная: трудно забыть такой день. Небо и море — это одна голубая масса; воздух теплый, без движения. Как хорош Нагасакский залив! И самые Нагасаки, облитые солнечным светом, походили на что-то путное. Между бурыми холмами кое-где ярко зеленели молодые всходы нового посева риса, пшеницы или овощей. Поглядишь к морю — это бесконечная лазоревая пелена.

В этот день, вместе с баниосами, явился новый чиновник, по имени *Синоцара Томотаро*, принадлежащий к свите полномочных и приехавший будто бы вперед, а вероятнее, вместе с ними. Все они привезли уверение, что губернатор отвечает за свидание, то есть что оно состоится в четверг. Итак, мы остаемся.

Настала, наконец, самая любопытная эпоха нашего пребывания в Японии: завязывается путем дело, за которым прибыли, в одно время, экспедиции от двух государств. Мы толкуем, спорим между собой о том, что будет: верного вывода сделать нельзя с этим младенческим, отсталым, но лукавым народом. В одном из прежних писем я говорил о способе их действия: тут, как ни знай сердце человеческое, как ни будь опытен, а трудно действовать по обыкновенным законам ума и логики, там, где нет ключа к миросозерцанию, нравствен-

ности и правам народа, как трудно разговаривать на его языке, не имея грамматики и лексикона.

Вчера предупредили японцев, что нам должно быть отведено хорошее место, но ни одно из тех, которые они показывали прежде. Они были готовы к этому объяснению. Хагивари сейчас же вынул и план из-за пазухи и указал, где будет отведено место: подле города где-то.

«Там есть кумирня,— прибавил он,— бонзы на время выберутся оттуда». Кроме того, есть дом или два, откуда тоже выгоняют каких-то чиновников. Завтра К. Н. Посьет, по приказанию адмирала, едет осмотреть. Губернаторы, кажется, все силы употребляют угодить нам или по крайней мере показывают вид, что угождают. Совсем противное тому, что было три месяца назад! Впечатление, произведенное в Едо нашим прибытием, назначение оттуда, для переговоров с нами, высших сановников и, наконец, вероятно, данные губернаторам инструкции, как обходиться с нами,— все это много сбавило спеси у их превосходительств.

Мы на этот раз подошли к Нагасаки так тихо в темноте, что нас с мыса Номо и не заметили и стали давать знать с батарей в город выстрелами о нашем приходе в то время, когда уже мы становились на якорь. Мы застали японцев врасплох. Ни одной караульной лодки не было на рейде; часа через три они стали было являться, и довольно близко от нас, но мы послали катер отбуксировать их дальше. Шкуна и транспорт вошли далеко в Нагасакский залив, и мы расположились, как у себя дома. Лодки исчезли и уже не появлялись более. Губернаторы предупреждают наши желания.

Сегодня, 26-го, чиновники приезжали опять благодарить за подарки и опять показывали план места. Их тоже поблагодарили за провизию.

Рождество у нас прошло, как будто мы были в России. Проводив японцев, отслушали всенощную, вчера обедню и молебствие, поздравили друг друга, потом обедали у адмирала. После играла музыка. Эйноске, видя всех в парадной форме, спросил, какой праздник. Хотя с ними избегали говорить о христианской религии, но я сказал ему (надо же приучить их понемногу ко всему нашему): затем сюда приехали.

Кажется, недалеко время, когда опять проникнет сюда слово божие и водрузится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. Когда-то? Не даст ли бог нам сделать хотя первый и робкий шаг к тому? Хлопот будет немало с здешним правительством — так прочна (правительственная) система отчуждения от целого мира! Приняты все меры против сближения: не легко познакомить народ с нашим бытом и склонить его на сторону европейцев. Пока нет приманки, нет и искушений: правительство понимает это и строго запрещает привоз всяких предметов роскоши, и особенно новых. Наших

подарков не дали чиновникам в руки. Эйноске сказывал вчера, что список вещам отправляют в Едо, и если оттуда пришлют разрешение, тогда и раздадут их. На все у них запрещение: сегодня Посьет дает баниосам серебряные часы, которые забыли отослать третьего дня в числе прочих подарков: чего бы, кажется, проще, как взять да прибавить к прочим? Нет, нельзя, надо губернатора спросить, а тот отнесется в совет, совет к сиогуну, тот к микадо — и пошло! Еще сказали им сегодня, что место поедут посмотреть с Посьетом трое, вместо двоих, как сказано прежде. Опять сомнение и в этих пустяках: даже готовились, после долгих совещаний, отказать, да их не послушали.

И так во всем один неизменный порядок. Нарушить это, обратить их к здравому смыслу ничем другим нельзя, как только силой. Они долго не допустят свободно ходить по своим городам, ездить внутрь страны, заводить частные сношения, даже и тогда, когда решатся начать торговлю с иностранцами. Если теперь японцам уже нельзя подчинить эту торговлю таким же ограничениям, каким подчинены сношения с голландцами, то, с другой стороны, иностранцам нельзя добровольно склонить их действовать совершенно на европейский лад. Ни хитрость, ни убеждения — не помогут. Одна надежда на их трусость. Угроза со стороны европейцев и желание мира со стороны японцев помогут выторговать у них отмену некоторых стеснений. Словом, только внешние чрезвычайные обстоятельства, как я сказал прежде, могут потрясти их систему, хотя народ сам по себе и способен к реформам.

Сегодня, 28-го декабря русского стиля, приехали Хагивари, Ойе-Саброски и Сабро сказать, что полномочные прибыли. Эйноске и Кичибе и те были в парадных шелковых халатах, в новых кофтах (всегда черных) и в шелковых юбках. Первое свидание назначено в четверг. Адмирал желает, чтобы полномочные приехали на фрегат, так как он уже был на берегу и передал бумаги от своего правительства, следовательно теперь они, имея сообщить адмиралу ответ, должны также привезти его сами. Но еще не решено, как это должно произойти.

Место видели: говорят, хорошо. С К. Н. Посьетом ездили: В. А. Римский-Корсаков, И. В. Фуругельм и К. И. Лосев. Место отведено на левом мысу, при входе из пролива на внутренний рейд. Сегодня говорили баниосам, что надо фрегату подтянуться к берегу, чтоб недалеко было ездить туда. Опять затруднения, совещания и, наконец, всегдашний ответ «спросим губернатора».

Спросили и губернатора, тот говорит, что надо еще кое-что убрать, что чиновники и бонзы не перебрались оттуда. Вчера и сегодня шли толки о свидании. Адмирал объявил, что не останется в Нагасаки, если 1 (13) января не будет свидания. Он приказал сказать, что ждет полномочных к себе, а они отвечали,

что просят к себе, говоря, что устали с дороги. Адмирал предложил им некоторые условия и, подозревая, что они не упустят случая, по обыкновению, промедлить, объявил, что дает им сроку до вечера. Баниосы вечером приехали сказать, что полномочные согласны и просили дать им записку об этих условиях. Дали.

Сегодня, 30, просыпаемся, говорят, что Кичибе и Эйноске сидят у нас с шести часов утра,— вот как живо стали поворачиваться! Первому особенно — беда: «Люблю лежать и ничего не делать!» — твердит он. Приехали баниосы и привезли бумагу, на голландском и японском языках, в которой изъявлено согласие на все условия, за исключением только двух: что, 1-е, *команда наша съедет на указанное место завтра же*. Говорят: еще не совсем готово место и просят подождать три дня; 2-ое, *полномочные приедут не на другой день к нам, а через два дня*.

Адмирал не взял на себя труда догадываться, зачем это, тем более, что японцы верят в счастливые и несчастливые дни, и согласился лучше поехать к ним, лишь бы за пустяками не медлить, а заняться делом.

Главные условия свидания состояли в том, чтобы *один из полномочных встретил адмирала при входе в дом, чтобы при угощении обедом или завтраком присутствовали и они*, а не, как хотел Овосава: накормить без себя. Далее, что *караул наш будет состоять из сорока человек, кроме музыкантов; офицеров будет втрое больше прежнего; что поедем мы на девяти шлюпках. Наконец, мы, с своей стороны, встретим полномочных у себя с должным почетом и, между прочим, будем салютовать пушечными выстрелами, если только они этого пожелают.*

На последнее полномочные сказали, что дадут знать о салюте за день до своего приезда. Но адмирал решил, не дожидаясь ответа о том, примут ли они салют себе, салютовать своему флагу, как только наши катера отвалят от фрегата. То-то будет переполох у них! Все остальное будет по-прежнему, то есть суда расцветятся флагами, люди станут по реям и — так далее.

1854 год

1 (13) января. С Новым годом! Как вы проводили старый и встретили Новый год? Как всегда: собрались, по обыкновению, танцевали, шумели, играли в карты, потом зевнули не раз, ожидая боя полночи, поймали, наконец, вожделенную минуту и взялись за бокалы — все одно, как пять, десять лет назад?

В первый раз в жизни случилось мне провести последний день старого года как-то иначе, не похоже ни на что прежнее. Я обедал в этот день у японских вельмож! Слушайте же, если вам не скучно, подробный рассказ обо всем, что я видел вчера.

Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в их оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно: верное, до добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день.

Назначено было отвалить нам от фрегата в одиннадцать часов утра. Но известно, что час и назначают затем, чтобы только знать, на сколько приехать позже назначенного времени — так заведено в хорошем обществе. И мы, как люди хорошего общества, отвалили в половине первого.

Вы улыбаетесь при слове *отваливать*: в хорошем обществе оно не в ходу; но у нас здесь *отваливай* — фешенебельное слово.

Мы отвалили. Ехали на девяти шлюпках, которые растянулись на версту. Порядок тот же, как и в первую поездку в город, то есть впереди ехал капитан-лейтенант Посьет, на адмиральской гичке, чтоб встретить и расставить на берегу караул; далее, на баркасе, самый караул, в числе пятидесяти человек; за ним катер с музыкантами, потом катер со стульями и слугами, следующие два занимали офицеры: человек пятнадцать со всех судов. Наконец адмиральский катер: на нем, кроме самого адмирала, помещались командиры со всех четырех судов: И. С. Унковский, капитан-лейтенанты Римский-Корсаков, Назимов и Фуругельм, лейтенант барон Крюднер, переводчик с китайского языка, О. А. Гошкевич и ваш покорнейший слуга. Затем ехали два вельбота и еще гичка с некоторыми офицерами.

Люди стали по реям и проводили нас, по-прежнему, троекратным «ура»; разноцветные флаги опять в одно мгновение развязались и пали на снасти, как внезапно брошенная сверху куча цветов. Музыка заиграла народный гимн. Впечатление было все то же, что и в первый раз. Я ждал с нетерпением салюта: это была новость. Мне хотелось видеть, что японцы?

Да, я забыл сказать, что, за полчаса до назначенного времени, приехал, как и в первый раз, старший после губернатора в городе чиновник сказать, что полномочные ожидают нас. За ним, по японскому обычаю, тянулся целый хвост баниосов и прочего всякого чина. Чиновник выпил чашку чаю, две рюмки cherry brandy (вишневой наливки) и уехал.

Только японцы стали садиться на лодки, как адмирал поручил Константину Николаевичу Посьету сказать переводчикам, чтобы баниосы велели всем японским лодкам подальше отойти от фрегата: салютовать, дескать, будут. Заранее он извещать об этом не хотел, предвидя со стороны губернаторов возражения и просьбы не салютовать. Баниосы так и оцепенели от этой неожиданной новости. Один занес было ногу на трап, чтобы сойти, да и остался на несколько секунд с поднятой ногой. Вся толпа остановилась за ним, а старший чиновник сидел уж в своей лодке и ждал других. Очнувшись, баниос побежал к нему передать новость и тотчас же воротился с просьбою не салютовать, подождать, пока они дадут знать губернатору.

Этого-то и не хотели. «Некогда, некогда,— торопили мы их,— поезжайте скорее, мы сейчас сами едем». Нейдут с лодки, да и только, всё стоят у трапа; упрашивают.

Мы предвидели смущение японцев и не могли удерживаться от смеха. Я слышу слово «misverstand»[1] от переводчика и подхожу узнать, что такое: он говорит, что на их батареях люди не предупреждены о салюте и оттого выйдет *недоразумение*: станут, пожалуй, палить и они. «Нужды нет, пусть палят,— говорят им,— так и следует,— отвечать на салют». Всё не решаются уходить. «Пора, пора,— торопили их,— сейчас будут палить: вон уж пошли по орудиям». Давно бы надо было сказать так. Раздалось такое дружное щелканье соломенных сандалий по трапу, какого еще, кажется, не было. Они уехали и увели с собой все лодки.

Тронулись с места и мы. Только зашли наши шлюпки за нос фрегата, как из бока последнего вырвался клуб дыма, грянул выстрел, и вдруг горы проснулись и разом затрещали эхом, как будто какой-нибудь гигант закатился хохотом. Другой выстрел, за ним выстрел на корвете, опять у нас, опять там: хохот в горах удвоился. Выстрелы повторялись: то раздавались на обоих судах в одно время, то перегоняли друг друга: горы выходили из себя, а губернаторы, вероятно, пуще их.

Если *японскому глазу больно*, как выразился губернатор в первое свидание, видеть чужие суда в портах Японии, то японскому уху еще, я думаю, больнее слышать рев чужих пушек. Их пушки малы, и выстрелы не будили гор. Я смотрел на лодки, на японские батареи: нигде никакого движения, только две собаки мечутся взад и вперед и ищут места спрятаться, да негде: побегут от выстрела к горам, а оттуда гонит их эхо. Но кончилось: пушки замолчали, горы опять заснули, собаки успокоились, на высотах показалось несколько длиннополых японских фигур. Гребцы наши молчаливо, но сильно налегали грудью на весла. Мы углубились уже далеко в залив, а дым от выстрелов все еще ленивым узором крался по воде, направляясь тихонько к морю. Издали, с передового катера, слабо доносились к нам звуки музыки.

Мы быстро двигались вперед мимо знакомых уже прекрасных бухт, холмов, скал, лесков. Я занялся тем же, чем и в первый раз, то есть мысленно уставлял все эти пригорки и рощи храмами, дачами, беседками и статуями, а воды залива — пароходами и чащей мачт; берега населял европейцами: мне уж виделись дорожки парка, скачущие амазонки; а ближе к городу снились фактории, русская, американская, английская...

Японские лодки кучей шли и опять выбивались из сил, торопясь перегнать нас, особенно ближе к городу. Их гребцы то примолкнут, то вдруг заголосят отчаянно: «Оссильян! ос-

[1] недоразумение *(голландск.)*.

сильян!» Наши невольно заразятся их криком, приударят веслами, да вдруг как будто одумаются и начнут опять покойно рыть воду.

Наконец надо же и совесть знать, пора и приехать. В этом японском, по преимуществу тридесятом, государстве можно еще оправдываться и тем, что «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Чуть ли эта поговорка не здесь родилась и перешла по соседству с Востоком и к нам, как и многое другое... Но мы выросли, и поговорка осталась у нас в сказках.

В Японии, напротив, еще до сих пор скоро дела не делают и не любят даже тех, кто имеет эту слабость. От наших судов до Нагасаки три добрые четверти часа езды. Японцы часто к нам ездят: ну что бы пригласить нас стать у города, чтоб самим не терять по-пустому время на переезды? Нельзя. Почему? Надо спросить у верховного совета, верховный совет спросит у сиогуна, а тот пошлет к микадо.

Японские лодки непременно хотели пристать все вместе с нашими: можете себе представить, что из этого вышло. Одна лодка становилась поперек другой, и все стеснились так, что если б им поручили не пустить нас на берег, то они лучше бы сделать не могли того, как сделали теперь, чтоб пустить.

Потом пошло все по-прежнему, то есть музыканты, караул, все стояло на своих местах. И японские войска расставлены были по обеим сторонам дороги, то есть те же солдаты, с картонными шапками на головах и ружьями, или quasi-ружьями в чехлах, ноги врозь и колени вперед. И лошадь была тут, которой я опять не заметил, и норимоны, и старик с сонными глазами, и толпа переводчиков, и баниосы. Японцы, подобрав халаты, забыв важность, пустились за нами вприпрыжку, бегом, теряя туфли, чтоб поспеть к дому прежде нас. В сенях сидели на пятках те же лица, но на крыльце стоял, по уговору, младший из полномочных в каком-то странном головном уборе.

Мы не успели рассмотреть его хорошенько. Он пошел вперед, и мы за ним. По анфиладе рассажено было менее чиновников, нежели в первый раз. Мы толпой вошли в приемную залу. По этим мирным галереям не раздавалось, может быть, никогда такого шума и движения. Здесь, в белых бумажных чулках, скользили доселе, точно тени, незаметно от самих себя, японские чиновники, пробираясь иногда ползком: а теперь вот уже в другой раз раздаются такие крепкие шаги!

В ту минуту, как мы вошли в приемную залу, отодвинулись, точно кулисы, ширмы с противоположной стороны, и оттуда выдвинулись медленно, один за другим, все полномочные. Показался несколько согбенный старик; от старости рот у него постоянно был немного открыт. За ним другой, лет сорока пяти, с большими карими глазами, с умным и бойким лицом. Третий,

очень пожилой человек, худощавый и смуглый, с поникшим взором, как будто проведший всю жизнь в затворничестве, и немного с птичьим лицом. Четвертый — средних лет: у этого было очень обыкновенное лицо, каких много, не выражающее ничего, как лопата. На таких лицах можно сразу прочесть, что, кроме ежедневных будничных забот, они о другом думают мало.

Они стали все четверо в ряд — и мы взаимно раскланялись. С правой стороны, подле полномочных, поместились оба нагасакские губернатора, а по левую еще четыре, приехавшие из Едо, по-видимому, важные лица. Сзади полномочных сели их оруженосцы, держа богатые сабли в руках; налево, у окон, усажены были в ряд чиновники, вероятно тоже из Едо: по крайней мере мы знакомых лиц между ними не заметили.

Все четверо полномочные были в широких мантиях из богатой, толстой, как лубок, шелковой с узорами материи, которая едва сжималась в складки; рукава у кисти были чрезвычайно широкие; спереди, от самого подбородка до пояса, висел из той же материи нагрудник; под мантией обыкновенный халат и юбка, конечно шелковые же. У старика материя зеленая, у второго белая, вроде моар, только с редкими полосами. У всех четырех полномочных и у губернаторов тоже на голове наставлена была на маковку, вверх дном, маленькая, черная, с гранью, коронка, очень похожая формой на дамские рабочие корзиночки и, пожалуй, на кузовки, с которыми у нас бабы ходят за грибами. Коронки эти делаются, как я после узнал, из папье-маше. У двоих чиновников, помещавшихся налево от полномочных, коронки были одинаковой с ними формы, а у следующих двух одна треугольная, другая квадратная, обе плоские. У старших коронки прикреплялись пропущенными под подбородок белыми, а у младших черными шнурками. Все бы еще ничего; но у третьего полномочного, у обоих губернаторов и еще у одного чиновника шелковые панталоны продолжались на аршин далее ног. Губернаторы едва шли, с трудом поднимая ноги.

Эта одежда присвоена какому-то чину или должности. Вообще весь этот костюм был самый парадный, как наши полные мундиры. Глядя на фигуру стоящего в полной форме японца, с несколько поникшей головой, в этой мантии, с коробочкой на лбу и в бесконечных панталонах, поневоле подумаешь, что какой-нибудь проказник когда-то задал себе задачу одеть человека как можно неудобнее, чтоб ему нельзя было не только ходить и бегать, но даже шевелиться. Японцы так и одеты: шевелиться в этой одежде мудрено. Она выдумана затем, чтоб сидеть и важничать в ней. И когда видишь японцев, сидящих на пятках, то скажешь только, что эта вся амуниция как нельзя лучше пригнана к сидячему положению и что тогда она не лишена своего рода величавости и даже красива. Эти куски бога-

той шелковой материи, волнами обильно обвивающие тело, прекрасно драпируются около ленивой живой массы, сохраняющей важность и неподвижность статуи.

Обе стороны молча с минуту поглядели друг на друга, измеряя глазами с ног до головы,— мы их, они нас. Наш знакомый, Овосава Бунгоно, недавно еще с таким достоинством и гордостью принявший нас, перешел на второй план, он лицом приходился прямо в ухо старику и стоял, потупя взгляд, не поворачиваясь ни направо, ни налево. Только изредка, украдкой, он косился на нас. И было за что: ему оставалось отдежурить всего какой-нибудь месяц и ехать в Едо, а теперь он, по милости нашей, сидит полтора года, и бог знает, сколько времени еще просидит! Другой губернатор, Мизно Чикогоно, был с лица не мудрец, но с сердитым выражением.

Полномочные сделали знак, что хотят говорить, и мгновенно, откуда ни возьмись, подползли к их ногам, из двух разных углов, как два ужа, Эйноске и Кичибе.

Они приложили лбы к полу и слушали в этом положении, едва дыша. Начал старик. Мы так и впились в него глазами: старик очаровал нас с первого раза: такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех чертах, светилась старческая, умная и приветливая доброта — плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушки. Кроме того, у него были манеры, обличающие порядочное воспитание. Он начал говорить, но губы и язык уже потеряли силу: он говорил медленно; говор его походил на тихое и ровное переливанье из бутылки в бутылку жидкости.

Кичибе приподнял голову, подавился немного и потом уже перевел приветствие. Старик поздравлял адмирала с приездом и желал ему доброго здоровья. Адмирал отвечал тоже приветствием. Кичибе поклонился в землю и перевел. Старик заговорил опять такое же форменное приветствие командиру судна; но эти официальные выражения чувств, очень хорошие в устах Овосавы, как-то не шли к нему. Он смотрел так ласково и доброжелательно на нас, как будто хотел сказать что-нибудь другое, искреннее. И действительно, после сказал. Но теперь он продолжал приветствия К. Н. Посьету, взявшему на себя труд быть переводчиком, наконец всем офицерам.

Лишь только кончил старик, как чиновник, стоявший с левой стороны и бывший чем-то вроде церемониймейстера, кликнул шепотом: «Эйноске!»—и показал на второго полномочного. Эйноске быстро подполз к ногам второго и приложил лоб к полу; тот повторил те же приветствия и в таком же порядке. Переводчики ползком подскочили к третьему и четвертому полномочным и, наконец, к губернаторам. Все они по очереди повторяли поздравление, твердо произнося русские имена.

Им отвечено было адмиралом благодарственным приветствием от себя и от всех.

Все это делалось стоя, все были в параде: шелковых юбок не оберешься. Видно, что собрание было самое торжественное. Кичибе и Эйноске были тоже в шелку: креповая черная или голубая мантильи, с белыми гербами на спине и плечах, шелковый халат, такая же юбка и белые бумажные чулки.

Пока говорились приветствия, я опять забылся, как в первое свидание с губернатором: это было только второе в том же роде, но с более ярким колоритом. Глаз и мысль не успели привыкнуть к новости зрелища. Мне не верилось, что все это делается наяву. В иную минуту казалось, что я ребенок, что няня рассказала мне чудную сказку о неслыханных людях, а я заснул у ней на руках и вижу все это во сне. Да где же это я в самом деле? кто кругом меня, с этими бритыми лбами, смуглыми, как у мумий, щеками, с поникшими головами и полуопущенными веками, в длинных, широких одеждах, неподвижные, едва шевелящие губами, из-за которых, с подавленными вздохами, вырываются неуловимые для нашего уха, глухие звуки? Уж не древние ли покойники встали из тысячелетних гробниц и собрались на совещание? Ходят ли они, улыбаются ли, поют ли, пляшут ли? знают ли нашу человеческую жизнь, наше горе и веселье, или забыли в долгом сне, как живут люди? Что это за дом, за комната: окна заклеены бумагой, в комнате тускло и сыро, как в склепе; кругом золоченые ширмы, с изображением аистов — эмблемы долголетия? Крышу поддерживает ряд простых, четырехугольных деревянных столбов; она без потолка, из тесаных досок, дом первобытной постройки, как его выдумали первые люди. Где же я?

Иллюзия, которою я тешил себя, продолжалась недолго: вон один отживший, самый древний, именно старик, вынул из-за пазухи пачку тонкой бумаги, отодрал лист и высморкался в него, потом бросил бумажку, как в бездну, в свой неизмеримый рукав. «А! это живые!»

Нас попросили *отдохнуть* и выпить чашку чаю в ожидании, пока будет готов обед. Ну, слава богу! мы среди живых людей: здесь едят. Японский обед! С какою жадностью читал я, бывало, описание чужих обедов, то есть чужих народов, вникал во все мелочи, говорил, помните, и вам, как бы желал пообедать у китайцев, у японцев! И вот и эта мечта моя исполнилась. Я pique-assiette[1] от Лондона до Едо. Что будет, как подадут, как сядут — все это занимало нас.

В «отдыхальне» подали чай, на который просили обратить особенное внимание. Это толченый чай, самого высокого сорта: он родится на одной горе, о которой подробно говорит Кемпфер. Часть этого чая идет собственно для употребления двора

---

[1] любитель поесть в гостях *(франц.)*.

сиогуна и микадо, а часть, пониже сорт, для высших лиц. Его толкут в порошок, кладут в чашку с кипятком — и чай готов. Чай превосходный, крепкий и ароматический, но нам он показался не совсем вкусен, потому что был без сахара. Мы, однако ж, превознесли его до небес.

После чая подали трубки и табак, потом конфекты, опять в таких же чрезвычайно гладко обтесанных, сосновых ящиках, у которых даже углы были не составные, а цельные. Что за чистота, за тщательность в отделке! А между тем ящик этот делается почти на одну минуту: чтоб подать в нем конфекты и потом отослать к гостю домой, а тот, конечно, бросит. Конфекты были — тертый горошек с сахарным песком, опять морковь, кажется, да еще что-то в этом роде, потом разные подобия рыбы, яблока и т. п., всё из красного и белого риса.

Около нас сидели на полу переводчики; из банносов я видел только Хагивари да Ойе-Саброски. При губернаторе они боялись взглянуть на нас, а может быть, и не очень уважали, пока из Едо не прислали полномочных, которые делают нам торжественный и почетный прием. Тогда и прочие зашевелились, не знают, где посадить, жмут руку, улыбаются, угощают.

Через полчаса церемониймейстер пришел звать нас к обеду. Он извинялся, что теснота не позволяет обедать всем вместе и что общество рассядется по разным комнатам. Адмирала, И. С. Унковского, К. Н. Посьета и меня ввели опять в приемную залу; с нами обедали только два старших полномочных, остальные вышли вон. Зала так просторна, что в ней могли бы пообедать, без всякой тесноты, человек шестьдесят; но японцы для каждого из нас поставили по особому столу. Полномочные сидели на своих возвышениях, на которые им и ставили блюда.

Вот появилось ровно шесть слуг, по числу гостей, каждый с подносом, на котором лежало что-то завернутое в бумаге, рыба, как мне казалось. Они поставили подносы, вышли на минуту, потом вошли и унесли их: перед нами остались пустые, ничем не накрытые столы, сделанные нарочно для нас, из кедрового дерева. «Ну, обычай не совсем патриархальный,— подумал я,— что бы это значило?» — «Это наш обычай,— сказал старик,— подавать блюдо с «этим» на стол и сейчас уносить: *это* у нас — символ приязни». А *это* — была не рыба, как мне показалось сначала, а какая-то тесьма, видом похожая на вязигу. Я принял было ее за морскую траву, но она оказалась перепонкой какой-то улитки, прилипающей, посредством ее, к скалам. Так вот видите: это у них и есть символ симпатии, привязанности или, буквально, «прилипчивости».

Опять появилось шестеро, точно в сказке — молодцов, сказал бы я, если б была малейшая тень молодцеватости. Я был бы снисходителен, не требовал бы многого, но не было ничего похожего, по нашим понятиям, на человеческую красоту в целом собрании. Старик был красивее всех своею старчес-

кою, обворожительною красотою ума и добродушия, да второй полномочный еще мог нравиться умом и смелостью лица, пожалуй и Овосава хорош, с затаенною мыслию или чувством на лице, и если с чувством, то, верно, неприязни к нам. Остальные же все — хоть не смотреть. Эйноске разве недурен, и то потому, что похож на европейца и носит на лице след мысли и образования. Но боже мой! в каком он положении, и Кичибе тоже! Они распростерлись на полу между нами и полномочными, как две легавые собаки, готовясь... есть — вы думаете? нет, переводить.

Слуги между тем продолжали ставить перед каждым гостем красные лакированные подставки, величиной со скамеечки, что дамы ставят у нас под ноги. Слуга подходил, ловко и мерно поднимал подставку, в знак почтения, наравне с головой, падал на колени, и с ловким, мерным движением ставил тихонько перед гостем. Шесть раз подходили слуги и поставили шесть подставок. Но никто ничего еще не трогал. Все подставки тесно уставлены были деревянными, лакированными чашками, величиной и формой похожими на чайные, только без ручки; каждая чашка покрыта деревянным же блюдечком. Тут были также синие, фарфоровые, обыкновенные чашки, всё с кушаньем, и еще небольшие, с соей. Ко всему этому поданы были две палочки.

«Ну, это значит быть без обеда»,— думал я, поглядывая на две гладкие, белые, совсем тупые спицы, которыми нельзя взять ни твердого, ни мягкого кушанья. Как же и чем есть? На соседа моего Унковского, видно, нашло такое же раздумье, а может быть, заговорил и голод, только он взял обе палочки и грустно разглядывал их. Полномочные рассмеялись и наконец решились приняться за обед. В это время вошли опять слуги, и каждый нес на подносе серебряную ложку и вилку, для нас.

«В доказательство того, что все поданное употребляется в пищу,— сказал старик,— мы начнем первые. Не угодно ли открыть чашки и кушать, что кому понравится?»

«Ну-ка, что в этой чашке?» — шепнул я соседу, открывая чашку: рис вареный без соли. Соли нет, не видать, и хлеба тоже нет.

Я подержал чашку с рисом в руках и поставил на свое место. «Вот в этой что?» — думал я, открывая другую чашку: в ней была какая-то темная похлебка; я взял ложку и попробовал — вкусно, вроде наших бураков, и коренья есть.

«Мы употребляем рис при всяком блюде,— заметил второй полномочный,— не угодно ли кому-нибудь переменить, если поданный уже простыл?» Церемониймейстер, с широким, круглым лицом, с плоским и несколько вздернутым, широким же, арабским носом, стоя подле возвышения, на котором сидели оба полномочные, взглядом и едва заметным жестом распоряжался прислугою.

Сзади Эйноске сидели на пятках двое слуг, один с чайником, другой с деревянной лакированной кружкой, в которой был горячий рис.

Мы между тем переходили от чашки к чашке, изредка перекидываясь друг с другом словом. «Попробуйте,— говорил мне вполголоса Посьет,— как хорош винегрет из раков в синей чашке. Раки посыпаны тертой рыбой или икрой; там зелень, еще что-то».— «Я ее всю съел,— отвечал я,— а вы пробовали сырую рыбу?» — «Нет, где она?» — «Да вот нарезана длинными тесьмами...» — «Ах! неужели это сырая рыба? а я почти половину съел!» — говорил он с гримасой.

В другой чашке была похлебка с рыбой вроде нашей селянки. Я открыл, не помню, пятую или шестую чашку: в ней кусочек рыбы плавал совершенно в чистом и светлом бульоне, как горячая вода. Я думал, что это уха, и проглотил ложки четыре, но мне показалось невкусно. Это действительно была горячая вода — и больше ничего.

Сосед мой старался есть палочками и возбуждал, да и мы все тоже, не одну улыбку окружавших нас японцев. Не раз многие закрывали рот рукавом, глядя, как недоверчиво и пытливо мы вглядываемся в кушанья и как сначала осторожно пробуем их. Но я с третьей чашки перестал пробовать и съел остальное без всякого анализа, и все одной и той же ложкой, прибегая часто к рису, за недостатком хлеба. Помню, что была жареная рыба, вареные устрицы, а может быть, и моллюск какой-нибудь, похожий вкусом на устрицу. О. А. Гошкевич сказывал, что тут были трепанги; я ел что-то черное, хрупкое и слизистое, но не знаю что. Попадалось мне что-то сладкое, груша кажется, облитая красным сладким соусом, потом хрустело на зубах соленое и моченое: соленое — редька, заменяющая японцам соль. В синей фарфоровой чашке натискано было какое-то тесто, отзывавшееся яичницей, тут же вареная морковь. Потом в горячей воде плавало крылышко утки, с вареной зеленью.

Сзади всех подставок поставлена была особо еще одна подставка перед каждым гостем, и на ней лежала целая жареная рыба, с загнутыми кверху хвостом и головой. Давно я собирался придвинуть ее к себе и протянул было руку, но второй полномочный заметил мое движение. «Эту рыбу почти всегда подают у нас на обедах,— заметил он,— но ее никогда не едят тут, а отсылают гостям домой с конфектами». Одно путное блюдо и было, да и то не едят! Ох, уж эти мне эмблемы да символы!

Слуга подходил ко всем и протягивал руку: я думал, что он хочет отбирать пустые чашки, отдал ему три, а он чрез минуту принес мне их опять с теми же кушаньями. Что мне делать? Я подумал, да и принялся опять за похлебку, стал было приниматься вторично за вареную рыбу, но собесед-

ники мои перестали действовать, и я унялся. Хозяевам очень нравилось, что мы едим; старик ласково поглядывал на каждого из нас и от души смеялся усилиям моего соседа есть палочками.

К концу обеда слуги явились с дымившимися чайниками. Мы с любопытством смотрели, что там такое. «Теперь надо выпить саки»,— сказал старик, и слуги стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки разогретый напиток. Мы выпили по чашечке. Нам еще прежде, между прочей провизией, доставлено было несколько кувшинов этого саки, и тогда оно нам не понравилось. Теплый он лучше: похоже вкусом на слабый выдохшийся ром. *Саки* — перегнанное вино из риса. Потом налили опять. Мы стали было отговариваться, но старик объявил, что надо выпить до трех раз. Мы выпили и в третий раз, и наши хозяева тоже. Пока мы ели, нам беспрестанно подбавляли горячего риса. После саки вновь принесли дымившийся чайник: я думал, не опять ли саки, но старик предложил, не хотим ли мы теперь выпить — «горячей воды»! Это что за шутка! Нашел лакомство! «Нет, не хотим»,— отвечали ему. Однако ж я подумал, что уж если обедать по-японски, так надо вполне обедать, и потому попробовал и горячей воды: все так же нехорошо, как если б я попробовал ее и за русским столом. «Ну, не хотите ли полить рис горячей водой и съесть?» — предложил старик. И этого не хотим. Между тем оба полномочные подставили плоскодонные чашки, им налили кипятку, и они выпили. Они объяснили, что они утоляют жажду горячей водой.

Хозяева были любезны. Пора назвать их: старика зовут Тсутсуй Хизе-но-ками-сама, второго Кавадзи Сойемон-но-ками... нет, не ками, а дзио-сама, это все равно: дзио и ками означают равный титул; третий Алао Тосанно-ками-сама; четвертого... забыл, после скажу. Впрочем, оба последние приданы только для числа и большей важности, а, в сущности, они сидели с поникшими головами и молча слушали старших двух, а может быть, и не слушали, а просто заседали.

После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом; гляжу: на дне гвоздичная головка — какое варварство, и еще в стране чая!

Старик все поглядывал на нас дружески, с улыбкой.

«Мы приехали из-за многих сотен,— начал он мямлить,— а вы из-за многих тысяч миль; мы никогда друг друга не видали, были так далеки между собою, а вот теперь познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это странно и приятно!» Мы не знали, как благодарить его за это приветливое выражение общего тогда нам чувства. И у нас были те же мысли, то же впечатление от странности таких сближений. Мы благодарили их за прием, хвалили обед. Я сделал замечание, что нахожу в некоторых блюдах сходство с европейскими, и вижу, что японцы, как люди порядочные, кухней не пренебрегают.

В самом деле, рыба под белым соусом — хоть куда. Если б ко всему этому дать хлеба, так можно даже наесться почти досыта. Без хлеба как-то странно было на желудке: сыт не сыт, а есть больше нельзя. После обеда одолевает не дремота, как обыкновенно, а только задумчивость. Но я смеялся, вспомнив, чтó пишут о японском столе и, между прочим, что они будто готовят кушанье на касторовом масле. А у них и обыкновенное деревянное масло употребляется редко, и только с зеленью; все же прочее жарится и варится на воде, с примесью саки и сои. Потом сказали мы хозяевам, что из всех народов крайнего Востока японцы считаются у нас, по описаниям, первыми — по уменью жить, по утонченности нравов и что мы теперь видим это на опыте.

Наконец кончился обед. Все унесли и чрез пять минут подали чай и конфекты, в знакомых уже нам ящиках. Там были подобия бамбуковых ветвей из леденца, лент, сердец, потом рыбы, этой альфы и омеги японского стола, от нищего до вельможи, далее какой-то тертый горошек с сахарным песком и рисовые конфекты.

Когда убрали, наконец, все, адмирал сказал, что он желал бы сделать полномочным два вопроса по делу, которое его привело сюда, и просит отвечать сегодня же. Старик вынул пачку бумаги, тщательно отодрал один листок, высморкался, спрятал бумажку в рукав, потом кротко возразил, что, по японским обычаям, при первом знакомстве разговоры о делах обыкновенно откладываются, что этого требуют приличия и законы гостеприимства. Адмирал заметил, что это отнюдь не помешает возникающей между нами приязни; что вопросы эти не потребуют каких-нибудь мудреных ответов, а просто двух слов, *да* или *нет*. Мы видели, что им лень говорить о деле. Вообще и важные сановники и неважные после обеда выражались больше междометиями, которых невозможно передать словами. Грудные звуки раздавались из всех углов. О деле неприлично говорить, а это ничего!

Адмирал согласился прислать два вопроса на другой день, на бумаге, но с тем, чтоб они к вечеру же отвечали на них. «Как же мы можем обещать это,— возразили они,— когда не знаем, в чем состоят вопросы?» Им сказано, что мы знаем вопросы и знаем, что можно отвечать. Они обещали сделать, что можно, и мы расстались большими друзьями.

С музыкой, в таком же порядке, как приехали, при ясной и теплой погоде, воротились мы на фрегат. Дорогой к пристани мы заглядывали за занавески и видели узенькую улицу, тощие деревья и прятавшихся женщин. «И хорошо делают, что прячутся, чернозубые!» — говорили некоторые. «Кисел виноград...» — скажете вы. А женщины действительно чернозубые: только до замужества хранят они естественную белизну зубов, а по вступлении в брак чернят их каким-то составом.

Фаддеев, бывший в числе наших слуг, сказал, что и их всех угостили, и на этот раз хорошо. «Чего ж вам дали?» — спросил я. «Красной и белой каши; да что, ваше высокоблагородие, с души рвет».— «Отчего?» — «Да рыба — словно кисель, без соли, хлеба нет!»

Вслед за нами явилось к фрегату множество лодок, и старший чиновник спросил, довольны ли мы: это только предлог, а собственно ему поручено проводить нас и донести, что он *доставил нас* в целости на фрегат. Случись с нами что-нибудь, несчастие, неприятность, хотя бы от провожатых и не зависело отвратить ее, им бы досталось.

Через час каюты наши завалены были ящиками: в большом рыба, что подавали за столом, старая знакомая, в другом сладкий и очень вкусный хлеб, в третьем конфекты. «Вынеси рыбу вон»,— сказал я Фаддееву. Вечером я спросил, куда он ее дел? «Съел с товарищами»,— говорит. «Что ж, хороша?» — «Есть душок, а хороша»,— отвечал он.

На другой день, 1-го января 1854 г., приехал Эйноске условиться о завтрашнем дне. Увидя нас всех в праздничных платьях, он спросил о причине. Ему сказали, что у нас наступил Новый год. Он поздравил; мы велели подать шампанского, до которого он, кажется, большой охотник. И он и два бывшие с ним баниоса подпили: те покраснели, а Эйноске, смесью английского, голландского и французского языков с нагасакским наречием, извинялся, что много пил, и, в подтверждение этого, забыл у нас свою мантилью на собачьем меху. Он выучился пить шампанское у американцев, и как скоро: те пробыли всего шесть дней!

А свежо: зима в полном разгаре, всего шесть градусов тепла. Небо ясно; ночи светлые; вода сильно искрится. Вообще, судя по тому, что мы до сих пор испытали, можно заключить, что Нагасаки — один из благословенных уголков мира по климату. Ровная погода: когда ветер с севера — ясно и свежо, с юга — наносит дождь. Но мы видели больше ясного времени.

Завтрашнего дня не было, то есть у нас готовился неслыханный и невиданный праздник и не состоялся. Праздник этот — важный факт, доказывающий, что все бессильно перед временем и обстоятельствами. Давно ли все крайневосточные народы, японцы особенно, считали нас, европейцев, немного хуже собак? не хотели знаться, дичились, чуждались? И нас губернатор хотел принять с таким, с такою... глупостью, следовало бы сказать, с гордостью, скажу учтивее: а теперь четыре важные японские сановника сами едут к нам в гости! Кажется, небывалый еще пример в сношениях японцев с иностранцами! Они просили отсрочки на два дня, и, вместо пятницы, как обещали было сначала, назначили воскресенье. У них случились тут какие-то праздники, и оттого они отложили.

Да, Эйноске, между прочим, приезжал с Хагивари, объясниться насчет салюта. Мы ожидали, что вчера, при свидании, скажут нам что-нибудь об этом. Но ни слова: хозяева вполне уважили законы гостеприимства. Зато теперь Хагивари приехал с упреком от губернатора за салют. Ему отвечали сначала шуткой, потом заметили, что они сами не сказали ничего решительного о том, принимают ли наш салют, или нет, оттого мы, думая, что они примут его, салютовали и себе. Они стали просить не палить больше. «Теперь нет повода — и не станем, если только полномочные не хотят, чтоб им палили»,— отвечал Посьет. «Не хотят, не хотят!» — подтвердили они. «А если другой адмирал придет сюда,— спросил Эйноске заботливо,— тогда будете палить?» — «Мы не предвидим, чтобы пришел сюда какой-нибудь адмирал,— отвечали ему,— оттого и не полагаем, чтоб понадобилось палить».

В этом вопросе крылся, кажется, другой: не придут ли англичане? Японцы уже выразили однажды предположение, что вслед за нами, вероятно, придут и другие нации, с предложениями о торговле.

В Новый год, вечером, когда у нас все уже легли, приехали два чиновника от полномочных, с двумя второстепенными переводчиками, Сьозой и Льодой, и привезли ответ на два вопроса. К. Н. Посьет спал; я ходил по палубе и встретил их. В бумаге сказано было, что полномочные теперь не могут отвечать на предложенные им вопросы, потому что у них есть ответ верховного совета на письмо из России и что, по прочтении его, адмиралу, может быть, ответы на эти вопросы и не понадобятся. Нечего делать, надо было подождать.

Мы занялись приготовлениями к встрече невиданных на европейских судах гостей. Сколько возни, хлопот, соображений истратилось в эти два дня! Смешать и посадить всех гостей за один стол, как бы сделали в Европе, невозможно. Здесь соблюдается такая строгая постепенность в званиях, что несоблюдением ее как раз наживешь врагов. Вообще нужна большая осторожность в обращении с ними, тем более, что изучение приличий составляет у них важную науку, за неимением пока других. Еще Гвальтьери, говоря о японцах, замечает, что наша вежливость у них — невежливость, и наоборот. Например: встать перед гостем, говорит он, у них невежливо, а надо сесть. Мы снимаем шляпу в знак уважения, а они — туфли. Мы, выходя из дома, надеваем плащ, а они — широкие панталоны или юбку, которую будто бы снимают при входе в дом. (Посещая нас, они не снимали ее: не изменился ли обычай и в самой Японии со времени Гвальтьери?) Наши русые волосы и белые зубы им противны; у них женщины сильно чернят зубы; чернили бы и волосы, если б они и без того не были чернее сажи. У нас женщины, в *интересном положении*, как это называют некоторые, надевают широкие блузы, а у них сильно

стягиваются; по разрешении от бремени у нас и мать и дитя моют теплой водой (кажется, так?), а у них холодной. Не знаю, отчего Гвальтьери, приводя эти противоположности, тут же кстати не упомянул, что за обедом у них запивают кушанья, как сказано выше, горячей водой, а у нас холодной. Или это они недавно выдумали?

Да, это все так; тут параллель можно продолжать, пожалуй, еще. Мне, например, не случалось видеть, чтоб японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись, руки постоянно держит наготове, на коленях, и так и смотрит по сторонам, нельзя ли кому поклониться. Лишь только завидит когонибудь равного себе, сейчас колени у него начинают сгибаться, он точно извиняется, что у него есть ноги, потом он быстро наклонится, будто переломится пополам, руки вытянет по коленям, и на несколько секунд оцепенеет в этом положении; после вдруг выпрямится и опять согнется, и так до трех раз и больше. А иногда два японца, при встрече, так и разойдутся в этом положении, то есть согнувшись, если не нужно остановиться и поговорить. Слуги у них бегают тоже полусогнувшись и приложив обе ладони к коленям, чтоб недолго было падать на пол, когда понадобится. Перед высшим лицом японец быстро падает на пол, садится на пятки и поклонится в землю. У самих полномочных тоже голова всегда клонится долу: все они сидят с поникшими головами, по привычке, в свою очередь, падать ниц перед высшими лицами. Полномочным, конечно, не приходится упражнять себя в этом, пока они в Нагасаки; а в Едо?

Утром 4-го января фрегат принял праздничный вид: вымытая, вытертая песком и камнями, в ущерб моему ночному спокойствию, палуба белела, как полотно; медь ярко горела на солнце; снасти уложены были красивыми бухтами, из которых в одной поместился общий баловень наш, кот Васька. Все нарядились. На юте устроили, из сигнальных флагов, палатку и в ней седалища из ковров для четырех полномочных и стулья для их свиты. В адмиральской каюте, роскошно и без того убранной, устроены были такие же седалища, для них же, за особым столом. Другой стол приготовлен был для адмирала и для троих из его свиты. За маленьким столиком, особо, должен был помещаться японский церемониймейстер. Для переводчиков приготовили было два стула, но они ни сесть на них, ни обедать не смели, а расположились на пятках, на полу.

Часов в 11 приехали баниосы, с подарками от полномочных адмиралу. Все вещи помещались в простых деревянных ящиках, а ящики поставлены были на деревянных же подставках, похожих на носилки с ножками. Эти подставки заменяют отчасти наши столы. Японцам кажется неуважительно поставить подарок на пол. На каждом ящике положены были свертки бумаги, опять с символом «прилипчивости».

Но что за вещи прислали они — загляденье! Один прислал шкатулку, черную, лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев. Лак необыкновенно густ, черен, не сходит, говорят, десятки лет и чист, как зеркало. Таких лакированных вещей нигде нет. Другая коробочка испещрена красно-золотистыми, потонувшими в лаке, искрами. При шкатулке были разные безделки: курительница для порошков, которую японцы носят на поясе, и еще какие-то принадлежности. Другой подарил чернильницу, с золотыми украшениями, со всем прибором для письма, с тушью, кистями, стопой бумаги и даже с восковыми раскрашенными свечами.

Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля, и по достоинству и по значению. Подарок сабли у них служит несомненным выражением дружбы. Японские сабельные клинки, бесспорно, лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить. Клинки у них испытываются, если Эйноске не лгал, палачом над преступниками. Мастер отдает их, по выделке, прямо палачу, а тот пробует, сколько голов (?!) можно перерубить разом. Мастер чеканит число голов на клинке. Это будто бы и служит у них оценкою достоинства сабли. Подаренная адмиралу перерубает, как говорил Эйноске, три головы. Сабли считаются драгоценностью у японцев. Клинок всегда блестит, как зеркало; на него, как говорят, не надышатся. У Эйноске сабля, подаренная ему другом, существует, по словам его, около пятисот лет.

Я не знаю толку в саблях, но не мог довольно налюбоваться на блеск и отделку клинка, подарка Кавадзи. Ножны у ней сделаны, кажется, из кожи акулы, и все зашиты в шелк, чтоб предостеречь от ржавчины. Старик Тсутсуй подарил дорогие украшения к этой сабле, насечки и т. п. Подарок знаменательный, особенно при начале дел наших! Полномочные сами не раз давали понять нам, что подарок этот выражает отношения *Японии к России*. Оно тем более замечательно, что подарок сделан, конечно, с согласия и даже по повелению правительства, без воли которого ни один японец, кто бы он ни был, ни принять, ни дать ничего не смеет. Один раз Эйноске тихонько сказал Посьету, что наш матрос подарил одному японцу пустую бутылку. «Ну, так что ж?» — спросил тот. «Позвольте прислать ее назад,— убедительно просил Эйноске,— иначе худо будет: достанется тому, кто принял подарок».— «Да вы бросьте в воду».— «Нельзя: мы привезем, а вы уж и бросьте, пожалуй, сами».

Каков народ! какова система ограждения от контрабанды всякого рода! Какая бы, кажется, могла быть надежда на торговлю, на введение христианства, на просвещение, когда так глухо заперто здание и ключ потерян? Как и когда придет все это? А придет, нет сомнения, хотя и не скоро.

В Китае началось и деятельно продолжается. Когда я ехал в Шанхай, я думал, что там, согласно Нанкинскому трактату,

далее определенной черты европейцу нельзя и шагу сделать, а между тем мы исходили все окрестности и знаем их почти, как петербургские. Всего десять лет прошло с открытия пяти портов в Китае — и европейцы почти совсем овладели ими. Все делается исподволь, понемногу. Например, в Китае иностранцам позволено углубляться внутрь страны на такое расстояние, чтобы в один день можно было на лошади вернуться домой; а американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах, миль за восемьдесят от моря. Когда губернатор провинции протестовал против этого, консул отвечал, что католические миссионеры, в разных местах, еще дальше имеют монастыри: пусть губернатор выгонит их оттуда, тогда и он откажется от дачи. А выгнать миссионеров нельзя: они глубоко пустили корни. Католический епископ в Гон-Конге сказывал, что между китайцами считается до пятисот тысяч католиков. Все они тайно покровительствуют миссионерам, укрывают их от взоров правительства, дают селиться среди себя и всячески помогают. Начальство подкуплено, и миссионеры делают свое дело явно. Губернатор знал о миссионерах и потому замолчал на возражение консула.

В другой раз к этому же консулу пристал губернатор, зачем он снаряжает судно, да еще, кажется, с опиумом, в какой-то шестой порт, чуть ли не в самый Пекин, когда открыто только пять? «А зачем,— возразил тот опять,— у острова Чусана, который не открыт для европейцев, давно стоят английские корабли? Выгоните их, и я не пошлю судно в Пекин». Губернатор знал, конечно, зачем стоят английские корабли у Чусана, и не выгнал их. Так судно американское и пошло, куда хотело.

Сделавши одно послабление, губернатор должен был допустить десять и молчать, иначе ему несдобровать. Он сам первый нарушитель законов. А европейцы берут все больше и больше воли, и в Пекине узнают об этом тогда, когда уже они будут под стенами его и когда помешать разливу чужого влияния будет трудно.

Впрочем, этого ожидать скоро нельзя по другим обстоятельствам: во всяком другом месте жители, по лености и невежеству, охотно отдают себя в опеку европейцам, и те скоро делаются хозяевами у них. Китайцы, напротив, сами купцы по преимуществу и, по меркантильному духу и спекулятивным способностям, превосходят англичан и американцев и не выпустят из своих рук внутренней торговли. Оттого ни те, ни другие не имеют успеха внутри Китая и даже не завязывают там никаких прямых сношений. Торговля производится чрез китайских комиссионеров, которые и ездят внутрь, для закупки товаров от самих плантаторов чая и фабрикантов шелка.

Если и Японии суждено отворить настежь ворота перед иностранцами, то это случится еще медленнее; разве принудят ее к тому войной. Но и в этом отношении она имеет огромные

преимущества перед Китаем. Если она переймет у европейцев военное искусство и укрепит свои порты, тогда она безопасна от всякого вторжения. Одна измена может погубить ее: то есть если кому-нибудь удастся зажечь в ней междоусобную войну, вооружить удельных князей против метрополии — тогда ей несдобровать. Но пока она будет держаться нынешней своей системы, увертываясь от влияния иностранцев, уступая им коечто и держа своих, по-прежнему, в страхе, не позволяя им брать без позволения даже пустой бутылки, она еще будет жить старыми своими началами, старой религией, простотой нравов, скромностью и умеренностью образа жизни. В настоящую минуту можно и ее отпереть разом: она так слаба, что никакой войны не выдержит. Но для этого надо поступить по-английски, то есть пойти, например, в японские порты, выйти без спросу на берег, и когда станут не пускать, начать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну. Или другим способом: привезти опиум и, когда станут принимать против этого строгие меры, тоже объявить войну.

Долго заставили себя ждать полномочные. Мы уж давно расхаживали по юту и по шканцам, раза по два бегали к камбузу съесть по горячему пирожку или по котлетке, а их все нет!

В первом часу, наконец, от берега тронулась целая флотилия к нам. Посреди пятидесяти или шестидесяти лодок медленно плыли две огромные, крытые лодки или барки, как два гроба, обтянутые, как гробы же, красной материей, утыканные золочеными луками, стрелами, пиками и булавами. Лодки были в два этажа, с галереею вокруг для гребцов. Вверху помещалась свита, внизу сами полномочные. Множество мелких лодок вели большие на буксире. На носу большой лодки стоял японец с какой-то белой метелкой и, махая ею, управлял буксиром, под мерный звук гонга и криков. Шум был страшный. Оба гроба пристали к парадному трапу и стали рядом.

Баниосы, переводчики поползли, как из мешка, и *затопили палубу*. За ними вышло до шестидесяти человек караула. Японцы не хотели уступить нам в церемониале. Для угощения свиты и людей и для соблюдения порядка назначено было несколько офицеров. Наконец вышли и полномочные. К. Н. Посьет и я встретили их при входе, адмирал — у дверей своей каюты. На шканцы был вызван караул, с музыкой. Им предложили посмотреть фрегат, и они с удовольствием согласились. Я никак не думал, чтоб старик приехал. Куда бы, кажется, ему? А он оказал удивительную бодрость, обошел палубы, спустился в самую нижнюю, в арсенал, и не обнаруживал никаких признаков усталости. Они на всем останавливались, расспрашивали, и если находили что-нибудь покрытое или завешенное, приподнимали и спрашивали, что там такое, зачем.

Их повели в адмиральскую каюту. Она была очень ярко убрана: стены в ней, или, по-морскому, *переборки*, и двери были

красного дерева, пол, или палуба, устлана ковром; на окнах красные и зеленые драпри. Для четырех полномочных приготовлен был широкий и невысокий диван, покрытый пестрыми английскими коврами. Посидев несколько минут, все пошли наверх, в палатку. Полномочные вели себя, как тонкие, век жившие в свете, люди; все должно было поражать их, не видавших никогда европейского судна, мебели, украшений. Что шаг, то новое для них. Они сознались в этом на другой день, но тут не показали, ни жестом, ни взглядом, удивления или восторга. Музыку они тоже слышали в первый раз, и только один из них качал головой в такт, как делают у нас меломаны, сидя в опере.

Им подали чай. Между тем вся команда выстроилась на палубе; началось ученье ружьем, потом маршировка. Четыреста человек маршировали вокруг мачт, от юта до бака и обратно. Но всего эффектнее было, когда пробили тревогу: из всех люков сыпались люди и разбегались, как мыши, по всем направлениям, каждый к своему орудию. Я уже привык к этому, но и мне зрелище это показалось интересно; а людям, не видавшим никогда ничего подобного! Им показали действие орудиями. Они благодарили адмирала и попросили поблагодарить людей. «Спасибо, ребята»,— сказал адмирал. «Ради стараться!» — раздалось четыреста голосов. Опять эффект.

Накрыли столы. Для полномочных и церемониймейстера в гостиной адмиральской каюты. За другим столом сидел адмирал и трое нас. В столовой посадили одиннадцать человек свиты полномочных и еще десять человек в кают-компании. Для караула отведено было место в батарейной палубе.

Хотя японцы и просили устроить обед на европейский лад, однако ж нельзя было заставить их есть вилками и ножами, и потому наделали палочек. Хлеба они не едят, и им беспрестанно ставили горячий рис. С тарелок они тоже не привыкли есть: им подавали суп и уху в чайных чашках. В столовой, где обедала свита, на столе расставлены были тарелки с вареньем и пирожным. Гости начали с этого и до супу уничтожили все сладкие пирожки и конфекты, полагая, что если поставлено, то медлить нечего. «Что это?» — спрашивали они при каждом блюде и чего-то, казалось, ожидали. Им подавали больше рыбы, но переводчик сказал, что они ждут мяса, которое едят, как редкость. Отвращения они к нему не имеют, напротив, очень любят, а не едят только потому, что не велено, за недостатком скота, который употребляется на работы. У нас из мясных блюд приготовлен был для них нарочно пилав из баранины, ветчина, и, кажется, только. Говядины на фрегате в то время не было. Прочие блюда были из рыбы или живности. Они с удовольствием ели баранину, особенно четвертый полномочный. Кончив тарелку, он подал ее человеку сам: знак, что желает повторения. Скатерти, салфетки, солонки — все обращало их внимание. И надо было отдать им справедливость: они так при-

гляделись к нашему порядку, что едва можно было заметить разницу между ними и европейцами. Только один из них, Кавадзи, на минуту придержался японского обычая. Подали какое-то жидкое пирожное, вроде крема, с бисквитами: он попробовал, должно быть ему понравилось; он вынул из кармана бумажку, переложил в нее все, что осталось на тарелке, стиснул и спрятал за пазуху. «Не подумайте, что я беру это для какой-нибудь красавицы,— заметил он,— нет, это для своих подчиненных».

При этом случае разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. Они, как все азиатские народы, преданы чувственности, не скрывают и не преследуют этой слабости. Если хотите узнать об этом что-нибудь подробнее, прочтите Кемпфера или Тунберга. Последний посвятил этому целую главу в своем путешествии. Я не был внутри Японии и не жил с японцами, и потому мог только кое-что уловить из их разговоров об этом предмете.

Я и Посьет беспрестанно выходили из-за стола то подлить им шампанского, то показать, как надо есть какое-нибудь блюдо, или растолковать, из чего оно приготовлено. Они смущались нашею вежливостью и внимательностью и не знали, как благодарить.

Пили они умеренно. Они пробовали с большим любопытством вино, отпивая понемногу, но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного, мужчины рослого и полного. Тот выпил бокала четыре.

Им намекнули было о деле, о завтрашнем свидании; но полномочные отвечали, что они увлеклись нашим праздником, сделанным им приемом и приятной беседой, а о деле и забыли совсем.

Переводчики ползали по полу: напрасно я приглашал их в другую комнату, они и руками и ногами уклонились от обеда, как от дела, совершенно невозможного в присутствии *grooten heeren*, важных особ. Но у них в горле пересохло. Кичибе вертелся на полу во все стороны, как будто его кругом рвали собаки. «Хи, хи!» — беспрестанно откликался он то тому, то другому. Под конец обеда, в котором не участвовал, он совсем охрип и осовел. Я налил ему и Эйноске по бокалу шампанского: они стали было отнекиваться и от этого, но Кавадзи махнул головой, и они, поклонившись ему до земли, выпили с жадностью, потом обратили признательный взгляд ко мне и подняли бокалы ко лбу, в знак благодарности.

Я заглянул в другую комнату; там пир был в полном разгаре. Несколько раскрасневшихся лиц и приятных улыбок доказывали, что собеседники тоже пробовали наши вина. Между ними я заметил одну совсем бритую голову, без косички: это доктор. Доктора и жрецы не носят вовсе волос. Он рекомендовался нашим докторам, был очень жив и говорил немного

по-голландски. За десертом, в подражание горячему саки, подали им глинтвейн. Полномочные хлебнули немного, более из любопытства. Потом мы, подражая тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфект. Они уже тут не могли скрыть своего удовольствия или удивления и ахнули — так хороши были ящики из дорогого красивого дерева, с деревянной же мозаикой. Да и конфекты, пестротой своей, бросались в глаза. Потом им показали и подарили множество раскрашенных гравюр, с изображением видов Москвы, Петербурга, наших войск, еще купленных в Англии картинок женских головок, плодов, цветов и т. п. Новые ахи удовольствия и изумления!

Наконец, около сумерек, все это нашествие иноплеменных исчезло от нас, с просьбою посетить их.

На другой день, 5-го января, рано утром, приехали переводчики спросить о числе гостей, и когда сказали, что будет немного, они просили пригласить побольше, по крайней мере хоть всех старших офицеров. Они сказали, что настоящий, торжественный прием назначен именно в этот день и что будет большой обед. Как нейти на большой обед? Многие, кто не хотел ехать, поехали.

В самом деле, на пристани ожидала нас толпа гуще, было больше суматохи; навстречу вышли важнее чиновники, в самых пестрых юбках. Еще я заметил на этот раз, кроме солдат в конических шапках, какую-то прислугу, несшую белые фонари из рыбьих пузырей, на высоких бамбуковых шестах. Прямо против пристани выстроена была новенькая, только что с иголочки, галерея, вроде гауптвахты. Там, на пятках, сидело в четыре ряда человек пятьдесят японцев. Наверху, на террасе, налево и прямо — везде такие же галереи: не помню, были ли они прежде тут, или нет? А! вот и лошадь! наконец я увидел и ее: дрянная буланая лошаденка пугалась музыки, прыгала и рвалась к лестнице. Всадник едва удерживал ее; кажется, он был представитель японской кавалерии. Но с нами караула было меньше, и шествие не так торжественно.

Японские полномочные и свита одеты были, по-прежнему, очень парадно. Тсутсуй и Кавадзи объявили, что они имеют вручить письмо от верховного совета. «Пожалуйте, где оно?» — спросили их. «А вот,— отвечали они, указывая на окованный железом белый сундук, какие у нас увидишь во всяком старинном купеческом доме, и на шелковый, с кистями, тут же стоящий ящик.— Кто примет письмо?» О. А. Гошкевич, по приказанию адмирала, вышел на средину. Церемониймейстер, с поклоном, подошел и открыл шелковый ящик. «Ужели такое большое письмо?» — думал я, глядя с любопытством на ящик. «Извольте же принимать»,— сказал переводчик. Гошкевич взял ящик и насилу держал в руках. Он пошел в «отдыхальню», и мы за ним, а за нами понесли сундук. «Зачем же

большой сундук?» — подумал я еще, глядя в недоумении на сундук. Открыли его: там стоял другой сундук, поменьше, потом третий, четвертый, всё меньше и меньше. И вот в этот-то четвертый сундук и вставлялся шелковый, по счету пятый ящик. Но отчего ж он тяжелый? Подняли крышку и увидели в нем еще шестой и последний ящик, из белого лакированного дерева, тонкой отделки, с окованными серебром углами. А уж в этом ящике и лежала грамота от горочью, в ответ на письмо из России, писанная на золоченой, толстой, как пергамент, бумаге и завернутая в несколько шелковых чехлов. Какие затейники!

После этого церемониймейстер пришел и объявил, что его величество сиогун прислал российскому полномочному подарки и просил принять их. В знак того, что подарки принимаются с уважением, нужно было дотронуться до каждого из них обеими руками. «Вот подарят редкостей! — думали все,— от самого сиогуна!» «Что подарили?» — спрашивали мы шепотом у Посьета, который ходил в залу за подарками. «Ваты»,— говорит. «Как ваты?» — «Так, ваты шелковой да шелковой материи».— «Что ж, шелковая материя — это хорошо!»

В это время слуги внесли подставки, вроде постелей, и на них разложены были куски материй и ваты. Материя двух цветов, белая и красная, с ткаными узорами, но так проста, что в порядочном доме нельзя и драпри к окну сделать. «Что ж, нет у них лучше, или не может дать сиогун?» Как нет! едва ли в Лионе делают материи лучше тех, которые мы видели на платьях полномочных. Но японцы не дарят и не показывают их, чтобы не привлекать на свое добро чужих взглядов и отбить охоту торговать. Притом шелк у них запрещено вывозить, наравне с металлами. В Японии его мало. Им сырец привозится из Китая, и они выделывают материю для собственного употребления. Лучшие и богатые материи делаются ссыльными, на маленькой неприступной скале, к югу от Японии. Там ни одна лодка не может пристать к скалам, и преступникам в известные сроки привозят провизию, а они на веревках втаскивают ее вверх. Сам остров мал и бесплоден.

Наконец сундук с письмом и подарки — все убрали, церемониймейстер пришел опять сказать, что его величество сиогун повелел угостить нас обедом. Обед готовили, как видно, роскошный. Вместо шести, было поставлено по двенадцати подставок или скамеечек, перед каждым из нас. На каждой скамеечке — по две, по три, а на иных и больше чашек с кушаньями. Кроме того, были наставлены разные миниатюрные столики, коробки, как игрушки; на них воткнуты цветы, сделанные из овощей и из материй очень искусно. Под цветами лежала закуска: кусочки превкусной, прессованной желтой икры, сырая рыба, красная пастила, еще что-то из рыбы, вроде сыра.

На особом миньятюрном столике, отдельно, посажена на деревянной палочке целая птичка, как есть в натуре, с перьями,

с хвостом, с головой, похожая на бекаса. Когда я задумался, не зная, за что приняться, Накамура Тамея, церемониймейстер, подошел ко мне и показал на птичку, предлагая попробовать ее. «Да как же ее есть, когда она в перьях?» — думал я, взяв ее в руки. Но между перьями накладено было мясо птички, изжаренное и нарезанное кусочками. Дичь была очень вкусна. Я съел всю птичку. Накамура знаками спросил, не хочу ли я другую? «Гм!» — сделал я утвердительно. Слуга вскочил, взял миньятюрную подставку, с бывшей птичкой, и принес другую. А я между тем обратил внимание на прочее: съел похлебку сладкую, с какими-то клецками, похожими немного и на макароны. Что там было еще — я и вникнуть не мог. Далее была похлебка из грибов, варенных целиком, рыба с бульоном, и под соусами, вареная зелень, раки и вареные устрицы, множество соленых и моченых овощей: все то же, что в первый раз, но со многими прибавлениями.

Рыба, с загнутым хвостом и головой, была, как и в первый раз, тут же, но только гораздо больше прежней. Это красная толстая рыба, называемая steinbrassen по-голландски, по-японски *тай* — лакомое блюдо у японцев; она и в самом деле хороша.

Цветы искусственные и дичь с перьями напомнили мне старую европейскую, затейливую кухню, которая щеголяла такими украшениями. Давно ли перестали из моркови и свеклы вырезывать фигуры, узором располагать кушанья, строить храмы из леденца и т. п.? Еще и нынче по местам водятся такие утонченности. Новейшая гастрономия чуждается украшений, не льстящих вкусу. Угождать зрению — не ее дело. Она презирает мелким искусством — из окорока делать конфетку, а из майонеза цветник.

Опять мы пили саки, а японцы, сверх того, горячую воду; опять наставили сластей, только гораздо больше прежнего. Особенно усердно приглашали нас наши амфитрионы есть сладкое тесто из какого-то горошка. Были тут синие, белые и красные конфекты, похожие вкусом частью на картофель, частью на толокно. Мак тоже играл роль, но всего более рис: из него сделаны были звездочки, треугольники, параллелограмы и т. п. Было из теста что-то вроде блина, с начинкой из сахарного песку, в первобытном виде, как он добывается из тростника; были клейкие витушки и проч. Потом подали еще толченого, дорогого чая, взбитого с пеной, как шоколад.

Меня особенно помирило с этой кухней отсутствие всякого растительного масла. Японцы едят три раза в сутки и очень умеренно. Утром, когда встают — а они встают прерано, раньше даже утра — потом около полудня и, наконец, в 6 часов. Порции их так малы, что человеку с хорошим аппетитом их обеда не достанет на закуску. Чашки, из которых японцы едят, очень малы, а их подают неполные. В целой чашке лежит маленький кусочек рыбы, в другой три гриба плавают в горячей воде,

там опять под соусом рыбы столько, что мало один раз в рот взять. И все блюда так. Головнин прав, говоря, что бывшим с ним в плену матросам давали мало есть. По-своему японцы давали довольно, а тем мало.

Мы после узнали, что для изготовления этого великолепного обеда был приглашен повар симабарского удельного князя. Симабара — большой залив по ту сторону мыса Номо, милях в двадцати от Нагасаки. Когда князь Симабара едет ко двору, повар, говорили японцы, сопутствует ему туда щеголять своим искусством.

В сумерки мы простились с хозяевами и с музыкой воротились домой. Вслед за нами приехали чиновники узнать, довольны ли мы, и привезли гостинцы. Какое наказание с этими гостинцами! побросать ящики в воду неловко: японцы увидят, скажут, что пренебрегаем подарками, беречь — места нет. Для большой рыбы также сделаны ящики, для конфект особо, для сладкого хлеба опять особо. Я сберег несколько миньятюрных подставок; если довезу, то увидите образчик терпения и в то же время мелочности.

Привезли подарки от сиогуна, вату и проч., и все сложили на палубе; пройти негде. Ее было такое множество, что можно было, кажется, обложить ею весь фрегат.

На другой же день начались и переговоры, и наши постоянные поездки в Нагасаки. Мы ездили без всякого уже церемониала, в двух катерах. В одном адмирал и четверо из нас: Посьет, Гошкевич, Пещуров и я, в другом слуги со стульями. Когда мы предложили оставлять стулья на берегу, в доме губернатора, его превосходительство и руками и ногами против этого. Он сказал, что ему придется самому там спать и караулить стулья. «Пожар будет, сгорят, пожалуй,— говорил он,— и крыс тоже много в этом доме: попортят». Мы все засмеялись, и он не выдержал и тоже осклабился. «Да мы не взыщем, у нас еще есть»,— возразил адмирал. «Вы не взыщете, а я все-таки должен буду отвечать, если хоть один стул попортится»,— заметил он и не согласился, а предложил, если нам скучно возить их самим, брать их и доставлять обратно в японской лодке, что и делалось.

Не знаю, писал ли я, что место велено дать и что губернатор просил только сроку для отделки дома там и т. п. Но день за днем проходил, а отговорка все была одна и та же, то есть что помещение для нас еще не готово. Он улыбался, когда ему изъявляли неудовольствие; видно было, что он действовал не сам собою. Ему, конечно, поручено было протянуть дело до нашего ухода, и он исполнял это отлично. Наконец тянуть долее было нельзя, и он сказал, что место готово, но предложил пользоваться им на таких условиях, что согласиться было невозможно: например, чтобы баниосы провожали нас на берег и обратно к судам. Адмирал приказал им сказать, что места не

надо, и отослал бумагу об этих условиях назад. Японцы того и хотели. Им нужно было не давать повадки иностранцам съезжать на берег: если б они дали место нам, надо было бы давать и другим, а они надеялись или вовсе уклониться от этой необходимости, или, по возможности, ограничить ее, наконец хоть отдалить, сколько можно, это событие.

Не касаюсь предмета нагасакских конференций адмирала с полномочными: переговоры эти могут послужить со временем материалом для описаний другого рода, важнее, а не этих скромных писем, где я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия.

Мы часто повадились ездить в Нагасаки, почти через день. Чиновники приезжали *за нами* всякий раз, хотя мы просили не делать этого, благо узнали дорогу. Но им все еще хочется показывать народу, что иностранцы не иначе, как под их прикрытием, могут выходить на берег.

Что с ними делать? Им велят удалиться, они отойдут на лодках от фрегата, станут в некотором расстоянии; и только мы отвалим, гребцы затянут свою песню «оссильян! оссильян!» и начнут стараться перегнать нас.

В день, назначенный для второй конференции, погода была ужасная: ветер штормовой ревел с ночи, дождь лил как из ведра. Японцы никак не воображали, что мы приедем, не являлись *за нами* и не ждали нас на берегу. А мы надели непромокаемые пальто, взяли зонтики, да и отправились. Вода ручьем текла с нас, мы ничего, едем себе. Японцы и рты разинули. Они, как мухи в непогоду, сидели по своим углам. В доме поставили *мангалы*, небольшие жаровни, для нагревания воздуха. Но воздух не нагревался; а можно было погреть только руки да угореть. Я не понимаю, как они сами терпят это? Мы почти всякий раз, во время заседаний, надевали шинели и пальто. Это подало повод почти каждому японцу подойти ко мне и погладить бобровый воротник. На вопрос, есть ли у них меха, они отвечали, что есть звери: выдры и лисицы, но что мехов почти никто не носит.

Назначать время свидания предоставлено было адмиралу. Один раз он назначил чрез два дня, но, к удивлению нашему, японцы просили назначить раньше, то есть на другой день. Дело в том, что Кавадзи хотелось в Едо, к своей супруге, и он торопил переговорами. «Тело здесь, а душа в Едо»,— говорил он не раз.

Кавадзи этот всем нам понравился, если не больше, так по крайней мере столько же, сколько и старик Тсутсуй, хотя иначе, в другом смысле. Он был очень умен, а этого не уважать мудрено, несмотря на то, что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же самих. Но каждое слово его, взгляд, даже манеры — все обличало здравый ум, остроумие, проницательность и опытность. Ум везде одинаков: у умных людей

есть одни общие признаки, как и у всех дураков, несмотря на различие наций, одежд, языка, религий, даже взгляда на жизнь.

Мне нравилось, как Кавадзи, опершись на богатый веер, смотрел и слушал, когда речь обращена была к нему. До половины речи рот его был полуоткрыт, взгляд немного озабочен — признаки напряженного внимания. На лбу, в меняющихся узорах легких морщин, заметно отражалось, как собирались в голове у него, одни за другим, понятия и как формировался из них общий смысл того, что ему говорили. После половины речи, когда, по-видимому, он схватывал главный смысл ее, рот у него сжимался, складки исчезали на лбу, все лицо светлело: он знал уже, что отвечать. Если вопрос противной стороны заключал в себе, кроме сказанного, еще другой, скрытый смысл, у Кавадзи невольно появлялась легкая улыбка. Когда он сам начинал говорить и говорил долго, он весь был в своей мысли, и тогда в глазах прямо светился ум. Если говорил старик, Кавадзи потуплял глаза и не смотрел на старика, как будто не его дело, но живая игра складок на лбу и содрогание век и ресниц показывали, что он слушал его еще больше, нежели нас. Переговоры все, по-видимому, были возложены на него, Кавадзи, а Тсутсуй был послан так, больше для значения и, может быть, тоже по своему приятному характеру.

Однажды, в частной беседе, адмирал доказывал, что японцы напрасно боятся торговли; что торговля может только разлить довольство в народе и что никакая нация от торговли не приходила в упадок, а, напротив, богатела.

Приводили им в пример, чем бы иностранцы могли торговать с ними. «Вон, например, у вас заметен недостаток в первых домашних потребностях: окна заклеены бумагой,— говорил адмирал, глядя вокруг себя,— от этого в комнатах и темно и холодно: вам привезут стекла, научат, как его делать. Это лучше бумаги и дешево стоит». «У нас,— далее говорил он,— в Камчатке и других местах, окололежащих, много рыбы, а соли нет; у вас есть соль: давайте нам ее, и мы вам же будем возить соленую рыбу, которая составляет главную пищу в Японии. Зачем употреблять вам все руки на возделывание риса? употребите их на добывание металлов, а рису вам привезут с Зондских островов — и вы будете богаче...» — «Да,— прервал Кавадзи, вдруг подняв свои широкие веки,— хорошо, если б иностранцы возили рыбу, стекло да рис и тому подобные необходимые предметы: а как они будут возить вон этакие часы, какие вы вчера подарили мне, на которые у нас глаза разбежались, так ведь японцы вам отдадут последнее...» А ему подарили прекрасные столовые астрономические часы, где, кроме обыкновенного циферблата, обозначены перемены луны и вставлены два термометра. Мы все засмеялись, и он тоже. «Впрочем, примите эти слова, как доказательство только того, что мне очень нравятся часы»,— прибавил он,

Хотели было после этого говорить о деле, но что-то не клеилось. «Нет, видно, нам уже придется кончить эту беседу смеючись»,— прибавил Кавадзи, приподнимаясь аристократически-лениво с пяток.

Ну, чем он не европеец? Тем, что однажды за обедом спрятал в бумажку пирожное, а в другой раз слизнул с тарелки сою из анчоусов, которая ему очень понравилась? это местные нравы — больше ничего. Он до сих пор не видал тарелки и ложки, ел двумя палочками, похлебку свою пил непосредственно из чашки. Можно ли его укорять еще и за то, что он, отведав какого-нибудь кушанья, отдавал небрежно тарелку Эйноске, который, как пудель, сидел у ног его? Переводчик брал, с земным поклоном, тарелку и доедал остальное.

Я вглядывался во все это и — как в Китае — базары и толкотня на них поразили меня сходством с нашими старыми базарами, так и в этих обычаях поразило меня сходство с нашими же старыми нравами. И у нас, у ног старинных бар и барынь, сидели любимые слуги и служанки, шуты, и у нас также кидали им куски, называемые подачкой; у нас привозили из гостей разные сласти или гостинцы. Давно ли еще Грибоедов посмеялся, в своей комедии, над «подачкой»? [1] В эпоху нашего младенчества из азиатской колыбели попало в наше воспитание несколько замашек и обычаев, и теперь еще не совсем изгладившихся, особенно в простом быту.

После восьми или десяти совещаний полномочные объявили, что им пора ехать в Едо. По некоторым вопросам они просили отсрочки, опираясь на то, что у них скончался государь, что новый сиогун очень молод и потому ему предстоит сначала показать в глазах народа уважение к старым законам, а не сразу нарушать их и уже впоследствии как будто уступить необходимости. Далее нужно ему, говорили они, собрать на совет всех своих удельных князей, а их шестьдесят человек.

Однажды на вопрос, кажется, о том, отчего они так медлят торговать с иностранцами, Кавадзи отвечал: «Торговля у нас дело новое, несозрелое: надо подумать, как, где, чем торговать. Девицу отдают замуж,— прибавил он,— когда она вырастет: торговля у нас не выросла еще...»

После семи или восьми заседаний начал уже ездить на фрегат церемониймейстер Накамура Тамея, с Эйноске и с четырьмя секретарями, записывавшими все, что говорилось. Как быстро подчиненный усвоивает здесь роль начальника, да и не здесь только! Накамура, как медведь, неловко влезал на место, где сидели полномочные, сжимал, по привычке многих японцев, руки в кулаки и опирал их о колени, морщил лоб и говорил с важностью. Но его постигла было вот какая беда: адмирал

---

[1] «Горе от ума», III действие, явление XI.

отдал ему, для передачи полномочным, запечатанный пакет, заключавший важные бумаги.

Накамура преблагополучно доставил его по адресу. Но на другой день вдруг явился в ужасной тревоге, с пакетом, умоляя взять его назад... «Как взять? Это не водится, да и не нужно, причины нет!» — приказал отвечать адмирал. «Есть, есть,— говорил он,— мне не велено возвращаться с пакетом, и я не смею уехать от вас. Сделайте милость, возьмите!»

И сами полномочные перепугались: «В бумагах говорится что-то такое,— прибавил Накамура,— о чем им не дано никаких приказаний в Едо: там подумают, что они как-нибудь сами напросились на то, что вы пишете». Видя, что бумаг не берут, Накамура просил адресовать их прямо в горочью. На это согласились.

Как он обрадовался, когда Посьет, по приказанию адмирала, дотронулся до бумаги рукой: это значило — взял. Он, с радости, отвязал от пояса бронзовый флакончик для духов, который они все носят (то есть кто важнее), и подал его Посьету. Мы все засмеялись. В этом Накамуре есть еще что-то дикое, впрочем только в наружности. Он похож немного, взглядами, голосом и движениями, на зверя. Он полюбил Посьета и меня, беспрестанно гладил нас по плечу, подавал руку. Еще в первое посещение фрегата, когда четверо полномочных и он сидели с нами за обедом в адмиральской каюте, он выказал мне расположение: предлагали тосты, и он предложил, сказав, что очень рад *видеть всех, особенно меня.* Мы все засмеялись. Впрочем, я и Посьет, может быть, обязаны его вниманием тому, что мы усердно хозяйничали, потчевали гостей, подливали им шампанское, в том числе и ему. «Мы не умеем так угостить вас»,— задумчиво говорили они как будто с завистью. Накамуре понравилось очень пьянино в каюте капитана. Когда стали играть, он пришел в восторг. «Кото, кото!» — отрывисто твердил он, показывая на фортепиано. Так называется похожий с виду на фортепиано японский музыкальный инструмент, вроде гуслей, на которых играют японки.

Чтоб занять его чем-нибудь, пока адмирал читал привезенную им бумагу, я показывал ему разные картинки, между прочим прошлогодних женских мод. Картинки эти вшиты были в журналы. Женские фигуры и платья произвели большой эффект. Заметив это, я выдрал картинки из журналов и подарил ему. Он был в восторге. Еще я подарил ему вид Лондона, в свертке, величиной в восьмнадцать футов, купленный мною в туннеле под Темзой. Накамура обрадовался и на другой же день привез мне коробку лучшего табаку, две трубки и два маленькие кисета. Отдавая, он повторял: «Табакко, табакко». Португальцы завезли им это слово вместе с табаком.

Занимая Накамуру, я взял маленький японский словарь Тунберга и разговоры и начал читать японские фразы, писан-

ные латинскими буквами. Неимоверный хохот поднялся между Накамурой и другими японскими собеседниками. Между прочим, там есть фраза: «Покажи мне дом Миссури». Я, вместо Миссури, вставил имя губернатора Овосава и привел гостей в крайнее недоумение, даже в испуг. Накамура, собеседники его и два переводчика стали заглядывать в книгу, чтоб узнать, как попало туда имя губернатора. Узнав мою хитрость, Накамура грозил мне пальцем и хохотал. Впрочем, видно, что он смышленый и распорядительный человек, хотя и медвежьей наружности.

Противнее всех вел себя Эйноске. Он был переводчиком при Кавадзи и потому переводил важнейшую часть переговоров. Он зазнался, едва слушал других полномочных; когда Кавадзи не было, он сидел на стуле развалившись. Вообще не скрывал, что он вырос, и под конец переговоров вел себя гораздо хуже, нежели в начале. Он не прочь и покутить: часто просил шампанского и один раз, при Накамуре, так напился с четырех бокалов, что вздумал было рассуждать сам, не переводить того, что ему говорили; но ему сказали, что возьмут другого переводчика. Кичибе не забывался: он показывал зубы, сидел в уголку и хикал на все стороны. «Хи!» — откликался он, быстро оборачиваясь то к тому, то к другому японцу, когда кликали «Кичибе!» «Кичибе!» — кликнул я однажды в шутку. «Хи!» — отозвался он на мою сторону и пополз ко мне, но, увидев ошибку, добродушно засмеялся и пополз назад.

Когда мы ездили в Нагасаки, нам каждый день давали в полдень закуску, а часа в три так называемый *банкет*, то есть чай и конфекты. Мы тоже угощали Накамуру и всю свиту его, и они охотно ездили к нам. Губернаторские чиновники не показывались больше, так как дела велись уже с полномочными и приехавшими с ними чиновниками. Особенно с удовольствием ели они мясо и пили вишневку. Их всячески забавляли: показывали волшебный фонарь, модель паровоза, рельсы. С разинутыми ртами смотрели они, как мчится сама собою машинка, испуская пар; играли для них на маленьких органах, наконец гремела наша настоящая музыка.

Адмирал приказал сказать Накамуре, что он просит полномочных на второй прощальный обед, на фрегат. Между тем наступил их Новый год, начинающийся с январским новолунием. Это было 17 января. Адмирал послал двум старшим полномочным две свои визитные карточки и подарки, состоящие из вишневки, ликеров, части быка, пирожного, потом послали им маленькие органы, картинки, альбомы и т. п.

20 января нашего стиля обещались опять быть и сами полномочные, и были. Приехав, они сказали, что ехали на фрегат с большим удовольствием. Им подали чаю, потом адмирал стал говорить о делах.

Перед обедом им опять показали тревогу в батарейной палубе, но у них от этого, кажется, душа в пятки ушла. В самом

деле, для непривычного человека покажется жутко, когда вдруг четыреста человек, по барабану, бегут к пушкам, так что не подвертывайся: сшибут с ног; раскрепляют их, отодвигают, заряжают, палят (примерно только, ударными трубками, то есть пистонами) и опять придвигают к борту. Почти пятиаршинные орудия летают, как игрушки. Грохот орудий, топот людей, вспышки и удары пистонов, слова команды — все это *больно видеть* и не *японскому глазу*. Видно было, что нашим гостям это удовольствие не совсем понравилось. Старик Тсутсуй испугался до дурноты. Велели скорее прекратить. Накануне они засылали Эйноске просить, будто для себя, а в самом деле, конечно, по приказанию из Едо, подарить одно ружье с новым прицелом да несколько пушечных пистонов. Но адмирал отказал, заметив, что такие предметы можно дарить только тем, с кем находишься в самых дружеских и постоянных сношениях.

После тревоги показали парусное ученье: в несколько минут отдали и убрали паруса.

Потом сели за стол, уже не по-прежнему, а все вместе, на европейский лад, то есть все четверо полномочных, потом Тамея да нас семь человек. Остальным накрыт был стол в кают-компании. Кичибе и Эйноске сели опять на полу, у ног старших двух полномочных. Блюда все подавали по-европейски. Я помогал управляться с ними Кавадзи, а Посьет Тсутсую. Кавадзи ел все с разбором, спрашивал о каждом блюде, а старик жевал, кажется, бессознательно, что ему ни подавали. Они охотнее и больше пили, нежели в первый раз, выучились у нас провозглашать здоровье и беспрестанно подливали вино и нам и себе. Мы отпивали понемногу, а они добродушно каждый раз выпивали всю рюмку.

В средине обеда Кавадзи стал немного волноваться; старик ничего. Подали шампанское. Когда пробка выскочила и вино брызнуло вон, они сделали большие глаза. Эйноске, как человек опытный, поспешил растолковать им свойство этого вина. Адмирал предложил тост: «За успешный ход наших дел!» Кавадзи, после бокала шампанского и трех рюмок наливки, положил голову на стол, пробыл так с минуту, потом отряхнул хмель, как сон от глаз, и быстро спросил: «Когда он будет иметь удовольствие угощать адмирала и нас в последний раз у себя?» — «Когда угодно, лишь бы это не сделало ему много хлопот»,— отвечено ему. Но он просил назначить день, и когда адмирал назначил чрез два дня, Кавадзи прибавил, что к этому сроку и последние, требованные адмиралом бумаги будут готовы. Кавадзи все твердил: «До свидания, когда увидимся?» Он надеялся, не выскажемся ли мы, куда пойдем из Нагасаки, то есть не воротимся ли в Россию. Эйноске однажды начал мерять стол в адмиральской каюте. «Зачем?» — спросили его. «А чтоб сделать такой же,— отвечал он,— когда придется угощать вас опять». Он думал, не обнаружим ли мы при этом случае наших

намерений; но им ничего не сказали; говорили только «до свидания», а где, когда — ни слова.

Это пугало их: ну, как нагрянем в Едо? тогда весь труд полномочных пропал, и их приезд в Нагасаки был напрасен. Им хотелось отвратить нас от Едо, между прочим для того, чтоб мы не стакнулись с американцами да не стали открывать торговлю сейчас же, и, пожалуй, чего доброго, не одними переговорами. Вы, конечно, знаете из газет, что японцы открыли три порта для американцев. Адмирал полагает, что после этого затворничество Японии должно кончиться само собою, без трактатов. Китоловы не упустят случая ходить по портам, тем более, что японцы, не желая допускать ничего похожего на торговлю, по крайней мере теперь, пока зрело не обдумают и не решат этот вопрос между собою, не хотят и слышать о плате за дрова, провизию и доставку за воду. А китоловам то и на руку, особенно дрова важны для них: известно, что они, поймав кита, на океане же топят и жир из него. Теперь плавает множество китоловов: как усмотреть, чтоб они не торговали в японских портах, которые открыты только для того, чтоб суда могли забежать, взять провизии, воды да и вон скорей? Японцы будут мешать съезжать на берег, свозить товары; затеется не раз ссора, может быть драка, сначала частная, а там... Известно, к чему все это ведет.

За обедом я взял на минуту веер из рук Кавадзи посмотреть: простой, пальмового дерева, обтянутый бумажкой. Я хотел отдать ему назад, но он просил знаками удержать у себя «на память», как перевел Эйноске слова его. Я поблагодарил, но, не желая оставаться в долгу, отвинтил золотую цепочку от своих часов и подал ему. Он на минуту остановился, выслушал переведенное ему мое приветствие и сказал, что благодарит и принимает мой подарок. Потом вышел из-за стола и что-то шепнул Эйноске. Это вот что: Кавадзи и Тсутсуй приготовили мне и Посьету по два ящика с трубками, в подарок. Приняв от меня золотую цепочку, он, вероятно, нашел, что подарок его слишком ничтожен. Кичибе, не зная ничего этого, после обеда начал вертеться подле меня и, по своему обыкновению, задыхаться смехом и кряхтеть. Он раза два принимался было говорить со мною и, наконец, не вытерпел и в третий раз заговорил, нужды нет, что я не знаю по-голландски. «Их превосходительства, Тсутсуй и Кавадзи, просят вас и Посьета принять по маленькому подарку...» Эйноске не дал ему кончить и увел в столовую. Трубки все подарили Посьету, который благодаря мне получил подарок в двойном количестве.

На другой день Кавадзи прислал мне три куска шелковой матерни и четыре пальмовые чубука, с медными мундштуками и трубками. Медь блещет, как золото; и в самом деле, в японской меди много его. Тсутсую я подарил серебряную позолоченную ложку, с чернью, фасона наших деревенских ложек,

и пожелал, чтоб он привык есть ею и приучил бы детей своих, «в надежде почаще обедать с русскими». Он прислал мне в ответ два маленькие ящика: один лакированный, с инкрустацией из перламутра, другой деревянный, обтянутый кожей акулы, миньятюрный поставец, в каком возят в дороге пищу. Это очень оригинальная вещь. Третий полномочный, которому я подарил porte-monnaie, отдарил меня полдюжиной кошельков для табаку и черенков для ножа. Японцы носят разные насечки на своих саблях и, между прочим, небольшие ножи. Подаренный мне стальной черенок был тонкой отделки, с рисованными цветами, птицами и с японской надписью. Накамура прислал медную японскую чернильницу, с кистью и тушью.

Подарки, присланные адмиралу, завалили всю палубу, всю каюту. Сами вещи не слишком громоздки, но для всякой сделан особый ящик, и так отчетливо, как будто должен служить целый век. Многие подарки были очень замечательны, одни по изяществу, другие по редкости у нас. Вазы и чашки фарфоровые прекрасны, лакированные вещи еще лучше. Прислали столиков, шкафчиков, этажерок, даже целые ширмы; далее, кукол, в полном японском костюме, кинжал, украшения к нему и прочее. Еще прислали сои — это просто наказание! Один из чиновников подарил до пятнадцати кадочек с соей. Прислали саки, какой-то сушеной рыбы, икры; губернатор — опять зелени, все это на прощанье.

После обеда адмирал подал Кавадзи золотые часы; «к цепочке, которую вам сейчас подарили»,— добавил он. Кавадзи был в восторге: он еще и в заседаниях как будто напрашивался на такой подарок и все показывал свои толстые, неуклюжие серебряные часы, каких у нас не найдешь теперь даже у деревенского дьячка. Тсутсую подарили часы поменьше, тоже золотые, и два куска шелковой материи. Прочим двум по куску материи.

В 8 часов они отправились. Едва они отъехали сажен десять от фрегата, как вдруг на концах всех рей показались сначала искры, потом затеплились огоньки, пока слабо, потом внезапно весь фрегат будто вспыхнул, и окрестность далеко озарилась фантастическим заревом бенгальских огней. На палубе можно было увидеть иголку — так ярко обливало зарево фрегат и удалявшиеся японские лодки, и еще ярче отражалось оно в воде. Это произвело эффект: на другой день у японцев только и разговора было, что об этом: они спрашивали, как, что, из чего, просили показать, как это делается.

В субботу мы были у них. Мрачно, сыро, холодно в комнатах, несмотря на то, что день был порядочный. До обеда время прошло в приветствиях, изъявлениях дружбы. И с губернаторами заключен был мир. Адмирал сказал им, что хотя отношения наши с ними были не совсем приятны, касательно отведения места на берегу, но он понимает, что губернаторы

ничего без воли своего начальства не делали и потому против них собственно ничего не имеет, напротив, благодарит их за некоторые одолжения, доставку провизии, воды и т. п.; но просит только их представить своему начальству, что если оно намерено вступить в какие бы то ни было сношения с иностранцами, то пора ему подумать об отмене всех этих стеснений, которые всякой благородной нации покажутся оскорбительными. Губернатор отвечал, что он об этом известит свое начальство, а его просит извинить только в том, что провизия иногда доставлялась не вполне, сколько требовалось, по причине недостатка. Губернаторам послали по куску шелковой материи; они отдарили, уж не знаю чем: ящиков возили так много, что нам надоело даже любопытствовать, что в них такое.

Прощальный обед у полномочных был полный, хороший. Похлебка с луком, приправленная соей и пряностями, очень вкусна. В ней плавали фрикадельки, только не знаю из чего. Я опять с удовольствием поел красной прессованной икры, рыбы под соусом, съел две чашки горячего рису. Накамура, в подражание нам, беспрестанно подходил ко всем нам и усердно потчевал. «Не угодно ли еще чего-нибудь?» — спрашивали хозяева. «Нет, ничего, благодарим»,— «Может быть, рису или саки чашечку?» — «Нет, нет; мы сыты».— «Ну, не выпьете ли горячей воды?» — ласково спросил старик. Мы отказались и от этого. «Стало быть, можно убирать?» — «Сделайте милость».

После обеда подали «банкет». Конфекты так и блестели на широкой тарелке синего фаянса. И каких тут не было! желтые, красные, осыпанные рисовой пылью, а всё есть нельзя. Все это завернули, вместе с тарелкой, и отослали к нам: Фаддееву праздник! После поставили перед каждым из нас по подставке, на которой лежали куски материи, еще подарки от сиогуна. Материи льняные, шелковые и, кажется, бумажные. Офицерам всем принесли по ящику с дюжиной чашек, тонкого, почти прозрачного фарфора — тоже от имени японского государя. Материи, кажется, считаются, как подарок, выше; но их охотно можно променять на эти легкие, почти прозрачные, оригинальные чашки.

Полномочные опять пытались узнать, куда мы идем, между прочим, не в Охотское ли море, то есть не скажем ли, в Петербург. «Теперь пока в Китай,— сказали им,— в Охотском море — льды, туда нельзя». Эта скрытость очевидно не нравилась им. Напрасно Кавадзи прищуривал глаза, закусывал губы: на него смотрели с улыбкой. Беда ему, если мы идем в Едо!

Адмирал не хотел, однако ж, напрасно держать их в страхе: он предполагал объявить им, что мы воротимся не прежде весны, но только хотел сказать это уходя, чтобы они не делали возражений. Оттого им послали объявить об этом, когда мы уже снимались с якоря. На прощанье Тсутсуй и губернаторы прислали еще не досланные подарки, первый бездну ящиков

адмиралу, Посьету, капитану и мне, вторые — живности и зелени, для всех.

Ветер был попутный, погода тихая. Нам не нужно было уже держаться вместе с другими судами. Адмирал отпустил их, приказав идти на Ликейские острова, и мы, поставив все паруса, 24-го января, покатили по широкому раздолью на юг. Шкуна ушла еще прежде, за известиями в Шанхай о том, что делается в Европе, в Китае. Ей тоже велено прийти на Лю-чу. Не привезет ли она писем от вас? Я что-то отчаиваюсь, получаете ли вы мои? Манила! Манила! вот наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания, с монахами, синьорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще, вдобавок, Испания тропическая!

IV

ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Вид берега.— Бо-Тсунг.— Базиль Галль.— Идиллия.— Дорога в столицу. — Столица Чуди. — Каменные работы. — Пейзажи. — Жители, домы и храмы. — Поля. — Королевский замок. — Зависимость островов. — Протестантский миссионер. — Другая сторона идиллии. — Напа-Киян. — Жилище миссионера. — Напакиянский губернатор. — Корабль с китайскими эмигрантами. — Прогулки и отплытие.

Порт Напа-Киян, с 31 января по 9 февраля 1854 г.

Я все время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный, туманный; все мешается в одном свете: деревья с водой, земля с небом... Придешь потом через несколько дней — и эти бледные очерки обратились уже в определительные образы: берега дышат жизнью, все ярко и ясно...

В таких бледных очертаниях, как ваши эскизы, явились сначала мне Ликейские острова. Масса земли, не то синей, не то серой, местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по горизонту. Нас отделяли от берега пять-шесть миль и гряда коралловых рифов. Об эту каменную стену яростно била вода, и буруны или расстилались далеко гладкой пеленой, или высоко вскакивали и облаками снежной пыли сыпались в стороны. Издали казалось, что из воды вырывались клубы густого белого дыма; а кругом синее-пресинее море, в которое с рифов потоками катился жемчуг да изумруды. Берег темен; но вдруг луч падал на какой-нибудь клочок, покрытый свежим всходом, и как ярко зеленел этот клочок!

Последние два дня дул крепкий, штормовой ветер; наконец он утих и позволил нам зайти за рифы, на рейд. Это было сделано с рассветом; я спал и ничего не видал. Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже оконченная, полная картина, прихотливо изрезанный красивыми линиями, со всеми своими очаровательными подробностям, в красках, в блеске.

Берег, особенно в сравнении с нагасакским, казался низменным; но зато как он разнообразен! Налево от нас выдающаяся в море часть выветрилась. Там росла скудная трава, из-за которой, как лысина сквозь редкие волосы, проглядывали кораллы, посеревшие от непогод, кое-где кусты да глинистые отмели. Прямо перед нами берега далеко отступили от мели назад, представляя коллекцию пейзажей, один другого лучше. Низменная часть тонет в густых садах; холмы покрыты нивами, точно красивыми разноцветными заплатами; вершины холмов увенчаны кедрами, которые стоят дружными кучками, с своими горизонтальными ветвями.

Что за зелень там, в этой куче деревьев? чем засеяны поля? каковы домы?.. Скорей, скорей, на берег! Две коралловые серые скалы выступают далеко из берегов и висят над водой; на вершине одной из них видна кровля протестантской церкви, а рядом с ней тяжело залегли в густой траве и кустах каменные массивные глыбы разных форм, цилиндры, полукруги, овалы; издалека примешь их за здания — так велики они. Это памятники кладбища. Далее направо берег опять немного выдался к морю и идет то холмами, то тянется низменной, песчаной отмелью, заливаемой приливом. Вплоть почти под самым берегом идет гряда рифов, через которые скачут буруны; местами высунулись из воды камни; во время отлива они видны, а в прилив прячутся.

Вообще весь рейд усеян мелями и рифами. Беда входить на него без хороших карт! а тут одна только карта и есть порядочная — *Бичи*. Через час катер наш, чуть-чуть задевая килем за каменья обмелевшей при отливе пристани, уперся в глинистый берег. Мы выскочили из шлюпки и очутились — в саду не в саду и не в лесу, а в каком-то парке, под непроницаемым сводом отчасти знакомых и отчасти незнакомых деревьев и кустов. Из наших северных знакомцев было тут немного сосен, а то все новое, у нас невиданное.

Меня опять поразил, как на Яве и в Сингапуре, сильный, приторный и пряный запах тропических лесов, охватила теплая влажность ароматических испарений. Мимо леса красного дерева и других, которые толпой жмутся к самому берегу, как будто хотят столкнуть друг друга в воду, пошли мы по тропинке к другому большому лесу или саду, манившему издали к себе. Мы прошли по глинистой отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской воды соли. За отмелью начина-

лась аллея или улица — как хотите, маленькой деревушки Бо-Тсунг.

Возьмите путешествие Базиля Галля (в 1816 г.): он в числе первых посетил Ликейские острова, и взгляните на приложенную к книге картину, вид острова: это именно тот, где мы пристали. Вы посмеетесь над этим сказочным ландшафтом, над огромными деревьями, спрятавшимися в лесу хижинами, красивым ручейком. Все это покажется похожим на пейзажи — с деревьями из моху, с стеклянной водой и с бумажными людьми. Но когда увидите оригинал, тогда посмеетесь только бессилию картинки сделать что-нибудь похожее на действительность.

Что это такое «Ликейские острова», или, как писали у нас в старых географиях, «Лиеу-Киеу», или, как иностранцы называют их, «Лю-чу» (Loo-Choo), а по выговору жителей «Ду-чу»? Развертываете того же Галля, думаете прочесть путешествие и читаете — идиллию. Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. Все будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Вато. Читаете, что люди, лошади, быки — здесь карлики, а куры и петухи — великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в домы и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов... Что это? где мы? среди древних пастушеских народов, в золотом веке? Ужели Феокрит [1] в самом деле прав?

Все это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и банианов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей.

Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: миньятюрные домы окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за их выглядывали цветы. Еще издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьез-

---

[1] Феокрит (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт.

ными лицами, в широких, простых, но чистых халатах, с широким поясом, виделись — совестно и сказать «старики», непременно скажешь «старцы», с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети.

«Что это такое? — твердил я, удивляясь все более и более,— этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру [1], с их Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках». А тут кстати, как нарочно, наших баранов велено свезти на берег погулять, будто в дополнение к идиллии.

«Куда же мы идем?» — вдруг спросил кто-то из нас, и все мы остановились. «Куда эта дорога?» — спросил я одного жителя по-английски. Он показал на ухо, помотал головой и сделал отрицательный знак. «Пойдемте в столицу,— сказал И. В. Фуругельм,— в Чую или Чуди (Tshudi, Tshue — по-китайски Шоу-ли, главное место, но жители произносят *Шули*); до нее час ходьбы, по прекрасной дороге, среди живописных пейзажей».— «Пойдемте».

Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не теплому, мягкому и пахучему воздуху — это все было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и застенчивости в чертах молодых; дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. Здесь как все родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. Здесь еще возможен золотой век.

Лес, как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величия. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные домы — ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижины, вроде хлевов, крытые рисовой соломой, о трех стенках из тонкого дерева, заплетенного бамбуком; четвертой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стекол;

---

[1] Д е з у л ь е р Антуанетта (1637—1694) — французская поэтесса, автор идиллических стихотворений. Г е с н е р Саломон (1730—1788) — швейцарский поэт и художник. Все они представители так называемой буколической (пастушеской) поэзии.

это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. Мы подошли к красивому об одной арке над ручьем мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней... Кто учил этих детей природы строить? невольно спросишь себя: здесь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали о их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.

Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его библия и Гомер. Это не дикари, а народ — пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди, с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела — все просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороху и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Уже ли новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?

Тронет, и уж тронула. Американцы, или *люди Соединенных Штатов*, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под *свое покровительство против* ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого *человек Соединенных Штатов*, коммодор Перри, отплыл в Японию.

«Куда ведет мост?» — спросили мы И. В. Фуругельма, который прежде нас пришел с своим судном «Князь Меншиков» и успел ознакомиться с местностью острова.

«В Напу, или в Напа-Киян: вон он!» — отвечал Фуругельм, указывая через ручей на кучу черепичных кровель, которые жались к берегу и совсем пропадали в зелени.

Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями, которые у нас растут за стеклом, в кадках. При выходе из деревни был маленький рынок. Косматые и черные, как чертовки, женщины сидели на полу на пятках, под воткнутыми в землю, на длинных бамбуковых ручках, зонтиками, и продавали табак, пряники, какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие ворота или узенькие переулки, бросив свои товары; другие не успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие! И это женщины: матери, жены! Да кто же женится на них? Мужчины красивы, стройны: любой из них годится в Меналки, а Хлои их ни на что не похожи! Нет, жаркие климаты неблагоприятны для дам, и прекрасным по-

лом следовало бы называть здесь нашего брата, ликейцев или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок.

Вы знаете дорогу в Парголово: вот такая же крупная мостовая ведет в столицу; только вместо булыжника здесь кораллы: они местами так остры, что чувствительно даже сквозь подошву. Я не понимаю, как ликейцы ходят по этим дорогам босиком? Зато местами коралл обтерся совсем, и нога скользит по нем, как по паркету. Выйдя из деревни, мы вступили в великолепнейшую аллею, которая окаймлена двумя сплошными стенами зелени. Кроме банианов, замечательны вышиной и красотой толстые деревья, из волокон которых японцы делают свою писчую бумагу; потом разные породы мирт; изредка видна в саду кокосовая пальма, с орехами, и веерная. Но пальма что-то показалась мне невзрачна против виденных нами на Яве и в Сингапуре: видно, ей холодно здесь — листья жидки и малы. Мы прошли мимо какого-то, загороженного высокой каменной и массивной стеной, здания, с тремя входами, наглухо заколоченными, с китайскими надписями на воротах. Это буддийский монастырь. В щели, из-за стены, выглядывало несколько бонз, с бритыми головами.

Все это место напомнило мне наши старые и известные европейские сады. От аллей шло множество дорожек и переулков, налево — в лес и к теснящимся в нем частым хижинам и фермам, направо — в обработанные поля. Дорога змееобразно вилась по холмам и долинам... Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с огородною зеленью, то бледною, то изумрудно-темною!

Все открывшееся перед нами пространство, с лесами и горами, было облито горячим блеском солнца; кое-где в полях работали люди, рассаживали рис или собирали картофель, капусту и проч. Над всем этим покоился такой колорит мира, кротости, сладкого труда и обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и надежным приютом.

Все это не деревья, не хижины: это древние *веси*, *сени*, *кущи* и *пажити*; иначе о них неприлично и выражаться. Странно мне было видеть себя и товарищей, в наших коротких, обтянутых платьях, быстро и звонко шагающих под тенью исполинских банианов. Маленькие, хорошенькие лошадки, не привыкшие видеть европейцев, пугались при встрече с нами; они брыкались и бросались в сторону. Вожатые, завидя нас, закрывали им глаза соломенной шляпой и торопились пройти мимо. Встречные женщины, хотя и не брыкались, но тоже закрывались, а если успевали, то и они бросались в сторону. Только одна девочка, лет тринадцати и, сверх ожидания, хорошенькая, вышла из сада на дорогу и смело, с любопытством, во все глаза смотрела

на нас, как смотрят бойкие дети. «Какой большой петух! — показывая на петуха, сказал кто-то, — по крайней мере в полтора раза выше наших».

Мы шли в тени сосен, банианов или бледно-зеленых бамбуков, из которых Посьет выломал тут же себе славную зеленую трость. Бамбуки сменялись выглядывавшим из-за забора бананником, потом строем красивых деревьев и так далее. «Что это, ячмень, кажется?» — спросил кто-то. В самом деле, наш кудрявый ячмень! По террасам, с одной на другую, текли нити воды, орошая посевы риса.

Глаза разбегались у нас, и мы не знали, на что смотреть: на пешеходов ли, спешивших, с маленькими лошадками и кладжей на них, из столицы и в столицу; на дальнюю ли гору, которая, мягкой зеленой покатостью, манила войти на нее и посидеть под кедрами; солнце ярко выставляло ее напоказ, а тут же рядом пряталась в прохладной тени долина с огороженными высоким забором хижинами, почти совсем закрытыми ветвями. Что это за сила растительности! какое разнообразие почвы! И всюду чистота, порядок. Таково богатство и разнообразие видов, что перестаешь, наконец, дорожить увидеть то, не прозевать это, запомнить третье. Рассеянно смотришь вокруг: все равно, куда ни смотри, одно и то же — все прекрасно, игриво, зелено.

Дорога пошла в гору. Жарко. Мы сняли пальто: наши узкие костюмы, из сукна и других плотных материй, просто невозможны в этих климатах. Каков жар должен быть летом! Хорошо еще, что ветер с моря приносит со всех сторон постоянно прохладу! А всего в 26-м градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их под *покровительство*? Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с своей стороны.

На горе начались хижины — всё как будто игрушки; жаль, что они прячутся за эти сплошные заборы; но иначе нельзя: ураганы или тайфуны, в полосу которых входят и Лю-чу, разметали бы, как сор, эти птичьи клетки, не будь они за такой крепкой оградой. По горе лесу уже не было, но зато чего не было в долине, которая простиралась далеко от подошвы ее в сторону! Я устал любоваться, равнодушно смотрел на персиковые деревья в полном цвету, на миртовые и кипарисные кусты! Мы вошли на гору, окинули взглядом все пространство и молчали, теряясь в красоте и разнообразии видов. Глаз видит далеко: с обеих сторон острова видно море на третьем плане. Вон и риф, с пеной бурунов, еще вчера грозивший нам смертью! «Я в бурю всю ночь не спал и молился за вас,— сказал нам один из оставшихся американских офицеров, кажется методист,— я поминутно ждал, что услышу пушечные выстрелы». Время было бурное, а вход на рейд, как я сказал выше, считается очень опасным.

Наконец мы пришли. «Э! да не шутя столица!» — подумаешь, глядя на широкие ворота, с фронтоном в китайском вкусе, с китайскою же надписью.

«Что там написано? прочтите», — спросили мы Гошкевича. «Не вижу, высоко»,— отвечал он. Мы забыли, что он был близорук.

Мы прошли ворота: перед нами тянулась бесконечная широкая улица, или та же дорога, только не мощенная крупными кораллами, а убитая мелкими каменьями, как шоссе, с сплошными, по обеим сторонам, садами или парками, с великолепною растительностью. Из-за заборов местами выглядывали красные черепичные кровли. Никто нас не встретил, никто даже не показывался: все как будто выехали из города. Немногие встречные и, между прочим, один доктор, или бонз, с бритой головой, в халате из травяного холста, торопливо шли мимо, а если мы пристально вглядывались в них, они, с выражением величайшей покорности, а больше, кажется, страха, кланялись почти до земли и спешили дальше. У некоторых ворот показывались и исчезали люди или смотрели в щели. Видно, что в этой улице жил высший или зажиточный класс: к домам их вели широкие каменные коридоры. Мы крупным шагом шли все далее; улица заворотилась налево, и мы очутились перед дворцом.

Это замок, с каменной, массивной стеной, сажени в четыре вышины, местами поросшей мохом и ползучими растениями. Широкое каменное крыльцо, грубой работы, вело к высокому порталу, заколоченному наглухо досками. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах, сидели коралловые животные, вроде сфинксов. Нигде ни признака жизни; все окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли из-за тридевяти земель как будто доставать жар-птицу. У ворот, в стороне, выстроена деревянная галерея, вроде гауптвахты, какие мы видели в Нагасаки. В ней на циновках сидели на пятках ликейцы, вероятно слуги дворца: и те не шевелились, тоже — как каменные. Мы присели тут немного отдохнуть, потом спустились под гору, куда вела покатая терраса, усаженная банианами, кедрами, между которыми змеились во все стороны тропинки. В некоторых местах сочились и чуть-чуть журчали каскады. Вон огороженная забором и окруженная бассейном кумирня; вдали узкие, но правильные улицы; кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и по покатости — решительно кущи да сени древнего мира!

Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной: нет следов просветленного бытия. Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми — все свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния; что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих житейских потребностей; что область ума и духа цепенеет еще в сладком, младенческом сне, как в первобытных языческих пастушеских царствах; что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла далее... Но все готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами

света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других — «люди Соединенных Штатов», с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации...

Мы сошли с террасы и обошли замок вокруг, взбираясь обратно вверх по крутой каменной тропинке, все из кораллов. Других тропинок я не видал; и те, которые ведут из улиц в поля, все идут лестницами, выложенными из камня. Ликейцы следовали за нами, но издали, робко. И. В. Фуругельм, которому не нравилось это провожанье, махнул им рукой, чтоб шли прочь: они в ту же минуту согнулись почти до земли и оставались в этом положении, пока он перестал обращать на них внимание, а потом опять шли за нами, прячась в кусты, а где кустов не было, следовали по дороге, и всё издали. Я, однако ж, знаками подозвал одного к себе. Он не вдруг подошел: сделает два шага и остановится в нерешимости; наконец подошел. В это время надо было спускаться по чрезвычайно крутой и извилистой каменной тропинке, проложенной сквозь чащу леса, над обрывами и живописными оврагами, сплошь заросшими пальмами, миртами и кедрами. Я оперся на ликейца, и он был, кажется, очень доволен этим, шел ровно и осторожно и всякий раз бросался поддерживать меня, когда я оступался или нога моя скользила по гладкому кораллу. Я, имея надежную опору, не без смеха смотрел, как кто-нибудь из наших поскользнется, спохватится и начнет упираться по скользкому месту, а другой помчится вдруг по крутизне, напрасно желая остановиться, и бежит до первого большого дерева, за которое и уцепится.

Внизу мы прошли через живописнейший лесок — нельзя нарочно расположить так красиво рощу — под развесистыми бананами и кедрами и вышли на поляну. Здесь лежала, вероятно занесенная землетрясением, громадная глыба коралла, вся обросшая мохом и зеленью. Романтики тут же объявили, что хорошо бы приехать сюда на целый день с музыкой; с «закуской и обедом»,— прибавили положительные люди. Мы вышли в одну из боковых улиц, с маленькими домиками: около каждого теснилась кучка бананов и цветы.

Из нее вышли в другую улицу, прошли несколько домов; улица вдруг раздвинулась. С одной стороны домов не стало, и мы остановились, очарованные несравненным видом. Представьте пруд, вроде Марли [1], гладкий и чистый, как зеркало; с противоположной стороны смотрелась в него целая гора, покрытая густо, как щетка или как шуба, зеленью самых темных и самых ярких колоритов, самых нежных, мягких, узорчатых листьев и острых игл. Этот исполинский букет так тесно был сжат, что нельзя было видеть почвы, на которой он растет.

Мы продолжали путь по улице, взглянули вперед — другое

---

[1] Название искусственного пруда в Петергофе, созданного по образцу подобного же пруда в местечке Марли под Версалем.

неожиданное зрелище привлекло наше внимание. Это была, по-видимому, самая населенная и торговая улица. Но что делают жители? Они с испугом указывают на нас: кто успевает, запирает лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны. Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами: они пуще бегут. Я видел, как по кровле одного дома, со всеми признаками ужаса, бежала женщина: только развевались полы синего ее халата; рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину; резво работала она голыми ногами. Но не все успели убежать: оставшиеся мужчины недоверчиво смотрели на нас, женщины закрылись. Товар все тот же, что и на первом рынке. Тут видели мы кузницу, еще пилили дерево, красили простую материю, продавали зелень, табак да разные сласти.

Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшочек с горячими угольями закурить сигары. Мы показывали ему знаками, что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал головой. У ворот кумирни, в деревянных нишах, стояли два, деревянные же, раскрашенные идола, безобразной наружности, напоминавшие, как у нас рисуют дьявола. Я зашел было на островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее. Между народом я заметил несколько бритых бонз, все молодых; один был просто мальчик: вероятно, это служители храмов.

Заглянув еще в некоторые улицы и переулки, мы вышли на большую дорогу и отправились домой. Я устал и с удовольствием поглядывал на хребет каждой лошадки; но жители не дают лошадей, хотя я видел у одного забора множество их оседланных и привязанных. Сходя с горы, мы увидали чистенький дворик; я подошел к воротам. Старик, которого я тут застал, с красным носом и красными шишками по всему лицу, поклонился и вошел в дом; я за ним, со мной некоторые из товарищей. Дом оказался кумирней, но идола не было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и столбах да бедная домашняя утварь. Тут, кажется, молились не буддисты, а приверженцы древней китайской религии. Мы заглянули в другую комнату, по-видимому парадную, устланную до того чистыми матами, что совестно было ступить ногой. Хозяева, кажется, обедали. Они зашевелились было готовить нам чай, но мы, чтоб не тревожить их, удалились.

Говорят, жители не показывались нам более потому, что перед нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента, управляющего островами вместо малолетнего короля. По этому случаю наложен траур на пятьдесят дней. Мы видели многих в белых травяных халатах. Известно, что белый цвет — траурный на Востоке.

Ликейские острова управляются королем. Около трехсот лет назад прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского, взяли острова в свое владение и обложили данью, которая,

по словам здешнего миссионера, простирается до двухсот тысяч рублей на наши деньги. Но, по показанию других, острова могут приносить впятеро больше. По этим цифрам можно судить о плодородии острова. Недаром князь Сатсумский считается самым богатым из всех японских князей.

Но дань платится натурою: рисом, который выше всех сортов, и даже японского, также табаком, амброй, тканями из банановых волокон и саки. Саки тоже считается лучшим, и японцы выменивают много своего риса на здешний, как лучший для выделки саки.

После ликейцы думали было отложиться от Японии, но были покорены вновь. Ликейский король, в начале царствования, отправляется обыкновенно в Японию и там утверждается окончательно.

Нынешнему королю всего двенадцать лет. Он поедет в Японию по достижении пятнадцатилетнего возраста. Король живет здесь как пленник, в крепком своем замке, который мы видели, и никому не показывается. Показываться народу, как вам известно, считается для верховной власти неприличным на Востоке. Здешний миссионер проник, однако ж, нечаянно, в китайском платье, в замок и, незамеченный, дошел до покоев короля. Король играл в мячик и долго не замечал постороннего; потом увидел и скрылся. Придворные с поклонами окружили нескромного посетителя и показали дорогу вон.

Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и ликейцев от китайской зависимости. Однако ж последние все-таки ездят в Пекин довершать в тамошних училищах образование и оттого знают все по-китайски. Письменного своего языка у них нет: они пишут японскими буквами. Ездят они туда не с пустыми руками, но и не с данью, а с подарками — так сказал нам миссионер, между тем как сами они отрекаются от дани японцам, а говорят, что они в зависимости от китайцев. Кажется, они говорят это по наущению японцев; а может быть, услышав от американцев, что с японцами могут возникнуть у них и у европейцев несогласия, ликейцы, чтоб не восстановить против себя ни тех, ни других, заранее отрекаются от японцев.

Гошкевич и отец Аввакум отыскали между ликейцами одного знакомого, с которым виделись, лет двенадцать назад, в Пекине, и разменялись подарками. Вот стечения обстоятельств! «Вы мне подарили графин»,— сказал ликеец отцу Аввакуму. Последний вспомнил, что это действительно так было.

Однако ж ликейцы не производят себя ни от японцев, ни от китайцев, ни от корейцев. С первого раза видно, что в существовании ликейцев не участвовали китайцы. Корейцев я еще не видал и потому не знаю, есть ли сходство у них с ликейцами, или нет. У ликейцев глаза большие, не угловатые, как у китайцев,

овал лица правильный, скулы не выдаются. Язык у них, по словам миссионера, сродни японскому и составляет, кажется, его идиом[1]. Ликейцы и японцы понимают друг друга. Ближе всего предположить, что они родня между собою.

Мы лениво возвращались домой, не переставая распространять по дороге чувство вроде безотчетного ужаса. Мальчишка лет десяти, с вязанкой зелени, вел другого мальчика лет шести; завидя нас, он бросил вязанку и маленького своего товарища и кинулся без оглядки бежать по боковой тропинке в поля. Возвратясь в деревню Бо-Тсунг, мы втроем, Посьет, Аввакум и я, зашли в ворота одного дома, думая, что сейчас за воротами увидим и крыльцо; но забор шел лабиринтом и был не один, а два, образуя вместе коридор. Мы поворотили направо, потом налево... Конец, что ли? нет, опять коридор направо, точно западня для волков, еще налево — и мы очутились в маленьком садике, перед домиком, огороженном еще третьим, бамбуковым, и последним забором. Мы, входя, наткнулись на низенькую, черную, как головешка, старуху, с плоским лицом. Она, как мальчишка же, перепугалась и бросилась бежать по грядам к лесу, работая во все лопатки. Мы покатились со смеху; она ускорила шаги. Мы хотели отворить ворота — заперты; зашли с другой стороны к калитке — тоже заперта. Оставалось уйти. Мы посмотрели опять на бегущую все еще вдали старуху и повернули к выходу, как вдруг из домика торопливо вышел заспанный старик и отпер нам калитку, низко кланяясь и прося войти. Мы вошли в палисадник; он отодвинул одну стену, или раму, домика, и нам представились миньятюрные комнаты, совершенно как клетки попугая, с своей чистотой, лакированными вещами и белыми циновками. Мы туда не вошли, а попросили огня. Сейчас другой, молодой ликеец принес нам горшок с золой и угольями. Мы взглянули кругом себя — цветы, алоэ, бананы, больше ничего; поблагодарили хозяина и вышли вон. Я посмотрел, что старуха? Она в это время добежала до первых деревьев леса, забежала за банан, остановилась и, как оранг-утанг, глядела сквозь ветви на нас. Увидя, что мы стоим и с хохотом указываем на нее, она пустилась бежать дальше в лес.

Мы догнали товарищей, которые уже садились в катер. Но во время нашей прогулки вода сбыла, и катер трогал килем дно. Мы стянулись кое-как и добрались до нашего судна, где застали гостей: трех длиннобородых старцев, в белых, с черными полосками, халатах и сандалиях на босу ногу. Они приехали от напайского губернатора поздравить с приездом и привезли в подарок зелени, яиц и кур. Их угостили чаем. Один свободно говорил с Гошкевичем, на бумаге, по-китайски, а другой по-английски, но очень мало. И то успех, когда вспомнишь, что наши европейские языки чужды им и по духу и по формам. Давно ли, «человек

---

[1] Здесь диалект, наречие.

Соединенных Штатов покровительствует» этим младенцам, а уж кое-чему научил... Ликейцы обещали привезти быков, рыбы, зелени за деньги и уехали.

На другой день, 2-го февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то не располагающее в его пользу. Он восемь лет живет на Лю-чу и в мае отправляется в Англию печатать книги св. писания на ликейском и японском языках. Жену и детей он уже отправил в Китай и сам отправится туда же с Перри, который обещал взять его с собою, лишь только другой миссионер приедет на смену.

Восемь лет на Лю-чу — это подвиг, истинно христианский! Миссионер говорил по-английски, по-немецки и весьма плохо по-французски. Мы пустились в расспросы о жителях, о народонаселении, о промышленности, о нравах, обо всем.

— Что за место, что за жители! — говорили мы, — не веришь Базилю Галлю, а выходит на поверку, что он еще скромен.

— Да, место точно прекрасное, — сказал Беттельгейм, — надо еще осмотреть залив Мельвиль да один пункт на северной стороне — это рай.

— А жители? Какая простота нравов, гостеприимство! Странствуешь точно с Улиссом к одному из гостеприимных царей-пастырей, которые выходили путникам навстречу, угощали...

— Разве они встречали и угощали вас? — спросил пастор.

— Нет, встречали мало, больше провожали...

— Да, они действительно охотнее провожают, нежели встречают: ведь это полицейские, шпионы.

— Как полицейские? Разве здесь есть они?

— Как же! Чтоб наблюдать, куда вы пойдете, что будете делать, замечать, кто к вам подойдет, станет разговаривать, чтоб потом расправиться с тем по-своему...

— Что вы? возможно ли? Кажется, жители так кротки, простодушны, так приветливы: это видно из их поклонов...

— Боятся, так и приветливы. Если японцы стали вдруг приветливы, когда вы и американцы появились с большой силой, то как же не быть приветливыми ликейцам, которых всего от шестидесяти до восьмидесяти тысяч на острове!

— Мне нравится простота и трудолюбие, — сказал я. — Есть же уголок в мире, который не нуждается ни в каком соседе, ни в какой помощи! Кажется, если б этим детям природы предоставлено было просить чего-нибудь, то они, как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца. Они умеренны, воздержны...

— Они точно простоваты, — заметил миссионер, — но насчет воздержания... нельзя сказать: они сильно пьют.

— Пьют! что вы? помилуйте,— защищали мы с жаром (нам очень хотелось отстоять идиллию и мечту о золотом веке),— у них и вина нет: что им пить?

— А саки? — отвечал Беттельгейм,— оно здесь лучше, нежели в Японии, и крепкое, как ром.

— Пьют! — говорил я в недоумении.

— И играют,— прибавил пастор.

— Нет, уж это слишком! ужели в самом деле? Да во что же: в какие-нибудь невинные игры: борются, бегают, как древние на олимпийских играх...

— Нет, нет! — настойчиво твердил Беттельгейм,— играют в азартные игры...

— Скажите пожалуйста: эти добродетельные, мудрые старцы — шпионы, картежники, пьяницы! Кто бы это подумал!

— Да, у них есть что-то вроде карт,— сказал он.— даже нищие и те играют как-то стружками или щепками и проигрываются дотла.

— Вот тебе и идиллия, и золотой век, и Одиссея! Да у кого они переняли? — хотел было я спросить, но вспомнил, что есть у кого перенять: они просвещение заимствуют из Китая, а там, на базаре, я видел непроходимую кучу народа, толпившегося около другой кучи сидевших на полу игроков, которые кидали, помнится, кости. Каждый ставил деньги; один счастливый загребал потом у всех. Игра начиналась снова; игроки так углубились в свое дело, что не замечали зрителей, и зрители, в свою очередь, не замечали игроков и следили за костями. Вспомнил я еще, что недалеко от ликейцев—Манила, что там проматываются на пари за бои петухов; что еще на некоторых островах Тихого океана страсть к игре свирепствует, как в любом европейском клубе.

— Удивительно,— сказал я,— что такие кроткие люди заражены самою задорною из страстей!

— Нельзя сказать, чтоб они были кротки,— заметил пастор, —здесь жили католические миссионеры: жители преследовали их, и недавно еще они... поколотили одного миссионера, некатолического...

— Кого же это?

— Меня,— кротко и скромно отвечал Беттельгейм (но под этой скромностью таилось, кажется, не смирение).— Потом,— продолжал он,— уж постоянно стали заходить сюда корабли христианских наций, и именно от английского правительства разрешено раз в год посылать одно военное судно, с китайской станции, на Лю-чу, наблюдать, как поступают с нами, и вот жители кланяются теперь в пояс. Они невежественны, грязны, грубы...

Мне стало подозрительно это поголовное порицание бедных ликейцев. Наши сказывали, что когда они спрашивали ликейцев, где живет миссионер, то последние обнаружили знаки явного нерасположения к нему, и один по-английски сказал про него: «Bad man, very bad man!» (дурной, очень дурной человек).

Платя за нерасположение нерасположением, что было не совсем по-христиански, пастор, может быть, немного преувеличивал миньятюрные пороки этих пигмеев. Они действительно неласковы были всегда к миссионерам. Несколько лет назад здесь поселились два католические монаха. Жители, не зная их звания, обходились с ними очень дружелюбно, всем их снабжали; но, узнав, кто они, стали чуждаться их. Они не оскорбляли их, напротив, кланялись им; но лишь только те открывали рот, чтоб заговорить о религии, ликейцы зажимали уши и бежали прочь. Так те, не успев ни в чем, и уехали на французском военном судне, под командою, кажется, адмирала Сесиля, назад, в Китай.

Беттельгейм, однако ж, сказывал, что он беспрепятственно проповедует ликейцам в их домах и будто они слушают его. Сомневаюсь, судя по тому, как с ним здесь поступают. Он говорит даже, что ему удалось несколько человек крестить.

— Я бы успел и больше,— заключил он,— если б не мешали японцы. Те ежегодно приезжают сюда на шестидесяти лодках за данью и за товарами, а ликейцы посылают в Японию до шестнадцати. Японцы живут здесь подолгу и поддерживают в народе свою систему отчуждения от иностранцев и, между прочим, ненависть к христианам. И теперь их здесь до 600 человек. Они отрастили себе волосы, оделись в здешний костюм и прячутся, наблюдая и за жителями и за иностранцами. Вы видите, что здесь все японское: пришедшая оттуда религия, нравы, обычаи, даже письменный язык, наполовину, однако ж, с китайским. Одни и те же произведения почвы и та же промышленность. Они делают такие же материи, такие же лакированные вещи, только всё грубее и проще; едят то же самое, как те,— вся японская жизнь и сама Япония в миньятюре. Не верьте Базилю Галлю,— заключил он, отодвигая лежавшую перед ним книгу Галля,— в ней ни одного слова правды нет, все диаметрально противоположно истине!

Я действительно не верю Галлю, но не верю также и ему: первого слишком ласково встречали, а другого... *поколотили*; от этого два разные голоса.

Я выразил ему только опасение, чтоб он и его преемники торопливостью не испортили всего дела. «Если Япония откроет свои порты для торговли всем нациям,— сказал я,— может быть, вы поспешите, вместе с товарами, послать туда и ваши переводы Нового завета. Предсказываю вам, что вы закроете опять Японию, ничего не сделаете для религии и испортите торговлю. Японцы осматривали до сих пор каждое судно, записывали каждую вещь, не в видах торгового соперничества, а чтоб не прокралась к ним христианская книга, крест,— все, что относится до религии; замечали число людей, чтоб не пробрался в Японию священник проповедовать религию, которой они так боятся. И долго еще не отступят они от этих строгостей, разве когда заменят свою жизнь европейскою. Вы лучше подождите,— заклю-

чил я,— когда учредятся европейские фактории, которые, конечно, выговорят себе право отправлять дома богослужение, и вы сначала везите священные книги и предметы в эти фактории, чего японцы par le temps qui court [1] запретить уже не могут, а от них исподволь, понемногу, перейдут они и к японцам».

Пока мы рассуждали в каюте, на палубе сигнальщик объявил, что трехмачтовое судно идет. Все пошли вверх. С правой стороны, из-за острова, показалось большое купеческое судно, мчавшееся под всеми парусами прямо на риф.

Был туман и свежий ветер, потом пошел дождь. Однако ж мы в трубу рассмотрели, что судно было под английским флагом. Адмирал сейчас отправил навстречу к нему шлюпку и штурманского офицера, отвести от мели. Часа через два корабль стоял уже близ нас, на якоре.

Но что это у него на палубе? Ужаснейшая толпа народа непроходимой кучей, как стадо баранов, жалась на палубе. Без справок можно было догадаться, что это эмигранты. Точно такое судно видели мы у острова Мадеры, с эмигрантами, отправлявшимися в Австралию. Но откуда и куда их везут? Беттельгейм сказал, что, верно, тут же приехал другой миссионер, на смену ему, и поехал туда разведать. Через полчаса он вернулся с молодым человеком, лет 26-ти, которого и представил адмиралу как своего преемника. Оба они обедали у нас. Вновь прибывший пастор, англичанин же, объявил, что судно пришло из Гон-Конга, употребив ровно месяц на этот переход, что идет оно в Сан-Франциско с пятьюстами китайцев, мужчин и женщин. Кого и чего нет теперь в Сан-Франциско? Начало этого города напоминает начало Рима: оба составились из бродяг.

После обеда наши уехали на берег чай пить in's Grüne [2]. Я прозевал, но зато из привезенной с английского корабля газеты узнал много новостей из Европы, особенно интересных для нас. Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают интриговать против нас. Вся Европа в трепетном ожидании...

Часов в семь за мной прислали шлюпку. Уж было темно. Застав наших на мысе, около рощи, у костра, я рассказал им наскоро новости и сам пошел по тропинке к лесу, оставив их рассуждать. Хорошо! Я наслаждался неизвестными вам впечатлениями, светлым сумраком лунной, томной и теплой ночи, шелестом листьев рощи, полной мрака. Бананы, пальмы и другие чужеземцы шумели при тихом ветре иначе, нежели наши березы и осины, мягче, на чужом языке; и лягушки квакали по-другому, крепче наших, как кастаньеты. Вблизи плескал прилив, вдали глухо ревели буруны на рифах. До меня доносился живой говор товарищей. Меня позвали ехать, я поспешил на зов и в темноте наткнулся на кучку ликейцев, которые из-за шалаша наблюдали

---

[1] в настоящее время *(франц.)*.
[2] на лоне природы *(немецк.)*.

за нашими. Они вдруг низко поклонились и, не разгибаясь, дали мне пройти.

На другой день мы отправились на берег с визитами, сначала к американским офицерам, которые заняли для себя и для матросов — не знаю как, посредством ли покупки, или просто «покровительства» — препорядочный домик и большой огород, с сладким картофелем, таро, горохом и табаком. Я не пошел к ним, а отправился по берегу моря, по отмели, влез на холм, пробрался в грот, где расположились бивуаком матросы с наших судов, потом посетил в лесу нашу идиллию: матрос Кормчин пас там овец. Везде, даже в лесу, видел я каменные постройки, заборы, плетни и хижины, с огородами и полями. Все обработано, всюду протоптаны чистые дорожки или сделаны каменные тропинки.

Остров, судя по пространству, очень заселен; он длиной верст восемьдесят, а шириной от шести до пятнадцати и восемнадцати верст: и на этом пространстве живет от шестидесяти до семидесяти тысяч. В Напе, говорил миссионер, до двадцати, и в Чуди столько же тысяч жителей.

Я дождался наших на мосту, ведущем в Напу, и мы пошли в город искать миссионеров.

Там то же почти, что и в Чуди: длинные, загороженные каменными, массивными заборами, улицы с густыми, прекрасными деревьями: так что идешь по аллеям. У ворот домов стоят жители. Они, кажется, немного перестали бояться нас, видя, что мы ничего худого им не делаем. В городе, при таком большом народонаселении, было живое движение. Много народа толпилось, ходило взад и вперед; носили тяжести, и довольно большие, особенно женщины. У некоторых были дети за спиной или за пазухой.

Мы не знали, в которую сторону идти: улиц множество и переулков тоже. С нами толпа народа; спрашиваем по-английски, называем миссионера по имени — жители указывают на ухо и мотают головой: «глухи, дескать, не слышим». Некоторые, при наших вопросах, переговорят между собою, и вот один пойдет вперед и выведет нас к морю. Опять толки, и опять явится провожатый. Один водил, водил по грязи, наконец повел в перелесок, в густую траву, по тропинке, совсем спрятавшейся среди кактусов и других кустов, и вывел на холм, к кладбищу, к тем огромным камням, которые мы видели с моря и приняли сначала за город. Меня зло взяло.

— Ну, теперь вижу, что вы пьяницы и картежники...— ворчал я на ликейцев.

— Да и мошенники уж кстати,—прибавил другой товарищ,— ведь они нарочно водят нас.

Третий товарищ смеялся, слыша ропот. Наконец один ликеец привел нас вторично к морю, на отмель, и ушел, как и прочие, в толпу. Тогда мы насильно вывели одного из толпы за руки и послали вперед показывать дорогу. Делать было нечего. Он

привел нас к серой, нависшей над водой скале и указал на зеленый, бывший рядом с ней холм и тропинку в кустах. «Опять вверх!» — ворчали мы, теряя терпение, и пошли на холм, подошли к протестантской церкви, потом спустились с холма и очутились у сада и домика миссионеров. Оказалось, что мы блуждали все время около этого места. На нас бросились лаять две большие собаки, лишь только мы вошли в садик.

Миссионер встретил нас на крыльце и ввел в такую же комнату, с рамой, заклеенной бумагой, как и в ликейских домах. Тут мы застали шкипера вновь прибывшего английского корабля, с женой, страдающей зубной болью женщиной, но еще молодой и некрасивой; тут же была жена нового миссионера, тоже молодая и некрасивая, без передних зубов. В одном только кабинете пастора, наполненном книгами и рукописями, были два небольшие окна со стеклами, подаренными ему, кажется, *человеком Соединенных Штатов*. Над дверью был другой подарок, от него же: большая серебряная ваза. Все остальное было более нежели просто: грубый, деревянный стол, такие же стулья и диван — не лучше их.

Миссионер предложил нам вина и каких-то сдобных сухарей, извиняясь, что у него только и есть две рюмки и два стакана. Ему на другой же день адмирал послал дюжину вина, и по дюжине или по две рюмок и стаканов — пей не хочу! Он нам показывал много лакированных вещей, работы здешних жителей: чашки для кушанья, поставцы, судки, подносы и т. п.; но после японских вещей в этом роде на эти и глядеть было нельзя. Беттельгейм просил адмирала взять несколько вещей от него на память. Что было лучше всего, так это великолепный баниан у самого крыльца, бросавший тень на весь дворик, да множество разных кустов и цветов. Жаль только, что на Лю-чу есть ядовитые змеи. Миссионер сказывал, что он поймал двух у себя в комнатах. В галерее, выходящей на двор, помещалась небольшая аптека и большая библиотека. Несколько ликейцев собралось у ворот и заглядывало на нас во двор; но миссионер махнул им рукой не очень ласково, чтоб они шли прочь. «Не может забыть побоев!» — шепнул мне один из товарищей. Миссионер проводил нас назад до самого фрегата на нашей шлюпке.

Дорóгой адмирал послал сказать начальнику города, что он желает видеть его у себя и удивляется, что тот не хочет показаться. Велено прибавить, что мы пойдем сами в замок видеть их двор. Это очень подействовало. Чиновник, или секретарь начальника, отвечал, что если мы имеем сказать что-нибудь важное, так он, пожалуй, и приедет.

— Очень важное,— сказали ему.

Он хотел быть на другой день, но шел проливной дождь. Наконец вчера, 7-го февраля, начальник приехал на фрегат, с секретарем, помощником, переводчиком китайского языка и маленькою свитою. Он был высокий, седой старик, не совсем пат-

риархальной наружности, с красным носом, и вообще — увы, прощай, идиллия! — с следами сильного невоздержания на лице, с изломанными чертами, синими и красными жилками на носу и около. Он говорил сиплым и пискливым голосом. Товарищ его, высокий и здоровый мужчина, лет 50-ти, с черной, длинной и жидкой, начинающейся с подбородка, как у всех у них, бородой. Прочие так себе, все здоровой наружности, свежие. У губернатора пучок на голове был проткнут золотой, у помощника и переводчика серебряной, а у прочих медной шпилькой. За первым сидел мальчик лет шестнадцати и беспрестанно набивал ему трубку, а тот давал ему подачки: бисквиты, наливку, которою его потчевали. Он подарил адмиралу два какие-то торта, а ему дали большой самовар, стеклянной посуды и еще прежде послали сукна на халат, за присланную живность и зелень. Показывали ему японские подарки и, между прочим, подаренную адмиралу саблю.

— А у вас есть сабли? — спросили его.

— Нет.

— Какое же у вас оружие?

— А вот,— отвечал он, показывая веер.

Его поблагодарили за доставку провизии, и особенно быков и рыбы, и просили доставлять — разумеется, за деньги — вперед русским судам все, что понадобится. Между прочим, ему сказано, что так как на острове добывается соль, то может случиться, что суда будут заходить за нею, за рисом или другими предметами: так нельзя ли завести торговлю?

— Нет, нет! у нас производится всего этого только для самих себя,— с живостью отвечал он,— и то рис едим мы, старшие, а низший класс питается бобами и другими овощами.

— Да еще мы просим сказать жителям, —продолжали мы,— чтоб они не бегали от нас: мы им ничего не сделаем.

— Они бегают оттого, что европейцы редко заходят сюда, и наши не привыкли видеть их. Притом американцы, бывшие здесь, брали иногда с полей горох, бобы: если б один или несколько человек сделали это, так оно бы ничего, а когда все...

Мы уверили его, что наши не дотронутся ни до чего.

— Да, сделайте милость,— продолжал переводчик,— насчет женщин тоже... Один американец взял нашу женщину за руку; у нас так строго на этот счет, что муж, пожалуй, и разведется с нею. От этого они и бегают от чужих.

Какова нравственность: за руку нельзя взять! В золотой век, особенно в библейские времена и при Гомере, было на этот счет проще!

Мы съехали после обеда на берег, лениво и задумчиво бродили по лесам, или, лучше сказать, по садам, зашли куда-то в сторону, нашли холм между кедрами, полежали на траве, зашли в кумирню, напились воды из колодца, а вечером пили чай на берегу, под навесом мирт и папирусов — словом, провели вечер совершенно идиллически.

Погода здесь во все время нашего пребывания была непостоянная: то дует северный муссон, иногда свежий до степени шторма, то идет проливной, безотрадный дождь. Зато, чуть проглянет солнце — все становится так прозрачно, ясно, так млеет в радости... У нас, однако ж, было довольно дурной погоды — такой уж февраль здесь.

С кораблем, везущим эмигрантов, всё истории. Третьего дня он стал было сниматься с якоря и сел на мель. С наших судов подали ему немедленную помощь: не будь этого, он бы скоро не снялся и при первом свежем ветре разбился бы в щепы; он и сам засвидетельствовал это. Наши ездили туда на корабль и рассказывают, что такой нечистоты, неурядицы, шума, хаоса и представить себе нельзя. Корабль большой, а матросов всего человек двадцать, и то инвалиды. Едва достает рук управляться с парусами, а толпящиеся на палубе китайцы мешают им пошевелиться. Крик и шум так велики, что слышно у нас. Чтоб облегчить судно и помочь ему сняться с мели, всех китайцев и китаянок перевезли часа на два к нам. Их поместили на баке и шкафуте и отгородили веревкой. Много очень высоких и хорошо сложенных мужчин. Женщины большею частью молодые и всё девицы, от четырнадцати до двадцати лет. Одна обращала на себя особенное внимание. Она, как кажется, была тут старшая, вроде начальницы, как и у мужчин были тоже старшины. Звали ее Ача. Она нехороша собой, но лицо, однако ж, привлекательно. Она была бойкая женщина и говорила по-английски почти как англичанка. На ней было широкое и длинное шелковое голубое платье, надетое как-то на плечо, вроде цыганской шали, белые чистые шаровары; прекрасная, маленькая, но не до уродливости нога, обутая по-европейски. Она сидела на станке пушки, бойко глядела вокруг и беспрестанно кокетничала ногой, выставляя ее напоказ. Прочие женщины сидели в куче, на полу. Мужчины, которых было гораздо больше, толпились, как стадо. Мы расспрашивали Ачу, где она выучилась по-английски и зачем едет в Калифорнию. Она сказала, что едет обратно, что прожила уж три года в Сан-Франциско; теперь ездила на четыре месяца в Гон-Конг навербовать женщин для какого-то магазина... Мужчины ехали для грубых работ.

Наконец корабль сошел с мели, и китайцев увезли обратно. Он, однако ж, не ушел за противным ветром.

Третьего дня оба миссионера явились в белых холстинных шляпах, в белых галстуках и в черных фраках, очень серьезные, и сказали, что они имеют сообщить что-то важное. «На купеческом судне китайцы не слушаются шкипера»,— объявили они и просили потребовать китайских старшин и спросить, чем они недовольны. По вызову адмирала явились трое китайцев, нарядно одетые, благовидной наружности. Они сказали, что им отказывают в воде; что, когда они подходили к бочке, матросы кулаками толкали их прочь. «От этого вышли ссоры,— прибави-

ли они,—и больше ничего». Им представили всю опасность их положения, если б они не исполнили требований шкипера,прибавив,что в море надо без рассуждений делать все,чего он потребует.

— Так, знаем,— отвечали они,— мы просим только раздавать сколько следует воды, а он дает мало, без всякого порядка; бочки у него текут, вода пропадает, а он, отсюда до Золотой горы (Калифорнии), никуда не хочет заходить, между тем мы заплатили деньги за переезд по семидесяти долларов с человека.

Их помирили, заставив китайцев подписать условие слушаться, а шкиперу посоветовали завести побольше порядка и воды, да не идти прямо в Сан-Франциско, а зайти на Сандвичевы острова. Так и расстались с ними. Вечером видели еще, как Ача прогуливалась с своими подчиненными по берегу. Третьего дня корабль ушел; шкипер и миссионеры не знали, как и благодарить начальство нашего судна. Наши матросы помогли ему сняться и с якоря: он один не управился бы. Когда эта громада, битком набитая народом, нечистая, некрашеная, в беспорядке, как наружном, так и внутреннем, тихо неслась мимо нас, мы стояли наверху и следили за ней глазами.

— Дойдет ли? — сказал я с сомнением.

— Дóйдет,— с уверенностию отвечал стоявший подле меня матрос, сильно ударяя на о,— отчего не дóйти, дóйдет!

Вчера, 8-го, и мы в последний раз съехали на берег. Романтики, взяв по бутерброду, отправились с раннего утра, другие в полдень, я, с капитаном Лосевым, после обеда, и все разбрелись по острову. Мы не пошли ни в деревню Бо-Тсунг, ни на большую дорогу, а взяли налево, прорезали рощу и очутились в обработанных полях, идущих неровно, холмами, во все стороны. С одного холма мы любовались окрестностью; мы очутились как будто среди зеленого волнующегося моря: ничего кругом, кроме зелени. Мы шли по тропинкам, мимо возделанных полей, бедных хижин, состоявших из бамбуковых загородок. Кругом их огороды. У хижин, на рогожках, кучами лежали овощи и сушились на солнце, между прочим табак, назначенный для жвачки. Табак здесь очень хорош: он несколько крепче и темнее японского; тот чересчур нежен и слаб. Мы шли одни. Сначала за нами по улице следила толпа каких-то провожатых, но они кинули нас, лишь только мы поворотили в поля. Тропинки шли то вверх, на холмы, то спускались в овраги. Жар заставил нас оставить поля и искать тени в густых аллеях. Мы вошли в переулки деревенек — везде одно и то же. Жители пугались менее прежнего; ребятишки с улыбкой кланялись в пояс, заигрывали и вдруг с хохотом разбегались в стороны, лишь только тронешь одного.

Мы вышли к большому монастырю, в главную аллею, которая ведет в столицу, и сели там на парапете моста. Дорога эта оживлена особенным движением: беспрестанно идут с ношами овощей взад и вперед или ведут лошадей, с перекинутыми через спину кулями риса, с папушами табаку и т. п. Лошади фыркали и пяти-

лись от нас. В полях везде работают. Мы пошли на сахарную плантацию. Она отделялась от большой дороги полями с рисом, которые были наполнены водой и походили на пруды с зеленой, стоячей водой.

Мы обошли поле сахарного тростника вокруг. Он растет слишком часто; в других местах его сажают реже. Он высок, как добрый кустарник. Тут же его резали и таскали на ближайший холм, в пресс, приводимый в движение быком. За тростником я увидел кучу народа. «Что там такое делается?» — спросили мы друг друга. Пригляделись и видим, что двое наших матросов взяли из рук ликейцев инструмент, вроде согнутого под прямым углом заступа, и преусердно взрывали им гряды с сладким картофелем. Комы земли и картофель так и летели по сторонам, а ликейцы, окружив их, смотрели внимательно на работу.

«Вот, ишь ты! вот! вот!» — слышалось при каждом ударе.

Мы отправились на холм, где были вчера, к кумирне. По дороге встретили толпу крестьян, с прекрасными, темными и гладкими, претолстыми бамбуковыми жердями, на которых таскают тяжести.

Мне хотелось поближе разглядеть такую жердь. Я протянул к одному руку, чтоб взять у него бамбук, но вся толпа вдруг смутилась. Ликейцы краснели, делали глупые рожи, глядели один на другого и пятились. Так и не дали.

Я не знаю, с чем сравнить у нас бамбук, относительно пользы, какую он приносит там, где родится. Каких услуг не оказывает он человеку! чего не делают из него или им! Разве береза наша может, и то куда не вполне, стать с ним рядом. Нельзя перечесть, как и где употребляют его. Из него строят заборы, плетни, стены домов, лодки, делают множество посуды, разные мелочи, зонтики, веера, трости и проч.; им бьют по пяткам; наконец его едят в варенье, вроде инбирного, которое делают из молодых веток.

Едва мы взошли на холм и сели в какой-то беседке, предшествующей кумирне, как вдруг тут же, откуда-то из чащи, выполз ликеец, сорвал в палисаднике ближайшего дома два цветка шиповника, потом сжался, в знак уважения к нам, в комок и поднес нам с поклоном. Он, конечно, имел приказание следить за нами издалека. Еще к нам пришел из дома мальчик, лет двенадцати, и оба они сели перед нами на пятках и рассматривали пристально нас, платья наши, вещи. Лосев вынул записную книжку, а я нарисовал в ней фигуру мальчика, вырвал рисунок из книжки и отдал ему. Что это за рисунок! Моему рисовальному учителю, конечно, и в голову не приходило, чтоб я показывал свое искусство на Ликейских островах. Мальчик был в восторге. Мы дали им сигар, отдали огниво, сверх того я дал старшему доллар. Он вынул из-за пазухи каш (маленькую медную китайскую монету) и смотрел то на нее, то на доллар. Я старался объяснить ему, что таких монет в долларе тысяча четыреста. Ни в Китае, ни у них другой монеты не водится. Американцы стали вводить испанские доллары в употребление. Мы долларами платили в Китае за про-

визию. Мальчик принес в маленьком чайнике чаю, который, впрочем, не имел никакого вкуса. Мы посидели с полчаса в беседке, окруженной рядом высоких померанцевых и других дерев из породы мирт.

Уже вечерело, когда мы вышли на большую дорогу. Здесь встретил нас Унковский и подговорил ехать с ним в вельботе, который ждал его в Напе. «Недалеко»,— сказал он. Мы пошли налево, через другой мост, через лес, поле, наконец по улицам— конца не было. Идучи мимо этих полей, где прорыты канавки, сделаны стоки, глядя на эту правильность и порядок, вы примете остров за образцовую ферму или отлично устроенное помещичье имение. В полях и из некоторых домов несло, как в Китае, удобрением, которое заготовляется в ушатах. Удобрение это состоит из всякого рода нечистот, которые сливаются в особые места, гниют, и потом, при посевах, ими поливают поля, как я видел в Китае. Говорят, это лучше нашего способа удобрения. «Сорных трав меньше»,— сказал Лосев, большой агроном.

Мы шли, шли в темноте, а проклятые улицы не кончались: все заборы да сады. Ликейцы, как тени, неслышно скользили во мраке. Нас провожал тот же самый, который принес нам цветы. Где было грязно или острые кораллы мешали свободно ступать, он вел меня под руку, обводил мимо луж, которые, видно, знал наизусть. К несчастью, мы не туда попали и, если б не провожатый, мы проблуждали бы целую ночь. Наконец добрались до речки, до вельбота, и вздохнули свободно, когда выехали в открытое море.

Адмирал хотел отдать визит напакианскому губернатору, но он у себя принять не мог, а дал знать, что примет, если угодно, *в правительственном доме*. Он отговаривался тем, что у них частные сношения с иностранцами запрещены. Этим же объясняется, почему не хотел принять нас и нагасакский губернатор иначе, как в казенном доме.

Но довольно Ликейских островов и о Ликейских островах, довольно и для меня и для вас! Если захотите знать подробнее долготу, широту места, пространство, число островов, не поленитесь сами взглянуть на карту, а о нравах жителей, об обычаях, о произведениях, об истории — прочтите у Бичи, у Бельчера. Помните условие: я пишу только письма к вам о том, что вижу сам и что переживаю изо дня в день.

Сегодня мы ушли и вот качаемся теперь в Тихом океане; но если б и остались здесь, едва ли бы я собрался на берег. Одна природа да животная, хотя и своеобразная, жизнь не наполнят человека, не поглотят внимания: остается большая пустота. Для того даже, чтоб испытывать глубже новое, не похожее ни на что свое, нужно, чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель другой, развитой жизни.

V

МАНИЛА

От Лю-чу до Манилы

Манильский залив.— Островки Коррехидор, Конь и Монахиня.— Вход на рейд.— Река Пассиг.— Улицы, лавки, отель.— Предместье Бинондо и старый город. — Тагалы, китайцы, метисы и испанцы. — Окрестности. — Растительность. — Плантации. — Кальсадо. — Французские миссионеры. — Изделия из соломы и ананасных волокон. — Церкви Санта-Круц и Мигель. — Ученье солдат. — Женщины. — Ящерицы в домах.— Ванны. — Визиты к испанцам. — Табачная фабрика. — Французский епископ. — Испанский монастырь. — Собор. — Богомольцы и проповедники. — Петушьи бои. — Породы деревьев. — Канатная фабрика. — Запас сигар. — Дамы на фрегате. — Происхождение слов Люсон и Манила. — Красота природы. — Географическая, историческая и статистическая заметка о Филиппинских островах.

9-го февраля, рано утром, оставили мы Напакиангский рейд и лавировали, за противным ветром, между большим Лю-чу и другими, мелкими Ликейскими островами, из которых один путешественники назвали Ама-Керима, а миссионер Беттельгейм говорит, что Ама-Керима на языке ликейцев значит: *вон там дальше — Керима.* Сколько по белу свету ходит переводов и догадок, похожих на это!

Транспорт «Князь Меншиков» и корвет «Оливуца» получили приказание идти вперед, а шкуна «Восток» послана осмотреть и, по возможности, описать островок, открытый лейтенантом Панафидиным под 25° широты. 10-е число мы всё лавировали день и ночь против S ветра и подались вперед не более сорока миль; зато 11-го, в 8 часов утра, подул чересчур свежий NO. Началась качка. У марселей взяли три рифа и спустили брам-стеньги. Неслись по одиннадцати узлов на фордевинд. Не люблю я фор-

девица или *фордака*, как Фаддеев называет этот ветер: он дует с кормы, следовательно реи и паруса ставятся тогда прямо. Судно, держась на одном киле, падает то на правую, то на левую сторону.

11-го числа, часов в 9 вечера, мы пересекли северный тропик. Становилось темно. Ночью ни зги не видать; небо заволокло тучами; ветер ревет; а часа в два ночи надо было проходить сквозь группу островов Баши, ту самую, у которой, 9-го и 10-го июля прошлого года, нас встретил ураган. Хотя пролив, через который следовало идти, имеет в ширину до 19 миль, но в темноте поневоле в голову приходят разные сомнения, например, что могла быть погрешность в карте или течением отнесло от курса, тогда можно наткнуться... К счастью, утром погода была ясная и позволила сделать верную обсервацию. В сказанный час, даже в темноте, увидели берег, промчались через пролив благополучно — и вот мы опять в Китайском море.

Сегодня, 12, какая погода! Море еще у Лю-чу было синее, а теперь, в тропиках, и подавно. Солнце печет иногда до утомления, как у нас бывает перед грозой. Теплота здесь напитана разными запахами; солнце проникает всюду. Появились летучие рыбы, с сельдь величиной; они летают во множестве, стаями и поодиночке.

Ночью несколько стихло; мы отдохнули от качки и спали хорошо. Шли узлов по девяти, при мягком и теплом ветре, который нежит нервы, как купанье. После обеда вдруг, откуда ни возьмись, задул крепкий, но попутный ветер с берега, который был виден влево: это берег Люсона. Остров этот очень велик; от северной его оконечности до Манилы считают с лишком триста миль, а еще сколько от Манилы до южной оконечности! У кого ни посмотришь, описание Манилы в руках. Все заранее обольщают себя мечтами, кто — увидеть природу, еще роскошнее виденной, кто — новых жителей, новые нравы, кто льстится встретиться с крокодилом, кто с креолкой, иной рассчитывает на сигары; тот хочет заказать белье из травяного холста; у всех различные желания. Барон Криднер заглядывает во все путешествия и мучится, что ничего нет об отелях: чего доброго, пожалуй, их нет совсем!

Звезды великолепны; море блещет фосфором. На небе первый бросился мне в глаза Южный Крест, почти на горизонте. Давно я не видал его. Вот и наша Медведица; подальше Орион. Небо не везде так богато: здесь собрались аристократы обоих полушарий.

Часов с шести вечера вдруг заштилело, и мы, вместо 11 и 12 узлов, тащимся по 1½ узла. Здесь мудреные места: то буря, даже ураган, то штиль. Почти все мореплаватели испытывали остановку на этом пути; а кто-то из наших, от Баши до Манилы, шел девять суток: это каких-нибудь четыреста пятьдесят миль. Нам остается миль триста. Мы думали было послезавтра прийти, а вот...

Вам, конечно, случалось осматривать картинную галерею какого-нибудь любителя: он перед некоторыми своими дорогими картинами останавливает вас так долго, что картина даже... надоедает. Вот этак, подчас, казалось и нам в штиль, при тишине моря и синеве неба. А ведь как хорошо, красиво это безукоризненно чистое и голубое небо, синяя, беспредельная гладь моря, влажно-теплый, береговой воздух! Но и морская поэзия надоест, и тропическое небо, яркие звезды: помянешь и майские петербургские ночи, когда, к полуночи, небо захочет будто бы стемнеть, да вдруг опять засветлеет, точно ребенок нахмурится: того и гляди, заплачет, а он вдруг засмеялся и пошел опять играть!..

Вдали, видишь, качаются три судна, как мы же, обезветренные, да синеет, как туча, берег Люсона. На палубе бездействие; паруса стоят неподвижно; ученье делать нет возможности от жара. Сегодня воскресенье; после обедни мы стояли на юте и смотрели вдаль. Вот мимо пронеслось стадо дельфинов: сначала плыл один — наруже видно было только острое черное перо. Вскоре появились они во множестве, переваливаясь с волны на волну. Еще большая акула долго следила за фрегатом. Ей два раза бросали крюк с наживой; два раза она хватала его, и один раз уже потащили было ее вверх, но крюк сломался. Среди бездействия и эти мелочи кажутся занимательны! Завтра новолуние: ожидают перемен, крепких ветров. Сегодня началась масленица: все жалеют, что не поспеют на карнавал в Манилу.

16-го мы, наконец, были у входа в Манильский залив, один из огромнейших в мире. Посредине входа лежит островок *Коррехидор*, с маяком. Слева подле него торчат, в некотором от него и друг от друга расстоянии, голые камни *Конь* и *Монахиня*; справа сплошная гряда мелких камней. Мы, лавировкой, часов в шесть вечера, пошли в залив. От Коррехидора отделилась было шлюпка и пошла на нас, чтоб, вероятно, «узнать о здоровье». Но где ей за нами! Мы шли по 9-ти узлов, обогнали какое-то странное, не то китайское, не то индийское судно и часу в десятом бросили якорь на Манильском рейде, верстах в пяти от берега.

Мы подбирались к рейду тихо, осторожно, и ветер притих; настала ночь. Вы не знаете тропических ночей, светлых без света, теплых, кротких и безмолвных. Ни ветерка, ни звука. Дрожат только звезды. Между Южным Крестом, Конопусом, нашей Медведицей и Орионом, точно золотая пуговица, желтым светом горит Юпитер. Конопус блестит, как брильянт, и в его блеске топут другие бледные звезды корабля Арго, а все вместе тонет в пучине Млечного Пути. Что это за роскошь!.. Но чу! колокол! Давно я не слыхал благовеста. Густые и протяжные звуки разнеслись по рейду и смолкли. Я смотрел на городские огни: все кругом их таилось в сумраке. У меня на душе зашевелилось приятное чувство любопытства; в воображении поднялись из праха

забвения картины и образы католического юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем монастыре, побродить в сумраке церквей, поглядеть на развалины, рядом с свежей зеленью, на нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, на красоту испанки — чувства и картины, от которых я было стал уставать и отвыкать.

Но говорят и пишут, между прочим американец Вилькс, француз Малля (Mallat), что здесь нет отелей; что иностранцы, после 11-ти часов, удаляются из города, который на ночь запирается, что остановиться негде, но что зато все гостеприимны и всякий дом к вашим услугам. Это заставляет задумываться: где же остановиться, чтоб не быть обязанным никому? есть ли необходимые для путешественника удобства?

Устал я. До свидания; авось завтра увижу и узнаю, что такое Манила. Мы сделали от Лю-чу тысячу шестьсот верст от 9 до 16 февраля... Манила! добрались и до нее, а как кажется это недосягаемо из Петербурга! точно так же, как отсюда теперь кажется недосягаем Петербург — ни больше, ни меньше. До свидания. Расскажу вам, что увижу в Маниле.

Февраль, 1854 г.

Лишь только встали мы утром 16 февраля, я вышел на ют смотреть Манилу. «Где же она?»— думал я, поглядев вокруг себя: пусто! Мы, по-вчерашнему, в море; вдали синеют берега; это мы видели всякий день, идучи под берегом Люсона. «Да где же Манила?»— спрашиваю. «А вон, вон»,— говорит дед, показывая пальцем вдаль. «Да вы не туда смотрите; вон где!» — прибавляет он, повертывая меня за плечо. Вижу едва заметную кайму берега; на нем что-то белеет: не то домы, не то церкви; сзади, вдалеке, горы. «Так это Манила?» — «Да; а вон Кавита»,— говорит дед, повертывая меня опять плечом вправо, почти назад от Манилы. Но там уж ничего не видать: ни домов, ни церквей. Снится как будто во сне полоса берега, да между этой полосой и нашим фрегатом виден трепещущий парус рыбачьей лодки. Недалеко от нас стоял французский военный пароход «Colbert» и несколько купеческих судов. «А Манилы все-таки не видать!»— сказал я. «Еще бы видеть! — возразил дед,—мы в двух с половиною милях от нее». — «А ближе разве нельзя стать?»— спросил я. «С нашим фрегатом... что вы! тут глубина пойдет шесть да пять сажен. Другое дело купеческие суда — те и в реку входят».

«На берег кому угодно! — говорят часу во втором,— сейчас шлюпка идет». Нас несколько человек село в катер, все в белом— иначе под этим солнцем показаться нельзя — и поехали, прикрывшись холстинным тентом; но и то жарко: выставишь нечаянно руку, ногу, плечо — жжет. Голубая вода не струится нисколько; суда, мимо которых мы ехали, будто спят: ни малейше-

го движения на них; на палубе ни души. По огромному заливу кое-где ползают лодки, как сонные мухи.

По мере нашего приближения берег стал обрисовываться: обозначилась серая, длинная стена, за ней колокольни, потом тесная куча домов. Открылся вход в реку, одетую каменной набережной. На правом берегу, у самого устья, стоит высокая башня маяка.

Река Пассиг — славная, быстрая река; на ней много движения. Берега заставлены, в два-три ряда, судами, джонками, лодками, так что мы с трудом пробирались и не раз принуждены были класть весла по борту. На судах деятельность: выгрузка, нагрузка: сейчас видно, что это большой порт. Некоторые корабли лежат почти на боку и чинятся. Всюду гомозятся за работой красно-смуглые, голые тела: всё индийцы. На левом берегу крепость. «Вот Манила и есть! — сказал, указывая на крепость, барон Криднер, который уж был у губернатора,— это испанский город; тут все власти».— «А это что ж?» — спросили мы, указывая на противоположный берег. «Это предместье Бинондо; тут торговля, иностранцы». Вот пока все, что я узнал.

«Куда же пристать?» — «Вот одна пристань, а другая там, дальше где-то, у моста».— «Так пристанем к ближайшей!» — сказал кто-то. «Отчего ж к ближайшей?— возразил другой.— Уж заберемся подальше».— «И здесь хорошо». Стали спорить; большинство решило пристать немедленно; но тут течением потащило нас на мель, на праздно валявшиеся в тине якоря. «Клади лево руля! лево руля!» — говорил один. «Отталкивайся, бери правей...— командовал другой,— вот так! теперь пристанем».— «Да нет, поедемте туда, к той пристани!» — решили многие и поехали. А пристать следовало тут, как мы после увидели.

Мы продолжали плыть по реке. На одном берегу ряд грязноватых пакгаузов, домов, длинных заборов; зелени нигде не видать; изредка выбегают на солнце из-за каменной ограды два-три банановые листа. Направо, у крепости, растет мелкая трава; там бегают с криком ребятишки; в тени лежат буйволы, с ужаснейшими, закинутыми на спину рогами, или стоят по горло в воде. На стене ходят часовые, с большими эполетами из красной бахромы, в уланских киверах и в суконных мундирах, с перевязью. «Крепость славно укреплена»,— говорили наши, рассматривая артиллерию и толщину стен.

Но вот и мост. Насилу продрались мы, между судов и лодок, к каменным ступеням пристани и вышли на улицу. Ух, как душно! Нас охватил горячий и удушливый воздух: точно в пекарню вошли. «Ужели это Манила? — говорил один из наших спутников, помоложе, привыкший с именем Манилы соединять что-то цветущее,— да где же роскошь, поэзия?.. Ах, как нехорошо пахнет!» — вдруг прибавил он. Пахло в самом деле нехорошо. Мы вошли в улицу, состоящую из сплошного ряда лавок, и вдруг угадали причину запаха: из лавок выглядывали бритые досиня

китайские головы и лукавые физиономии. Прямые азиатские жиды: где их нет? и всюду разносят они запах чесноку, сандального дерева и растительного масла. Здесь они, однако ж, почище, нежели в Сингапуре и Гон-Конге, и лавки у них поопрятнее, похожи на наши гостиные дворы, только с жильем вверху. Здесь меньше кузнецов, столяров; не видать, чтоб жарили и пекли на улице. Но голых много. Неприятно видеть эти белые и дряблые тела: точно провизия какая-нибудь выставлена напоказ, между частью баранины и окороком ветчины.

Мы искали, кого бы спросить о французской отели, о которой слышали утром, о том, можно ли поселиться в ней, иметь экипаж и т. п. На улице никого; редко пробежит индиец или китаец с ношей, и опять улица опустеет. Только собаки да свиньи лежат кое-где у забора, в тени. Мы обращались и к китайцам и к индийцам с вопросом по-английски и по-французски: «Где отель?» Встречные тупо глядели на нас или отвечали вопросом же: «Signor?» Мы стали ухитряться, как бы, не зная ни слова по-испански, сочинить испанскую фразу. После довольно продолжительной конференции, наконец, сочинили пять слов, которые долженствовали заключать в себе вопрос: «Где здесь французская отель?» С этим обратились мы к солдату, праздно стоявшему в тени какого-то желтого здания, похожего на казармы. Другой солдат стоял на часах. Первый поглядел на нас, подумал и повел по китайским рядам. Из лавок на нас несло попеременно мылом, сапожным товаром, пряностями, чаем и т. п. Наконец солдат привел нас на какой-то двор, на котором было множество колясок и лошадей. Кучера, чистившие их, посмотрели вопросительно на нас, а мы на них, потом все вместе на солдата: «Что это мы сказали ему?» — спросил один из нас в тоске от жара, духоты и дурного запаха на улицах. «Верно, что-нибудь хорошее, что он нас в конюшню привел!» — «А все же вышло что-нибудь да по-испански: недаром же он привел сюда»,— прибавил кто-то в утешение. «Франческа, франческа»,— повторили мы солдату. Один из кучеров тоже что-то сказал ему, и тот повел нас опять по рядам. Улица была прекрасная; лавки, чем дальше шли, тем лучше. Наконец проводник остановился перед одной дверью и указал нам войти туда.

Мы очутились в европейском магазине, но в нем царствовал такой эклектизм, что ни за что не скажешь сразу, чем торгует хозяин. Тут стояло двое-трое столовых часов, коробка с перчатками, несколько ящиков с вином, фортепиано; лежали материи, висели золотые цепочки, теснились в куче этажерки, красивые столики, шкафы и диваны, на окнах вазы, на столе какая-то машина, потом бумага, духи. Мы имели время рассмотреть все, потому что в магазине никого не было и никто не шел к нам. Минут через пять уже появился молодой, высокий, белокурый, очень красивый француз, по обыкновению изысканно одетый, и удивился, найдя нас тут. За ним вышла немолодая, невысокая,

очень некрасивая француженка, одетая еще изысканнее. Она тоже с удивлением посмотрела на нас. Мы заговорили все вместе, и хозяева тоже. Мы стали горько жаловаться на жар, на духоту, на пустоту на улицах, на то, что никто, кроме испанского, другого языка не разумеет и что мы никак не можем найти отели. Они усердно утешали нас тем, что теперь время сьесты — все спят, оттого никто по улицам, кроме простого народа, не ходит, а простой народ ни по-французски, ни по-английски не говорит, но зато говорит по-испански, по-китайски и по-португальски, что, перед сьестой и после сьесты, по улицам, кроме простого народа, опять-таки никто не ходит, а непростой народ все ездит в экипажах и говорит только по-испански. «Отель,— прибавили они в последнее утешение нам,— точно есть: содержит ее француз monsieur Демьен, очень хороший человек, но это предалеко отсюда. Вот, не угодно ли, вас проводит туда кули, а вы заплатите ему за это реал или, пожалуй, больше».

Француженка, в виде украшения, прибавила к этим практическим сведениям, что в Маниле всего человек шесть французов, да очень мало американских и английских негоциантов, а то всё испанцы; что они всё спят да едят; что сама она католичка, но терпит и другие религии, даже лютеранскую, и что хотела бы очень побывать в испанских монастырях, но туда женщин не пускают,— и при этом вздохнула из глубины души. «А много монахов в Маниле?» — спросил я. «On ne voit que ça, monsieur»[1] ,— отвечала она. На прощанье хозяева просили удостоить их посещением, если понадобится нам — мебель.

Опять пошли мы кочевать, под предводительством индийца, или, как называет Фаддеев, цыгана, в белой рубашке, выпущенной на синие панталоны, в соломенной шляпе, босиком, по пустым улицам, стараясь отворачиваться от многих лавочек, откуда уж слишком пахло китайцами.

Пока мы шли под каменными сводами лавок, было сносно, но лавки кончились; началась другая улица, пошли перекрестки, площади; надо было проходить по открытым местам. Зонтик оказался слабою защитою; ноги горели в ботинках. Мы прошли мимо моста, у которого пристали; за ним видна большая церковь; впереди, по новой улице, опять ряды лавок, гораздо хуже, чем в той, где мы были. Попадались все те же индийцы и китайцы, изредка метисы, и одна метиска, с распущенной по спине мокрой косой, которую она подставляет под солнце посушить после купанья.

Метисы — это пересаженные на манильскую почву, с разных других мест, цветки, то есть смесь китайцев, испанцев и других племен, с индийцами. Испанские метисы одержимы желанием прослыть, где есть случай, испанцами — но это невозможно: чересчур смуглые лица, чересчур черные волосы обличают неиспанскую кровь на каждом шагу. Они и сами понимают это и сми-

---

[1] Только их одних и видно, сударь *(франц.)*.

ряются. Женщины присвоили себе и особенный костюм: ярко полосатую и даже пеструю юбку и белую головную мантилью, в отличие от черной, исключительного головного убора испанок pur sang [1]. Испанцы так дорожат привилегией родиться и получить воспитание на своем полуострове, что уже родившиеся здесь, от испанских же родителей, дети на несколько процентов ценятся ниже против европейских испанцев в здешнем обществе. Одна молодая испанка... Но ведь это я все узнал не дорогой к трактиру, а после: зачем же забегать? Расскажу, когда дойдет очередь, если не... забуду.

Улицы, домы, лавки—все это провинциально и похоже на все в мире, как я теперь погляжу, провинциальные города, в том числе и на наши: такие же длинные заборы, длинные переулки без домов, заросшие травой, пустота, эклектизм в торговле и отсутствие движения.

У одного переулка наш вожатый остановился, дав догнать себя, и пошел между двумя заборами, из-за которых выглядывали жарившиеся на солнце бананы. В этом переулке совсем не видно было домов, зато росло гораздо больше травы, в тени лежало гораздо более свиней и собак, нежели в других улицах. Наконец вот и дом, один, вдали, уж на загибе, другой — и только. «Да скоро ли кончится этот путь?» — говорили мы, донельзя утомленные жаром. Тагал остановился у первого из домов, у довольно грязных ворот. «Fonda!» — сказал он, указывая рукой во двор. Мы недоверчиво заглянули туда — и что же: опять коляски и лошади. «Что ж это значит: смеются, что ли, над нами?»—ворчали мы. «Fonda!» — твердил упрямо тагал. «Так что ж, что fonda? веди нас в отель!» — кричали мы, кто по-французски, кто по-английски. К счастью, вышел какой-то молодой человек и объявил по-английски, что это фунда, то есть отель и есть. «А лошади, коляски — что это значит?» — сердито спрашивали мы. «Хозяин содержит и экипажи»,— отвечал он.

Мы успокоились и спрятались под спасительную тень, пробежав двор, наполненный колясками и лошадьми, взошли на лестницу и очутились в огромной столовой зале, из которой открытая со всех сторон галерея вела в другие комнаты; далее следовали коридоры с нумерами. О, роскошь! солнца нет; везде сквозной ветер; но, к сожалению, он не всегда здесь к вашим услугам. У нас, на севере, велят избегать его, а здесь искать. Отель напоминала нам Сингапур: такие же длинные залы, длинный стол и огромный веер, прикрепленный к потолку. Везде задвижные рамы во всю величину окна. Есть и балкон или просто крыша над сараями, огороженная бортами, как на кораблях, или, лучше сказать, как на... балконах.

На нас с любопытством поглядывала толпа слуг, индийцев, большею частью мальчишек. Впрочем, тагалы вообще невысоки

---

[1] чистокровных *(франц.)*.

ростом и моложавы на вид. «Лимонаду!» — спросили мы, и вся толпа слуг разом бросилась вон, так что пол, столы, стулья — все заходило в зале. Тут я разглядел, что полы, потолки — все это выстроено чересчур на живую нитку. Я сквозь щели досок на полу видел, что делается на дворе; каждое слово, сказанное внизу, слышно в комнате, и обратно. Разглядел я еще, что в рамах нет ни одного стекла, а вместо их что-то другое. «Слюда!» — сказал один из нас. «Нет, это жесть,— решил другой,— посмотрите, какая крепкая!»

Слуги вбежали, как лошади, с таким же шумом, с каким ушли, и принесли несколько бутылок лимонаду. Мы жадно напали на лимонад и потом уже спросили, где хозяин и можно ли его видеть. Опять они с оглушительным топотом шарахнулись вон. Явился хозяин, m-r Demien, лет 35-ти, приятной наружности, с добрым лицом, в белой куртке и соломенной шляпе, вежливый, но не суетливый, держит себя очень просто, но с достоинством, не болтун и не хвастун, что редко встретишь в французе. Он объявил, что за полтора пиастра в сутки дает комнату, со столом, то есть с завтраком, обедом, ужином; что он содержит также и экипажи; что коляска и пара лошадей стоят в день два пиастра с половиной, а за полдня пиастр с четвертью; что завтракают у него в десять часов, обедают в четыре, а чай пьют и ужинают в восемь. «Впрочем, у меня когда хотите, тогда и дадут есть, comme chez tous les mauvais gargotiers» [1],— прибавил он. «Excellent, monsier Demien»[2],—сказал барон Криднер в умилении.

«Скажите, пожалуйста,— начали мы расспрашивать хозяина,— как бы посмотреть город?» — «Можно,— отвечал он, — вы что хотите видеть?» — «Прежде всего испанский город, достопримечательности».— «Можно».— «Церкви, например?» — «Можно».— «Так велите же дать лошадей, мы бы поехали...» — «Церкви видеть нельзя: они заперты»,— сказал Демьен. «Когда ж служат в них?» — «До восьми часов утра; позже — жарко».— «Ну, фабрику сигар можно видеть?» — «Нет, надо до одиннадцати часов утра; к полудню все расходятся отдыхать: жарко. Да у вас есть позволение от губернатора?» — «Позволение?» — спросили мы. «Да?» — «Нет». — «Впрочем, если у вас есть кто-нибудь знакомый в городе, то вас проведут, по знакомству с директором».

Мы призадумались перед этими неожиданными помехами. «Еще нам хотелось бы съездить внутрь острова: посмотреть, например, грот святого Маттео, лагуны... можно ли у вас достать лошадей?» — спрашивали мы далее. «Можно, сколько хотите; только здешнее начальство неохотно пускает иностранцев внутрь... Впрочем, для вас, может быть, губернатор разрешит: вы редкие гости».— «Чем же это лучше Японии? — с досадой сказал я.— Нечего делать, велите мне заложить коляску,—

---

[1] как у всех плохих кабатчиков *(франц.)*.
[2] Превосходно, господин Демьен *(франц.)*.

прибавил я,— я проедусь по городу, кстати куплю сигар...» — «Коляски дать теперь нельзя...»— «Вы шутите, господин Демьен?» — «Нимало: здесь ездят с раннего утра до полудня, потом с пяти часов до десяти и одиннадцати вечера; иначе заморишь лошадей».— «Где ж магазин с сигарами! покажите, мы пешком пойдем».— «Есть один магазин казенный, да там не всегда бывают сигары... надо на фабрике...» — «Это из рук вон! ведь на фабрику попасть нельзя?» — «Трудно».— «Где ж берут сигары? мы на улице видели, все курят».— «В частных лавках есть, да дрянные».— «Нет ли у вас?»—«Нет, я не держу, потому что здесь всякий сам запасает себе».

Мы пожали плечами, а Демьен улыбался: он наслаждался нашим положением. «Что ж нам делать теперь — научите».— «А вот отдохните здесь, теперь три часа, в четыре подадут обед: обедайте, если хотите, а после я тотчас велю закладывать экипажи, пораньше, для вас, и вы поедете кататься. Сигар я пошлю купить сейчас же».—«Мы обедали»,—отвечали мы. «Завтракали,— поспешно добавил барон, —почему ж не отобедать? Надо же изучать нравы, обычаи...» — «А что это у вас вставлено в рамы вместо стекол?» — спросил я хозяина. «Перламутровые раковины».— «Зачем же?» — «Они мало света пропускают в комнаты и не принимают в себя жара. Да стекол здесь не напасешься от одних землетрясений»,— прибавил он.

Мы сели у окна, на самом сквозном ветру, и смотрели на огороженный забором плац, с аллеею больших тенистых деревьев, назначенный, по-видимому, для ученья солдат. Дальше виднелись крыши домов, с редкою, выглядывавшею из-за них зеленью. С другой стороны, с балкона, вид был лучше. Балкон выходил на Пассиг, с движущейся по ней живой панорамой судов, странных лодок, индийцев. Из-за крепостной стены глядели куполы и кресты церквей. В трактир приходили и уходили разные лица, всё в белых куртках, индийцы в грязных рубашках, китайцы без того и без другого. Мимо везли на буйволах разные клади: видно, буйволы, насчет езды по жаре, не входили в одну категорию с лошадьми.

В трактире к обеду стало поживее: из нумеров показались сонные лица жильцов: какой-то очень благообразный, высокий, седой старик, в светло-зеленом сюртуке, ирландец, как нам сказали, полковник испанской службы, француз, бледный, донельзя с черными волосами, донельзя в белой куртке и панталонах, как будто завернутый в хлопчатую бумагу, с нежным фальцетто, без грудных нот. Потом, несмотря на жар, пришло с улицы несколько английских шкиперов: что за широкоплечесть! что за приземистость! ноги, вогнутые внутрь или дугой наружу. Они вчетвером, как толпа буйволов, прошли по галерее мерно, основательно, так что пол заходил ходенем. Посмотришь ли на индивидуума этой породы спереди, только и увидишь синюю, толстую суконную куртку, такие же панталоны, шляпу и под ней, вместо

лица, круг красного мяса, с каймой рыжих, жестких волос, да огромные, жесткие, почти неразжимающиеся кулаки: горе, кому этакой кулак окажет знак вражды или дружбы! Взглянешь сзади — то же самое, только шляпа вплоть приходится к плечам. Он неизменим всегда и везде: ни белых курток, ни соломенных шляп, никаких этих нежностей не знает. Явилось еще несколько лиц, всего человек двадцать. Слуги проявляли необыкновенную деятельность: они продолжали бросаться вон и возвращаться бегом, каждый с каким-нибудь блюдом, и скоро заставили весь стол, так что скатерти стало не видно.

Чего не было за столом! Мяса решительно все и во всех видах, живность тоже; зелени целый огород, между прочим кукуруза с маслом. Но фруктов мало: не сезон им.

Стол — смесь английского с французским: зелень, например, вся приготовлена по-французски, а мясо и рыба поданы по-английски, неразрезанными; к ним особо опять французские рагу, тут же и сои, пикули. Хотя все кушанья разом поставлены на стол, но собеседники друг друга не беспокоили просьбою отрезать того, другого, как принято у англичан. «Зачем так много всего этого?— скажешь невольно, глядя на эти двадцать, тридцать блюд,— не лучше ли два-три блюда, как у нас?..» Впрочем, я не знаю, что лучше: попробовать ли понемногу от двадцати блюд, или наесться двух так, что человек после обеда часа два томится сомнением, будет ли он жив к вечеру, как это делают иные...

Слуги и за обедом суются как угорелые, сталкивают друг друга с ног, беснуются и вдруг становятся неподвижно и глядят на вас, прося глазами приказать что-нибудь еще.

После обеда стало посвежее; все разъехались. Мне подали прекрасную небольшую коляску, запряженную парой мелких, но прехорошеньких, круглых и резвых лошадей. «Велите кучеру ехать сначала в Манилу,— сказал я хозяину,— потом в окрестности, только подальше и позанимательнее».— «А на кальсадо хотите ехать?» — спросил он. «Что это такое кальсадо?» —«Это гулянье около крепости и по взморью: туда по вечерам собираются все кататься».—«Ужо, попозднее»,—сказал я. Он долго что-то говорил кучеру, и тот погнал лошадей, еще по горячим улицам, по которым мы утром тащились пешком до отели. Я прилежно глядел кругом, чтоб скорее освоиться в городе.

Мы промчались по предместью, теперь уже наполненному толпами народа, большею частию тагалами и китайцами, отчасти также метисами: весь этот люд шел на работу или с работы; другие, казалось, просто обрадовались наступавшей прохладе и вышли из домов гулять, ходили по лавкам, стояли толпами и разговаривали.

Тагалы нехороши собой: лица большею частью плоские, овальные, нос довольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи не чисто смуглый. Они стригутся по-европейски, одеваются в бумажные панталоны, сверху выпущена бумажная же рубашка;

У франтов кисейная, с вышитою на европейский фасон манишкой. В шляпах большое разнообразие: много соломенных, но еще больше европейских, шелковых, особенно серых. Метисы ходят в таком же или уже совершенно в европейском платье.

Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше мужчин: лица у них правильнее, глаза смотрят живее, в чертах больше смышлености, лукавства, игры, как оно и должно быть. Они большие кокетки: это видно сейчас по взглядам, которыми они отвечают на взгляды любопытных, и по подавляемым улыбкам. Как хорош смуглый цвет при живых, страстных глазах и густой черной косе, которая плотным узлом громоздится на маленькой голове, напоказ всем, без всякого убора! Вас поразила бы еще стройность этих женщин: они не высоки ростом, но сложены прекрасно, тем прекраснее, что никто, кроме природы, не трудился над этим станом. Нет ни пояса, ни тесемки около поясницы, ничего, что намекало бы на шнуровку и корсет. Весь костюм состоит из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, без рубашки; юбка прикрыта еще большим платком — это нижняя часть одежды; верхняя состоит из одного только спенсера, большею частью кисейного, без всякой подкладки, ничем не соединяющегося с юбкою: от этого, при скорой походке, от грациозных движений тагалки, часто бросается в глаза полоса смуглого тела, внезапно открывающаяся между спенсером и юбкой.

У многих, особенно у старух, на шее, на медной цепочке, сверх платья, висят медные же или серебряные кресты, или медальоны, с изображениями святых. Нечего прибавлять, что все здешние индийцы — католики. В дальних местах, внутри острова, есть еще малочисленные племена, или, лучше сказать, толпы необращенных дикарей; их называют негритами (negritos). Испанское правительство иногда посылает за ними небольшие отряды солдат, как на охоту за зверями.

Между этими стройными женскими фигурами толкались, кроме тагалов, китайцы в своих кофтах, с длинною, путавшеюся в ногах косою, или пробирались монахи. И мужчины и женщины почти все курили сигары.

Мы выехали из предместья и по длинному, но довольно узкому мосту через Пассиг, потом мимо казарм, въехали в крепость, окруженную широким, наполненным водой рвом и серой, массивной стеной из дикого камня. Проехали еще чрез ворота за внутреннюю, выбеленную кирпичную стену и очутились в длинной, узенькой, мрачной улице испанского города. Домы шли сплошной массой, в два этажа, с непрерывной каймой висячих балконов, похожих на шкафы с плотно затворенными дверцами. Нижние этажи первой улицы заняты китайскими лавками, всё почти с европейскими товарами.

Мы мчались из улицы в улицу, так что предметы рябили в глазах: то выскочим на какую-нибудь открытую площадку — и все обольется лучами света: церковь, мостовая, сад перед цер-

ковью, с яркою и нежною зеленью на деревьях, и мы сами, то погрузимся опять во тьму кромешную длинного переулка. В глазах мелькнет вывеска лавки, отворенное жалюзи и заспанное лицо старого испанца; там арфа у окна; там детская головка, солдат на часах. Сказал бы кучеру: *стой, тише!* да как ему скажешь? Выйдет такая же история, пожалуй, как давеча *с фондой*. Мы доскакали до большой площади, с сквером посредине и бронзовым монументом. «Stop, halt» [1],— говорил я. Кучер все мчал дальше. Я потерял терпение и тростью тронул его в спину. Он быстро обернулся ко мне и смотрел на меня вопросительно, а лошади все ехали. Насилу я знаками объяснил ему, что хочу выйти.

Я пошел по площади кругом; она образует параллелограмм: с одной стороны дворец генерал-губернатора — большое двухэтажное каменное здание новейшей постройки; внизу, в окнах, вместо рам, большие железные решетки. Здесь все домы в два этажа; в нижних этажах помещаются лавки и кладовые, но не жилые покои, по причине землетрясений. Здания строятся по двум способам: или чрезвычайно массивно, как строятся монастыри, казармы, казенные домы, так что надо необыкновенное землетрясение, чтоб поколебать громадные стены этих зданий; или же сколачиваются на живую нитку, вроде балаганов, как выстроена фонда и почти все другие частные домы. В них потолки и полы так легки и эластичны, что покоряются движению почвы и, пошатавшись немного, остаются на своем месте. Здесь, говорят, все привыкли к землетрясениям: и домы и люди. Напротив дворца — ратуша с башенкой наверху. С третьей стороны собор, на четвертой — ряд больших, выстроенных в линию, частных домов.

Площадь вся так и горела жаром — нужды нет, что был уже в исходе пятый час. Домы стоят, точно необитаемые, с закрытыми жалюзи. Церковь, с серыми, обросшими мохом стенами, покоится мертво и немо. Нигде ни звука, ни движения; птичка даже не пролетит, и солдат у ворот дворца точно прирос к земле, как эта статуя Карла IV. Около монумента, на сквере, только что посажены, не сегодня, так вчера, кустики с голыми прутьями — будущие деревья; они смотрели так жалко и сухо, как будто отчаивались вырасти под этим солнцем.

Я хотел обойти кругом сквера, но подвиг был не по силам: сделав шагов тридцать, я сел в коляску, и кучер опять беспощадно погнал лошадей, опять замелькали предметы. Но город уже понемногу оживал: кое-где отодвигались жалюзи; появлялись люди. На одном балконе, опершись локтями о решетку, сидела молодая женщина, с матовым лицом, с черными глазами; она смотрела бойко: видно, что не спала совсем. Вот вечером тут, пожалуй, явится кто-нибудь с *отвагой* и *шпагой* [2], а может быть,

[1] Стой *(англ. и немецк.)*.
[2] Из стихотворения А. С. Пушкина «Я здесь, Инезилья» (1830).

и с *шелковыми петлями*. Я стал вглядываться попристальнее в нее, и она скрылась. Кое-где отворяли решетчатые железные ворота в домах; слышался стук колес; там, на балконе, собралось целое семейство наслаждаться чуть-чуть повеявшей прохладой.

Проехав множество улиц, замков, домов, я выехал в другие ворота крепости, ко взморью, и успел составить только пока заключение, что испанский город — город большой, город сонный и город очень приятный. Едучи туда, я думал, правду сказать, что на меня повеет дух падшей, обедневшей державы, что я увижу запустение, отсутствие строгости, порядка, словом поэзию разорения, но меня удивил вид благоустроенности, чистоты: везде видны следы заботливости, даже обилия.

За городом дорога пошла берегом. Я смотрел на необозримый залив, на наши суда, на озаряемые солнцем горы, одни, поближе, пурпуровые, подальше — лиловые; самые дальние синели в тумане небосклона. Картина впереди — еще лучше: мы мчались по большому зеленому лугу, с декорацией индийских деревень, прячущихся в тени бананов и пальм. Это одна бесконечная шпалера зелени — на бананах нежной, яркой до желтизны, на пальмах темной и жесткой.

Кучер мчит неистово; я только успеваю кидать быстрые взгляды направо и налево. Тут степа бамбуков; я нигде не видал таких больших и стройных деревьев: они растут исполинскими кустами или букетами, устремляясь, как пучки стрел, вверх, и там разбегаются ветвями в разные стороны. Дальше густая, непроницаемая масса смешанной зелени, в которой местами прячутся кисти хлебных плодов, фиг или гранат, как мне казалось при такой быстрой езде. Из чащи зелени мы вдруг вторгались в тагальскую деревню, проскакивали мимо хижин без стен, с одними решетками, сплетенными из растущего тут же рядом бамбука, крытых банановыми листьями, и без того, впрочем, осеняющими круглый год всю хижину. Деревня заменялась опять сплошным лесом-садом, который тянется долго, целые мили. Потом зеленая шпалера внезапно раздвинется, открывая поля с грядами, покосами, фермами, стадами, с пестрыми нивами, как заплатами, которые стелются далеко, вплоть до синеющего на горизонте леса. Местами декорация леса прячет за собой табачную, кофейную или, наконец, сахарную плантацию. Одно цветет, с другого уже собраны плоды, третье едва всходит. Но бананы превозмогают все: везде, из всех углов и щелей, торчат их нескромные, яркосвежие листья, осеняющие крупные и тяжелые кисти плодов. Все здесь заросло, все зелень, все сад, как на Яве; нет пустого клочка голой земли.

Сколько мостиков и речек перемахнули мы! Везде на них жилье, затишья, углубления в сторону: там, в сонные воды заблудившейся в лесу и ставшей неподвижно речки, смотрятся дачи, во всем убранстве зелени и цветов; через воды переброшен

мост игрушечной постройки, каких много видишь на театре, отчасти на Черной речке [1] тоже.

На балконах уже сидят, в праздном созерцании чудес природы, заспанные, худощавые фигуры испанцев de la vieille roche [2], напоминающих Дон-Кихота: лицо овальное, книзу у́же, с усами и бородой, похожей тоже на ус, в ермолках, с известными крупными морщинами, с выражающим одно и то же взглядом тупого, даже отчасти болезненного раздумья, как будто печати страдания, которого, кажется, не умеет эта голова высказать, за неуменьем грамоте. На всех картинках испанской школы увидите такие лица. Другие еще почивают или, проснувшись, кушают. Быстроглазые тагалки, занятые чем-нибудь в хижинах или около, вдруг поднимают на проезжих глаза и непременно что-нибудь высказывают ими: или вопрос, или насмешку, или другое, но во всяком случае красноречиво. Мужчины — те ничего не говорят: смотрят на вас с равнодушным любопытством, медленно, почесывая грудь, спину или что-нибудь другое, как делают и у нас мужчины в полях, отрываясь на минуту от плуга или косы, чтоб поглядеть на проезжего. Одни из них возятся около волов, другие работают по полям и огородам, третьи сидят в лавочке и продают какую-нибудь дрянь; прочие покупают ее, едят, курят, наконец многие большею частью сидят кучками всюду на улице, в садах, в переулках, в поле и почти все с петухом под мышкой.

Это вечный товарищ тагала: он с ним всюду. Я видел петухов, привязанных к дверям лавок: хозяин торгует — петух должен быть тут же. Я останавливался, выходил из коляски посмотреть, что они тут делают; думал, что увижу знаменитые манильские петушьи бои, но видел только боевые экзерциции; [3] петухов раздражали, спуская друг на друга, но тотчас же и удерживали за хвост, как только рыцари слишком ощетинятся. Тут лишь пробовали их силу, ценили качества и готовили к настоящим *сражениям*. А сражения происходят в особых цирках, по праздникам. Странно видеть взрослых людей, с задумчивыми, иногда с такими деловыми физиономиями, за ребяческой забавой. Мне невольно пришла на память Европа, карты и деловые физиономии тоже...

Когда я выезжал из города в окрестности, откуда-то взялась и поехала, то обгоняя нас, то отставая, коляска; в ней на первых местах сидел августинец [4], с умным лицом, черными, очень выразительными глазами, с выбритой маковкой, без шляпы, в белой полотняной или коленкоровой широкой одежде; это бы ничего: on ne voit que ça [5], говорит француженка; но рядом с монахом

---

[1] Черная речка — местность около Петербурга.
[2] старого закала *(франц.)*.
[3] упражнения (от *франц.* exersise).
[4] Монах католического августинского ордена.
[5] только их и видишь *(франц.)*.

сидел китаец — и это не редкость в Маниле. У этого китайца были светло-русые волосы, голубые или по крайней мере серые глаза, белое или, скорее, красноватое лицо, начиная с носа, совершенно как у европейца. Подумав хорошенько, я снизошел и к этому явлению. «Почему ж,— думал я,— не быть у китайца русым волосам и красному носу, как у европейца? ведь англичане давно уж распространяют в Китае просвещение и завели много своего. Между прочим, и носы и русые волосы...» Но зачем у этого китайца большой золотой крест на груди? Если он христианин, как надо полагать, зачем он в китайском платье? — боится своих, прячется? не думаю: тогда бы он боялся носить и крест. Наконец зачем он сидит с католическим монахом? Кто это против них, весь в черном, светском платье, худощавый мужчина, который не надевает шляпы, а держит ее в руках? Потом отчего они все молчат и смотрят в разные стороны?

Это очень интриговало меня; я поминутно обращал взгляды на коляску, до того, что августинский монах вышел из терпения и поклонился мне, полагая, вероятно, по моим вопросительным и настойчивым взглядам, что я добивался поклона. Мне стало совестно, и я уже не взглянул ни разу на коляску, и не знаю, где и как она отстала от нас.

Солнце уж скрывалось; мертвый полуденный сон миновал; бездействие кончилось. По деревьям, по дороге и по воде заиграл ветерок, подувший с моря, но так мягко, нежно, осторожно, как разве только мать дует в лицо спящему ребенку, чтоб согнать докучливую муху. Почти не слыхать его, а прохладно, тепло и покойно; ветви не качаются взад и вперед и не хлещут одна другую, как в наших северных дубравах; они не движутся, только листья шепчут, и то не все: иной с подошву толщиной — где ему шептать! зефиры не скоро раскачают его.

А кучер все мчал да мчал меня, то по глухим переулкам, с бедными, но чистыми хижинами, по улицам, то опять по полянам, по плантациям. Из-за деревьев продолжали выглядывать идиллии в таких красках, какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. Везде толпы; на балконах множество голов.

Мы проезжали мимо развалин массивного здания, упавшего от землетрясения, как надо полагать. Я вышел из экипажа, заглянул за каменную ограду и видел стену с двумя-тремя окнами да кучу щебня и кирпичей, заросших травой.

В тагальских деревнях между хижинами много красивых домов легкой постройки—это дачи горожан,которые бегут сюда, между прочим, тотчас после первых приступов землетрясения, как сказал мне утром мсьё Демьен. Здесь нечему раздавить человека: всё из жердочек, из прутьев; стен нет: место их занимают окна, задвигаемые посредством жалюзи. Жалюзи открывались к вечеру и обнаруживали внутренность домов. У тагалов нечего смотреть: несколько посуды для приготовления пищи, лавки и семейство, сидящее на полу. Хижины строятся на подставках,

для защиты от периодически разливающихся рек, от дождей; под хижиной помещаются свиньи, куры, все домашнее хозяйство. Побогаче хижины окружены двориками, огороженными бамбуком, а чаще кустами бананов. Во многих хижинах я видел висящие мундиры, а иногда и сам смуглый воин из тагалов, вроде Отелло, сидел тут же, среди семейства.

Да, прекрасны окрестности Манилы, особенно при вечернем солнце: днем, в полдень, они ослепительны и знойны, как степь. Если б не они, не эта растительность и не веселый, всегда праздничный вид природы, не стоило бы, кажется, и ездить в Манилу, разве только за сигарами.

Мы въехали в город с другой стороны; там уж кое-где зажигали фонари: начинались сумерки. Китайские лавки сияли цветными огнями. В полумраке двигалась по тротуарам толпа гуляющих; по мостовой мчались коляски. Мы опять через мост поехали к крепости, но на мосту была такая теснота от экипажей, такая толкотня между пешеходами, что я ждал минут пять в линии колясок, пока можно было проехать. Наконец мы высвободились из толпы и мимо крепостной стены приехали на гласис [1] и вмешались в ряды экипажей.

Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе 1-го мая? По гласису тянутся две аллеи больших широколиственных деревьев; между аллеями, по широкой дороге, движется бесконечная нить двуместных и четвероместных колясок, с синьорами и синьоринами, с джентльменами, джентльменками, и огибает огромное пространство от предместий, мимо крепости, до самого взморья. На берегу залива собралось до сотни экипажей: гуляющие любовались морем и слушали прекрасную музыку. Играли полковые музыканты. Я остановился послушать знакомые мотивы из опер и незнакомые польки, мазурки. Многие мужчины — в белом, исключая львов: те — в суконном платье и черных шелковых шляпах. Весь шик заключается в том, чтоб — хоть задохнуться, да казаться европейцем, не изменять европейского костюма и обычаев. Женщины испанки — все с открытой головой и даже без мантильи; англичанки и американки в шляпках. Лиц не видать: темно. Местами расставлены жандармы, в треугольных шляпах, темных мундирах с белою перевязью, верхом на небольших, но крепких, коренастых лошадях. Порядок строгий; ни одна коляска не смеет обогнать другую, ни остановиться в рядах.

Это и есть знаменитое кальсадо, или гулянье, о котором говорил m-r Demien.

Проехав раза два по нем взад и вперед, я отправился в отель. Кальсадо не уйдет: да хоть бы и ушло — не беда: это та же Москва, Петербург, Берлин, Париж и т. д. В «фонде» уж опять накрыт

---

[1] Гласис — в крепостях пологая земляная насыпь перед наружным рвом.

длинный стол, опять заставили его двадцатью блюдами, все почти теми же, что и за обедом, кроме супа. Это называется *пить чай*, а чаю не видать. Вскоре, один за другим, собрались все — и наши и чужие. Завязался живой и шумный разговор, рассказ, кто что видел, слышал. Я ушел на балкон и велел туда принести себе чай. Боже мой, какая микстура! Полухолодный, темный и мутный настой, мутный от грязного сахарного песку. В Маниле родится прекрасный сахар и нет ни одного завода для рафинировки. Все идет отсюда вон, больше в Америку, на мыс Доброй Надежды, по китайским берегам, и оттого не достанешь куска белого сахару. Нужды нет, что в двух шагах от Китая, но не достанешь и чашки хорошего чаю. Я убеждаюсь более и более, что иностранцы не знают, что такое чай, и что одни русские знают в нем толк.

Ночь была лунная. Я смотрел на Пассиг, который тек в нескольких саженях от балкона, на темные силуэты монастырей, на чуть-чуть качающиеся суда, слушал звуки долетавшей какой-то музыки, кажется арфы, только не фортепиан, и женский голос. Глядя на все окружающее, не умеешь представить себе, как хмурится это небо, как бледнеют и пропадают эти краски, как природа расстается с своим праздничным убором.

«Ваше высокоблагородие! — прервал голос мое раздумье: передо мной матрос.— Катер отваливает сейчас; меня послали за вами». На рейде было совсем не так тихо и спокойно, как в городе. Катер мчался стрелой под парусами. Из-под него фонтанами вырывалась золотая пена и далеко озаряла воду. Через полчаса мы были дома.

24-го февраля. Я уж давно живу у Демьена в отели. Наши приезжают утром и к вечеру возвращаются на фрегат. На другой день прихода нашего хотел было я перебраться в город, но к нам приехали с визитом испанцы. Дома были только вахтенный офицер да еще очень немногие, кого удерживала служба. Я с Фаддеевым укладывался у себя в каюте, чтоб ехать на берег, вдруг Криднер просунул ко мне голову в дверь. «Испанцы едут»,— сказал он. «Бог с ними!» — отвечал я. «Примите их, сделайте одолжение»,— просил он. «Что я с ними буду делать?» — «А я еще меньше вас». Но разговаривать было некогда: на палубу вошло человек шесть гидальго, но не таких, каких я видел на балконах и еще на портретах Веласкеца и других; они были столько же гидальго, сколько и джентльмены: все во фраках, пальто и сюртуках, некоторые в белых куртках. «Commendante de bahia!» — сказал мне один из гидальго, показывая на высокого и красивого мужчину с усами. Но commendante de bahia ни по-французски, ни по-английски не говорил, по-русски ни слова, а я знал по-испански одно: fonda да, пожалуй, еще другое — muchacho, которое узнал в отели и которое значит «мальчик». Теперь к моему лексикону прибавились еще два слова: fuego — огонь, anda — пошел! К счастью, с ним были, между прочим, два

молодые человека, которые, хотя очень дурно, но зато очень скоро говорили по-французски. Один Vincento d'Abello, сын редактора здешней газеты, сборщика податей тож, другой Carmena; оба они служили и по редакции и по сбору податей.

Я до сих пор имею темное понятие о том, что такое «commendante de bahia» — начальник залива, в переводе. Вчера утром уж был у нас какой-то *капитан над портом*, только не этот. Что ж это еще? Им показали фрегат, вызвали музыку, угощали чаем, только не микстурой, а нашим, благовонным чаем. Они заговорили о турках, об англичанах, о синопском деле [1], о котором только что получено было известие. А я им о Коррехидоре, острове, лежащем у входа в залив, потом о сигарах. Они обещали мне полное покровительство для осмотра фабрики и для покупки сигар.

Только на другой день утром мог я переселиться в город. Приехал барон Криднер с берега, с каким-то китайцем. Но какой молодец этот китаец! большие карие глаза так и горят, лицо румяное, нос большой, несколько с горбом. Они проходят по палубе и говорят чистейшим французским языком. «Вот французский миссионер, живущий в Китае»,— сказал барон, знакомя нас. Мне объяснилось вчерашнее явление за городом. «Вы здесь не одни,— сказал я французу,— я видел вчера кого-нибудь из ваших тоже в китайском платье, с золотым наперсным крестом...» — «Круглолицый, с красноватым лицом и отчасти носом... figure rubiconde?» [2] — спросил француз. «Да, да!» — «Это наш епископ, monseigneur Dinacourt: [3] он заведывает христианами провинции Джеджиан (или Чечиан, или Шешиан) в Китае; теперь приехал сюда отдохнуть в здешнем климате: он страдает приливами к голове. Хотите побывать у него? Он будет очень рад и сам явится к вам».— «Очень рады».— «И к испанскому епископу».— «Мы бы очень желали... особенно интересно посмотреть здешние монастыри».— «И прекрасно: monseigneur Dinacourt живет сам в испанском монастыре. Завтра или — нет, завтра мне надо съездить в окрестности, в pueblo [4]— послезавтра приезжайте ко мне, в дом португальского епископа; я живу там, и мы отправимся».

Отель была единственное сборное место в Маниле для путешественников, купцов, шкиперов. Беспрестанно по комнатам проходят испанцы, американцы, французские офицеры, об одном эполете, и наши. Французы, по обыкновению, кланяются всем и каждому; англичане, по такому же обыкновению, стараются ни на кого не смотреть; наши делают и то и другое, смотря по надобности, и в этом случае они лучше всех.

---

[1] В морском сражении у Синопа в ноябре 1853 года русская эскадра разбила основные силы турецкого флота.

[2] краснолицый *(франц.)*.

[3] монсеньер Динакур *(франц.)*.

[4] деревню *(испанск.)*.

Мне не раз случалось слышать упреки, что мы не очень разговорчивы в публичных местах с незнакомыми, что вот французы любезнее всех и т. п. Справедливы ли такие упреки? Для чего навязывать какому-нибудь народу черту, какой у него нет в нравах? Англичане вовсе не говорят в публичных местах между собою. «Оттого у них и скучно, в их собраниях»,—скажете вы. Совершенно справедливо: едешь ли по железной дороге, сидишь ли в таверне, за обедом, в театре — молчание. Но зато англичане не беспокоят друг друга в публичных местах. Уважение к общественному спокойствию простерто до тонкости и... действительно до скуки. А вот мой приятель, барон Криднер, воротясь из Парижа, рассказывал, что ему на парижской дороге, в одном вагоне, было до крайности весело, а в другом до крайности страшно. В последний забралось несколько чересчур разговорчивых и «любезных» людей: одни пели, другие хохотали, третьи курили; но были и такие, которые не пели, не хохотали и не курили. Беспрестанно слышалось: «Laissez-moi tranquille, je veux dormir».—«Dormez, si vous pouvez. Quant à moi, j'ai payé mon argent aussi bien que vous, je veux chanter».— «Au diable les fumeurs!» — «Tenez-vous tranquille ou bien je vous dirai deux mots...» [1]

Уж не знаю, что хуже: молчать или разговаривать вот этак? Впрочем, если заговоришь вот хоть с этим американским кэптеном, в синей куртке, который наступает на вас с сжатыми кулаками, с стиснутыми зубами и с зверским взглядом своих глаз, цвета морской воды, он сейчас разожмет кулаки и начнет говорить, разумеется о том, откуда идет, куда, чем торгует, что выгоднее, привозить или вывозить и т. п. Болтовни, острот от него не ждите. От француза вы не требуете же, чтоб он так же занимался своими лошадьми, так же скакал по полям и лесам, как англичане, ездил куда-нибудь в Америку бить медведей или сидел целый день с удочкой над рекой... словом, чтоб был предан страстно спорту. «Этот спорт,— заметил мне барон Криднер, которому я все это говорил,— служит только маской скудоумия или по крайней мере неспособности употребить себя как-нибудь лучше...» Может быть, это правда: но зато как англичане здоровы от этих упражнений спорта, который входит у них в систему воспитания юношества!

Мы пошли ходить по лавкам, накупили тонких соломенных шляп и сигарочниц. Заметив большое требование, купцы, особенно китайцы, набивали цену за свой товар. Дюжину посредственных сигарочниц они продавали за три доллара — это еще дешево; но за другие, побольше, мягкие, тонкие и изящные, просили по три доллара за штуку и едва соглашались брать по полтора. Что может быть лучше манильской соломенной шляпы?

---

[1] «Оставьте меня, я хочу спать». — «Спите, если можете, что же до меня, то я заплатил так же, как и вы, я хочу петь».— «К черту курильщиков!» — «Успокойтесь, или я скажу вам два слова...» *(франц.)*

Она тонка и гладка, как лист атласной почтовой бумаги — на голове не слыхать — и плотна, солнце не пропекает через нее; между тем ее ни на ком не увидишь, кроме тагалов да ремесленников, потому что шляпы эти — *свое*, туземное изделье и стоит всего доллар, много полтора. Львы носят черные шелковые, как я сказал; просто джентльмены — низенькие некрасивые шляпы, грубой китайской соломы, которые продаются по три доллара. Манила знаменита еще изделиями из волокон *пины*, ананасовых кореньев. Из этих волокон делают материи, вроде кисеи, легкие, прозрачные, и потом носовые платки, те дорогие лоскутки, которые барыни возят в вечерние собрания напоказ и в которые сморкаться не положено. Я долго не догадывался, что это за товар продает всякий день индиянка на полу, в галерее нашей отели. Около нее всегда толпились некоторые из женатых моих спутников.

Мы ходили из лавки в лавку, купили несколько пачек сигар — оказались дрянные. Спрашивали, по поручению одного из товарищей, оставшихся на фрегате, нюхательного табаку — нам сказали, что во всей Маниле нельзя найти ни одного фунта. Нас всё потчевали европейскими изделиями: сукнами, шелковыми и другими материями, часами, цепочками; особенно француз в мебельном магазине так приставал, чтоб купили у него цепочку, как будто от этого зависело все его благополучие.

Измученные, мы воротились домой. Было еще рано, я ушел в свою комнату и сел писать письма. Невозможно: мною овладело утомление; меня гнело; перо падало из рук; мысли не связывались одни с другими; я засыпал над бумагой и поневоле последовал полуденному обычаю: лег и заснул крепко до обеда.

После обеда мы с бароном Криднером отправились в окрестности. По дороге мы останавливались в двух церквах. В одной — в предместии Бинондо, за мостом, да в другой — уже за городом, при въезде в индийские деревни. У ограды первой встретился нам иезуит, в черной рясе, в черной шляпе, с длинными-предлинными полями — вы знаете эту шляпу. Иезуит поклонился нам. «Don Basilio!» [1] — протяжно пропел мой спутник, отдавая поклон. Церковь совсем нового стиля, чисто итальянского, без всякой примеси готического и мавританского. Внутренность расположена крестом. Образо́в меньше, нежели скульптурных изображений. Иисус Христос, в фиолетовой бархатной рясе, несущий крест, с терновым венком на голове, божия матерь с младенцем — все эти изображения сделаны из воска, иные, кажется, из дерева. Я не скажу, чтоб это возбуждало благоговение... напротив. Вечерняя молитва кончилась, но в церкви было довольно молящихся. Несколько испанок в черных, метиски в белых мантильях и полосатых юбках; они стояли на

---

[1] Don Basilio — монах, персонаж в комедии французского драматурга Бомарше (1732—1799) «Севильский цирюльник» и комической опере того же названия итальянского композитора Россини (1792—1868).

коленях по две, по три, уткнувшись носами в книгу и совсем закрывшись мантильями. Напрасно мы ждали, не взглянут ли они кругом себя, но ни одна не шевельнулась, и мы не могли прочесть благоговения или чего-нибудь другого на лицах их. Мальчишки стояли на коленях по трое в ряд; один читал молитвы, другие повторяли нараспев, да тут же кстати и шалили — всё тагалы; взрослых мужчин не было ни одного. Священник исповедовал мальчика лет десяти, который, стоя на коленях, шептал ему на ухо. Священник задумчиво слушал, и как долго: все время, пока мы были в церкви! В другой церкви то же самое, только победнее. Ни одной испанки или метиски, всё тагалки. Также много деревянных фигур, работы очень грубой.

Мы вышли... Какое богатство, какое творчество и величие кругом в природе! Мы ехали через предместье Санта-Круц в Мигель и выехали через канал, на который выходят балконы и крыльца домов, через маленький мостик, через глухие улицы и переулки, на Пассиг.

Тут только увидал я, как велик город, какая сеть кварталов и улиц лежит по берегам Пассига, пересекая его несколько раз! После этого не удивишься, что здесь до ста пятидесяти тысяч жителей. Мы остановились на минуту в одном месте, где дорога направо идет через цепной мост к крепости, мимо обелиска Магеллану, а налево... Ах, как хорошо налево! Когда будете в Маниле, велите везти себя через Санта-Круц в Мигель: тут река образует островок, один из тех, которые снятся только во сне да изображаются на картинах; на нем какая-то миньятюрная хижина в кустах; с одной стороны берега смотрятся в реку ряды домов, лачужек, дач; с другой — зеленеет луг, за ним плантации. Что за картины! что за вечер! «А у нас-то теперь,— сказал я барону,— шубы, сани, визг полозьев...» — «И опера»,— договорил он. «Нет, великий пост и война!»

Мы помчались вдаль, но места были так хороши, что спутник мой остановил кучера и как-то ухитрился растолковать ему, что мы не держали ни с кем пари объехать окрестности как можно скорее, а хотим гулять. Мы поехали тихой рысью; кучер был, кажется, не совсем доволен, но зато лошади и мы с бароном совершенно счастливы. Места — что дальше, то лучше. Мальчишки бежали за коляской, прося милостыни: видно было, что они делали это из баловства. Взрослые стояли тут же, у своих хижин, и не просили ничего. Мне напомнило детство и наши провинции множество бумажных змей, которые мальчишки спускали за городом на каждом шагу. Только у нас, от одного конца России до другого, змеи всё одни и те же, с знаменитым мочальным хвостом и трещоткой, а здесь они в виде бабочек, птиц и т. п. Некоторые хижины едва походили на человеческое жилье. У иной подставки покривились так, что нельзя и угадать, как она держится. Из нее вылезет ребенок, выскочит курица или прыгнет туда же собака и сидит там, рядом с цыпленком и с самим хозя-

ином. В другом месте все жилище состоит из очага, который даже нельзя назвать *домашним* за отсутствием самого дома; на очаге жарится что-нибудь; около возится старуха; вблизи есть всегда готовый банан или гряда таро, картофелю. Здесь больше и не нужно.

Возвращаясь в город, мы, между деревень, наткнулись на казармы и на плац. Большие желтые здания, в которых поместится до тысячи человек, шли по обеим сторонам дороги. Полковник сидел в креслах на открытом воздухе, на большой, расчищенной луговине, у гауптвахты; молодые офицеры учили солдат. Ученье делают здесь с десяти часов до двенадцати утра и с пяти до восьми вечера.

Солдаты все тагалы. Их, кто говорит, до шести, кто — до девяти тысяч. Офицеры и унтер-офицеры — испанцы. По всему плацу босые индийские рекруты маршировали повзводно; их вел унтер-офицер, а офицер, с бамбуковой палкой как коршун, вился около. Палка действовала неутомимо, удары сыпались то на голые пятки, то на плечи, иногда на затылок провинившегося... Я поскорей уехал.

На кальсадо гулянье было в полном разгаре. Весь город приехал туда, а деревни пришли. Есть много хорошеньких лиц, бледных, черноглазых синьор, с открытой головой и волшебным веером в руках. Они отличаются от всех гордостью во взгляде, во всей позе, держат себя аристократически строго. Вот метиски — другое дело: они бойко врываются, в наемной коляске, в ряды экипажей, смело глядят по сторонам, на взгляды отвечают повторительными взглядами, пересмеиваются с знакомыми, а может быть, и с незнакомыми... Среди круга многие катались верхом, а по обеим сторонам экипажей, по аллее и по полю, шли непрерывной толпой тагалы и тагалки домой из гавани, с фабрик, с работы. Некоторые женщины ехали на волах.

Вдруг раздался с колокольни ближайшего монастыря благовест, и всё — экипажи, пешеходы — мгновенно стало и оцепенело. Мужчины сняли шляпы, женщины стали креститься, многие тагалки преклонили колени. Только два англичанина или американца промчались в коляске в кругу, не снимая шляп. Через минуту все двинулось опять. Это Angelus[1]. Мы объехали раз пять площадь. Стало темно; многие разъезжались. Мы поехали на Эскольту есть сорбетто, то есть мороженое.

В длинной-предлинной зале нижнего этажа с каменным полом, за длинным столом и маленькими круглыми столиками сидели наши и не наши, англичане, испанцы, американцы, метисы и ели мороженое, пили лимонад. Человек десять тагалов и один негр бросились на нас, как будто с намерением сбить с ног, а они хотели только узнать, чего мы хотим. Я спросил того-дру-

---

[1] Католическая молитва, исполняемая утром, в полдень и вечером при звуке колокола.

гого, попробовал — нет, разве только тагалам впору есть такое мороженое. Кто приехал из Европы, тому трудно глотать этот подслащенный снег. Я закурил сигару и пошел по Эскольте. Это лучшая улица здесь; она по вечерам ярко освещена и оживлена гуляющими высшего класса; они только вечером и посещают лавки.

Дома, после чаю, после долгого сиденья на веранде, я заперся в свою комнату и хотел писать; но мне, как и всем, дали ночник из кокосового масла. Он горел тускло и, наконец, стал мерцать так слабо, что я почти ощупью добрался до кровати и залез под синий кисейный занавес. Он опускается под тюфяк и не раздвигается. Несмотря на эти предосторожности, москиты пробираются за кисею, и, если заберутся два-три, они так отделают, что на другой день встанешь с десятком красных пятен, которые не сходят по нескольку дней. Я как-то на днях увидел, что из коридора вечером ко мне в комнату проползла ящерица, вершка в два длины, и скрылась, лишь только я зашевелился, чтоб поймать ее. На другой день я пожаловался на нее мсьё Демьену и просил велеть отыскать и извлечь ее вон.«Pourquoi?[1]— спросил он своим отрывистым голосом,— il ne mord pas» [2].— «Так, да все-таки ведь это ящерица, гадина, так сказать, заползет на постель — нехорошо».— «Напротив, очень хорошо,— сказал он,— у меня в постели семь месяцев жила ящерица, и я не знал, что такое укушение комара — так она ловко ловит их. И вас не укусит, когда она там, ни один комар...» — «Куда ж она делась потом?» — спросил я, заинтересованный историей ящерицы. «Околела».— «Как, сама собой?» — «Нет, я во сне задавил ее». Меня в самом деле почти не кусали комары, но я все-таки лучше бы, уж так и быть, допустил двух-трех комаров в постель, нежели ящерицу. Однако ж я ни разу не видал ее. «Вот скорпионы — другое дело,— говорил Демьен,— c'est très mauvais; [3] я часто находил их у себя в кухне: с дровами привозили. А с тех пор, как топлю каменным углем, не видать ни одного».

Какое наслаждение, после долгого странствования по морю, лечь спать на берегу, в постель, которая не качается, где со столика ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни бизань-шкот, ни грото-брасс, где ничто не шелохнется!..— думал я... и вдруг вспомнил, что здесь землетрясения — обыкновенное, ежегодное явление. Избави боже от такой качки!

Утром вам приносят чай, или кофе, или шоколад, когда вы еще в постели. Потом вы можете завтракать раза три, потому что иные завтракают, по положению, в десять часов, а другие в это время еще гуляют и завтракают позже, и все это за полтора доллара. Вдобавок ко всему вы можете взять ванну, какую хотите.

---

[1] Почему? *(франц.)*
[2] она не кусается *(франц.)*.
[3] они очень страшны *(франц.)*.

За теплую платите четыре реала, за холодную ничего — так написано в объявлении, выставленном в зале, на стене. Вода прямо из Пассига. Ванны устроены на веранде, выходящей на двор. В первый раз меня привел muchacho, мальчик. «Где ж вода, agua?» — спросил я. Он показал шнурок, сделал знак, что надо дернуть, и ушел. Я стал в ванну, под дождь, дернул за шнурок — воды нет; еще — все нет; я дернул из всей мочи — на меня упало пять капель счетом, четыре скоро, одна за другой, пятая немного погодя, шестая показалась и повисла. Как я ни дергал, не мог добыть больше. Досадно. Я оделся и пошел вон. Рядом, вижу, другая дверь; отворяю — точно такое же маленькое помещение для ванны, но ванны нет, а шнурок есть, и лейка вверху для дождя. Есть ли только дождь? «Дай-ко я попробую здесь,— подумал я,— что за нужда, что ванны нет: тем лучше, пол каменный!» И точно так же стал под дождь. Только я дотронулся до шнурка, на меня посыпался, сначала частый, крупный дождь и в минуту освежил меня. Я дернул сильнее, и дождь обратился в сплошной каскад. «Славно, чудесно!»— твердил я вслух, а сам все подергивал шнурок. На меня низвергались потоки; вверху, над потолком, раздавался рев и клокотанье, как будто вся река притекала к этому месту. «Ну, теперь довольно». Я перестал дергать, но вода не переставала течь, напротив, все неистовее и неистовее вторгалась ко мне и обдавала облаком брызг и меня, и стены, и кресло, а на кресле мое белье и платье. «Что ж это такое будет?» — думал я, отыскивая с беспокойством, нет ли какой пружины остановить это наводнение. Ничего нет. Я дернул шнурок в противную сторону, думая, что остановится; нет, пуще хлещет, только дотронешься. Я не знал, что делать: одеться нельзя; выйти — да как без платья? Мне уж приходило в голову забрать белье и платье да удариться бегом до своего нумера. Но все это можно сделать в крайности, в случае пожара, землетрясения или когда вода дойдет разве до горла, а она еще и до колен не дошла. Я подумал, что мне делать, да потом, наконец, решил, что мне не о чем слишком тревожиться: утонуть нельзя, простудиться еще меньше — на заказ не простудиться; завтракать рано, да и после дадут; пусть себе льет: кто-нибудь да придет же. Я скрестил руки на груди, предоставив воде литься, сколько она хочет.

Минуты через три вдруг дверь начала потихоньку отворяться. «Muchacho!» — закричал я сердито. Вместо индийца показалось лицо Фаддеева. Как я обрадовался ему! «Ты как?» — «Белье и платье принес вашему высокоблагородию.— «Уйми, братец, воду как-нибудь,— жаловался я ему,— смотри, ведь я тону». Фаддеев тут только вникнул в мое положение и, верный своему характеру, предался необузданной радости. Напрасно он кусал губы — подавленный смех вырывался наружу, и он, раза два, под предлогом остановить машину, дернул шнурок. «Нет, постой, ваше высокоблагородие, я цыгана приведу»,— сказал он

после тщетных усилий остановить воду. «Цыган» подергал как-то шнурок, сбегал в другую ванну, рядом, влезал зачем-то наверх, и вода остановилась.

Через час я, сквозь пол своей комнаты, слышал, как Фаддеев на дворе рассказывал анекдот о купанье двум своим товарищам. Я сказал Демьену, и он засмеялся. «Испортились желобы у обеих ванн; надо поправить»,— сказал он вскользь. «А давно испортились?» — спросил я. «Нет, нынешней зимой...» Опять мне пришло в голову, как в Welch's hotel, в Капштате, по поводу разбитого стекла, что на нас сваливают вот этакие неисправности и говорят, что беспечность в характере русского человека: полноте, она в характере — просто человека.

Наконец мы собрались пораньше утром, то есть часу в девятом, отдать визит молодым людям, Авелло и Кармена. Под этой учтивостью крылся умысел осмотреть королевскую сигарную фабрику и купить сигар. Кучер привез нас в испанский город, на квартиру отца Авелло, редактора здешней газеты. Мы вошли под ворота, на крытый двор, и очутились в редакции. В углу под навесом, у самых ворот, сидели двое или трое молодых людей, должно быть сотрудники, один за особым пюпитром, по-видимому главный, и писали. Тут же неподалеку тагалы складывали листы только что отпечатанной газеты. Старший сотрудник говорил по-французски. Мы спросили Авелло и Кармена: он сказал, что они уже должны быть на службе, в администрации сборов, и послал за ними тагала, а нас попросили войти вверх, в комнаты, и подождать минуту.

Мы вошли по деревянной, чистой, лощеной лестнице темного дерева прямо в бесконечную галерею-залу, убранную очень хорошо, с прекрасными драпри, затейливою новейшею мебелью. Везде уголки с диванами, пате, столики, уставленные безделками, как у редактора хорошего журнала. Тагалка встала из-за работы и пошла сказать о нас господам. Через минуту появилась высокая, полная старушка, с седой головой, без чепца, с бледным лицом, черными, кротко мерцавшими глазами, с ласковой улыбкой, вся в белом: совершенно старинный портрет, бежавший со стены картинной галереи: это редакторша. Мы раскланялись и заговорили, она по-испански, мы сначала по-французски, потом по-английски, но это ровно ни к чему нас не повело или, пожалуй, повело к креслу только, которое указала старуха, прося сесть. Мы повторили опыт объясниться, но также безуспешно. Старушка, наконец, ушла, сказав нам что-то, вероятно прося подождать. Мы подождали минут пять, употребив это время на рассматривание залы. Между прочим, мы видели и тут в полу такие же щели, как и в фонде; потолок тоже весь собран из небольших дощечек, выбеленных мелом. Видно, землетрясения не шутят здесь и всех держат в постоянном страхе. Но эти наблюдения наскучили нам, и мы решились уйти.

На цыпочках благополучно выбрались мы из залы, сошли с

лестницы и в дверях наткнулись на Авелло и Кармена. Они воротили нас, усадили, подали сигар, предлагая позавтракать, освежиться, и потом показали вчерашнюю газету, в которой был сделан приятный отзыв о нашем фрегате, о приеме, сделанном там испанцам, и проч. Мы напомнили им обещание показать нам фабрику и помочь купить сигар. Авелло пошел к своему отцу и, воротясь, велел закладывать карету. Он почти насильно усадил нас туда, вместе с собой и Кармена, а нашему кучеру велел ехать за нами.

Фабрика — огромное квадратное здание в предместии Бинондо, в два этажа, с несколькими флигелями, пристройками, со многими воротами и дверями, с большим двором внутри. У главных ворот Авелло поговорил с караульными, и те нас — не пустили. Тут подъехал таможенный офицер верхом: Авелло обратился к нему — и тот не пустил. «Этого можно бы добиться и без протекции»,— заметил я барону. Все говорили, что надо иметь билет от фабричной дирекции. Мы отправились туда, к счастью недалеко, и, после хождения по разным комнатам и отделениям, наконец получили записку и отправились. Тут еще караульные стали передавать ее из рук в руки, оглядывать со всех сторон, понесли вверх, и минут через пять какой-то старый тагал принес назад, а мы пока жарились на солнце. Впрочем, это последнее обстоятельство относилось более к кучеру и лошадям, потому что сами мы сидели в карете. Тагал пригласил нас идти; с нами пошел еще один из караульных.

По мере того как мы шли через ворота, двором и по лестнице, из дома все сильнее и чаще раздавался стук как будто множества молотков. Мы прошли несколько сеней, заваленных кипами табаку, пустыми ящиками, обрезками табачных листьев и т. п. Потом поднялись вверх и вошли в длинную залу, с таким же жиденьким потолком, как везде, поддерживаемым рядом деревянных столбов.

В зале, на полу, перед низенькими, длинными, деревянными скамьями, сидело рядами до шести- или семисот женщин, тагалок, от пятнадцатилетнего возраста до зрелых лет: у каждой было по круглому, гладкому камню в руках, а рядом, на полу, лежало по куче листового табаку. Эти дамы выбирали из кучи по листу, раскладывали его перед собой на скамье и колотили каменьями так неистово, что нельзя было не только слышать друг друга, даже мигнуть. Сколько голов повернулось к нам, сколько черных лукавых глаз обратилось на нас! Все молчали, никто ни слова, но глазами действовали сильно, а руками еще сильнее. Вероятно, они заметили по нашим гримасам, что непривычным ушам неловко от этого стука, и приударили что было сил; большая часть едва удерживали смех, видя, что вместе с усиленным стуком усилились и страдальческие гримасы на наших лицах. Это для них было неожиданным развлечением, кокетством в своем роде.

Молодые мои спутники не очень, однако ж, смущались шумом; они останавливались перед некоторыми работницами и ухитрялись как-то не только говорить между собою, но и слышать друг друга. Я хотел было что-то спросить у Кармена, но не слыхал и сам, что сказал. К этому еще вдобавок в зале разливался запах какого-то масла, конечно табачного, довольно неприятный.

Но вот уж мы выходим из залы. «Сейчас это кончится»,— утешал я себя: мы в самом деле вышли, но опять в другую, точно такую же залу, за ней, в дальней перспективе, видна была еще зала; с каждым нашим шагом вперед открывались еще и еще. «Да сколько же тут женщин?» — спросил я, остановившись в маленьком пустом промежутке между двух зал. «От восьми до девяти тысяч»,— сказал Авелло. «Что вы!» — «Да. Нынешний губернатор хочет увеличить и улучшить фабрику: очень выгодно».— «Восемь-девять тысяч!» — повторил я в изумлении, глядя на эти большею частью недурные головки и коричневые лица, сидевшие плотными рядами, как на смотру.

Во всех залах повторялся тот же маневр при нашем появлении: то есть со стороны индиянок — сначала взгляды любопытства, потом усиленный стук и подавляемые улыбки, с нашей — рассеянные взгляды, страдальческие гримасы и нетерпение выйти. Впрочем, на фабрике соблюдается строгое приличие. Индиянки не смеются, не разговаривают: им предоставлено только право стучать. Говорят, они тут очень скромно ведут себя: для этого приняты все меры. Кроме двух-трех старых тагалов да двух-трех чиновников-надзирателей, тут нет ни одного мужчины.

В других комнатах одни старухи скатывали сигары, другие обрезывали их, третьи взвешивали, считали и т. д. Мы не ходили по всем отделениям: довольно и этого образчика.

В последней комнате, перед выходом, за бюро, сидел *альфорадор*, заведывающий одним из отделений. Он говорил по-английски и прежде всего, узнав, что мы русские, сказал, что есть много заказов из Петербурга, потом объяснил, что он, несколько месяцев назад, выписан из Гаваны, чтоб ввести гаванский способ свертывать сигары вместо манильского, который оказывается по многим причинам неудобен. Он сказал, что табак манильский отнюдь не хуже гаванского и что здесь только недостает многих приемов приготовления и, между прочим, свертка нехороша. Он много важности придавал свертке, говорил даже, что она изменяет до некоторой степени вкус самого табаку. «Вот две сигары одного табаку и разных сверток, попробуйте,— сказал он, сунув нам в руки по два полена из табаку,— это лучшие сорты, одна свернута по-гавански, круче и косее, другая по-здешнему, прямо. Одна сделана сегодня, другая вчера»,— заключил он, как будто для большей похвалы сигарам.

Я вертел в руках обе сигары с крайнею недоверчивостью: «Сделаны вчера, сегодня,— говорил я,— нашел чем угостить!»—

и готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман, с намерением бросить, лишь только сяду в карету. «Нет, нет, покурите»,— настаивал альфорадор. Нечего делать, я закурил — и вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, закурилась легко, табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. «Да это прекрасная сигара! — сказал я,— нельзя ли купить таких?» — «Нет, это гаванской свертки: готовых нет, недели через две можно,— прибавил он тише, оборачиваясь спиной к нескольким старухам, которые в этой же комнате, на полу, свертывали сигары,— я могу вам приготовить несколько тысяч...» — «Мы едва ли столько времени останемся здесь. Отчего ж их в магазине нет?» — сказал я. «Здешние женщины привыкли к своей свертке и оттого по гаванскому способу работают медленно. Вот теперь покурите другую сигару, здешней свертки». Я закурил, и та хороша, хотя в самом деле не так, как первая: или это так показалось, потому что альфорадор подсказал. «Ну, нельзя ли хоть таких?» — спросил я. «Таких, и гораздо меньше, второго сорта, вы найдете в магазине».— «А обрезанных с обеих сторон сигар можно найти там?» — «*Чирут*? Plenty, o plenty (много!),— отвечал он,— то третий и четвертый сорт, обыкновенные, которые все курят, начиная от Индии до Америки, по всему Индийскому и Восточному океанам».

В самом деле, мы в Сингапуре, в Китае других сигар, кроме чирут, не видали. Альфорадор обещал постараться приготовить сигары ранее двух недель и дал нам записку для предъявления при входе, когда захотим его видеть. Мы ушли, поблагодарив его, потом гг. Авелло и Кармена, и поехали домой, очень довольные осмотром фабрики, любезными испанцами, но без сигар.

Дома мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. Парадное платье мое было на фрегате, и я не поехал. Я сначала пожалел, что не попал на обед в испанском вкусе, но мне сказали, что обед был длинен, дурен, скучен, что испанского на этом обеде только и было, что сам губернатор да херес. Губернатора я видел на прогулке, с жокеями, в коляске, со взводом улан; херес пивал, и потому я перестал жалеть.

Вечером я предложил в своей коляске место французу, живущему в отели, и мы отправились далеко в поле, через С. Мигель, оттуда заехали на Эскольту, в наше вечернее собрание, а потом к губернаторскому дому, на музыку. На площади, кругом сквера, стояли экипажи. В них сидели гуляющие. Здесь большею частью гуляют сидя. Я не последовал этому примеру, вышел из коляски и пошел бродить по площади.

Какой вечер! что за вид! Церковь и ратуша облиты были лунным светом, а дворец прятался в тени; бронзовая статуя стояла, как привидение, в блеске лунных лучей. Как кроток и мягок этот свет, какая нега в теплом воздухе — и вдобавок ко всему— прекрасная музыка. Здесь восемь полковых оркестров и,

кроме того, множество частных — до трехсот, сказал кто-то: пошутил, верно. А кто знает, может быть и правда. Говорят, здесь только и делают, что танцуют, и нам бы предстояло множество вечеров и собраний, если б мы пришли не постом. Танцуют, здесь! Вот, говорят, с инквизицией уничтожились все пытки в Испании! Нет, не все! Даже музыкой заниматься — и то жарко, а они танцуют!

Музыканты все тагалы; они очень способны к искусствам вообще. У них отличный слух: в полках их учат будто бы без нот. Не знаю, сколько правды во всем этом, но знаю только, что игра их сделала бы честь любому оркестру где бы то ни было — чистотой, отчетливостью и выразительностью.

Оркестры, один за другим, становились у дворца, играли две-три пьесы и потом шли в казармы.

Играли много, между прочим, из Верди, которого здесь предпочитают всем, я не успел разобрать почему: за его оригинальность, смелость или только потому, что он новее всех.

Последний оркестр, оглашая звуками торжественного марша узкие, прятавшиеся в тени улицы, шел домой. Экипажи зашевелились и помчались по разным направлениям. Мы с французом выехали из крепости опять на взморье, промчались по опустевшему кальсадо и вернулись в город. Он просил у одного дома выпустить его: «J'ai une petite visite à faire»[1],— пропел он своим фальцетто и скрылся в дверь. В это же время вверху, у окна, мелькнул очерк женской головы и захлопнулось жалюзи... Я никого не застал в отели: одни уехали на рейд, другие на вечер, на который Кармена нас звал с утра, третьи залегли спать. Я сел за письма.

Наконец мы собрались к миссионерам и поехали в дом португальского епископа. Там, у молодого миссионера, застали и монсеньера Динакура, епископа в китайском платье, и еще монаха, с знакомым мне лицом. «Настоятель августинского монастыря,— по-французски не говорит, но все разумеет»,— так рекомендовал нам его епископ. Я вспомнил, что это тот самый монах, которого я видел в коляске, на прогулке за городом.

Нам подали сигар, и епископ, приветливо и весело, как настоящий француз, начал, после двух-трех вопросов, которые сделал нам о нашем путешествии, рассказывать о себе. Он сказал, что живет двадцать лет в Китае, заведывает христианскою паствою в провинции Джедзиан, в которой считается до пятнадцати миллионов жителей. Он говорит, что цифра триста миллионов, которою определяют народонаселение Китая, не преувеличена: в его провинции есть несколько городов, где считают от двух до трех миллионов жителей, и, между прочим, знаменитый город Сучеу. «А сколько христиан?» — спросил я. «До пятисот тысяч во всем Китае».— «Мало»,— сказал я. «Да, нем-

[1] Я должен завернуть сюда ненадолго *(франц.)*.

ного; но теперь обращение пошло скорее,— отвечал епископ,— особенно в среднем и низшем классах. Главное препятствие встречается в буддийских бонзах и в ученых. На них ничто не действует: одни — слепые фанатики, другие — педанты, схоластики; они в мертвой букве видят ученость и свет. Вся трудность состоит в том, чтоб уверить их, что мы пришли и живем тут для их пользы, а не для выгод. Они представить себе этого не могут и не верят».— «Вот христианским миссионерам, может быть, скоро предстоят новые подвиги,— сказал я,— возобновить подавленное христианство в Японии, которая не сегодня, так завтра непременно откроется для европейцев...» — «A coups des canons, monsieur, à coups des canons!»[1] — прибавил епископ.

В это время прервали нас два монаха, иезуиты кажется. Они вошли, преклонили пред епископом колена, приняли благословение и сели. Епископ пригласил нас к себе на квартиру, в монастырь св. Августина. Монастырь занимает большой угол в испанском городе и одной стороной обращен к морю. Это настоящее аббатство, обширное, с галереями, бесконечными коридорами, кельями, в котором можно потеряться. Мы отдохнули в квартире епископа, а настоятель ушел на короткую молитву в церковь, по звону колокола. Нам предложили было завтрак, но мы отказались.

Вскоре настоятель воротился и принес только что присланное к нему официальное объявление от губернатора, что испанская королева разрешилась от бремени дочерью.

Он скрылся опять, а мы пошли по сводам и галереям монастыря. В галереях везде плохая живопись на стенах: изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи. «Откуда эта живопись здесь?» — спросил я, показывая на картину, изображающую *Обращение св. Павла*. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали: они были только гости здесь.

По узенькой, извилистой лестнице вошли мы прямо на хоры главной церкви и были поражены тонкостью и изяществом деревянной резьбы, которая покрывала все стены на хорах, кафедру, орган —все. Дерево темное, с нежными оттенками. «Кто это работал? — спросил я с изумлением,— ужели из Европы привезли? в Европе это буазери стоило бы неимоверных цен».— «Всё индийцы, тагалы,— сказали они.— Вон смотрите: они работают и теперь. Церковь пострадала от землетрясения в прошедшем году, и ее теперь поправляют, и живопись здесь — все тагалов же». Я бросил беглый взгляд на образа — нет, живопись еще в младенческом состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных работах они далеко впереди. Что касается до кар-

---

[1] Только с помощью пушек, сударь, только с помощью пушек! *(франц.)*

тин, то они мало чем лучше тех, что у нас иногда продают на тротуаре, на улицах. «Но ведь это в Маниле,— сказал молодой миссионер, прочитавший, должно быть, у меня на лице впечатление от этих картин,— между дикими индийцами, которые триста лет назад были почти звери...» — «Да: но триста лет назад! — сказал я. — И этот храм — ровесник стенам города: можно бы, кажется, украсить его живописью соотечественникам Мурильо».

Мы пошли вниз. Епископ показывал местами трещины по стенам, местами обвалившуюся штукатурку, раздвинувшиеся столбы — всё следы землетрясения. «Да разве часто бывают они?» — спросил я.— «Каждый год что-нибудь да бывает, хоть немного, слегка, — сказал он.— Вот иезуитская церковь лежит теперь вся в развалинах». Войдя в большую церковь, епископ, а за ним и молодой миссионер, преклонили колена, сложили на груди руки, поникли головами и на минуту задумались. Потом встали и начали опять живо разговаривать. Это была лучшая церковь в Маниле, по их словам. Она в самом деле хороша: прекрасные размеры главного и побочного приделов кажут ее больше, нежели она есть. Она очень хорошо освещена сверху: свет от алтаря разливается ровно до самых дальних углов. Если б не тагальская живопись, то можно было бы увлечься этими стройными, высокими арками, легким куполом. Но живопись мешает, колет глаза; так и преследуют вас эти яркие, то красные, то синие пятна; скульптура еще больше. Является какое-то артистически болезненное раздражение нерв, нужды нет, что вам говорят, чье это произведение. Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в человеке, когда оскорблено его эстетическое чувство. Вдобавок к этому, еще все стены и столбы арок были заставлены тяжелыми и мрачными иконостасами с позолотой, тогда как стиль требует белых, чистых пространств, с редким и строго обдуманным размещением картин высокого достоинства. Бывают примеры, что архитектура здания подавляет или поглощает живопись; а здесь наоборот. Я старался не смотреть на живопись и не спускал глаз с буазери.

Потом нас повели в ризницу. Пред ней, в комнате, стояли лавки, пюпитры — это что-то вроде класса для тагалов. Несколько их сидело тут, с флейтами и кларнетами. Они бросились к руке епископа, как все тагалы, которые встречались нам на дворе, на дороге к монастырю. Некоторые становились на колени. Епископ велел музыкантам сыграть что-нибудь. Они заиграли что-то вроде марша, но не совсем стройно, не совсем чисто, особенно после того, что мы слышали у дворца. «Видно, этих учат по нотам: не они ли расписывали церковь?» — подумал я. Мы с бароном дали артистам денег и ушли сначала в ризницу, всю заставленную шкафами с церковною утварью,— везде золото, куда ни поглядишь; потом пошли опять в коридоры, по кельям. Везде до нас долетали звуки флейт и кларнетов: ар-

тисты, от избытка благодарности, не могли перестать сами собою, как испорченная шарманка.

Мы проходили мимо дверей, с надписями: «Эконом», «Ризничий» и остановились у эконома. «C'est un bon enfant,— сказал епископ,— entrons chez lui pour nous reposer un moment».— «Il a une excellente bière, monseigneur»[1],— прибавил молодой миссионер нежным голосом.

Они постучались, и нам отпер дверь пожилой монах, весь в белом, волоса с проседью, все лицо в изломанных чертах, но не без доброты. Келья была темна, завалена всякой всячиной, узлами, ящиками; везде пыль; мебель разнохарактерная; в углу, из-за пестрого занавеса, выглядывала постель. На большом круглом столе лежали счеты, реестры, за которыми мы и застали эконома. Он через епископа спросил нас кое-что о путешествии, надолго ли приехали, а потом не хотим ли мы чего-нибудь. «Пива»,— сказали оба француза. Монах засуетился и велел тагалу вскрыть бывшие тут же где-то в углу два ящика и подать несколько бутылок английского элю и портера. Но прежде всего подал огромный поднос с сигарами. Каких тут не было! всяких размеров и сортов, и гаванской, и манильской свертки... Вот где водятся хорошие-то сигары в Маниле!

Мы сидели с полчаса; говорил все епископ. Он рассказывал о Чусанском архипелаге и называл его перлом Китая. «Климат, почва, как в раю,— выразился он.— Я жил там восемь лет,— продолжал он,— там есть колония ирландских католиков: они имеют значительное влияние на китайцев, ввели много европейских обычаев и живут прекрасно. Чусанские китайцы снабжают почти все берега Китая рыбою, за которою выезжают на нескольких тысячах лодок далеко в море». При этой цифре меня взяло сомнение; я хотел выразить его барону Криднеру и вдруг выразил, в рассеянности, по-французски. Эта рассеянность произошла оттого, что епископ, не знаю почему, ни с того ни с сего принялся рассказывать о Чусане по-английски. «Да, несколько тысяч»,— подтвердил настойчиво епископ по-французски.

От эконома повели нас на самый верх, в рекреационную залу. «Я вам покажу прекрасный вид»,— сказал епископ. Мы зашли к монаху, у которого хранился ключ от залы,— это самый полный и красивый монах, какого я только видел где-нибудь, с постоянной улыбкой, с румянцем. Я увидел у него на стене прекрасную небольшую картину: «Снятие со креста» и «Божию матерь». Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин. Напрасно я старался прочесть имя живописца: едва видно было несколько белых точек на темном фоне. «Откуда эта картина?» — «Из Италии, из монастыря». Вот все, что я узнал о ней.

---

[1] «Он славный малый... зайдем к нему немного отдохнуть».— «У него отличное пиво, монсеньер» *(франц.)*.

Опять по извилистой лестнице поднялись мы и в рекреационную залу. Это была длинная, крытая галерея, с окошками на три стороны. Пол простой, деревянный; половицы так и ходили под ногами. Все в запустении. Видно, что никто не бывает здесь. Ни на одно кресло сесть нельзя: пыль лежала густыми слоями. Можно подумать, что августинцы совсем не любят отдыхать, а проводят все время в трудах и богомыслии. Посредине стоял бильярд для моциона; у окон, на треножнике, поставлена большая зрительная труба. Вид из окошек в самом деле прекрасный: с одной стороны весь залив перед глазами, с другой — испанский город, с третьей — леса и деревни. И они не сидят здесь день и ночь, не наслаждаются ничем этим! Мы едва оторвались от окошек. Епископ по очереди сыграл с нами обоими на бильярде и оказался не слабым игроком.

Обратясь спиной к дверям, я вдруг услышал шелест женского платья, мягкую походку — живо оборачиваюсь — белые кисейные блузы... Толпа августинцев, человек двенадцать, всё молодые, с сигарами. Одни, немного заспанные, с горячими щеками, другие, с живым взглядом, с любопытством смотрели на нас, пришельцев издалека, и были очень внимательны. К сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. «Мы виноваты, что не можем говорить с вами,— сказали они чрез молодого француза.— Русские говорят по-французски, по-английски и по-немецки; нам следовало бы знать один из этих языков».— «Мы говорили бы и по-испански, если б Испания была поближе к нам»,— отвечал я.

Вдруг послышались пушечные выстрелы. Это суда на рейде салютуют в честь новорожденной принцессы. Мы поблагодарили епископа и простились с ним. Он проводил нас на крыльцо и сказал, что непременно побывает на рейде. «Не хотите ли к испанскому епископу?» — спросил миссионер; но был уже час утра, и мы отложили до другого дня.

«Что они здесь делают, эти французы? — думал я, идучи в отель,— епископ говорит, что приехал лечиться от приливов крови в голове: «в Нинпо, говорит, жарко»; как будто в Маниле холоднее! А молодой все ездит по окрестным *пуэбло*, по каким-то делам...»

Мы рано поднялись на другой день, в воскресенье, чтоб побывать в церквах. Заехали в три церкви, между прочим в манильский собор, старое здание, постройки XVI столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. Украшения в нем так же безвкусны, живопись так же дурна, как и в церкви предместья и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой.

Одна церковь, впрочем, лучше других, побогаче, чище, светлее. В ней мало живописи и тусклой позолоты; она не обременена украшениями; и прихожане в ней получше, чище одеты и приличнее на вид, нежели в других местах.

Испанцев в церквах совсем нет; испанок немного больше. Всё метисы, тагалы да заезжие европейцы разных наций. Мы везде застали проповедь. Проповедники говорили с жаром, но этот жар мне показался поддельным; манеры и интонация голоса у всех заученные.

После обедни мы отправились в цирк смотреть петуший бой. Нам взялся показать его француз Pl., живший в трактире, очень любезный и обязательный человек. Мы заехали за ним в отель. Цирков много. Мы отправились сначала в предместье Бинондо, но там не было никого, не знаю почему; мы — в другой, в предместе Тондо. С полчаса колесили мы по городу и, наконец, приехали в предместье. Оно все застроено избушками на курьих ножках и заселено тагалами.

Француз дорогой подтвердил нам, что тагалы самый счастливый народ в свете. «Они ни в чем не нуждаются,— сказал он,— работают мало, и если выработают какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера (около 14 коп. сер.), то им с лишком довольно на целый день. Индиец купит себе рису; банан у него есть, сладкий картофель или таро тоже — и обед готов. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. Испанцы обходятся с ними хорошо, кротко, и тагалы благословляют свою участь. Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, следовательно жить в большем довольстве, не витать в этих хижинах, как птицы: но для этого надобно, чтоб и повелители их, то есть испанцы, были подеятельнее; а они стоят друг друга: «Tel maitre, tel valet»[1].

То же подтвердил накануне и епископ. «Ах, если б Филиппинские острова были в других руках! — сказал он,— какие сокровища можно было бы извлекать из них! Mais les espagnols sont indolents, paresseux, très paresseux!»[2] — прибавил он со вздохом.

От нового губернатора, маркиза Новичелиса, ждут много доброго. Он затевает разные реформы; ему дано больше прав и власти, нежели его предшественникам: он нечто вроде вице-короля. Повод к увеличению его власти подали некоторые опасения на счет духовенства, влияние которого стало слишком ощутительно в этой колонии. Слухи об этом дошли до метрополии; притом индийцы на прочих островах стали пошаливать. Незадолго перед нашим прибытием они, на острове Минданао, умертвили человек двадцать солдат. Потребовались строгие меры, и то судно, которое мы встретили в Анжере, везло новые войска. На том же судне был и Кармена, с которым мы увиделись как с старым знакомым. В губернаторе находят пока один недостаток: он слишком исполнен своего достоинства, гордится древностью рода и тем, что жена его —

---

[1] Каков хозяин, таков и слуга *(франц.)*.

[2] Но испанцы бездельники, лентяи, ужасные лентяи! *(франц.)*

первая штатс-дама при королеве, от этого он важничает, как петух...

Но вот и цирк, вот и петухи. Цирк — это исполинская бамбуковая клетка, в какую сажают попугаев, вся сквозная: снаружи издалека можно видеть, что в ней делается. В ней три яруса галерей для зрителей, а посредине круглая арена для бойцов. Крыша коническая, сплетена тоже из бамбуковых жердей, и потому сквозная, но в ней сверх того есть несколько люков для воздуха. Мы с трудом пробрались сквозь густую толпу народа ко входу, заплатили по реалу и вошли в клетку. Зрителей было человек до пятисот в самой клетке да человек тысяча около. Последние не зрители, а участники. У всякого под мышкой был петух. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыскали три свободные места. Женщинам нельзя сидеть в этих сквозных галереях, особенно в верхних этажах: поэтому в цирке были только мужчины да петухи — ни женщин, ни кур ни одной. Но зато какое множество петухов! какое свирепое, непрерывное пение раздавалось в клетке и около нее!

На арене ничего еще не было. Там ходил какой-то распорядитель из тагалов, в розовой кисейной рубашке, и собирал деньги на ставку и за пари. Я удивился, с какой небрежностью индийцы бросали пригоршни долларов, между которыми были и золотые дублоны. Распорядитель раскладывал деньги по кучкам на полу, на песке арены. На ней, в одном углу, на корточках, сидели тагалы с петухами, которым предстояло драться.

Вот явились двое тагалов и стали стравливать петухов, сталкивая их между собою, чтоб показать публике степень силы и воинственного духа бойцов. Петухи немного было надулись, но потом равнодушно отвернулись друг от друга. Их унесли, и арена опустела. «Что это значит?» — спросил я француза. «Петухи не внушают публике доверия, и оттого никто не держит за них пари».

Из угла отделились двое других состязателей и стали также стравливать бойцов, держа их за хвост, чтоб они не подрались преждевременно. Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны; между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась; поднялся говор, как внезапный шум волн, и шел crescendo[1]. Все протягивали друг к другу руки с долларами, перекликались, переговаривались, предлагали пари, кто за желтого, кто за белого петуха. И к нам протянулось несколько рук; нас трогали со всех сторон за плечи, за спину, предлагая пари.

Между тем хозяева петухов сняли с стальной шпоры, прикрепленной к одной ноге бойца, кожаные ножны. Распорядитель

---

[1] усиливаясь *(итал.)*.

подал знак — все умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один из них воспользовался первой минутой свободы, хлопнул раза три крыльями и пропел, как будто хотел душу отвести; другие, менее терпеливые, поют, сидя у хозяев под мышками. Пропев, он обратился было к своим мирным занятиям, начал искать около себя на полу, чего бы поклевать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин схватил его, погладил, дернул за подбородок и бросил на другого, который рвался из рук хозяина. Тогда у обоих бойцов образовались из перьев около шеи манжеты, оба нагнули головы и стали метить друг в друга. Долго щетинились они, наконец оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил через другого, и тотчас же опять построились в боевую позицию, и опять нагнулись. Потом раза три сильно сшиблись; полетело несколько перьев по сторонам. Опять один перескочил через другого, царапнул того шпорой, другой тоже перескочил и царапнул противника так, что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего больше разобрать было нельзя: рыцари дрались в общей свалке, сшибались часто и сильно впивались друг другу в гребень, то один повалит другого, то другой первого.

«Это все и у нас увидишь каждый день в любой деревне,— сказал я барону, — только у нас, при таком побоище, обыкновенно баба побежит с кочергой, или кучер с кнутом, разнимать драку, или мальчишка бросит камешком». Вскоре белый петух упал на одно крыло, вскочил, побежал, хромая, упал опять и, наконец, пополз по арене. Крыло волочилось по земле, оставляя дорожку крови.

Всякий раз, при сильном ударе того или другого петуха, раздавались отрывистые восклицания зрителей; но, когда побежденный побежал, толпа завыла дико, неистово, продолжительно, так что стало страшно. Все привстали с мест, все кричали. Какие лица, какие страсти на них! и все это по поводу петушьей драки! «Нет, этого у нас не увидите»,— сказал барон. Действительно, этот момент был самый замечательный для постороннего зрителя.

Хозяин победителя схватил своего петуха и взял деньги; противник его молча удалился в толпу. Зрители тоже молча передавали друг другу проигранные доллары. Явились двое других и повторили те же проделки, то есть дразнили петухов, вооружили их шпорами: то же волнение, тот же говор повторились между зрителями, что ваша жидовская синагога! Петухи рванулись — и через минуту большой красный петух разорвал шпорами ноги серому, так что тот упал на спину, а ноги протянул кверху. Кругом кровь и перья. Побежденного петуха брал какой-то запачканный тагал, сдирал у него с груди горсть перьев и клал их в большой мешок, а петуха отдавал хозяину. «Что они делают с своими петухами потом? — спросил я француза,— лечат, что ли».— «Нет, едят с салатом»,— отвечал он.

«А перья зачем?» — «Не знаю»,— сказал француз. Я обратился с этим вопросом к своему соседу с левой стороны, к китайцу. «Signor?» — отвечал он мне вопросом же. Я забыл, что я не в Гон-Конге, не в Сингапуре, наконец не в Китае, где китайцы говорят по-английски.

Иногда хозяин побежденного петуха брал его на руки, доказывал, что он может еще драться, и требовал продолжения боя. Так и случилось, что один побежденный выиграл ставку. Петух его, оправившись от удара, свалил с ног противника, забил его под загородку и так рассвирепел, что тот уже лежал и едва шевелил крыльями, а он все продолжал бить его и клёвом и шпорами.

Мы ушли, просидев с час. Говорят, забава продолжается до солнечного заката. Правительство отдает цирки на откуп и берет огромные деньги. Я выше, кажется, сказал, какие суммы получаются от боя петухов. В провинции Тондо казна получает до 80 000 долларов подати, в других — где 20, где 15 000. Тагалы иногда ставят до тысячи долларов на пари. «Я слышал, что здесь есть бои быков,— спросил я француза,— нельзя ли посмотреть?»— «Не стоит,— отвечал он,— это пародия на испанские бои. Здесь тореадоры — унтер-офицеры, дерутся с дрянными, измученными быками...»

В гостиницу пришли обедать Кармена, Авелло, адъютант губернатора и много других. Авелло, от имени своей матери, изъявил сожаление, что она, по незнанию никакого другого языка, кроме испанского, не могла принять нас как следует. Он сказал, что она ожидает нас опять, просит считать ее дом своим и т. д.

После обеда мы все разъехались. Я опять ударился в окрестности один, останавливался, где мне нравилось, заглядывал в рощи, уходил по дорожкам в плантации кофе и табаку. Дорога прекрасная; синий, туманный цвет дальних гор определялся все более и более, по мере приближения к ним. В одной деревеньке я пошел вдоль по ручью, в кусты, между деревьев; я любовался ими, хотя не умел назвать почти ни одного по имени. Француз показывал мне в своем магазине до десяти изящнейших пород дерева, начиная от самого красного до самого черного. Коричневые, розовые, желтые, темные: с какими нежными струями и оттенками и какие массивные! Он показывал круглые столы, аршина полтора в диаметре, сделанные из одного куска. Говорят, в Маниле до тысячи пород деревьев.

Кучер мой, по обыкновению всех кучеров в мире, побежал в деревенскую лавочку съесть или выпить чего-нибудь, пока я бродил по ручью. Я воротился — его нет; около коляски собрались мальчишки, нищие и так себе тагалы, с петухами под мышкой. Я доехал до речки и воротился в Манилу, к дворцу, на музыку.

Шкуна пришла 23-го февраля (7-го марта), и наше общество

несколько увеличилось. Посьет уехал на озера, Гошкевич в местечко С. Маттео, смотреть тамошний грот.

Говорят, на озерах, вдали от жилых мест, в глуши, на вершине одной горы, есть образовавшийся в кратере потухшего вулкана бассейн стоячей воды, наполненной кайманами. Кругом бассейна, по лесу гнездятся на деревьях летучие мыши, величиной с ястреба и больше. Туда проникают смелые охотники. Животных из пород ящериц здесь множество; недавно будто бы поймали каймана в 21 фут длиной. Мне один из здешних жителей советовал остерегаться, не подходить близко к развалинам, говоря, что там гнездятся ящерицы, около фута величиной, которые кидаются на грудь человеку и вцепляются когтями так сильно, что скорее готовы оставить на месте лапы, чем отстать. Есть одно средство отцепить их, это подставить им зеркало: тогда они бросаются на свое отражение.Он сказывал, что, вдвоем с товарищем, они убили из ружья двух таких ящериц.

Однако нам объявили, что мы скоро снимаемся с якоря, дня через четыре. «Да как же это? да что ж это так скоро?..» — говорил я, не зная, зачем бы я оставался долее в Луконии[1]. Мы почти все видели; ехать дальше внутрь — надо употребить по крайней мере неделю, да и здешнее начальство неохотно пускает туда. А все жаль было покидать Манилу!

Утром, дня за три до отъезда, пришел ко мне Посьет. «Не хотите ли осмотреть канатный завод нашего банкира? — сказал он мне,— нас повезет один из хозяев банкирского дома, американец Мегфор». Мне несколько неловко было ехать на фабрику банкира: я не был у него самого даже с визитом, несмотря на его желание видеть всех нас как можно чаще у себя; а не был потому, что за визитом неминуемо следуют приглашения к обеду, за который садятся в пять часов, именно тогда, когда настает в Маниле лучшая пора глотать, не мясо, не дичь, а здешний воздух, когда надо ехать в поля, на взморье, гулять по цветущим зеленым окрестностям, словом жить. А тут сиди за обедом!

Однако ж я поехал с Посьетом и Мегфором, особенно когда узнал, что до фабрики надо ехать по незнакомой мне дороге. Дорога эта довольно глуха и уединенна и оттого еще более понравилась мне. Я удивился, что поблизости Манилы еще так много лежит нетронутых полей, мест, по-видимому, совсем забытых. «Или они *под паром*, эти поля,— думал я, глядя на пустые, большие пространства,— здешняя почва так же ли нуждается в отдыхе, как и наши северные нивы, или это нерадение, лень?» Некого было спросить; с нами ехал К. И. Лосев, хороший агроном и практический хозяин, много лет заведовавший большим имением в России, но знания его останавливались на пше-

---

[1] Лукония — фантастическая страна, описанная греческим писателем-сатириком Лукианом (II в.) в его «Истинных историях», представляющих пародию на греческий утопический роман путешествий.

нице, клевере и далее не шли. О тропической почве он знал не более меня.

Мы приехали на фабрику, занимающую большое пространство и несколько строений. Самое замечательное на этой фабрике то, что веревки на ней делаются не из того, из чего делают их в целом мире, не из пеньки, а из волокон дерева, похожего несколько на банановое. Мегфор называет его plantin. Мочала или волокна — цвета... как бы назвать его? да светло-мочального — доставляются изнутри острова, в тюках, и идут прежде всего в расческу. При расческе материал чуть-чуть смазывают кокосовым маслом. Мы едва шагали между кучами мочал, от которых припахивало постным маслом. Расчесывают их раза три, сначала грубыми, большими зубцами, потом тонкими, на длинные пряди, и тогда уже машинами вьют веревки.

Машины привезены из Америки: мы видали на фабриках эти стальные станки, колеса; знаете, как они отделаны, выполированы, как красивы — и тут тоже: взял бы да и поставил где-нибудь в зале, как украшение. Сараи, где по рельсам ходит машина, вьющая канаты, имеют до пятисот шагов длины; рабочие все тагалы, мастера — американцы. Мальчикам платят по полуреалу в день (около семи коп. сереб.), а работать надо от шести часов утра до шести вечера; взрослым по реалу; когда понадобится, так за особую плату работают и ночью. «Дешево, конечно,— говорит агроном Лосев,— но ведь зато им не надо ни полушубков, ни сапог, ни рукавиц круглый год, притом их кормят на фабрике». Мастера, трое, получают тысячу восемьсот, тысячу пятьсот и тысячу долларов в год. Отправляют товар больше в Америку, частью в канатах, частью тюками в волокнах. Там эти веревки из «плянтина» предпочитаются на судах пеньковым, но только в бегучем такелаже, то есть для подвижных снастей, а стоячий такелаж, или смоленые неподвижные снасти, делаются из пеньковых.

В Маниле, как и в Сингапуре, в магазине корабельных запасов продаются *русские* пеньковые снасти, предпочитаемые всяким другим на свете; но они дороже древесных. У нас на суда взяли несколько манильских снастей: при постановке парусов от них раздавалась такая музыка, что все зажимали уши: точно тысяча саней скрипели по морозу. Говорят, что пройдет со временем, обшаркается. Фабрика производит на 130 000 долларов в год. Она принадлежит Старджису, представителю в настоящее время американского дома Russel и C° в Маниле, еще Мегфору, который нас возил, и вдове его брата. Брат этот, года два назад, был убит индийцами, которые напали на фабрику и хотели ограбить. Испанское правительство до сих пор не может найти виновных. Говорят, американский коммодор Перри придет сюда с своей эскадрой помогать отыскивать их.

Несколько лет назад на фабрике случился пожар, и отчего? Там запрещено работникам курить сигары: один мальчик,

которому, вероятно, неестественно казалось не курить сигар в Маниле, потихоньку закурил. Пришел смотритель: тагал, не зная, как скрыть свой грех, сунул сигару в кипу мочал.

Через предместье Санта-Круц мы воротились в город. Мои товарищи поехали к какой-то Маргарите, покупать платки и материю из ананасовых волокон, а я домой.

Нас торопили собираться к отплытию; надо было подумать о сигарах. Я с запиской отправился на фабрику к альфорадору. У ворот мне встретился какой-то молодой чиновник, какие есть, кажется, во всех присутственных местах целого мира: без дела, скучающий, не знающий, куда деваться, словом лишний. Он шел было вон; а когда я показал ему записку, он воротился — и так, от нечего же делать,— повел меня к альфорадору. Опять я, идучи по залам, наслушался адского стука, нанюхался табачного масла и достиг, наконец, альфорадора.

Он прежде всего предложил мне сигару гаванской свертки, потом на мой вопрос отвечал, что сигары не готовы: «Дня через четыре приготовим».— «Я через день еду»,— заметил я. Он пожал плечами. «Возьмите в магазине, какие найдете,— прибавил он,— или обратитесь к инспектору».

Праздный чиновник повел меня к инспектору. Тот посоветовал обратиться в магазин. Мы пошли (все с чиновником) туда. Магазин помещался в доме фабричной администрации. Мы зашли прежде в администрацию. Один из администраторов, толстый испанец, столько же похожий на испанца, сколько на немца, на итальянца, на шведа, на кого хотите, встал с своего места, подняв очки на лоб, долго говорил с чиновником, не спуская с меня глаз, потом поклонился и сел опять за бумаги. Около него толпились тагалы и тагалки, дожидавшиеся платы. «Ну что?» — спросил я своего провожатого. Он начал мне длинную какую-то речь по-французски, и хотя говорил очень сносно на этом языке, но я почти ничего не понял, может быть оттого, что он к каждому слову прибавлял: «Je vous parle franchement, vous comprenez?»[1]

Хотел ли он подарка себе, или кому другому — не похоже, кажется: но он говорил о злоупотреблениях да тут же кстати и о строгости. Между прочим, смысл одной фразы был тот, что официально, обыкновенным путем, через начальство, трудно сделать что-нибудь, что надо «просто прийти», так все и получишь за ту же самую цену. «Je vous parle franchement, vous comprenez?» — заключил он.

«Сигар?» — спросил я в магазине. «Сигар нет»,— отвечал индиец-приказчик. «Нового приготовления, гаванской свертки, первый сорт»,— говорил я. Чиновник переводил мой вопрос и ответ тагала — *нет*. «Их так немного делают, что в магазин они не поступают»,— сказал он. «Ну, первого сорта здешней

---

[1] Я говорю с вами откровенно, понимаете? *(франц.)*

свертки, крупных».— «Все вышли»,— был ответ. «Сегодня пришлют»,— прибавил он. «Ну, второго сорта?» — спросил я. Тагал порылся в ящиках, вынул одну пачку в бумаге, 125 штук, и положил передо мной. «Una peso» (один пиастр),— сказал он. «Да мне надо по крайней мере пачек двадцать одного этого сорта»,— заметил я. Тагал опять заглянул в ящик. «Больше нет,— сказал он,— все вышли; сегодня будут».

Тут следовало бы пожать плечами, но я был очень сердит, не до того было, чтоб прибегать к этим общим местам для выражения досады. Вот подите же: где после этого доставать сигары? Я думаю, на Невском проспекте, у Тенкате: это всего вернее. Кто-то искал счастья по всему миру и нашел же его, воротясь, у своего изголовья. Не был ли в Маниле этот путешественник и не охотник ли он курить сигары? Видно, уж так заведено в мире, что на Волге и Урале не купишь на рынках хорошей икры; в Эперне́ не удастся выпить бутылки хорошего шампанского, а в Торжке не найдешь теперь и знаменитых пожарских котлет: их лучше делают в Петербурге.

«Что ж у вас есть в магазине? — спросил я наконец,— ведь эти ящики не пустые же: там сигары?» — «Чируты!» — сказал мне приказчик, то есть обрезанные с обеих сторон (которые, кажется, только и привозятся из Манилы к нам, в Петербург): этих сколько угодно! Есть из них третий и четвертый сорты, то есть одни большие, другие меньше.

А провожатый мой все шептал мне, отворотясь в сторону, что надо прийти «прямо и просто», а куда — все не говорил, прибавил только свое: «Je vous parle franchement, vous comprenez?» — «Да не надо ли подарить кого-нибудь?» — сказал я ему, наконец, выведенный из терпения. «Non, non[1],— сильно заговорил он,— но вы знаете сами, злоупотребления, строгости... но это ничего; вы можете все достать... вас принимал у себя губернатор — оно так, я видел вас там: но все-таки надо прийти... просто: vous comprenez».— «Я приду сюда вечером,— сказал я решительно, устав слушать эту болтовню,— и надеюсь найти сигары всех сортов...» — «Кроме первого сорта гаванской свертки»,— прибавил чиновник и сказал что-то тагалу по-испански... Я довез его до фабрики и вернулся домой.

Смысл этих таинственных речей был, кажется, тот, что все количество заготовляемых на фабрике сигар быстро расходится официальным путем по купеческим конторам, оптом, и в магазин почти не поступает; что туземцы курят чируты, и потому трудно достать готовые сигары высших сортов. Но если кто пожелает непременно иметь хорошие сигары не в большом количестве, тот, без всяких фактур и заказов, обращается к кому-нибудь из служащих на фабрике или *приходит прямо и просто*, как говорил мой провожатый, заказывает, сколько ему нужно, и

---

[1] Нет, нет *(франц.)*.

получает за ту же цену, мимо администрации, мимо магазина, куда деньги за эти сигары, конечно, уже не поступают.

По крайней мере я так понял загадочные речи моего провожатого. Et vous, mes amis, vous comprenez? je vous parle franchement[1].

Насилу-то, наконец, вечером я запасся, для себя и для некоторых товарищей, несколькими тысячами сигар, почти всех сортов, всех величин и притом самыми *свежими*. На ящиках было везде клеймо: *Febrero* (февраль), то есть месяц нашего там пребывания. Запрос так велик, что не успевают делать. Другие мои спутники запаслись чрез нашего банкира, но только одними чирутами. За *тысячу* сигар лучшего сорта платят здесь четырнадцать долларов (около 19 р. сер.), а за чируты восемь долларов. В Петербурге первых совсем нет, а вторые продаются, если не ошибаюсь, по шести и никак не менее пяти р. сер. за *сотню*. Каков процент! Табак не в сигарах не продается в Маниле; он дозволен только к вывозу. Говорят, есть еще несколько меньших фабрик, но я тех не видал, так же как и фабрики сигареток или папирос.

Наконец объявлено, что не сегодня, так завтра снимаемся с якоря. Надо было перебраться на фрегат. Я последние два дня еще раз объехал окрестности, был на кальсадо, на Эскольте, на Розарио, в лавках. Вчера отправил свои чемоданы *домой*, а сегодня, после обеда, на катере отправился и сам. С нами поехал француз Pl. и еще испанец, некогда моряк, а теперь commandant des troupes[2], как он называл себя. В этот день обещали быть на фрегате несколько испанских семейств, в которых были приняты наши молодые люди.

Когда мы садились в катер, вдруг пришли сказать нам, что гости уж едут, что часть общества опередила нас. А мы еще не отвалили! Как засуетились наши молодые люди! Только что мы выгребли из Пассига, велели поставить паруса и понеслись. Под берегом было довольно тихо, катер шел покойно, но мы видели вдали, как кувыркалась в волнах крытая барка с гостями.

Часов с трех пополудни до шести на неизмеримом манильском рейде почти всегда дует ветер свежее, нежели в другие часы суток; а в этот день он дул свежее всех прочих дней и развел волнение. «Мы их догоним,— говорил барон,— тяни шкот! тяни шкот!» — командовал он беспрестанно. Паруса надулись так, что шлюпка одним бортом лежала совершенно на воде; нельзя было сидеть в катере, не держась за противоположный борт. Мы ногами упирались то в кадку с мороженым, то в корзины с конфектами, апельсинами и мангу, назначенными для гостей и стоявшими в беспорядке на дне шлюпки, а нас так и

---

[1] И вы, друзья мои, вы понимаете? я говорю с вами откровенно *(франц.)*.

[2] сухопутный командир *(франц.)*.

тащило с лавок долой. «Не взять ли рифы?»— спросил барон Криднер. «Надо бы; да тогда тише пойдем, не поспеем прежде гостей,— сказал Бутаков,— вот уж они где, за французским пароходом: эк их валяет!»

Наш катер вставал на дыбы, бил носом ó воду, загребал ее, как ковшом, и разбрасывал по сторонам, с брызгами и пеной. Мы таки перегнали, хотя и рисковали если не перевернуться совсем, так *черпнуть* порядком. А последнее чуть ли не страшнее было первого для барона: чем было бы тогда потчевать испанок, если б в мороженое или конфекты вкатилась соленая вода?

Приставать в качку к борту — тоже задача. Шлюпку приподнимает чуть не до борта, тут сейчас и пользуйтесь мгновением: прыгайте на трап, а прозевали, волна отступит и утащит шлюпку опять в преисподнюю.

Мы только что вскочили на палубу, как и гости пристали вслед за нами. Их всего было человек семь испанцев, да три дамы, две испанки, мать с дочерью, и одна англичанка. Прочие приглашенные не поехали, побоявшись качки. Гостей угощали чаем, мороженым и фруктами, которые были, кажется, не без соли, как заметил я, потому что один из гостей доверчиво запустил зубы в мангу, но вдруг остановился и стал рассматривать плод, потом поглядывал на нас. Хотя мы не черпнули, но все-таки нельзя было запретить морской воде брызгать в шлюпку.

С англичанкой кое-как разговор вязался, но с испанками — плохо. Девица была недурна собой, очень любезна; она играла на фортепиано плохо, а англичанка пела нехорошо. Я сказал девице что-то о погоде, наполовину по-французски, наполовину по-английски, в надежде, что она что-нибудь поймет, если не на одном, так на другом языке, а она мне ответила, кажется, о музыке, вполовину по-испански, вполовину... по-тагальски, я думаю.

Наконец мы простились с Манилой, да вот теперь и заштилели в виду Люсона. Я вошел в свою каюту, в которой не был ни разу с тех пор, как переехал на берег. В ней горой громоздились ящики с сигарами, кучи белья, платья. Кое-как мы с Фаддеевым разобрали все по углам, но каюта моя уменьшилась наполовину. «А где соломенные шляпы?» — спросил я. «А вот они»,— сказал Фаддеев, показывая на потолок. «Да как ты их укрепил?» — спросил я, недоумевая, как они там держались. А очень просто: он вставил три или четыре шляпы одну в другую и поля гвоздиками прибил к потолку: прочно, не правда ли?

«Только-то? — скажете вы.— Тут и все о Маниле?» Вы недовольны? И я тоже. Я сам ожидал чего-то больше. А чего? Может быть, ярче и жарче колорита, более грез поэзии и побольше жизни, незнакомой нам всем, европейцам, жизни своеобычной: и нашел, что здесь танцуют, и много танцуют, спят тоже много, и краснеют всего, что похоже на свое. Выше я уже

сказал, что, вопреки климату, здесь на обеды ездят в суконном платье, белое надевают только по утрам, ходят в черных шляпах, предпочитают нежным изделиям манильской соломы грубые изделия Китая, что даже индиец рядится в суконное пальто, вместо своей воздушной ткани, сделанной из растения, которое выросло на его родной почве, и старается походить на метиса, метис на испанца, испанец на англичанина.

Люди изменяются до конца, до своей плоти и крови: и на этом благодетельном острове, как и везде, они перерождаются и меняют нравы, сбрасывают указанный природою костюм, забывают свой язык, забыли изменить только название острова и города. Вас, может быть, вводят в заблуждение звучные имена Манилы, Люсона; они напоминают Испанию. Разочаруйтесь: эти имена не испанские, а индийские. Слово Манилла, или, правильнее, Манила, выработано из двух тагальских слов: *mayron nila*, что слово в слово значит: *там есть нила*, а *нилой* называется какая-то трава, которая растет по берегам Пассига. *Майрон-нила* называлось индийское местечко, бывшее на месте нынешней Манилы. Люсон взято от тагальского слова *лосонг*: так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы, а эти последние и назвали остров Лосонг. Почему нет? ведь наши матросы называют же англичан *асеи*, от слова J say, то есть «эй, послушай!», которое беспрестанно слышится в английском разговоре. *Тагал* или *тагаилог* значит *житель рек*.

Зато природа на Люсоне неизменна, как везде, и богата, как нигде. Как прекрасен этот союз северного и южного неба, будто встреча и объятия двух красавиц! Крест и Медведица, Орион и Конопус так близко кажутся друг от друга... Необыкновенны переливы вечернего света на небе — яшмовые, фиолетовые, лазурные, наконец такие странные, темные и прекрасные тоны, под какие ни за что не подделаться человеку! Где он возьмет цвета для этого пронзительно-белого луча здешних звезд? как нарисует это мление вечернего, только что покинутого солнцем и отдыхающего неба, эту теплоту и кротость лунной ночи? Чудесен и голубой залив, и зеленый берег, дальние горы, и все эти пальмы, бананы, кедры, бамбуки, черное, красное, коричневое деревья, эти ручьи, островки, дачи — все так ярко, так обворожительно, фантастически прекрасно!..

И при всем том ни за что не остался бы я жить среди этой природы! Есть отрадные мгновения — утром, например, когда, вставши рано, отворишь окно и впустишь прохладу в комнату; но ненадолго оживит она: едва сдунет только дремоту, возбудит в организме игру сил и расположит к деятельности, как вслед за ней из того же окна дохнет на вас теплый пар раскаленной атмосферы. Вдаль посмотреть нельзя: волны сверкают, как горячие угли, стены зданий ослепительно белы, воздух как пламя,— больно глазам. Часов в десять, одиннадцать, не говоря

уже о полудне, сидите ли вы дома, поедете ли в карете, вы изнеможете: жар сморит: напрасно будете противиться сну. Хотите говорить — и на полуслове зевнете; мысль не успела сформироваться, а вы уж уснули. Но и сон не отрада: подушка душит вас, легчайшая ткань кажется кандалами. Дышишь горячо, ищешь ветра — его нет. Хочешь освежить высохший язык — вода теплая, положишь льду в нее — жди воспаления. К вечеру оживаешь, наслаждаешься, но и то в декабре, январе и феврале: дальше, говорят, житья нет. В летние месяцы льются потоки дождя, свирепствуют грозы, время от времени ураганы и землетрясения. В дождь ни выйти, ни выехать нельзя: в городе и окрестностях наводнение; в землетрясение происходит в домах и на улицах то же, что в качку на кораблях: все в ужасе; индийцы падают ниц...

Но и вечером, в этом душном томлении воздуха, в этом лунном пронзительном луче, в тихо качающихся пальмах, в безмятежном покое природы есть что-то такое, что давит мозг, шевелит нервы, тревожит воображение. Сидя по вечерам на веранде, я чувствовал такую же тоску, как в прошлом году в Сингапуре. Наслаждаешься и страдаешь, нега и боль! Эта жаркая природа, обласкав вас страстно, напутствует сон ваш такими богатыми грезами, каких не приснится на севере.

И все-таки не останешься жить в Маниле, все захочешь на север, пусть там, кроме снега, не приснится ничего! Не нашим нервам выносить эти жаркие ласки и могучие излияния сил здешней природы.

А разве, скажете вы, нет никогда таких жарких дней и обаятельных вечеров и у нас?.. Выдаются дни беспощадные, жаркие и у нас, хотя без пальм, без фантастических оттенков неба: природа, непрерывно творческая здесь и подолгу бездействующая у нас, там кладет бездну сил, чтоб вызвать в какие-нибудь три месяца жизнь из мертвой земли. Но у нас она дает пир, как бедняк, отдающий все до копейки на пышный праздник, который в кои-то веки собрался дать: после он обречет себя на долгую будничную жизнь, на лишения. И природа наша так же: в палящем дне на севере вы уже чувствуете удушливое дыхание земли, предвещающее к ночи грозу, потоки дождя и перемену надолго. А здесь дни за днями идут, как близнецы, похожие один на другой, жаркие, страстные, но сильные, ясные и безмятежные — в течение долгих месяцев.

Может быть, вы всё будете недовольны моим эскизом и потребуете чего-нибудь еще: да чего же? Кажется, я догадываюсь. Вам лень встать с покойного кресла, взять с полки книгу и прочесть, что Филиппинские острова лежат между 114 и 134° в. долг., 5 и 20° северн. шир., что самый большой остров — Люсон, с столичным городом Манила, потом следуют острова: Магинданао, Сулу, Палауан; меньшие: Самар, Панай, Лейт, Миндоро и многие другие.

В 1521 году Магеллан, первый, с своими кораблями, пристал к юго-восточной части острова Магинданао и подарил Испании новую, цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пассига. Вторая экспедиция приставала к Магинданао в 1524 году, под начальством Хуана Гарсия Хозе де Лоаиза. Спустя недолго приходил мореплаватель Виллалобос, который и дал островам название «Филиппинских», в честь наследника престола, Филиппа II, тогда еще принца астурийского.

В 1664 году Мигель Лопец Легаспи пришел, с пятью монахами ордена августинцев и с пятью судами, покорять острова силою креста и оружия. Индийцы некоторых, вновь открытых островов, куда еще не проникали ни Магеллан, ни Лоаиза, перепугались, увидя европейцев. Они донесли своему начальству, что приехали люди «с тоненьким и острым хвостом, что они бросают гром, едят камни, пьют огонь, который выходит дымом из носа, а носы у них,— прибавили они,— предлинные». Индийцы приняли морские сухари за камни, шпагу — за хвост, трубку с табаком — за огонь, а носы — за носы тоже, только длинные: не оттого, что у испанцев носы были особенно длинны, а оттого, что последние у самих индийцев чересчур коротки и плоски.

Легаспи, по повелению короля, покорил и остров Лосонг, или Люсон. Он на Пассиге основал нынешний город, удержав ему название бывшего на этом месте селения Мейрон-Нила или, сокращенно, Mai-Nila. Легаспи привлек китайцев, завел с ними торговлю, которая процветает и поныне. Вскоре наехали францисканцы, доминиканцы[1], настроили церквей, из которых августинский монастырь древнейший, построенный по плану архитектора, строившего Эскуриал[2].

После того Манила не раз подвергалась нападениям китайцев, даже японских пиратов, далее голландцев, которые завистливым оком заглянули и туда, наконец англичан. Эти последние, воюя с испанцами, напали в 1762 году и на Манилу и вконец разорили ее. Через год и семь месяцев мир был заключен и колония возвращена Испании.

Жидко об истории, скажете вы, может быть. Но стоит ли больше говорить о ней? Филиппинский архипелаг, как parvenu[3] какой-нибудь, еще не имеет права на генеалогическое дерево. Говорить больше о нем значит говорить об истории испанского могущества XV, XVI и XVII столетий. Оно отозвалось и в здешних отдаленных углах, но глухо. Мир тогда сжался на маленьком лоскутке: над ним и играло всей силой своей солнце судьбы, и сюда чуть-чуть долетали его лучи. Может быть,

---

[1] Члены католических монашеских орденов.

[2] Эскуриал — дворец испанских королей близ Мадрида.

[3] выскочка *(франц.)*.

заиграет оно когда-нибудь и здесь, как над старой Европой: тогда на путешественнике будет лежать тяжелая обязанность рыться в здешних архивах и с важностью повествовать ленивым друзьям о событиях края.

О торговле три слова:

Из Манилы вывозятся в Америку, в Китай, в Европу и особенно в Англию: сахар, индиго, пенька, сигары, ром, дерево; а привозятся бумажные и шерстяные изделия, железо, корабельные припасы, провизия, стальные изделия, стекло, глиняная посуда.

Ежегодно приходит до двухсот испанских и чужих кораблей и столько же отходит.

Сумма привоза простирается свыше полутора миллиона пиастров, иногда доходит до двух; вывозится миллиона на три...

(Зри «Kaufmännische Berichte, gesammelt auf einer Reise um die Welt von W. N. Nopitsch»[1].)

Ну, теперь, кажется, все!

---

[1] «Торговые отчеты, собранные В. Н. Нопичем во время кругосветного путешествия» *(немецк.)*.

VI

ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

Качающаяся мачта. — Остров Батан. — Padre и алькад. — Сулой. — Остров Камигуин, порт Пио-Квинто.— Красное дерево.— Птицы и насекомые. — Бананы. — Дракон, пожирающий уток. — Обед в тропическом лесу. — Кит. — Акула. — Остров Гамильтон. — Камелии. — Корейцы. — Вести из Шанхая. — Нагасаки. — Второй губернатор. — Подарки. — Провизия. — Острова Гото. — Берега Кореи; опись их и поверка карт.—Залив Лазарева.—Прогулки по берегу.— Сильные туманы.— Змея. — Сношения с жителями. — Неприятность. — Река Тайманьга.— Историческая заметка о Корее. — Татарский пролив. — Шквал. — Большой залив. — Жители. — Тунгус Афонька. — Гиляки.

С 27 февраля по 22 мая, 1854.

Мы вышли из Манилы 27-го февраля вечером и поползли опять теми же штилями вдоль Люсона, какими пришли туда.

Тащились дней пять, но зато чуть вышли из-за острова, как крепкий норд-остовый муссон задул нам в лоб.

Сначала взяли было один, а потом постепенно и все четыре рифа. Медленно, туго шли мы, или, лучше сказать, толкались на одном месте. Долго шли одним галсом, и 8-го числа воротились опять на то же место, где были седьмого. Килевая качка несносная, для меня, впрочем, она лучше боковой, не толкает из угла в угол, но кого укачивает, тем невыносимо.

Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их: транспорт «Князь Меншиков» в Шанхай, за справками, шкуну к о. Батану, отыскать якорное место и заготовить провизию, корвет — еще куда-то. Сами идем на островок Гамильтон, у корейского берега, и там дождемся транспорта.

Только мы расстались с судами, как ветер усилился, и вдруг оказалось, что наша фок-мачта клонится совсем назад, еще

хуже, нежели грот-мачта. Общая тревога; далее идти было бы опасно: на севере могли встретиться крепкие ветра, и тогда ей несдобровать. Третьего дня она вдруг треснула; поскорей убрали фок. Надо зайти в порт, а куда? В Гон-Конг всего бы лучше, но это значит прямо в гости к англичанам. Решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона.

Но прежде надо зайти на Батан, дать знать шкуне, чтоб она не ждала фрегата там, а шла бы далее, к северу. Мы все лавировали к Батану; ветер воет во всю мочь, так что я у себя не мог спать: затворишься — душно, отворишь вполовину дверь — шумит, как в лесу.

Вчера, с 9-го на 10-е ночью, течением отнесло нас на 35 миль в сутки, против счисления, к норду, несмотря на то, что накануне была хорошая обсервация[1], и мы очутились выше Батана. Зато как живо спустились к нему попутным ветром! Это тот самый Батан, у которого нас прихватил, в прошлом году в июле месяце, тифон, или «тайфун» по-китайски, то есть сильный ветер. Мы тогда напрасно искали на восточном берегу пристани: нет ее там; зато теперь тотчас отыскали на юго-западном. Шкуна стояла уже там и еще китолов американский.

Островок недурен, весь в холмах, холмы в зелени. Бухта не закрыта от зюйда, и остановиться в ней на якорь опасно, хотя в это время года, то есть при норд-остовом муссоне, в ней хорошо; зюйдовых ветров нет. Но положиться на это нельзя. А как вдруг задует? Между скал (тоже зеленых) есть затишье и пристань. Глубина неровная: 50 сажен, потом 38, и вдруг семь, почти рядом. Нам открылся монастырь, потом дом испанского алькада и деревня в зелени. Хорошо, приятно и весело смотреть на берег. Наши поехали, я нет. Меня, кажется, прихватила немного болезнь, которую немцы называют Heimweh[2]. Просто домой хочется. Даст ли бог сил выдержать! Прелесть того, что манило вдаль — новизны, утратилась; впереди только беспокойства и неизвестность.

У нас сегодня утром завтракали padre[3] и алькад. Я не выходил из каюты, не хотелось, но смотрел из окна с удовольствием, как приехавшие с ними двое индийских мальчишек, слуг, разинули вдруг рот и обомлели, когда заиграли наши музыканты. Скоро удивление сменилось удовольствием: они сели рядом на палубе и не спускали глаз с музыкантов. Мальчишек укачивало. У меньшего желтенькое лицо позеленело, и он спрятался за пушку. Вдруг padre позвал его; тот не слыхал, и padre дал ему такого подзатыльника, что впору пирату такого дать, а не пастырю.

---

[1] Наблюдение по картам и небесным светилам для определения места кораблей (*лат.* observatio).

[2] тоской по родине (*немецк.*)

[3] священник (*испанск.*).

Нам прислали быков и зелени. Когда поднимали с баркаса одного быка, вдруг петля сползла у него с брюха и остановилась у шеи; бык стал было задыхаться, но его быстро подняли на палубу и освободили. Один матрос на баркасе, вообразив, что бык упадет назад в баркас, предпочел лучше броситься в воду и плавать, пока бык будет падать; но падение не состоялось, и предосторожность его возбудила общий хохот, в том числе и мой, как мне ни было скучно.

Приняв провизию, мы снялись с якоря и направляемся теперь на островок Камигуин, поправить немного мачты.

Мы вышли ночью; и как тут кое-где рассеяны островки, то, для безопасности, мы удержались до рассвета под малыми парусами у островов Баши. Я спал, но к утру слышал сквозь сон, как фрегат взял большой ход на фордевинд. Этот ход сопровождается всегда боковой качкой. Мы полагали стать к часам четырем на якорь; всего было миль шестьдесят, а ходу около десяти узлов, то есть по десяти миль, или семнадцать с лишком верст, в час. Но в таких расчетах надо иметь в виду течения; здесь течение было противное; попутный ветер нес нас узлов десять, а течением относило назад узлов пять. Часам к пяти мы подошли к Камигуину, но подвигались так медленно, что солнце садилось, а мы еще были все у входа.

Вдобавок ко всему у острова встретили мы сулой и попали прямо в него. Вы не знаете, что такое «сулой»? И дай бог вам не знать. Сулой — встреча ветра и течения. У нас был норд-остовый ветер, а течение от SW. Что это за наказание! Никогда не испытывали мы такой огромной и беспокойной зыби. Ветер не свежий, а волны, сшибаясь с двух противных сторон, вздымаются как горы, самыми разнообразными формами. Одна волна встает, образует правильную пирамиду и только хочет рассыпаться на все стороны, как ей и следует, другая вдруг представляет ей преграду, привскакивает выше сеток судна, потом отливается прочь, образуя глубокий овраг, куда стремительно падает корабль, не поддерживаемый на ходу ветром. Взад подтолкнет его победившая волна, и он падает на бок и лежит так томительную минуту. Волны хлещут на палубу, корабль черпает бортами. Беда судам: мелкие заливает нередко, да и большие могут потерять мачты. К счастью, ветер скоро вынес нас на чистое место, но войти мы не успели и держались опять ночь в открытом море; а надеялись было стать на якорь, выкупаться и лечь спать.

Утром уже на другой день, 11-го марта, мы вошли в бухту Пио-Квинто северным входом и стали за островком того же имени, защищающим рейд. Бухта большая; берега покрыты непроходимою кудрявою зеленью. На острове есть потухший волкан; есть пальмы, бананы; раковин множество; при мне матросы привезли Посьету набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. Доктор убил до шести птиц, золотистых, красных, желтых: их потрошат и набивают хлопчатой бумагой. Гошкевичу раздолье

Мне нельзя на берег: ревматизм в виске напоминает о себе живою болью. Я с фрегата смотрю, как буруны стеною нападают на берег, хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. Океан как будто лелеет эти островки: он играет с берегами, то ревет, сердится, то ласково обнимает любимцев со всех сторон, жемчужится, кипит у берегов и приносит блестящую раковину, или морского ежа, или красивый, выработанный им коралл, как будто игрушки для детей.

Фаддеев сегодня был на берегу и притащил мне раковин, одна другой хуже, и, между прочим, в одной был живой рак, который таскал за собой претяжелую раковину. «Смех какой!»— сказал он. «Верно, с кем-нибудь неприятность случилась»,— подумал я, зная его характер. Так и есть. «Наши ребята,— продолжал он,— наелись каких-то стручков, словно бобы, и я один съел — ничего, годится, только рот совсем свело, не разожмешь, а у них животы подвело, их с души рвет: теперь стонут».— «Как же можно есть неизвестные растения? — заметил я,— ведь здесь много ядовитых». —«Еще мы нашли,— продолжал Фаддеев,— какие-то... орехи не орехи, похожи и на яблоки, одни красные, другие зеленые. Мы съели по штуке красной — кисло таково; хотели было зеленое попробовать, да тут ребят-то и схватило, застонали — смех! И с господами смех,— прибавил он, стараясь не смеяться,— в буруны попали; как стали приставать, шлюпку повернуло, всех вал и покрыл, все словно купались... да вот они!» — прибавил он, указывая в окно. В самом деле все мокрые.

16-е марта. Меня все одолевала то зубная боль, то хандра. А что за время! зелено, сине, солнечно, ярко и жарко, с легкой прохладой. Я все ленился ехать на берег; я беспрестанно слышал, как один шел по пояс в воде, другой пробирался по каменьям, третий не мог пробраться сквозь лианы. Все это мало давало мне охоты ехать туда. Но сегодня утром, лишь только я вышел на палубу, встретил меня Унковский и звал ехать. «Смотрите, бурунов совсем нет, ветер с берега,— говорил он,— вам не придется по воде идти, ног не замочите, и зубы не заболят». Я взял зонтик, надел соломенную шляпу, и мы отправились на вельботе.

В самом деле, бурунов не было, и мы въехали в ручеек, как на санях. Матросы соскочили в воду и потащили вельбот на себе, так что мы выскочили прямо на песчаный берег. В ручейке были раковины, камешки, кораллы — все, кроме воды. Мы вошли под свод развесистых деревьев, и нас охватил влажный, горячий пар. Берег весь зарос сплошной чащей, большею частью красным деревом. Зелень густа, как волосы. Красное дерево и придает эту кудрявую наружность всему острову. У дерева крепкие и масленые, ярко-зеленые листья, у одних небольшие, у других более четверти аршина длиной и такие толстые, что годились бы на подошву.

Мы подошли к нашим палаткам, разбитым на самом берегу, под деревьями, и застали Гошкевича среди букашек, бабочек, раков — живых и мертвых, потрошеных и непотрошеных птиц, змей и ящериц. Посидевши минут пять в тени, мы пошли дальше, по берегу, к другой речке, очень живописной. Чаща не позволяла пробираться лесом: лианы сетью опутали деревья, и иногда ни перешагнуть, ни прорвать их не было никакой возможности. Надо было идти по берегу, усыпанному крупными и мелкими каменьями, периодически покрываемыми приливом. Каменья или вонзались в подошву, или расступались под ногами и катились во все стороны. Упасть, правду сказать, было нельзя, но сломать ногу, и, пожалуй, обе, можно. Так мы шли версты две, и я отчаялся уже дойти, как вдруг увидели наших людей. Они срубили дерево и очищали его от коры. Что это за чудовищный ствол красного дерева! Только дубы на мысе Доброй Надежды да камфарные деревья в Китае видел я такого объема. Здесь мы, по тенистой и сырой тропинке, дошли до пустого шалаша, отдохнули, переправились по доске через речку, до того быструю, что, когда я, переходя по зыбкому мостику, уперся в дно ручья длинной палкой, у меня мгновенно вырвало ее течением из рук и вынесло в море.

Далее мы шли лесом всё по речке. Я не мог надивиться этой растительности: нас покрывал совершенно свод зелени от солнца. Деревья, одно другого красивее, выше, гуще и кудрявее, теснились, как колосья, в кучу. Множество птиц, красных, желтых зеленых, летало в ветвях, мелькало из куста в куст. Что за крики! Вверху раздавался то стон, то щелканье, а одна какая-то горланила так, что хоть уши зажми. Насекомых было не меньше. Я заметил много исполинских бабочек, потом что-то вроде ос, синих, с шерстью и с пятном на голове. Одна такая, накануне, сидя уже на булавке, в ящике у Гошкевича, прокусила насквозь сигару, которую я ей подставил. Бабочки тоже до бесконечности разнообразны; есть с ладонь величиной. Мухи мелкие, простые, и те отличаются необыкновенной формой и красками.

Мы вышли на поляну, к шалашам индийцев и к их плантациям. Это те же тагалы, что и в Маниле, частью беглые, частью добровольно удалившиеся с Люсона. Все они говорят по-испански. Их до двухсот человек на острове. Жилища их разбросаны в разных местах. Ну, жилища! Четыре столба, аршина в полтора вышиной, на них настилка из досок, потом с трех сторон стенки из бамбуковых жердей, крытые пальмовыми листьями, четвертая сторона открыта. Там бедная утварь, кругом куры и собаки. Жители выжгли лес на далекое расстояние, для плантаций. Я затерялся между бананами, кукурузой, таро и табаком. Бананы великолепны, пока еще будущие плоды не сформировались и таятся в большой, висящей книзу почке фиолетового цвета. Листья почки, вскрываясь, принимают красный цвет,

и потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов. Кокосов здесь я не видал. Пальм другого рода я видел много, особенно арека.

Усталый, сел я на пень у шалашей и смотрел на веселую речку: она вся усажена кустами, тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы мыли белье, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на великана, который простирает руки вверх, как Лаокоон[1], стараясь освободиться от сетей, но напрасно. Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и врастали в дерево толстые растительные веревки; кверху они тонки, как нитки. Криднер попробовал разорвать одну и не мог, и насилу разрезал ножом. Птицы так и заливались на разные голоса, но они так прятались в тени, что я видел немногих. «Ночью покоя не дают, ваше высокоблагородие,— сказал матрос, ночевавший на берегу,— забьются под шалаш и кричат изо всей мочи». Пронесся над нами здешний голубь, с белой головой, зеленоватой спиной, больше нашего. Вороны (я сужу по устройству крыльев), напротив, меньше наших: синие, голубые, но с черными крыльями и с белыми, симметрическими пятнами на крыльях, как и наши.

С час отдохнули мы в прохладе и пошли назад. На этот раз путешествие по каменьям показалось мне пыткой: идешь, идешь, думаешь, вот скоро конец, взглянешь вперед, а их целая необозримая площадь. Неумолимый полдень жжет; зонтик и толстая соломенная шляпа мало защищают. Пойдешь в тень, под деревья — ноги путаются в лианах. Буруны стеной, точно войско, шли на берег и разбивались у наших ног. Издали шум от них походил на гром. Мы разбрелись врозь, и я, от скуки, собирал дорогой раковины, оставленные приливом, особенно мелкие, чрезвычайно красивые. Некоторые из них двигались: раки были живы в них. Неся их, чуть зазеваешься, раки выползают и щупальцами цепляются за руки.

19-е. Сегодня положено обедать на берегу. В воздухе невозмутимая тишина и нестерпимый жар. Чем ближе подъезжаешь к берегу, тем сильнее пахнет гнилью от сырых кораллов, разбросанных по берегу и затопляемых приливом. Запах этот, вместе с кораллами, перенесли и на фрегат. Все натащили себе их кучи. Фаддеев приводит меня в отчаяние: он каждый раз приносит мне раковины; улитки околевают и гниют. Хоть вон беги из каюты!

Уже дня три рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то живот-

---

[1] Гончаров имеет в виду скульптурную группу родосских ваятелей Агесандра, Полидора и Афинодора (от III до I вв. до н. э.), изображающую Лаокоона — троянского жреца бога Аполлона — и его сыновей, которые пытаются освободиться от обвивших их змей.

ное, аршина два длиной. Вчера оно съело мертвую утку. Утки, куры и бараны — все свезены с фрегата на берег. Одна околела и досталась животному. «Да какое животное??» — спрашивали у матросов. «С змеиным хвостом, на двух ножках»,— говорил один, «и с двумя стрелками во рту»,— сказал другой. «Это дракон, ваше высокоблагородие,— заключил, подумавши, один унтер-офицер.— Дня три мы уж караулим его, да все схватить нельзя: часто, да ненадолго выходит. Сегодня удалось только ударить его веслом по спине. Теперь сидит там Михелька Керн, скотник, с ружьем».

Я побежал к речке, сунулся было в двух местах, да чрез лес продраться нельзя: папоротники и толстые стволы красного дерева стояли стеной, а лианы раскинуты, как сети. Матрос указал мне тропинку, и я подошел к речке. В одном месте она образовала бассейн, заваленный пнями, увядшими ветвями и сухими листьями. Сквозь кусты я увидел человека, неподвижно стоявшего с ружьем. «Что ты тут делаешь?» — спросил я. «Жду дракона, ваше высокоблагородие»,— почти не дыша, прошептал он. Близ него валялись две утки, одна с выеденным желудком; кругом ее тучей носились и жужжали мухи, лакомые до падали; другая была еще не тронута; на ней-то Михелька Керн основывал свои надежды. И я стал с ним ждать. Но как ему обещали награду, если он дождется, а мне ничего, то я потерял терпение и выдрался опять на чистое место, к палаткам.

У одной из них собралась толпа наших и кого-то окружила. Я удвоил шаги, смотрю, в кружке стоит Гошкевич и держит что-то в руках. «Что это у вас?» — спросил я. «А вот смотрите»,— отвечал он и поднес мне к самому носу ящерицу, в аршин длиной. Передние и задние лапы связаны были у ней лианой на спине. Она болезненно мигала и по временам высовывала и мгновенно опять прятала длинный, тонкий язык. «Так вот кто ест уток!» — сказал я. «Нет, как можно: та гораздо больше!»— закричали на меня несколько голосов. «И не такая совсем»,— сказал кто-то из толпы. «С крыльями»,— прибавил матрос из малороссиян. Я не стал спорить и ушел в палатку. Там негде было ступить: целый музеум раковин, всех цветов и величин, раков, между которыми были некоторые чудовищных размеров и удивительно ярких красок, как и все здесь, под этим щедрым солнцем. Тут сидели три индийца на полу. Они, за платок, за старую рубашку, за изношенные башмаки, несли Гошкевичу все, чем богата здешняя природа. Один тащил живую змею, другой — мешок раковин, за которыми, с сеткой на плечах, отправлялся в буруны, третий — птицу или жука.

Я бросил кончик закуренной сигары на землю: они с жадностью схватили ее и начали по очереди курить. Я дал им всем по сигаре: с какою радостью и поклонами приняли они подарок! Я потом захотел полежать на доске, вне палатки: они бросились услуживать, отирать доску, подставлять под нее камешки,

Как ни привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз, оглянешь ли кругом всю картину лесистого берега, остановишься ли на одном дереве, кусте, рогатом стволе, невольно трепет охватит душу, и как ни зачерствей, заплатишь обильную дань удивления этим чудесам природы. Какой избыток жизненных сил! какая дивная работа совершается почти в глазах! какое обилие изящного творчества пролито на каждую улитку, муху, на кривой сучок, одетый в роскошную одежду!

Мы обедали в палатке; запах от кораллов так силен, что почти есть нельзя. Обед весь состоял из рыбы: уха, жареная рыба и гомар чудовищных размеров и блестящих красок; но его оставили к ужину. Шея у него — самого чистого, дикого цвета, как будто из шелковой материи, с коричневыми полосами; спина синяя, двуличневая, с блеском; усы в четверть аршина длиной, красноватые.

Рыбы здесь так же разнообразны, блестящи и странны, как все прочее. Гошкевичу принесли их бездну: они нанизаны были на нитке. Каких странностей не было тут? У одной только и есть, что голова, а рот такой, что комар не пролезет; у другой одно брюхо, третья вся состоит из спины, четвертая в каких-то шипах, у иной глаза посреди тела, в равном расстоянии от хвоста и рта; другую примешь с первого взгляда за кожаный портмоне, и так далее. Все они покрыты пестрым узором красок. К десерту подали бананы; некоторые любят их, я не могу есть: они мучнисты, приторны, напоминают немного пряники на сусле.

После обеда все разбрелись: кто купаться к другой речке, кто брать пеленги по берегам, а некоторые остались в палатке уснуть. Я с захождением солнца уехал домой.

Фаддеев встретил меня с раковинами. «Отстанешь ли ты от меня с этою дрянью?» — сказал я, отталкивая ящик с раковинами, который он, как блюдо с устрицами, поставил передо мной. «Извольте посмотреть, какие есть хорошие»,— говорил он, выбирая из ящика то рогатую, то красную, то синюю с пятнами. «Вот эта, вот эта; а эта какая славная!» И он сунул мне к носу. От нее запахло падалью. «Что это такое?» — «Это я чистил: там улитки были,— сказал он,— да, видно, прокисли».—«Вон, вон! неси к Гошкевичу!»

Сегодня все перебираются с берега: работы кончены на фрегате, шкалы подняты и фок-мачту как будто зашнуровали. В лесу нарубили деревьев, все, разумеется, красных, для будущих каких-нибудь починок. С берега забирают баранов, уток, кур; не знаю, заберут ли дракона,или он останется на свободе доедать трупы уток.

Третьего дня бросали с фрегата, в устроенный на берегу щит, ядра, бомбы и брандскугели. Завтра, снявшись, хотят повторить то же самое, чтоб видеть действие артиллерийских снарядов в случае встречи с англичанами.

Как ни привыкнешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки: недели, иногда месяцы под парусами — не удовольствие, а необходимое зло. В продолжительном плавании и сны перестают сниться береговые. То снится, что лежишь на окне каюты, на аршин от кипучей бездны, и любуешься узорами пены, а другой бок судна поднялся сажени на три от воды; то видишь в тумане какой-нибудь новый остров, хочется туда, да рифы мешают...

Сегодня два события, следовательно два развлечения: кит зашел в бухту и играл у берегов, да наши куры, которых свезли на берег, разлетелись, штук сто. Странно: способность летать вдруг в несколько дней развилась в лесу так, что не было возможности поймать их; они летали по деревьям, как лесные птицы. Нет сомнения, что если они одичают, то приобретут все способности для летанья, когда-то, вероятно, утраченные ими в порабощенном состоянии.

Снялись с якоря, вышли попутным ветром, и только отошли мили три, как подул противный. Пошли вбок, потом в другой — лавируем. Третьего дня прошли Батан, вчера утром были в группе северных островов Баши, Байет и друг.; сегодня другой день штиль; идем узел, два. Слава богу, что облачно, а то бы жар был невыносим. Скоро ли дойдем — бог весть: кто сулит две недели, кто шесть. Утром еще я говорил, ходя по юту с Посьетом: «Скучно, хоть бы случилось что-нибудь, чтоб развлечься немного». Судьба как будто услышала мой ропот и дала нам спектакль, возможный только в тропических морях, даже довольно обыкновенный там, но всегда занимательный. Об этом писали так много раз, что я не хотел ничего упоминать, если б не был таким близким свидетелем, почти участником зрелища.

Мы только что отобедали, я пришел, по обыкновению, в капитанскую каюту выкурить сигару и сел на диван, в ожидании, пока принесут огня. Капитан сидел в кресле; жарко, дверь и окна были открыты. Не просидели мы пяти минут, как наверху, над нашими головами, сделалось какое-то движение, суматоха; люди засуетились и затопали. Капитан поспешил, по своей обязанности, вон из каюты, но прежде выглянул в окно, чтоб узнать, что такое случилось, да так и остался у окна. Я думал, не оборвалась ли снасть или что-нибудь в этом роде, и не трогался с места; но вдруг слышу, многие голоса кричат на юте: «Тащи, тащи!», а другие: «Нет, стой! не тащи, оборвется!»

Я бросился к окну и вижу, на меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовища. Аршинах в двух или трех от окна висела над водой пойманная, на толстый, пальца в полтора, крюк акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть: она, от боли, открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно в глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими и острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в доб-

рую сажень величиной. Хвост ее болтался в воде, а все остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней темно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Она минут пять висела неподвижно, как будто хотела дать нам случай разглядеть себя хорошенько; только большие, черные, круглые глаза сильно ворочались, конечно от боли. Около хвоста беспокойно плавали взад и вперед обычные спутники акулы, две желтые, с черными полосами, небольшие рыбы, прозванные «лоцманами». Иногда их плавает с нею по три и по четыре. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно.

Я с жадностью смотрел на это зрелище, за которое бог знает что дали бы в Петербурге. Я был, так сказать, в первом ряду зрителей, и если б действующим лицом было не это тупое, крепко обтянутое непроницаемой кожей рыло, одаренное только способностью глотать, то я мог бы читать малейшее ощущение страдания и отчаяния на сколько-нибудь более органически развитой физиономии.

От тяжести акулы и от усилий ее освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться, веревка затрещала. Еще одно усилие со стороны акулы — веревка не выдержала бы, и акула унесла бы в море крюк, часть веревки и растерзанную челюсть. «Держи! держи! тащи скорее!» — раздавалось между тем у нас над головой. «Нет, постой тащить! — кричали другие,— оборвется; давай конец!» (*Конец*— веревка, которую бросают с судна шлюпкам, когда пристают, и в других подобных случаях.)

Акула пока отдыхала. Внутри ее, в глубине пасти, виднелись кости челюсти, потом бледно-розовое мясо, а далее пустое, темное пространство. Из конца сделали широкую петлю и надели на акулу. «Вот так, вот так! — кричали одобрительно голоса наверху,— под крылья-то подцепи ей!» (Под крыльями матросы разумели плавательные ласты, которые формой и величиной в самом деле походят на крылья.) Только лишь зацепили за крылья, акула была уже поймана. Ее стали тянуть кверху. Тут она собрала все силы и начала изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, о корму, о висевшую у кормы шлюпку, обо все, что было на пути. Я должен был посторониться от окна, потому что конец хвоста попал и в окно.

Но ничто не спасло ее, час ее пробил. «Прочь, прочь!» — кричали на юте, втаскивая туда акулу. Раздался тревожный топот людей, потом паденье тяжелого тела и вслед за тем удары в палубу.

Мы с Криднером бросились к двери, чтоб бежать на ют, но, отворив ее, увидели, что матросы кучей отступили от юта, ожи-

дая, что акула сейчас упадет на шканцы. Как выскочить? Ну, съели она в эту минуту... Но любопытство преодолело; мы выскочили и вбежали на ют.

Там человек двадцать держали концы веревок, которыми было опутано чудовище. Оно билось о палубу, ползало и махало хвостом; все расступались. А. А. Колокольцев схватил топор и нанес акуле удар ниже пасти — хлынула кровь и залила палубу; образовалась широкая, почти в ладонь, рана. Кто-то еще проворно черкнул ее большим ножом по животу: оттуда вывалились внутренности в виде каких-то грязных тряпок. Акула вдруг присмирела. Тогда барон Шлипенбах взял гандшпуг (это почти в руку толщиной деревянный кол, которым ворочают пушки) и воткнул ей в пасть: гандшпуг ушел туда чуть не весь. Пасть оскалила четыре ряда зубов; нижняя челюсть судорожно шевелилась. Животное перевернули на спину и веревками привязали к гику.

Мы толпой стояли вокруг, матросы теснились тут же; другие взобрались на ванты, все наблюдали, не обнаружит ли акула признаков жизни, но признаков не было. «Нет, уж кончено,— говорили некоторые,— она вся изранена и издохла». Другие, напротив, сомневались и приводили примеры живучести акул, и именно, что они иногда, через три часа после мнимой смерти, судорожно откусывали руки и ноги неосторожным.

Велели смыть с палубы кровь. Явились матросы с водой и швабрами. После того один из нас взял топор и начал рубить у акулы понемногу ласты, другой ножом делал в разных местах надрезы, так, из любознательности, посмотреть, толста ли кожа и что под ней. Пришел наш любитель-натуралист, присел около акулы и начал изучать кожу, рассматривать подробно голову, глаза. Кол из пасти вынули и полили окровавленную морду водой. Многие, кому наскучило смотреть, разошлись. Пора бы убрать ее. Веревки развязали, перевернули акулу опять на живот и хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще поскоблить ножом ей спину: вдруг она встрепенулась, хлестнула хвостом направо, налево; все отскочили прочь; один матрос не успел, и ему достались два порядочные туза: один по икрам, другой повыше... Он слетел с ног; все захохотали и снова принялись укрощать зверя.

Но это не так легко было сделать теперь, когда сняли с него веревки и вынули из пасти кол. Истерзанная, исколотая, с висящими внутренностями, акула билась о палубу, извивалась змеей, быстро и сильно описывала хвостом круги и все подвигалась к краю. Никто не решался подступить. Это было последнее благоприятное мгновение, которым она могла воспользоваться. Еще один изгиб, один взмах хвоста посильнее, пока ходили за гандшпугом и топором, она полетела бы за борт и по крайней мере околела бы в своей стихии. Но она на минуту

притихла, а наши снова принялись за кол и топор. «Бей ее по голове,— кричали голоса,— да береги ноги: прочь, прочь!»

Ближе всех около нее вертелся тот матрос, которого она угостила двумя пинками. Он рассердился, или боль еще от пинков не прошла, только он с колом гонялся за акулой, стараясь ударить ее по голове и забывая, что он был босиком и что ноги его чуть не касались пасти. Но взмахи хвоста были так порывисты, что попасть в голову было трудно, и удары все приходились по спине, а это ей, по-видимому, нипочем. Наконец матросу удалось попасть два раза и в голову: акула изменила только направление, но все изгибалась и ползла так же скоро и сильно, как и прежде. Другой ударил топором ниже головы: животное присмирело и поползло медленнее. «Руби голову, руби голову!» — кричали ему. Матрос нанес другой удар: она сильно рванулась вперед; он ударил в третий раз: она рванулась еще, но слабее. «Нет, теперь шабаш!» — сказал он, отделяя четвертым ударом голову от туловища. Но и то не шабаш: туловище еще продолжало неровно и медленно изгибаться, но все слабее и слабее, а голова судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули гандшпуг и унесли. Все разошлись.

Этим спектаклем ознаменовалось наше прощание с тропиками, из которых мы выходили в то время и куда более уже не возвращались.

Вечером, идучи к адмиралу пить чай, я остановился над люком общей каюты посмотреть, с чем это большая сковорода стоит на столе. «Не хотите ли попробовать жареной акулы?» — спросили сидевшие за столом. «Нет».— «Ну, так ухи из нее?» — «Вы шутите,— сказал я,— разве она годится?» — «Отлично!» — отвечали некоторые. Но я после узнал, что те именно и не дотрагивались до «отличного» блюда, которые хвалили его.

Кожа акулы очень ценится столярами для полировки дерева; кроме того, ею обивают разные вещи; в Японии обтягивают сабли. Мне один японец подарил маленький баул, обтянутый кожей акулы; очень красиво, похоже немного на тисненый сафьян. Мне показали потом маленькую рыбку, в четверть аршина величиной, найденную прилипшею к спине акулы и одного цвета со спиной. У нас попросту называли ее «прилипалой». На одной стороне ее был виден оттиск шероховатой кожи акулы.

Вчера, 25 марта, видели китолова: топит печь для выварки жира из пойманного кита. Пламя и дым далеко видны, как на пожаре. Сегодня вышли из тропиков, но все жарко. Зато штиль сменился попутным ветром: летим до одиннадцати узлов. Что еще? да! обезьяна упала за борт и в одно мгновение исчезла в волнах. Их всех три у нас. Сегодня в сумерки летала около фрегата какая-то птица, описывая круги все ближе и ближе. Видно, что она была утомлена и, вероятно, не надеялась добраться домой. Два раза опускалась она в шлюпку и опять улетала. Я ходил

с Криднером по юту. Птицы не стало видно. Вдруг видим, ее несет уже к нам матрос, сжав ей одной рукой шею, другой ноги. Птица оказалась «глупыш», род морской утки, никуда не годной. Ее велели отнести к Гошкевичу; тот отравляет животных мышьяком и потом потрошит. Я восстал, назвав это предательством, то есть относительно глупыша: он искал убежища, а его хотят умертвить! Не следует. Пока его заперли в курятник. Завтра, может быть, выпустят.

29 марта. Мы плаваем, плаваем, и все еще около трехсот миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова, с удобным портом, где назначено рандеву шкуне. То дунет попутный ветер, и мы пронесемся миль двести вперед, то настанет штиль, идем по три узла. Теперь вот третий день льет проливной дождь; выйти на *улицу* (так мы называли верхнюю палубу) нельзя. Зато тихо. Я рад, что могу заняться делом. Стало заметно холоднее, как мы подвигаемся к северу, и дождь не южный, не летний. Все достают суконные платья.— Вчера матрос поймал в жилой палубе ядовитейшее из тропических насекомых — centipes, стоножку. Она красновата, длиной вершка полтора, суставчатая; у ней, однако ж, не сто ног, а всего двадцать четыре. Сначала я думал, что это шея рака. Укушение ее, если не принять скорых мер, смертельно. Она страшна людям; большие животные бегут от нее; а ей самой страшен цыпленок: он, завидев стоножку, бежит к ней, начинает клевать и съедает всю, оставляя одни ноги.

У нас, впрочем, есть всего понемножку, и особенно много развелось тараканов; мы, вероятно, их захватили в Маниле или на Камигуине. А теперь вот налетело к нам, в туман и дождь, множество ласточек. Они пробирались к северу, из жарких мест в умеренные. Непогода и ночь захватили их далеко в море, и они стаей долго кружились около фрегата, каждый раз все ближе и ближе, наконец сели, обессиленные, на палубу, в шлюпки, на снастях. Их набрали множество и на другой день большую часть выпустили, накормив тараканами. Было довольно ясно; они кружились весело около фрегата и мало-помалу исчезли. Тут же показались и воробьи: этим посыпали на шлюпку крупы; они наелись и улетели.

Но дунул холод, свежий ветер, и стоножки, тараканы —все исчезло. Взяли три рифа, а сегодня, 31-го марта утром, и четвертый. Грот взяли на гитовы и поставили грот-трисель. NO дует с холодом: вдруг из тропиков, через пять дней — чуть не в мороз! Нет и 10° тепла. Стихает — слава богу!

Мы в шестидесяти милях от Нагасаки; и туда дует попутный ветер: но нам не расчет заходить теперь: надо прежде идти на Гамильтон.

4-е апреля. Наконец, 2-го апреля, пришли и на Гамильтон. Шкуна была уж там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. Я вышел на ют, когда стали становиться на якорь, и

смотрел на берег. Порт, говорят наши моряки, очень удобный, а берегов почти нет. Островишка весь три мили, скалистый, в каменьях, с тощими кое-где кустиками и реденькими группами деревьев. «Это всё камелии,— сказал Корсаков, командир шкуны,—матросы камелиями парятся в бане, устроенной на берегу». Некоторые из наших тотчас поехали на берег. Я видел его издали — не заманчиво, и я не торопился на него. Кое-где над сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий к крайне восточному циклу народ.

Корею, в политическом отношении, можно было бы назвать самостоятельным государством; она управляется своим государем, имеет свои постановления, свой язык: но государи ее, достоинством равные степени королей, утверждаются на престоле китайским богдыханом. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая, да разве еще тем, что из Кореи ездят до двухсот человек ежегодно в Китай поздравить богдыхана с Новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца.

К сожалению, до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореи, о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей. Отец Аввакум сказывал мне только, что обычай утверждения корейского короля китайским богдыханом до сих пор соблюдается свято. Посланные из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Богдыхан обыкновенно утверждает и, приняв подарки, отдаривает посланных гораздо щедрее. Впрочем, он не впутывается в их дела. Когда однажды корейское правительство донесло китайскому, что оно велело прибывшим к берегам Кореи каким-то европейским судам, кажется английским, удалиться, в подражание тому, как поступило с этими же судами китайское правительство, богдыхан приказал объявить корейцам, что «ему дела до них нет и чтобы они распоряжались, как хотят».

Еще известно, что китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обоими государствами незаселенными, чтоб избежать близкого между собою соседства и вместе с тем всяких поводов к неприятным столкновениям и несогласиям обоих народов.

Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам, со всеми признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не подпускать наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали по-китайски, что женщины могут быть покойны, что русские съехали затем только, чтоб посмотреть берег и погулять. Корейцы

уже не мешали ходить, но только старались удалить наших от деревни.

Через час наши воротились и привезли с собой двух стариков, по-видимому старшин. За ними вслед приехала корейская лодка, похожая на японскую, только без разрубленной кормы, с другими тремя или четырьмя стариками и множеством простого, босоногого, нечесаного и неопрятного народа. И простой и непростой народ — все были одеты в белые бумажные или травяные (grasscloth), широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье; кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты, у высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные. На некоторых, впрочем немногих, были светло-желтые или синие халаты.

Сандалии у них похожи на японские, у одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху в один пучок, на который надевают шляпу. Что за шляпа! Тулья у ней так мала, что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожи на волосяные, тем более что они черные. Трудно догадаться, зачем им эти шляпы? Они прозрачны, не защищают головы ни от дождя, ни от солнца, ни от пыли. Впрочем, много шляп и других форм и видов: есть и мочальные, и колпаки из морских растений.

Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей: как хотите, а это всё дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы и ликейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Ошибиться в этом сходстве трудно. Тогда как при первом взгляде на малайцев, например, ни за что не причтешь их к одному племени с этими четырьмя народами. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти, напротив, очень крупной породы. Они носят бороду: она у них большею частью длинная и жесткая, как будто из конского волоса; у одних она покрывает щеки и всю нижнюю часть лица; у других, напротив, растет на самом подбородке. Многие носят большие очки в медной оправе, с тесемкой вокруг головы. Кажется, они носят их не от близорукости, а от глазной болезни. В толпе я заметил множество страждущих глазами.

В 1786 году появилось в Едо сочинение японца *Ринсифе* под заглавием: *Главное обозрение трех царств*, ближайших к Японии — *Кореи*, *Лю-цю* (Лю-чу) и *Есо* (Матсмая). Клапрот как-то достал сочинение, обогатил разными прибавлениями из китайских географий и перевел на французский язык. Между прочим, там о корейцах сказано: «Корейцы роста высокого и сложения гораздо крепче японцев и китайцев и других народов. Замечено, что кореец ест вдвое больше

японца. Корейцы отличаются лукавством, леностью, упрямством и не любят *усилий*».

Гостей посадили за стол и стали потчевать чаем, хлебом, сухарями и ромом. Потом завязалась с ними живая, письменная беседа на китайском языке. Они так проворно писали, что глаза не поспевали следить за кистью.

Прежде всего они спросили, какие мы варвары, северные или южные? А мы им написали, чтоб они привезли нам кур, зелени, рыбы, а у нас взяли бы деньги за это или же ром, полотно и тому подобные предметы. Старик взял эту записку, надулся, как петух, и с комическою важностью, с амфазом [1], нараспев, начал декламировать написанное. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре. Потом, прочитав, старик написал по-китайски в ответ, что «*почтенных* кур у них нет». А неправда: наши видели кур.

Прочие между тем ели хлеб и пили чай. Один пальцем полез в масло, другой, откусив кусочек хлеба, совал остаток кому-нибудь из нас в рот. Третий выпил две рюмки голого рома, одну за другою, и не поморщился. Прочие трогали нас за платье, зе белье, за сапоги, гладили рукой сукно, которое, по-видимому, очень нравилось им. Особенно обратили они внимание на белизну нашей кожи. Они брали нас за руки и не могли отвести от них глаз, хотя у самих руки были слегка смуглы и даже чисты, то есть у высшего класса. У простого, рабочего народа — другое дело: как везде.

Старику повторили, что мы не даром хотим взять провизию, а вот за такие-то вещи. Он прочитал опять название этих вещей, поглядел на нас немного, потом сказал: «пудди». Что это значит: нельзя? не хочу? Его попросили написать слово это по-китайски. Он написал: вышло «не знаю». Думали, что он не понял, и показали ему кусок коленкора, ром, сухари: «пудди, пудди»,— твердил он. Обратились к другому, бойкому и рябому корейцу, который с удивительным проворством писал по-китайски. Он прочитал записку и, сосчитав пальцем все слова в записке, которыми означались материя, хлеб, водка, сказал: «пудди».

Передали записку третьему. «Пудди, пудди»,— твердил тот задумчиво. Отец Аввакум пустился в новые объяснения: старик долго и внимательно слушал, потом вдруг живо замахал рукой, как будто догадался, в чем дело. «Ну, понял наконец»,— обрадовались мы. Старик взял отца Аввакума за рукав и, схватив кисть, опять написал «пудди». «Ну, видно, не хотят дать»,— решили мы и больше к ним уже не приставали.

Вообще они грубее видом и приемами японцев и ликейцев, несмотря на то, что у всех одна цивилизация — китайская. Впрочем, мы в Корее не видали людей высшего класса. Говоря

[1] Напыщенно, с пафосом (*франц.* emphase).

о быте этих народов, упомяну мимоходом, между прочим, о существенной разнице во внутреннем убранстве домов китайских с домами прочих трех народов. Китайцы в домах у себя имеют мебель, столы, кресла, постели, табуреты, скамеечки и проч., тогда как прочие три народа спят и обедают на полу. Оттого эти, чтоб не запачкать пола, который служит им вместе и столом, при входе в комнаты снимают туфли, а китайцы нет.

Корейцы увидели образ спасителя в каюте; и когда, на вопрос их, «кто это», успели кое-как отвечать им, они встали с мест своих и начали низко и благоговейно кланяться образу. Между тем набралось на фрегат около ста человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать. Долго просидели они и, наконец, уехали.

Довольно бы и этого. Однако нужно было хоть раз съездить на берег, ступить ногой на корейскую землю. Вчера нас человек шесть-семь отправились в катере к одной из деревень. У двоих из нас были ружья стрелять птиц, третий взял пару пистолетов. На берегу густая толпа сжалась около нас, стараясь отклонить от деревни. Но мы легко раздвинули их, дав знать, что цель наша была только пройти через деревню в поля, на холмы. Видя, что с нами нечего делать, они предпочли вести нас добровольно, нежели предоставить нам бродить, где вздумается. Мы все хотели идти внутрь села, а они вели нас по окраинам. Впрочем, у нас самих тотчас же пропала охота углубляться в улицы, шириною в два шага.

Мы шли между двух заборов, грубо сложенных из неровных камней, без всякого цемента. Из-за забора видны были только соломенные крыши и больше ничего. Какая разница в этих заборах с постройками этого рода у лпкейцев! Там тщательность, терпение, порядок и искусство; здесь лень, небрежность и неуменье. Должно быть, корейцы в самом деле не любят «усилий». Когда мы пытались заглянуть за забор или входили в ворота — какой шум поднимали корейцы! Они даже удерживали нас за полы, а иногда и толкали довольно грубо. Но за это их били по рукам, и они тотчас же смирялись и походили на собак, которые идут сзади прохожих, сгорая желанием укусить, да не смеют.

Они успокоились, когда мы вышли через узенькие переулки в поле и стали подниматься на холмы. Большая часть последовала за нами. Они стали тут очень услужливы, указывали удобные тропинки, рвали нам цветы, показывали хорошие виды.

Мы шли по полям, засеянным пшеницей и ячменем; кое-где, но очень мало, виден был рис да кусты камелий, а то все утесы и камни. Все обнажено и смотрит бедно и печально. Немудрено, что жители не могли дать нам провизии: едва ли у них столько было у самих, чтоб не умереть с голоду. Они мочат и едят морскую капусту, выбрасываемую приливом, также

ракушки. Сегодня привезли нам десятка два рыб, четыре бочонка воды, да старик вынул из-за пазухи сверток бумаги с сушеными трепангами (род морских слизняков, с шишками). Ему подарили кусок синей бумажной материи и примочку для сына, у которого болят глаза.

Погуляв по северной стороне островка, где есть две красивые, как два озера, бухты, обсаженные деревьями, мы воротились в село. Охотники наши застрелили дорогой три или четыре птицы. В селе на берегу разостланы были циновки; на них сидели два старика, бывшие уже у нас, и пригласили сесть и нас. Почти все жители села сбежались смотреть на редких гостей.

Они опять подробно осматривали нас, трогали платье, волосы, кожу на руках; с меня сняли ботинки, осмотрели их, потом чулки, зонтик, фуражку. Разговор шел по-китайски, письменно, чрез отца Аввакума и Гошкевича. «Сколько вам лет?» — спрашивали они кого-нибудь из наших. «Лет 30—40», отвечали им. «Помилуйте,— заговорили они,— мы думали, вам лет 60 или 70». Это крайне восточный комплимент. «Вам должно быть лет 80, вы мне годитесь в отцы и в деды»,— сказать так, значит польстить. Они, между прочим, спросили, долго ли мы останемся. «Если долго,— сказали они,— то мы, по закону нашей страны, обязаны угостить вас, от имени правительства, обедом». Совершенно как у японцев; но им отвечали, что чрез два дня мы уйдем и потому угощения их принять не можем.

В толпе я видел одного корейца, с четками в руках: кажется, буддийский бонз. На голове у него мочальная шапка.

5-е апреля. Вчера случилась маленькая неприятность. Трое из наших отправились на берег. Толпа корейцев окружила их и не пускала идти от берега далее. Они грозили им и даже толкали их в ров. Наши воротились на фрегат, но отправились обратно уже в сопровождении вооруженных матросов; надо было прибегнуть к мерам строгости. Сегодня старик приехал рано утром и написал предлинное извинение, говоря, что он огорчен случившимся; жалеет, что мы не можем указать виновных, что их бы наказали весьма строго; просил не сердиться и оправдывался незнанием корейцев о том, что делается «внутри четырех морей», то есть на белом свете. Его и товарищей, бывших с ним, угостили чаем, водкой и сухарями и простились с ними надолго, если не навсегда.

В самом деле им неоткуда знать, что делается «внутри четырех морей». Европейцы почти не посещали Корею. Последний был здесь Бельчер, кажется в 1842 году. Это отважный путешественник и бойкий писатель: он живо описывает свои путешествия. Он два раза обошел вокруг земли и теперь странствует в полярных странах. Путешествия его — ряд приключений, одно занимательнее другого. Чего с ним не было? Ни-

кто столько не выдерживал штормов; в ураган он должен был срубить в Гон-Конге мачты; где-то на Борнео его положило на бок, и он, недели в три, без посторонней помощи, встал опять. Это настоящий морской волк. Кроме того, он увлекательно рассказывает свои приключения. Он всюду совался с своим фрегатом; между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение. Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова. Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых.

Наконец мы, более или менее, видели четыре нации, составляющие почти весь крайний восток. С одними имели ежедневные и важные сношения, с другими познакомились поверхностно, у третьих были в гостях, на четвертых мимоходом взглянули. Все четыре народа принадлежат к одному семейству, если не по происхождению, как уверяют некоторые, производя, например, японцев от курильцев, то по воспитанию, этому второму рождению, по культуре, потом по нравам, обычаям, отчасти языку, вере, одежде и так далее.

Все эти народы образуют одну общую физиономию, характер, склад ума, словом общую нравственную жизнь в главных ее чертах, но с бесчисленными оттенками, которыми один народ отличается от другого. Но что это за физиономия! что за жизнь! Я с бо́льшей отрадой смотрел на кафров и негров в Африке, на малайцев по островам Индийского океана, но с глубокой тоской следил в китайских кварталах за общим потоком китайской жизни, наблюдал подробности и попадавшиеся мне ближе личности, слушал рассказы других, бывалых и знающих людей. Кафры, негры, малайцы — нетронутое поле, ожидающее посева; китайцы и их родственники японцы — истощенная, непроходимо-заглохшая нива. Китайцы старшие братья в этой семье; они наделили цивилизациею младших. Вы знаете, что́ такое эта цивилизация, на чем она остановилась, как одряхлела и разошлась с жизнью и парализует до сих пор все силы огромного народонаселения юго-восточной части азиатского материка с японскими островами.

Что может оживить эту истощенную почву? какие новые силы нужно, чтоб вновь дать брожение огромной, перегнившей массе сил? Вспомните, сколько различных элементов столпилось на нашем маленьком европейском материке, когда старые соки перебродились, сколько новых жил открылось и впустило туда свежей и молодой крови? Теперь посмотрите, какая работа кипит ближе к нам, чтоб растолкать уснувший и обессилевший Восток, от Босфора до Аравийского залива. Что это перед здешней массой народонаселения? Однако работа начинается, но трудная и пока неблагодарная. Она

началась выбрасыванием старых, сгнивших корней, сорных трав.

Нельзя было Китаю жить долее, как он жил до сих пор. Он не шел, не двигался, а только конвульсивно дышал, пав под бременем своего истощения. Нет единства и целости, нет условий органической государственной жизни, необходимой для движения такого огромного целого. Политическое начало не скрепляет народа в одно нераздельное тело, присутствие религии не согревает тела внутри.

У китайцев нет национальности, патриотизма и религии — трех начал, необходимых для непогрешительного движения государственной машины. Есть китайцы, но нации нет; в их языке нет даже слова *отечество*, как сказывал мне один наш синолог.

Все это странно, хотя не совсем ново, если вспомнить браминскую Индию и языческий Египет: они одряхлели; и надо было занять им сил и жизни у других, как истощенному полю нужно переменить посев. Вы знаете, что сделалось или что делается с Индией; под каким посевом и как трудно возрождается это поле для новых всходов, и Египет тоже. Китай дряхлее их обоих и, следовательно, еще менее подает надежды на возрождение сам собой. Напутствованные на жизнь немногими, скоро оскудевшими при развитии жизненных начал, нравственными истинами, китайцы едва достигли отрочества и состарелись. В них успело развиться и закоренеть индивидуальное и семейное начало и не дозрело до жизни общественной и государственной или если и созрело когда-нибудь, то, может быть, затерялось в безграничном размножении народной массы, делающем невозможною — ни государственную, ни какую другую централизацию.

После семейства китаец предан кругу частных своих занятий. Нигде так не применима русская пословица: «До бога высоко, до царя далеко», как в Китае, нужды нет, что богдыхан собственноручно запахивает каждый год однажды землю, экзаменует ученых и т. п. Китайцы знают, что это шутка и что между правительством и народом лежит бездна. Законов, правда, множество, а исполнителей их еще больше, но и это опять-таки шутка, комедия, сознательно разыгрываемая обеими сторонами. Законы давно умерли, до того разошлись с жизнию, что место их заступила целая система, своего рода тариф оплаты за отступления от законов. Оттого китаец делает что хочет: если он чиновник, он берет взятки с низших и дает сам их высшим; если он солдат, он берет жалованье и ленится и с поля сражения бегает: он не думет, что он служит, чтобы воевать, а чтоб содержать свое семейство. Купец знает свою лавку, земледелец — поле и тех, кому сбывает свой товар. Все они действуют без соображений о целости и благе государства, оттого у них нет ни корпораций, нет никаких

общественных учреждений, оттого у них такая склонность к эмиграции. Провинции мало сообщаются между собою; дорог почти нет, за исключением рек и несколька каналов. Если надо везти товар, купец нанимает людей и кое-как прокладывает себе тропинку. Затем уже китайцы равнодушны ко всему. На лице апатия или мелкие будничные заботы. Да и о чем заботиться? Двигаться вперед не нужно: все готово...

От бога китайцы еще дальше, нежели от царя. Последователи древней китайской религии не смеют молиться небесным духам: это запрещено. Молится за всех богдыхан. А буддисты нанимают молиться бонз и затем уже сами в храмы не заглядывают.

В науке и искусстве отразилась та же мелочность и неподвижность. Ученость спокон века одна и та же; истины написаны раз, выучены и не изменяются никогда. У ученых перемололся язык; они впали в детство и стали посмешищем у простого, живущего без ученых, а только здравым смыслом народа. Художники корпят над пустяками, вырезывают из дерева, из ореховой скорлупы свои сады, беседки, лодки, рисуют, точно иглой, цветы да разноцветные платья, что рисовали пятьсот лет назад. Занять иных образцов неоткуда. Все собственные источники исчерпаны, и жизнь похожа на однообразный, тихо, по капле льющийся каскад, под журчанье которого дремлется, а не живется.

Но я гулял по узкой тропинке между Европой и Китаем и видал, как сходятся две руки: одна, рука слепца, ищет уловить протянутую ей руку зрячего: я гулял между европейскими домами и китайскими хижинами, между кораблями и джонками, между христианскими церквами и кумирнями.— Работа кипит: одни корабли приходят с экземплярами Нового завета, курсами наук на китайском языке, другие с ядами всех родов, от самых грубых до тонких. Я слышал выстрелы; с обеих сторон менялись ядрами. Что будет из всего этого? Что привьется скорее: спасение или яд — неизвестно, но во всяком случае реформа начинается. Инсургенты уже идут тучей восстановлять старую, законную династию, называют себя христианами, очень сомнительными, конечно, какими-то эклектиками; но, наконец, поняли они, что успех возможен для них не иначе, как под знаменем христианской цивилизации,— и то много значит. Они захватили христианство, и с востока и с запада, от католических монахов, и от протестантов, и от бродяг, пробравшихся чрез азиатский материк.

Японцы народ более тонкий и, пожалуй, более развитой: и не мудрено — их вдесятеро меньше, нежели китайцев. Притом они замкнуты на своих островах — и для правительственной власти не особенно трудно стройно управлять государством. Там хитро созданная и глубоко обдуманная система государственной жизни несокрушима без внешнего влияния.

И все зависят от этой системы, и самая верховная власть. Она первая падет, если начнет сокрушать систему. Китайцы заразили и их, и корейцев, и ликейцев своею младенчески-старческою цивилизациею и тою же системою отчуждения, от которой сами, живучи на материке, освободились раньше. Японцы надежнее китайцев к возделанию: если падет их система, они быстро очеловечатся, и теперь сколько залогов на успех! Молодые сознают, что все свое перебродилось у них и требует освежения извне.

Японец имеет общее с китайцем то, что он тоже эгоист, но с другой точки зрения: как у того нет сознания о государственном начале, о центральной, высшей власти, так у этого, напротив, оно стоит выше всего; но это только от страха. У него сознание это происходит не из свободного стремления содействовать общему благу и проистекающего от того чувства любви и благодарности к той власти, которая несет на себе заботы об этом благе. Ему просто страшно; он всегда боится чего-нибудь: промаха с своей стороны или клеветы, и боится неминуемого, следующего затем наказания. Он знает, что правительственная система действует непогрешительно, что за ним следят и смотрят строго и что ему не избежать кары. Китаец немного заботится об этом, потому что эта система там давно подорвана равнодушием к общему благу и эгоизмом; там один не боится другого: подчиненный, как я сказал выше, берет подарки с своего подчиненного, а тот с своего, и все делают, что хотят.

Что касается ликейцев, то для них много пятнадцати, двадцати лет, чтоб сбросить свои халаты и переменить бамбуковые палки и веера на ружья и сабли и стать людьми, как все. Их мало; они слабы; оторвись только от Японии, которой они теперь еще боятся,— и все быстро изменится, как изменилось на Сандвичевых островах, например.

Вот какие мысли приходили мне в голову, когда, вспоминая читанное и слышанное о Китае, я вглядывался в житье-бытье этих народов! Может быть, синологи, особенно синофилы, возразят многое на это, но я не выдаю сказанного за непременную истину. Мне так казалось...

Завтра снимаемся с якоря и идем на неделю в Нагасаки, а потом, мимо корейского берега, к Сахалину и далее, в наши владения. Теперь рано туда: там еще льды. Здесь даже, на южном корейском берегу, под 34 градусом широты, так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на западе, на Мадере например, в январе прошлого года было жарко. На то восток.

Я забыл сказать, что 2-го же апреля, в один день с нами, пришел на остров Гамильтон и наш транспорт. Новости из Европы все те же, что мы получили и в Маниле, зато из Шанхая много нового. Я предвидел, что без вмешательства европейцев

не обойдется; так и вышло: войска Таутая-Самква наделали беспорядков. Это куча сволочи без дисциплины; скорее разбойники, нежели войска. В Шанхае стало небезопасно ходить по вечерам: из лагеря приходили в европейский квартал кучами солдаты и нападали на прохожих; между прочим, они напали на одного англичанина, который вечером гулял с женой. Они потащили леди в лагерь; англичанин стал защищать жену и получил одиннадцать ран, между прочим одну довольно опасную. К нему подоспели на помощь другие европейцы и прогнали негодяев. Это подняло на ноги всех англичан, моряков и молодых конторщиков. Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю, бросили в него несколько гранат и многих убили.

Потом все европейские консулы, и американский тоже, дали знать Таутаю, чтоб он снял свой лагерь и перенес на другую сторону. Теперь около осажденного города и европейского квартала все чисто. Но европейцы уже не считают себя в безопасности: они ходят не иначе, как кучами и вооруженные. Купцы в своих конторах сидят за бюро, а подле лежит заряженный револьвер. Бог знает, чем это все кончится.

Сегодня хотели сняться, да ветер противный. Мы говеем: теперь страстная неделя.

Снялись на другой день, 7-го апреля, в 3 часа пополудни, а 9-го, во втором часу, бросили якорь на Нагасакском рейде. Переход был отличный, тихо, как в реке. Японцы верить не хотели, что мы так скоро пришли; а тут всего 180 миль расстояния.

Оппер-баниос *Ойе-Саброски* захохотал, частью от удовольствия, частью от глупости, опять увидя всех нас. *Кичибе* по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим смехом, передавая нам просьбу нагасакского губернатора не подъезжать на шлюпках к батареям. Он также, на вопрос наш, не имеет ли губернатор объявить нам чего-нибудь от своего начальства, сказал, что «из Едо... ответа... nit erhalten, не получено».

Другой переводчик, *Эйноске*, был в Едо и возился там «с людьми Соединенных Штатов». Мы узнали, что эти «люди» ведут переговоры мирно; что их точно так же провожают в прогулках лодки и не пускают на берег и т. п. Еще узнали, что у них один пароход приткнулся к мели и начал было погружаться на рейде; люди уже бросились на японские лодки, но пробитое отверстие успели заткнуть. Американцы в Едо не были, а только в его заливе, который мелководен, и на судах к столице верст за тридцать подойти нельзя.

Между тем в Маниле, в английской или американской газете, я видел рисунки домов и храмов в Едо, срисованных будто бы офицером с эскадры Перри, срисованных, забыли прибавить, с картинок Зибольда. Не говорю уже о том, как раскудахтались газеты об успехах американцев в Японии, о

торговом трактате. Им открыли три порта — это, может быть, даже вероятно, правда: открыли порты для снабжения водой, углем, провизиею; но от этого до настоящей, правильной торговли еще не один шаг. Что, если б мы заголосили о своих успехах в Японии и представили их в квадрате? ведь вышло бы, что уж давно и торгуем там.

Провизию губернатор решил доставлять сам, а не чрез голландцев, и притом без платы; все это затем, чтоб доставка провизии как можно менее походила на торговлю. Японцам страх хотелось поправить первый свой промах; словом, он хотел мерами своими против нас выслужиться у своего начальства. Это был второй губернатор, *Мизно Чикогоно ками-сама*, который до сих пор действовал, как под опекой первого, *Овосавы Бунгоно ками-сама*. Тот уехал с полномочными в Едо, а этому хотелось показать, что он и один умеет распорядиться. Но ему объявили, что провизию мы желаем получать по-прежнему, то есть с платою, через голландцев, а если прямо от японцев, то не иначе, как чтоб и они принимали каждый раз равноценные подарки.

Такой способ перепугал губернатора, потому что походил на меновую торговлю непосредственно с самими японцами. Нечего было делать: его превосходительство прислал сказать, кто переводчики перепутали — это обыкновенная их отговорка, когда они попробуют какую-нибудь меру и она не удается,— что он согласен на доставку провизии голландцами по-прежнему и просит только принять некоторое количество ее в подарок, за который он готов взять контрпрезент. Он не упомянул ни слова о том, что вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их. Наши отталкивались, пока могли, наконец Зеленый врезался с своею шлюпкой в середину их лодок так, что у одной отвалился нос, который и был привезен на фрегат.

Ночью в первом часу приехал Ойе-Саброски объясниться по этому случаю.

Нагасаки на этот раз смотрели как-то печально. Зелень на холмах бледная, на деревьях тощая, да и холодно, нужды нет, что апрель, холоднее, нежели в это время бывает даже у нас, на севере. Мы начинаем гулять в легких пальто, а здесь еще зимний воздух, и Кичибе вчера сказал, что теплее будет не раньше, как через месяц.

Сегодня 11-е апреля — пасха; была служба как следует: собрались к обедне со всех трех судов; потом разгавливались. Выписали яиц из Нагасаки, выкрасили и христосовались. На столе появились окорока, ростбифы, куличи — праздник как праздник, точно на берегу!

12-го апреля, кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе-Саброски и переводчиков обедать, но они, вместо двух часов, приехали в пять. Я не видал их; говорят, ели много. Ойе

ел мясо в первый раз в жизни и в первый же раз, видя горчицу, вдруг, прежде нежели могли предупредить его, съел ее целую ложку: у него покраснел лоб и выступили слезы. Губернатору послали четырнадцать аршин сукна, медный самовар и бочонок солонины, вместо его подарка. Послезавтра хотят сниматься с якоря, идти к берегам Сибири.

14-е. Вчера привезли остальную провизию и прощальные подарки от губернатора: зелень, живность и проч. Японцы пили у адмирала чай. Им показывали, как употребляют самовары, которых подарили им несколько.

Вечером наши матросы плясали и пели. С лодок набралось много простых японцев, гребцов и слуг; они с удивлением, разинув рты, смотрели, как двое, рулевой, с русыми, загнутыми кверху усами и строгим неулыбающимся лицом, и другой, с черными бакенбардами, пожилой боцман, с гремушками в руках, плясали долго и неистово, как будто работали трудную работу. Один, устав, останавливался как вкопанный; другой в ту ж минуту начинал припрыгивать, сначала тихо, потом все скорее и скорее, глядя вниз и переставляя ноги, одну вместо другой, потом быстро падал и прыгал вприсядку, изредка вскрикивая; хор пел; прочие все молча и серьезно смотрели. Японцы не отходили. По окончании и они также молча, без улыбки разошлись, как и самые певцы и плясуны.

15-е. Вчера один японец увидел у меня сигарочницу из манильской соломы; он долго любовался ею. Я предложил ее в подарок ему; он сначала отнекивался, потом, по моему настоянию, взял и положил за пазуху. Мы с Посьетом удивились, как это он решился взять, да еще при других. Но скоро перестали удивляться: воротясь в каюту, мы нашли сигарочницу на диване, на котором сидели японцы. Скучный народ: нельзя ничего спросить — соврут или промолчат. Заболел Кичибе и не приехал. Мы спросили, чем он болен. Сын его сказал, что у него желудок расстроен, другой японец — что голова болит, третий — ноги, а сам он на другой день сказал, что у него болело горло: и в самом деле он кашлял. Первое движение у них, когда их о чем-нибудь спросишь, не сказать, второе — солгать, как у Талейрана, который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. Мы спросили раз: какой у них первый по торговле город? «Осаки»,— отвечали они,— второй «Ясико» (на западн. берегу Нифона), третий «Миако», четвертый... Вдруг они спохватились, что уж и так много сказали, и робко замолчали. Стал я показывать Саброски стереоскоп. «Хочешь видеть японский пейзаж?» — спросил я его чрез переводчика смесью немецкого, английского и голландского языков и показал какой-то, взятый, кажется, из Зибольда, вид. «Фирандо, Фирандо!» — с удивлением заметил переводчик *Гейстра*, или иначе *Нарбайоси 1-й*. Фирандо — местечко, где прежде торговали пор-

тугальцы и испанцы; оно лежит западнее Нагасаки. Ойе, с сердцем, быстро что-то проговорил ему, и тот боязливо замолчал. Всюду, и в мелочах, систематическая ложь и скрытность, основанная на постоянном страхе, чтоб не проложили пути в Японию. Мне все слышится ответ французского епископа, когда говорили в Маниле, что Япония скоро откроется: «A coups des canons, messieurs, à coups des canons» [1],— заметил он.

Сегодня опять японцы взяли контрпрезенты и уехали. Мы в эту минуту снимаемся с якоря. Шкуна идет делать опись ближайшим к Японии островам, потом в Шанхай, а мы к берегам Сибири; но прежде, кажется, хотят зайти к корейским берегам. Транспорт идет с нами. В Едо послано письмо с приглашением полномочным прибыть в Аниву, для дальнейших переговоров.

Я забыл сказать, что губернатор ужасно обрадовался, когда объявили ему, что мы уходим. Он, с радости, прислал в подарок от себя множество картофеля, рыбы, лакированный стол и ящик. Его отдарили столовыми часами. Но всего важнее был ему подарок, когда, уходя, послали сказать, что едем не в Едо. «Скоро ли воротитесь домой?» — спросил меня Ойе. Ему хотелось поймать меня врасплох. «Когда кончатся дела в Японии,— отвечал я.— А вы когда в Едо, к жене?» — «Не знаю, не назначено»,— сказал он. Лжет: верно, знает и час, и день, и минуту своего отъезда; но нельзя же сказать правды, а почему — вот этого он, может быть, в самом деле не знает. Лганье не приносит японцам никакой пользы, потому что им в возврат лгут еще больше; иначе нельзя. Только лишь мы пришли, они приступили с расспросами: где мы были, откуда теперь, на какие берега выходили и т. п. Им сказали, что были на Лючу да в Батане. И вот они давай искать, где это Батан, и вчера сознались, что не могут найти на карте и просят показать. На генеральных картах этот остров не назван по имени; вся группа называется общим именем Баши. Им показали на морской карте. Они срисовали фигуру острова, затем, конечно, чтоб подробно донести в Едо. И так взаимной лжи конца не будет. Видя их подозрительность и старинную ненависть к испанцам, им не сказали, что мы были в Маниле: бог знает, какое заключение вывели бы они о нашем посещении Люцона.

Третьего дня, однако ж, говоря о городах, они, не знаю как, опять проговорились, что Ясико или Ессико, лежащий на западном берегу о. Нифона, один из самых богатых городов в Японии, что находящийся против него островок Садо изобилует неистощимыми минеральными богатствами. Адмирал хочет теперь же, дорогой, заглянуть туда.

16-е. Вот уж другие сутки огибаем острова Гото, с окружающими их каменьями. Делают опись берегам, но течение мешает: относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка:

---

[1] С помощью пушек, господа, с помощью пушек *(франц.)*.

«Хороши японские товары, да трудно обойти Гото». Особенно для их судов — это задача. Всех островов Гото, кажется, пять.

Штиль, погода прекрасная: ясно и тепло; мы лавируем под берегом. Наши на Гото пеленгуют берега. Вдали видны японские лодки; на берегах никакой растительности. Множество красной икры, точно толченый кирпич, пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет так был силен, что из-под судна как будто вырывалось пламя; даже на парусах отражалось зарево; сзади кормы стелется широкая огненная улица; кругом темно; невстревоженная вода не светится.

18-е. Прошли остров Чусима. С него в хорошую погоду видно и на корейский и на японский берега. Кое-где плавали рыбацкие лодчонки, больше ничего не видать; нет жизни, все мертво на этих водах. Японцы говорят, что корейцы редко, только случайно заходят к ним, с товарами или за товарами.

А какое бы раздолье для европейской торговли и мореплавания здесь, при этой близости Японии и Кореи и обеих стран от Шанхая! Корея от Японии отстоит где миль на сто, где дальше, к северу, на сто семьдесят пять, на двести, то есть на сто семьдесят пять, на триста и на триста пятьдесят верст, а от Японии до Шанхая семьсот с небольшим верст. Из Англии в Японию почта может ходить в два месяца, чрез Ост-Индию. Скоро ли же и эти страны свяжутся в одну цепь и будут посылать в Европу письма, товары и т. п.? Что за жизнь кипела бы тут, в этих заливах, которыми изрезаны японские берега на Нипоне и на Чусиме, дай только волю морским нациям!

Сегодня, 19-го, штиль вдруг превратился почти в шторм; сначала налетел от NO шквал, потом задул постоянный, свежий, наконец и крепкий ветер, так что у марселей взяли четыре рифа. Качка сделалась какая-то странная, диагональная, очень неприятная: и привычных к морю немного укачало. Меня все-таки нет, но голова немного заболела, может быть от этого. Вечером и ночью стало тише.

Вчера и сегодня, 20 и 21-го, мы шли верстах в двух от корейского полуострова; в 36° широты. На юте делали опись ему, а смотреть нечего: все пустынные берега, кое-где покрытые скудной травой и деревьями. Видны изредка деревни: там такие же хижины и так же жмутся в тесную кучу, как на Гамильтоне. Кое-где по берегу бродят жители. На море много лодок, должно быть рыбацкие.

Часов в пять вечера стали на якорь в бухте. Говорят, карты корейского берега — а их всего одна или две — неверны. И в самом деле, вдруг перед нами к северу вырос берег, а на карте его нет. Ночью признано неудобным идти далее у неизвестных берегов, и мы остановились до рассвета. Ветер был попутный к северу; погода теплая и солнечная. Один из наших катеров приставал к берегу: жители забегали, засуетились,

как на Гамильтоне, и сделали такой же прием, то есть собрались толпой на берег, с дубьем, чтоб не пускать, и расступились, когда увидели у некоторых из наших ружья. Они написали на бумаге по-китайски: «Что за люди? какого государства, города, селения? куда идут?» На катере никто не знал по-китайски, и написали им по-русски имя фрегата, год, месяц и число. Жители знаками спрашивали, не за водой ли мы пришли. Отвечали, что нет. Так и разошлись.

25-е. Корейский берег, да и только. Опись продолжается; мы уж в 39° широты; могли бы быть дальше, но ветра́ двое суток были противные и качали нас по-пустому на одном месте. Берега скрывались в тумане. Вчера вдруг показались опять.

Про Корею пишут, что, от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом, она бесплодна и бедна. Кажется, так, по крайней мере берега подтверждают это как нельзя больше. Берег с 37° пошел гористый; вдали видны громады пиков, один другого выше, с такими сморщенными лбами, что смотреть грустно. По вершинам кое-где белеет снег или песок; ближайший к морю берег низмен, песчан, пуст; зелень — скудная трава; местами кусты; кое-где лепятся деревеньки; у берегов уныло скользят изредка лодки: верно, добывают дневное пропитание, ловят рыбу, трепангов, моллюсков.

Сегодня вдруг одна из лодок направилась к нам. На ней сидело человек семь корейцев, все в своих грязно-белых халатах, надетых на такие же куртки или камзолы. На всех были того же цвета шаровары на вате; один в шляпе. Издали мы заслышали их крики. Им дали знать, чтоб они вошли на палубу; но когда они вошли, то мы и не рады были посещению. Объясниться с ними было нельзя: они не умели ни говорить, ни писать по-китайски, да к тому же еще все пьяны. Матросы кучей окружили их и делали разные замечания, глядя на их халаты и собранные в пучок волосы. «Хуже Литвы!» — слышу я, говорит один матрос. «Чего Литвы: хуже черкес! — возразил другой,— этакая, подумаешь, нация!» Им дали сухарей, и они уехали. Один из них, уходя, обнял и поцеловал О. А. Гошкевича, который пробовал было объясниться с ними по-китайски. Мы засмеялись, а бедный Осип Антонович не знал, как стереть следы непрошеной нежности.

У нас идет деятельная поверка карты Броутона, путешествовавшего в конце прошлого столетия, вместе с Ванкувером, только на другом судне. Ванкувер описывал западные берега Америки, Броутон ходил у азиатского материка. Он разбился у островов Меджико-Сима, близ Ликейских островов, спасся и был хорошо принят жителями. Карта его неверна: беспрестанно надо поправлять, так что фигура Кореи должна значительно измениться против обыкновенно показываемой до сих пор на картах. Искали всё глубокой, показанной у Броутона

бухты, но под той широтой, под которой она у него назначена, не нашли. Зато вчера, севернее против карты, открылся большой залив. Входя в него, не подозревали, до какой степени он велик. Он весь уставлен островками. По мере того как мы двигались, открывались все новые, меньшие заливы; глубина везде прекрасная. Войдя в средину залива, в шхеры, мы бросили якорь. Моря уже не видать: оно со всех сторон заперто берегами; от волнения безопасно, а бассейн огромный. Здесь поместятся целые военные и купеческие флоты. Со всех сторон глядят на нас мысы, там и сям видны маленькие побочные заливы, скалы и кое-где брошенные в одиночку голые камни. Все это немного похоже на Нагасаки, только берега не так зелены и не так унылы, как кажутся издали. Зелень, кажущаяся мили за две, за три скудным мохом, оказалась вблизи деревьями и кустами. Много зеленых посевов, кое-где деревеньки, то на скатах гор, то у отмелей, близ самых берегов.

Сегодня, часу в пятом после обеда, мы впятером поехали на берег, взяли с собой самовар, невод и ружья. Наконец мы ступили на берег, на котором, вероятно, никогда не была нога европейца. Миссионерам сюда забираться было незачем: далеко и пусто. Броутон говорит или о другой бухте, или, если и заглянул сюда, то на берег, по-видимому, не выходил, иначе бы он определил его верно.

Шлюпка наша остановилась у подошвы высоких холмов, на песчаной отмели. Тут, на шестах, раскинуты были сети для рыбы; текла речка аршина в два шириною. Весь берег усеян раковинами. Кроме сосны, около деревень росли разные деревья, которых я до сих пор нигде еще не видал. У одного зелень была не зеленая, а пепельного цвета, у другого слишком зеленая, как у молодого лимонного дерева, потом были какие-то совсем голые деревья, с иссохшим серым стволом, с иссохшими сучьями, как у проклятой смоковницы, но на этом сером стволе и сучьях росли другие, посторонние кусты, самой свежей весенней зелени. Красиво, но и странно: неестественность, натяжка, точно нарумяненная и разряженная старуха!

К сожалению, с нами не было никого из наших любителей-натуралистов, и некого было спросить об этих деревьях. Мы шли по вязкому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. Жители между тем собирались вдали толпой; четверо из них, и, между прочим, один старик, с длинным посохом, сели рядом на траве и, кажется, готовились к церемониальной встрече, к речам, приветствиям или чему-нибудь подобному. Все младенцы человечества любят напыщенность, декорации и ходули. Но мы, бегло взглянув на них и кивнув им головой, равнодушно прошли дальше по берегу, к деревне. Какими варварами и невежами сочли они нас! Они забыли всякую важность и бросились вслед за нами с криком, и по-видимому, с бранью, показывая знаками, чтоб мы не ходили к

деревням; но мы и не хотели идти туда, а дошли только до горы, которая заграждала нам путь по берегу.

Мы видели, однако ж, что хижины были обмазаны глиной, не то что в Гамильтоне; видно, зима не шутит здесь; а теперь пока было жарко так, что мы сняли сюртуки и шли в жилетах, но все нестерпимо, хотя солнце клонилось уже к западу. Корейцы шли за нами. Рослый, здоровый народ, атлеты, с грубыми, смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как ликейцы, и без смышлености, как китайцы. Славные солдаты вышли бы из них: а они заражены китайской ученостью и пишут стихи! Отец Аввакум написал им на бумажке по-китайски, что мы, русские, вышли на берег погулять и трогать у них ничего не будем. Один из них прочитал и сам написал вопрос: «Русские люди, за каким делом пришли вы в наши края, по воле ветров, на парусах? и все ли у вас здорово и благополучно? Мы люди низшие, второстепенные, видим, что вы особые, высшие люди». И все это в стихах.

Я ушел с бароном Криднером вперед и не знаю, что им отвечали. Корейцы окружили нас тотчас, лишь только мы остановились. Они тоже, как жители Гамильтона, рассматривали с большим любопытством наше платье, трогали за руки, за голову, за ноги и живо бормотали между собою.

Между тем наши закинули невод и поймали одну камбалу, одну морскую звезду и один трепанг. Вдруг подул сильный норд-вест и повеял таким холодом и так быстро сменил зной, что я едва успел надеть сюртук. Горы покрылись разорванными клочьями облаков, вода закипела, волны глухо зашумели.

Около нас во множестве летали по взморью огромные утки, красноносые кулики, чайки, голуби и много мелкой дичи. То там, то сям раздавались выстрелы, и к вечеру за ужином явилось лишнее и славное блюдо. Я подумывал, однако ж, как бы воротиться поскорее на фрегат: приготовлений к чаю никаких еще не было, а солнце уж закатывалось. У нас не было ничего, кроме сюртуков, а холод настал такой, что впору одеться в мех. По лугу паслись лошади, ростом с жеребят, между тем это не жеребята, а взрослые. Мы видели следы рогатого скота, колеи телег: видно, что корейцы домовитые люди.

Я пошел берегом к баркасу, который ушел за мыс почти к морю, так что пришлось идти версты три. Вскоре ко мне присоединились барон Шлипенбах и Гошкевич, у которого в сумке шевелилось что-то живое: уж он успел набрать всякой всячины; в руках он нес пучок цветов и травы.

Наконец завидели баркас и пришли, когда он подымал уже верп [1] и готовился отвалить. Мы были по крайней мере верстах в трех от фрегата. Луна взошла, но туман был так си-

---

[1] Небольшой якорь.

лен, что фрегат то пропадал из глаз, то вдруг появлялся; не раз мы его совсем теряли из виду и тогда правили по звездам, но и те закрывались. Мы плыли в облаке, которое неслось с неимоверной быстротою, закрывая горы, берега, воду, наконец небо и луну. Сырость ужасная: фуражки и сюртуки были мокрые. На берегу мелькнул яркий огонь: упрямые товарищи наши остались пить чай.

Полтора часа тащились мы домой. С каким удовольствием уселись потом около чайного стола в каюте! Тут Гошкевичу торжественно принесли змею, такую большую, какой, за исключением удавов, мы не видали: аршина два длины и толстая. Она шевелилась в жестяном ящике; ее хотели пересадить оттуда в большую стеклянную банку со спиртом; она долго упрямилась, но когда выгнали, то и сами не рады были: она вдруг заскользила по полу, и ее поймали с трудом. Матрос нашел ее в кусте, на котором сидели еще аист и сорока. Зачем они собрались — неизвестно; может быть, разыгрывали какую-нибудь не написанную Крыловым басню.

28-е. Сегодня туман не позволил делать промеров и осматривать берега. Зато корейцев целая толпа у нас. Мне видно из своей каюты, какие лица сделали они, когда у нас заиграла музыка. Один, услышав фортепиано в каюте, растянулся от удивления на полу.

С 1-го мая. Японское море и берег Кореи.

Наши съезжали всякий день для измерения глубины залива, а не то так поохотиться; поднимались по рекам внутрь, верст на двадцать, искали города. Я не участвовал в этих прогулках: путешествие — это книга; в ней останавливаешься на тех страницах, которые больше нравятся, а другие пробегаешь только для общей связи. «Как, новые, неисследованные места: да это находка! скоро совсем не будет таких мест»,— скажут мне. И слава богу, что не будет. Скучно с этими детьми. Притом корейцы не совсем новость для нас. Я выше сказал, что они моральную сторону заняли у китайцев; не знаю, кто дал им вещественную. Увидишь одну, две деревни, одну, две толпы — увидишь и все: те же тесные кучи хижин, с вспаханными полями вокруг, те же белые, широкие халаты на всех, широкие скулы, носы, похожие на трефовый туз, и клочок как будто конских волос вместо бороды, да разинутые рты и тупые взгляды; пишут стихами, читают нараспев. На чем же тут долго останавливаться?

Если б еще можно было свободно проникнуть в города, посмотреть других жителей, их быт, а то не пускают. В природе нет никаких ярких особенностей: местность интересна настолько или *потолику*, сказал бы ученый путешественник, *поколику* она нова, как всякая новая местность.

Одну особенность заметил я у корейцев: на расспросы о положении их страны, городов они отвечают правду, охотно

рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали залив, где мы стояли, по имени, также и все его берега, мысы, острова, деревни, сказали даже, что здесь родина их нынешнего короля; еще объявили, что южнее от них, на день езды, есть место, мимо которого мы уже прошли, большое и торговое, куда свозятся товары в государстве. «Какие же товары?» — спросили их. Хлеб, то есть пшеница, рис, потом металлы: железо, золото, серебро, и много разных других продуктов.

Даже на наши вопросы, можно ли привезти к ним товары на обмен, они отвечали утвердительно. Сказали ли бы все это японцы, ликейцы, китайцы? — ни за что. Видно, корейцы еще не научены опытом, не жили внешнею жизнью и не успели выработать себе политики. Да лучше, если б и не выработали: скорее и легче переступили бы неизбежный шаг к сближению с европейцами и к перевоспитанию себя.

Впрочем, мы видели только поселян и земледельцев; высшие классы и правительство, конечно, имеют понятие о государственных сношениях, следовательно и о политике: они сносятся же с китайцами, с японцами и с ликейцами. Образ европейских сношений и жизни, конечно, им известен. Здесь сказали нам жители, что о русских и о стране их они никогда не слыхивали. Мы не обиделись: они не слыхивали и об англичанах и о французах тоже. Да спросите у нас, в степи где-нибудь, любого мужика, много ли он знает об англичанах, испанцах или итальянцах? не мешает ли он их под общим именем немцев, как корейцы мешают все народы, кроме китайцев и японцев, под именем «варваров»? Впрочем, корейцы должны иметь понятие о нас, то есть не здешние поселяне, а правительство их. Корейцы бывают в Пекине: наши отец Аввакум и Гошкевич видали их там и даже, кажется, по просьбе их, что-то выписывали для них из России.

Здесь же нам сказали, что в корейской столице есть что-то вроде японского подворья, на котором живет до трехсот человек японцев; они торгуют своими товарами. А японцы каковы? На вопрос наш, торгуют ли они с корейцами, отвечали, что торгуют случайно, когда будто бы тех занесет бурей к их берегам.

Корейцы называют себя, или страну свою, *Чаосин* или *Чаусин*, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий.

Мне кажется, всего бы удобнее завязывать сношения с ними теперь, когда они еще не закоренели в недоверчивости к европейцам и не заперлись от них и когда правительство не приняло сильных мер против иностранцев и их торговли. А народ очень склонен к мене. Как они бросились на стеклянную посуду, на медные пуговицы, на фарфор — на все, что видели! На наши суконные сюртуки у них так и разбегались глаза; они гладили сукно, трогали сапоги. За пустую бу-

тылку охотно отдавали свои огромные тростниковые шляпы. Все у нас наменяли этих шляп. Вон Фаддеев и мне выменял одну, как я ни упрашивал его не делать этого, и повесил в каюте. «У всех господ есть, у вашего высокоблагородия только нет»,— упрямо отвечал он и повесил шляпу на гвоздь. Она заняла целую стену. Наменяли тоже множество трубок медных, с чубуками из тростника. Больше им нечего менять. Требовали от них провизии, но они, подумав, опять попотчевали своим *пудди* и привезли только трех петухов, но ни быков, ни баранов, ни свиней.

Третьего дня наши ездили в речку и видели там какого-то начальника, который приехал верхом, с музыкантами. Его потчевали чаем, хотели подарить сукна, но он, поблагодарив, отказался, сказав, что не смеет принять без разрешения высшего начальства, что у них законы строги и по этим законам не должно брать подарков.

Толпа сменяла другую с утра до вечера, пока мы стояли на якоре. Как еще дети натуры, с примесью значительной дозы дикости, они не могли не взглянуть и враждебно на новых пришельцев, что и случилось. Третьего дня вечером корейцы собрались толпой на скале, около которой один из наших измерял глубину, и стали кидать каменья в шлюпку. По ним выстрелили холостым зарядом, но они, по-видимому, мало имеют понятия об огнестрельном оружии. Утром вчера послали в ближайшую к этой скале деревню бумагу, с требованием объяснения. Они вечером прислали ответ, в котором просили извинения, сказали, что кидали каменья мальчишки, «у которых нет смысла». Это неправда: мальчишки эти были вершков четырнадцати ростом, с бородой, с волосами, собранными в густой пучок на маковке, а мальчишки у них ходят, как наши девчонки, с косой и пробором среди головы.

Только лишь прочли этот ответ, как вдруг воротилась партия наших из поездки в реку, верст за десять. Все они были очень взволнованы: им грозила большая опасность. На одном берегу собралось множество народа; некоторые просили знаками наших пристать, показывая какую-то бумагу, и когда они пристали, то корейцы бумаги не дали, а привели одного мужчину, положили его на землю и начали бить какой-то палкой в виде лопатки. После этого положили точно так же и того, который бил лопаткою, и стали бить и его. Наши нашли эту комедию очень глупой и пошли прочь; тогда один из битых бросился за ними, схватил одного из матросов и потащил в толпу. Там его стали было тащить в разные стороны, но матросы бросились и отбили. Корейцы стали нападать и на этих, но они с такою силою, ловкостью и яростью схватили несколько человек и такую задали им потасовку, что прочие отступили. Когда наши стали садиться в катер, корейцы начали бросать каменья и свинчатки и некоторых ушибли до крови; тогда в

них выстрелили дробью, которая назначалась для дичи, и, кажется, одного ранили. Этим несколько остановили нападение, но корейцы продолжали бросать каменья, пока наши успели отвалить.

На другой день рано утром отправлен был баркас и катера, с вооруженными людьми, к тому месту, где это случилось. Из деревни все выбрались вон, с женами и с имуществом; остались только старики. Их-то и надо было. От них потребовали объяснения о случившемся. Старики, с поклонами, объяснили, что несколько негодяев смутили толпу и что они, старшие, не могли унять и просили, чтобы на них не взыскали, «отцы за детей не отвечают» и т. п. Они прибавили еще, что виновные ранены, и один даже будто бы смертельно — и уже тем наказаны. Делать с ними нечего, но положено отдать в первом месте, где мы остановимся, для отсылки в их столицу, бумагу о случившемся.

Сегодня, часу во втором пополудни, мы снялись с якоря и вот теперь покачиваемся легонько в море. Ночь лунная, но холодная, хоть бы и в России впору.

Я забыл сказать, что большой залив, который мы только что покинули, описав его подробно, назвали, в честь покойного адмирала Лазарева, его именем.

5 мая. Японское море; Корейский берег. Мы только что сегодня вступили в 41° широты, и то двинул нас внезапно подувший попутный ветер. Идем всё подле берега; опись продолжается. Корея кончается в 43 градуса. Там начинается маньчжурский берег. Сегодня, с кочующих по морю лодок, опять набралась на фрегат куча корейцев. Я не выходил; ко мне в каюту заглянули две-три косматые головы и смугло-желтые лица. Крику, шуму! Когда у нас все четыреста человек матросов в действии, наверху такого шуму нет. Один украл у Посьета серебряную ложку и спрятал в свои широкие панталоны. Ложку отняли, а вора за чуб вывели из каюты.

После обеда я смотрел на берега, мимо которых мы шли: крутые, обрывистые скалы, все из базальта, громадами теснятся одна над другой. Обрывисто, круто. Горе плавателям, которые разобьются тут: спасения нет. Если и достигнешь берега, влезть на него все равно, что на гладкую, отвесную стену. Нигде не видать ни жилья, ни леса. Бледная зелень кое-где покрывает крутые ребра гор. Берег вдруг заворотил к W, и мы держим вслед за изгибами. Скоро должна быть пограничная с Маньчжуриею река Тамань, или Тюймэн, или Таймень, что-то такое.

Часа два назад, около полуночи, Криднер вдруг позвал меня на ют послушать, как *дышит кит*. «Я, кроме скрипа снастей, ничего не слышу»,— сказал я, послушавши немного. «Погодите, погодите... слышите?» — сказал он. «Право, нет; это манильские травяные снасти с музыкой...» Но в это время

вдруг под самой кормой раздалось густое, тяжелое и продолжительное дыхание, как будто рядом с нами шел паровоз. «Что, слышите?» — сказал Криднер. «Да; только неужели это кит?..» Вдруг опять вздох, еще сильнее, раздался внизу, прямо под нашими ногами. «Что это такое, не знаешь ли ты?» — спросил я моего фаворита, сигнальщика Федорова, который стоял тут же. «Это не кит,— отвечал он,— это всё водяные: их тут много!..» — прибавил он, с пренебрежением махнул рукой на бездну и, повернувшись к ней спиной, сам вздохнул немного легче кита.

9-е мая. Наконец отыскали и пограничную реку *Тайманьга*; мы остановились миль за шесть от нее. Наши вчера целый день ездили промерять и описывать ее. Говорят, что это широкая, версты в две с половиной, река, с удобным фарватером. Вы, конечно, с жадностью прочтете со временем подробное и специальное описание всего корейского берега и реки, которое, вот в эту минуту, за стеной, делает сосед мой Пещуров, сильно участвующий в описи этих мест. Я передаю вам только самое общее и поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкой.

Не без удовольствия простимся мы не сегодня, так завтра с Кореей. Уж наши видели пограничную стражу на противоположном от Кореи берегу реки. Тут начинается Маньчжурия, и берег с этих мест исследован Лаперузом.

Кто знает что-нибудь о Корее? Только одни китайцы занимаются отчасти ею, то есть берут с нее годичную дань, да еще японцы ведут небольшую торговлю с нею; а между тем посмотрите, что отец Иакинф рассказывает во 2-й части статистического описания Маньчжурии, Монголии и проч. об этой земле, занимающей 8° по меридиану.

Корейское государство, или *Чао-сян*, формировалось в эпоху троян, первобытных греков. Здесь разыгрывались свои Илиады, были Аяксы, Гекторы, Ахиллесы. За Гомером дела никогда не станет. Я уже сказал, какие охотники корейцы сочинять стихи. Даже одна корейская королева, покорив соседнюю область, сама сочинила оду на это событие и послала ко двору китайского богдыхана, который, пишет о. Иакинф, был этим *очень доволен.* Только имена здешних Агамемнонов и Гекторов никак не пришлись бы в наши стихи, а впрочем, попробуйте: Вэй-мань, Цицзы, Вэй-ю-цюй и т. п. Город, вроде Илиона, называли Пьхин-сян.

Но это все темные времена корейской истории; она проясняется немного с третьего века по Р. Х. Первобытные жители в ней были одних племен с маньчжурами, которых сибиряки называют тунгусами. К ним присоединились китайские выходцы. После Р. Х. один из тунгус, *Гао*, основал царство *Гао-ли.*

О. Иакинф говорит, что европейцы это имя как-то ухитрились переделать в *Корею.* Это правдоподобно. До сих пор жители многих островов Восточного океана, в том числе японцы,

канаки (на Сандвичевых островах) и ликейцы, букву *л* заменяют буквой *р*. Одни называют японскую и китайскую милю *ли*, другие — *ри;* одни Ликейские острова зовут *Лиу-киу*, другие — *Риу-киу*, третьи, наконец, *Ру-ку*; *Гонолюлю* многие зовут и пишут *Гоноруру*. Отчего ж не переделать Гао-ли в Ко-ри? И в переделке этой виноваты не европейцы, а сами же корейцы. Когда я при них произнес *Корея*, они толпой повторили *Ко-ри*, *Кори*! и тут же, чрез отца Аввакума, объяснили, что это имя их древнего королевского дома. Поэтому вся переделка европейцев состоит в том, что они из *Ко-ри* сделали *Корея*. Да много ли тут оставалось сделать?

По основании царства Гао-ли судьба, в виде китайцев, японцев, монголов, пошла играть им, то есть покорять, разорять, низвергать старые и утверждать новые династии. Корейские короли, не имея довольно силы бороться с судьбой, предпочли добровольно подчиниться китайской державе. Китайцы то сделают Корею своею областью, то посовестятся и восстановят опять ее самостоятельность. А когда на Китай в V веке хлынули монголы, корейцы покорились и им. Иногда же они вдруг обидятся и вздумают отделиться от Китая, но ненадолго: китайцы или покорят их, или они сами же опять попросят взять себя в опеку.

За эту покорность и признание старшинства Китая китайцы наградили данников своими познаниями, отчасти языком, так что корейцы пишут, чуть что поважнее и поученее, китайским, а что попроще — своим языком. Я видел их книги: письмена не такие кудрявые и сложные, как у китайцев. Далее китайцы наградили их изделиями своих мануфактур и искусством писать стихи. Иногда случалось даже так, что китайцы покровительствовали корейцам и в то же время не мешали брать с них дань монголам и тунгусам. Наконец, в исходе XIV века, вступил на престол дом *Ли*, который царствует и теперь, платя дань или посылая подарки маньчжурской, царствующей в Китае династии.

Корея разделяется на восемь областей, или *дорог*, по сказанию о. Иакинфа. Пощажу ваш слух от названий; если полюбопытствуете, загляните сами в книгу знаменитого синолога. Читая эти страницы, испещренные названиями какого-то птичьего языка, исполненные этнографических, географических, филологических данных о крае, известном нам только по имени, благоговею перед всесокрушающею любознательностью и громадным терпением ученого отца и робко краду у него вышеприведенные отрывочные сведения о Корее — все для вас. Может быть, вы удовольствуетесь этим и не пойдете сами в лабиринт этих имен: когда вам? того гляди, пропадет впечатление от вчерашней оперы.

18 мая мы вошли в Татарский пролив. Нас сутки хорошо нес попутный ветер, потом задержали штили, потом подули

противные N и NO ветра, нанося с матсмайского берега холод, дождь и туман. Какой скачок от тропиков! Не знаем, куда спрятаться от холода. Придет ночь — мученье раздеваться и ложиться, а вставать еще хуже.

По временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу, потом опять туман скроет его. По ночам иногда слышится визг: кто говорит — сивучата пищат, кто— тюлени. Похоже на последнее, если только тюлени могут пищать, похоже потому, что днем иногда они целыми стадами играют у фрегата, выставляя свои головы, гоняясь точно взапуски между собою. Во всяком случае, это *водяные*, как и сигнальщик Федоров полагает.

Вчера, 17-го, какая встреча: обедаем; говорят, шкуна какая-то видна. Велено поднять флаг и выпалить из пушки. Она подняла наш флаг. Браво! Шкуна «Восток» идет к нам, с вестями из Европы, с письмами... Все ожило. Через час мы читали газеты, знали все, что случилось в Европе по март. Пошли толки, рассуждения, ожидания. Нашим судам велено идти к русским берегам. Что-то будет? Скорей бы добраться: всего двести пятьдесят миль осталось до места, где предположено ждать дальнейших приказаний.

Холодно, скучно, как осенью, когда у нас, на севере, все сжимается, когда и человек уходит в себя, надолго отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений, и делается грустен поневоле. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего, что бы предвещало в природе возобновление жизни, со всею ее прелестью. Всем бы хотелось на берег, между прочим и потому, что провизия на исходе. На столе чаще стала появляться солонина и овощи. Из животного царства осталось на фрегате два-три барана, которые не могут стоять на ногах, две-три свиньи, которые не хотят стоять на ногах, пять-шесть кур, одна утка и один кот. Пора, пора...

20-го числа. «Что нового?» — спросил я Фаддеева, который пришел будить меня. «Сейчас на якорь будем становиться,— сказал он,— канат велено доставать». В самом деле, я услышал приятный, для утомленного путешественника, звук: грохотанье доставаемого из трюма якорного каната.

Вы не совсем доверяйте, когда услышите от моряка слово *канат.* Канат — это цепь, на которую можно привязать полдюжины слонов — не сорвутся. Он держит якорь в сто пятьдесят пуд. Вот когда скажут «пеньковый канат», так это в самом деле канат.

Утро чудесное, море синее, как в тропиках, прозрачное; тепло, хотя не так, как в тропиках, но, однако ж, так, что в байковом пальто сносно ходить по палубе. Мы шли все в виду берега. В полдень оставалось миль десять до места; все вышли, и я тоже, наверх, смотреть, как будем входить в какую-то бухту, наше временное пристанище. Глав-

ное только усмотреть вход, а в бухте ошибиться нельзя: промеры показаны.

«Вот за этим мысом должен быть вход,— говорит дед,— надо только обогнуть его. Право! куда лево кладешь?»— прибавил он, обращаясь к рулевому. Минут через десять кто-то пришел снизу. «Где вход?» — спросил вновь пришедший. «Да вот мыс...» — хотел показать дед — глядь, а мыса нет. «Что за чудо! Где ж он? сию минуту был»,— говорил он. «Марсо-фалы отдать!» — закричал вахтенный. Порыв ветра нагнал холод, дождь, туман, фрегат сильно накренило — и берегов как не бывало: все закрылось белой мглой; во ста саженях не стало видно ничего, даже шкуны, которая все время качалась, то с одного, то с другого бока у нас. Ну, поскорей отлавировываться от берега! Надеялись, что шквал пройдет, и мы войдем. Нет: ветер установился, и туман тоже, да такой, что закутал верхние паруса.

Вечер так и прошел; мы были, вместо десяти, уже в шестнадцати милях от берега. «Ну, завтра, чем свет, войдем»,—говорили мы, ложась спать. «Что нового?» — спросил я опять, проснувшись утром, Фаддеева. «Васька жаворонка съел»,— сказал он. «Что ты, где ж он взял?» — «Поймал на сетках».— «Ну что ж не отняли?»— «Ушел в ростры, не могли отыскать».— «Жаль! Ну, а еще что?» — «Еще — ничего».— «Как ничего: а на якорь становиться?»— «Куда те становиться: ишь какая погода! со шканцев на бак не видать».

Мы проскитались опять целый день, лавируя по проливу и удерживая позицию. Ветер дул свирепо, волна не слишком большая, но острая, производила неприятную качку, неожиданно толкая в бока. На другой день к вечеру я вышел наверх; смотрю: все толпятся на юте. «Что такое?» — спрашиваю. «Входим»,— говорят. В самом деле, мы входили в широкие ворота гладкого бассейна, обставленного крутыми, точно обрубленными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда мелким лесом — сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас охватил крепкий смоляной запах. Мы прошли большой залив и увидели две другие бухты, направо и налево, длинными языками вдающиеся в берега, а большой залив шел сам по себе еще мили на две дальше. Вода не шелохнется, воздух покоен, а в море, за мысами, свирепствует ветер. В маленькой бухте, куда мы шли, стояло уже опередившее нас наше судно «Кн. Меньшиков», почти у самого берега. На берегу успели разбить палатки. Около них толпится человек десять людей, с судов же; бегают собаки. Мы стали на якорь.

Что это за край: где мы? сам не знаю, да и никто не знает: кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь?

Кто тут живет? что за народ? Народов много, а не живет никто.

Здешние народы, с которыми успели поговорить, не знаю, на

каком языке, наши матросы, умеющие объясняться по-своему со всеми народами мира, называют себя *орочаны*, *мангу*, *кекель*. Что это, племена или фамильные названия? И этого не знаю. Наши большую часть из них называют общим именем тунгусов. Они не живут тут, а бродят с места на место, приходят к морю ловить рыбу. За ними же скоро, говорят, придут медведи, за этим же. Мы пока делаем то же: рыбы пропасть, камбала, бычки, форели, род налимов. Скоро пойдет периодическая рыба, из породы красных, сельди и т. п. У нас теперь рыба и рыба на столе. Вместо лошадей на берегу бродят десятка три тощих собак: но тут же с берегов выглядывает из чащи леса полная невозможность ездить ни на собаках, ни на лошадях, ни даже ходить пешком. Я пробовал и вяз в болоте, спотыкался о пни и сучья.

Какой же это берег? что за бухта?— спросите вы. Да все тянется глухой, маньчжурский, следовательно принадлежащий китайцам берег.

Июнь.— Нет, берег, видно, нездоров мне. Пройдусь по лесу, чувствую утомление, тяжесть; вчера заснул в лесу, на разостланном брезенте, и схватил лихорадку. Отвык совсем от берега. На фрегате, в море лучше. Мне хорошо в моей маленькой каюте: я привык к своему уголку, где повернуться трудно; можно только лечь на постели, сесть на стул, а затем сделать шаг к двери — и все тут. Привык видеть бизань-мачту, кучу снастей, а через борт море.

Хожу по лесу, да лес такой бестолковый, не то, что тропический: там или вовсе не продерешься сквозь чащу, а если продерешься, то не налюбуешься красотой деревьев, их группировкой, разнообразием; а здесь можно продраться везде, но деревья стоят так однообразно, прямо, как свечки: пихта, лиственница, ель; ель, лиственница, пихта, изредка береза; куда ни взглянешь, везде этот частокол; взгляд теряется в печальной бесконечности леса. Здесь все деревья мешают друг другу расти, и ни одно не выигрывает на счет другого. В тропиках, если одно дерево убивает жизнь вокруг, зато разрастется само так широко, великолепно!

Мы успели войти кое в какие сношения с бродячими мангунами, ороча, или, по-сибирски, тунгусами. К нам часто ездит тунгус Афонька, с товарищем своим, Иваном — так их называли наши. Он подряжен бить лосей, или *сохатых*, по-сибирски, и доставлять нам мясо. Он уже убил трех: всего двадцать пять пуд мяса. Оно показалось мне вкуснее говяжьего. Он бьет и медведей. Недавно провожал одного из наших по лесу на охоту. «Чего ты хочешь за труды, Афонька? — спросил тот его,— денег?»—«Нет»,— был ответ. «Ну, коленкору, холста?»— «Нет».— «Чего же?» — «Бутылочку».

А чем он сражается со зверями? Я заметил, что все те, которые отправляются на рыбную ловлю с блестящими сталь-

ными удочками, с щегольским красного дерева поплавком и тому подобными затеями, а на охоту с выписанными из Англии и Франции ружьями, почти всегда приходят домой с пустыми руками. Афонька бьет лосей и медведей из ружья с кремнем, которое сделал чуть ли не сам или, может быть, выменял в старину у китобоев и которое беспрестанно распадается, так что его чинят наши слесаря всякий раз, как он возвратится с охоты. На днях дали ему хорошее двуствольное ружье, с пистоном. Он пошел в лес и скоро воротился. «Что ж ты?» — спрашивают. «Возьмите, говорит, ружье: не умею из него стрелять». Он обещал мне принести медвежьих шкур — «за бутылочку».

Про семейства гиляков рассказывают, что они живут здесь зимой при 36° мороза, под кустами валежнику, даже матери с грудными детьми, а захотят погреться, так разводят костры, благо лесу много. Едят рыбу *горбушу* и черемшу (род чесноку).

Но их мало, жизни нет, и пустота везде. Мимо фрегата редко и робко скользят в байдарках полудикие туземцы. Только Афонька, доходивший, в своих охотничьих подвигах, через леса и реки и до китайских и до наших границ и говорящий понемногу на всех языках, больше смесью всех, между прочим и наречиями диких, не робея, идет к нам, и всегда норовит прийти к тому времени, когда команде раздают вино. Кто-нибудь поднесет и ему: он выпьет и не благодарит выпивши, не скажет ни слова, оборотится и уйдет.

Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел двух человек, сидевших верхом на обоих концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах. Один, высокого роста, красивый, с покойным, бесстрастным лицом: это из наших. Другой, невысокий, смуглый, с волосами, похожими, и цветом и густотой, на медвежью шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия: это — из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом. Русский делал вырубку на бревне, а туземец сидел на другом конце, чтоб оно не шевелилось, и курил трубку. Щепки и осколки, как дождь, летели ему в лицо и в голову: он мигал мерно и ровно, не торопясь, всякий раз, когда горсть щепок попадала в глаза, и не думал отворотить головы, также не заботился вынимать осколков, которые попадали в медвежью шерсть и там оставались. Русский рубил сильно и глубоко вонзал топор в дерево. При всяком ударе у него отзывалось что-то в груди. Он кончил и передал топор туземцу, а тот передал ему трубку. Русский закурил и сел верхом на конец, а туземец стал рубить. Щепки и осколки полетели в глаза казаку; он, в свою очередь, стал мигать.

Что за плавание в этих печальных местах! что за климат! Лета почти нет: утром ни холодно, ни тепло, а вечером положительно холодно. Туманы скрывают от глаз чуть не собствен-

ный нос. Вчера палили из пушек, били в барабан, чтоб навести наши шлюпки с офицерами па место, где стоит фрегат. Ветра́ большею частию свежие, холодные, тишины почти не бывает, а половина июля!

Но путешествие идет к концу: чувствую потребность от дальнего плавания полечиться — берегом. Еще несколько времени, неделя, другая — и я ступлю на отечественный берег. Dahin! dahin![1] Но с вами увижусь не скоро: мне лежит путь через Сибирь, путь широкий, безопасный, удобный, но долгий, долгий! И притом Сибирь гостеприимна, Сибирь замечательна: можно ли проехать ее на курьерских, зажмуря глаза и уши? Предвижу, что мне придется писать вам не один раз и оттуда.

Странно, однако ж, устроен человек: хочется на берег, а жаль покидать и фрегат! Но если б вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю «Палладу»!

---

[1] Туда! туда! *(немецк.)*

VII

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

Плавание по Охотскому морю.— Китолов.— Петровское зимовье.—Аянские утесы и рейд.— Сборы в путь.— Верховая езда.— Восхождение на Джукджур. — Горы и болота.— Нелькан и река Мая. — Якуты и русские поселенцы.— Опять верхом.— Леса и болота.— Юрты.— Телеги.

Август, 1854 года.

Шкуна «Восток», с своим, как стрелы, тонким и стройным рангоутом, покачивалась, стоя на якоре, между крутыми, но зелеными берегами Амура, а мы гуляли по прибрежному песку, чертили на нем прутиком фигуры, лениво посматривали на шкуну и праздно ждали, когда скажут нам трогаться в путь, сделать последний шаг огромного пройденного пути: остается всего каких-нибудь пятьсот верст до Аяна, первого пристанища на берегах Сибири.

Наконец, 12 августа, толпа путешественников, и во главе их — генерал-губернатор Восточной Сибири, высыпали на берег. Всех гостей было более десяти человек, да слуг около того, да принадлежащих к шкуне офицеров и матросов более тридцати человек. А багажа сколько!

Если все, что грузится в судно, выложить на свободное место, то неосторожный человек непременно подержит пари, что это не войдет туда,— и проиграет.

Так, когда и мы все перебрались на шкуну, рассовали кое-куда багаж, когда разошлись по углам, особенно улеглись ночью спать, то хоть бы и еще взять народу и вещей. Это та же история, что с чемоданом: не верится, чтоб вошло все приготовленное количество вещей, а потом окажется, что можно как-нибудь сунуть и то, втиснуть другое, третье.

При этом, конечно, обыкновенный, принятый на просторе порядок нарушается и водворяется другой, не обыкновенный. В капитанской каюте, например, могло поместиться свободно — как привыкли помещаться порядочные люди — всего трое, если же потесниться, то пятеро. А нас за стол садилось в этой каюте одиннадцать человек да в другой, офицерской, шестеро. Не одни вещи эластичны!

Для стола приносилась, откуда-то с бака, длинная и широкая доска: одним концом ее клали на диван, а другим на какую-то подставку — это и был стол. Там, где на диване могли сесть трое, садилось пятеро, плотно прижавшись друг к другу. Одна рука употреблялась для угощения себя, а другая оставалась позади празднoю. Остальные шестеро помещались с другой стороны доски, да еще кто-нибудь скромно стоял в дверях. Прислуге оставалось только просовывать в дверь кончик носа и руку с блюдом. Спали на столах, на стульях, на лавках.

Едва исследованное и еще не «положенное на карту» устье Амура усеяно множеством мелей. Если б эти мели были постоянны, то их изучили бы сразу; но они наносные, образуются течением реки и потому изменяются почти каждый год. Прибыль и убыль в этих водах также не подвергнута пока контролю мореплавателей, и оттого мы частенько становились на мель в виду какого-нибудь мыса или скалы. Благо, что еще не застало нас волнение в лимане, но и то однажды порядочно поколотило о песок, так что импровизованный стол наш и мы сами, сидя за ужином, подскакивали, вопросительно озираясь друг на друга. Однажды шкуна, стоя на песке, так обмелела, что принуждены были подпереть ей бока, чтоб она не расположилась лечь на один из них.

Но, слава богу, однако ж, мы выбрались из лимана и, благополучно проскользнув между материком Азии и островом Сахалином, вышли в Охотское море и бросили якорь у песчаной косы, перед маленьким нашим поселением, «Петровским зимовьем».

В 1849 году в первый раз военный транспорт «Байкал» решил не решенную Лаперузом задачу. Он послал шлюпки, которые из Охотского моря прошли в Амурский лиман, и таким образом оказалось, что Сахалин не соединен с материком, как прежде думали.

До тех пор об этом знали только гиляки, орочане, мангу и другие бродячие племена приамурского края, но никакой важности этому не приписывали и потому молчали. Да и теперь немало удивляются они, что от них всячески стараются допытаться, где устье глубже, где мельче.

Наш рейс по проливу, на шкуне «Восток», между Азией и Сахалином, был всего третий со времени открытия пролива. Эта же шкуна уже ходила из Амура в Аян и теперь шла во второй раз. По этому случаю, лишь только мы миновали пролив,

торжественно, не в урочный час, была положена доска, заменявшая стол, на свое место; в каюту, вместо одиннадцати, пришло семнадцать человек, учредили завтрак и выпили несколько бокалов шампанского.

Мне так хотелось перестать поскорее путешествовать, что я не съехал с нашими, в качестве путешественника, на берег в Петровском зимовье и нетерпеливо ждал, когда они воротятся, чтоб перебежать Охотское море, ступить, наконец, на берег твердой ногой и быть дома.

Но задул жестокий ветер, сообщения с берегом не было, и наши пробыли на берегу целые сутки. Наконец тронулись далее. Дорогой, для развлечения, нам хотелось принять участие в войне и поймать французское или английское судно. Однажды завидели довольно большое судно и велели править на него. Между тем зарядили наши шесть пушечек, приготовили абордажное оружие и, вооруженные отвагой, с сложенными назад руками, стали смотреть на чужое судно, стараясь угадать по оснастке, чье оно. Флага не было. Барон Криднер счел нужным и сам вооружиться. Он появился на палубе с двумя заряженными пистолетами, опустив их, по рассеянности, дулом в карман. Он, по рассеянности же, не заметил, как я вынул их оттуда и отдал Афанасью, его камердинеру, положить на свое место. Между тем судно подняло американский флаг; но мы не поверили, потому что слышали, как англичане в это время отличались под чужими флагами в разных морях. Мы вызвали шкипера, с бумагами. Он явился, выпил рюмку вина и объявил, что он китолов. Этого сорта суда находят в Охотском море огромную поживу и в иное время заходят туда в числе двухсот и более.

Разочарованные насчет победы над неприятелем [1], мы продолжали плыть по курсу в Аян. Погода была серенькая, но теплая, волнение небольшое, какое именно нам было нужно. Обеды Н. Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино, до которого, впрочем, мне никакого дела нет, отличное, сигары — из первых рук — манильские, и состояние духа у всех приятное.

Любезная шкуна старалась, сколько могла, удовлетворить нашему нетерпению. Она усердно жгла некупленный, добытый руками ее матросов на Сахалине, уголь, да еще обвесилась парусами и бежала верст по четырнадцати в час. И горизонт уж не казался нам дальним и безбрежным, как, бывало, на различных океанах, хотя дугообразная поверхность земли и здесь закрывала даль и, кроме воды и неба, ничего не было видно. Но нам

---

[1] В это самое время, именно 16 августа, совершилось между тем, как узнали мы в свое время, геройское, изумительное отражение многочисленного неприятеля горстью русских по ту сторону моря, в Камчатке. *(Прим. И. А. Гончарова.)*

мерещились поля и домы родины, мы вдыхали в себя сырой морской воздух, воображая, что дышим ее воздухом. Наконец на четвертый день мы заметили на горизонте не поля, не домы, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов.

По мере нашего приближения они всё казались страшнее, отвеснее и неприступнее. Жилья и признаков нет; да и какое тут может быть жилье? кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, да свист ветра — вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить, а теперь разве поставить батареи. «Вон нора, должно быть бобра!»— заметил кто-то, указывая на круглую, правильную лазейку в скале, прорытую почти вровень с водой.

Вглядыванье в общий вид нового берега или всякой новой местности, освоение глаз с нею, изучение подробностей — это привилегия путешественника, награда его трудов и такое наслаждение, перед которым бледнеет наслаждение, испытываемое перед картиной самого великого мастера. Посмотрите на толпу путешественников, когда они медленно подбираются к новому месту: на горизонте видна еще синяя линия берега, а они все наверху: равнодушных, отсталых, ленивых, сонных нет. Они стоят не шевелясь, как окаменелые, молчат, как немые, и если кто сделает вопрос, то робко, шепотом, и почти никогда не получит ответа. На лицах сначала напряженное внимание, в глазах вопросы, потом целая страница мыслей, живых впечатлений, удовлетворенного или неудовлетворенного любопытства. Я, под шумок, незаметно от товарищей своих, наслаждался, по праву путешественника, и картиной нового берега и поверял свои впечатления по лицам спутников. «Где же Аян?» — спрашивают, наконец, нетерпеливые, отвращая взгляды от безжизненных утесов, которые недолго изучить.

Как берег ни красив, как ни любопытен, но тогда только глаза путешественника загорятся огнем живой радости, когда они завидят жизнь на берегу. Шкуна между тем, убавив паров, подвигалась прямо на утесы. Вот два из них вдруг посторонились, и нам открылись сначала два купеческие судна на рейде, потом длинное деревянное строение на берегу, с красной кровлей.

Кровля пуще всего говорит сердцу путешественника, и притом красная: это целая поэма, содержание которой — отдых, семья, очаг — все домашние блага. Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскал глазами Итаки? [1] «Это пакгауз» — прозаически заметил кто-то,

---

[1] Гончаров вспоминает возвращение странствовавшего по свету Улисса (Одиссея) на родной остров Итаку («Одиссея» Гомера).

указывая на дразнившую нас кровлю, как будто подслушав заветные мечты странников.

Ущелье все раздвигалось, и, наконец, нам представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, с десяток более нежели скромных домиков, стоящих друг к другу, как известная изба на курьих ножках,— по очереди появлялись из-за зелени; скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, еще младенец, с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, и между ними кочки болот. Вот и весь Аян.

Это ни город, ни село, ни посад, а фактория американской компании [1]. Она возникла лет десять назад для замены Охотского порта, который неудобен ни с морской, ни с сухопутной стороны. С моря он гораздо открытее Аяна, а с сухого пути дорога от него к Якутску представляет множество неудобств, между прочим так называемые *Семь хребтов*, отраслей Станового хребта, через которые очень трудно пробираться. Трудами преосвященного Иннокентия, архиепископа камчатского и курильского, и бывшего губернатора камчатского, г. Завойки, отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского порта.

Этот порт открыт только с S, и ветер с этой стороны разводит крупное волнение. Американская компания имеет здесь склады иностранных товаров, привозимых ее судами, и снабжает иностранные суда разными потребностями: деревом, якорями, морскими картами, сухарями, холстом и т. п.

Если здесь разовьется торговля и примет когда-нибудь большие размеры, то, вероятно, устроится и брекватер, или мола, для защиты рейда от S ветров. Теперь же пока это скромный, маленький уголок России, в десяти тысячах пятистах верстах от Петербурга, с двумястами жителей, состоящих, кроме командира порта и некоторых служащих при конторе лиц с семействами, из нижних чинов, командированных сюда на службу казаков и, наконец, якутов. Чиновники компании помещаются в домах, казаки в палатках, а якуты в юртах. Казаки исправляют здесь военную службу, а якуты статскую. Первые содержат караул и смотрят за благочинием; одного из них называют даже полицеймейстером; а вторые занимаются перевозкой пассажиров и клади, летом на лошадях, а зимой на собаках. Якуты все оседлые и христиане, все одеты

---

[1] Американская компания — учрежденное в 1799 году русскими купцами акционерное общество (Российско-Американская компания), занимающееся освоением земель и развитием торговли и промыслов в Русской Америке (Аляска и прилегающие к ней острова) и на Дальнем Востоке.

чисто и, сообразно климату, хорошо. И мужчины и женщины носят фризовые капоты, а зимой — олений или нерпичий мех, выворотенный наизнанку. От русских у них есть всегда работа, следовательно они сыты, и притом, я видел, с ними обращаются ласково.

«Отдай якорь!» — раздалось для нас в последний раз, и сердце замерло и от радости, что ступаешь на твердую землю, чтоб уже с нею не расставаться, и от сожаления, что прощаешься с морем, чтоб к нему не возвращаться более.

Конец благополучну бегу,
Спускайте, други, паруса! —

воскликнул бы я, от избытка радости, если б в самом деле это был конец бегу. Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома!.. Какая огромная Итака и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп! Десять тысяч верст: чего-чего на них нет! Тут целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои сорокаградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари всех родов, звери, начиная от черных и белых медведей до клопов и блох включительно, снежные ураганы, вместо качки — тряска, вместо морской скуки — сухопутная, все климаты и все времена года, как и в кругосветном плавании...

Проберешься ли цело и невредимо среди всех этих искушений? Оттого мы задумчиво и нерешительно смотрели на берег и не торопились покидать гостеприимную шкуну. Бог знает, долго ли бы мы просидели на ней в виду красивых утесов, если б нам не были сказаны следующие слова: «Господа! завтра шкуна отправляется в Камчатку, и потому сегодня извольте перебраться с нее», а куда — не сказано. Разумелось, на берег.

Но в Аяне, по молодости лет его, не завелось гостиницы, и потому путешественники, походив по берегу, купив что надобно, возвращаются обыкновенно спать на корабль. Я посмотрел в недоумении на барона Криднера, он на Афанасья, Афанасий на Тимофея, потом поглядели на князя Оболенского, тот на Тихменева, а этот на кучера Ивана Григорьева, которого князь Оболенский привез с собою на фрегате «Диана», кругом Америки.

Люди наши, заслышав приказ, вытащили весь багаж на палубу и стояли в ожидании, что делать. Между вещами я заметил зонтик, купленный мной в Англии и валявшийся где-то в углу каюты. «Это зачем ты взял?» — спросил я у Тимофея. «Жаль оставить»,— сказал он. «Брось за борт,— велел я,—куда всякую дрянь везти?» Но он уцепился и сказал, что ни за что не бросит, что эта вещь хорошая и что он охотно повезет ее через всю Сибирь. Так и сделал.

Нам подали шлюпки, и мы, с людьми и вещами, свезены были на прибрежный песок и там оставлены, как совершенные

Робинзоны. Что толку, что Сибирь не остров, что там есть города и цивилизация? да до них две, три или пять тысяч верст! Мы поглядывали то на шкуну, то на строения и не знали, куда приклонить голову. Между тем к нам подошел какой-то штаб-офицер, спросил имена, сказал свое и пригласил нас к себе ужинать, а завтра обедать. Это был начальник порта.

Барон Криднер ожил; облако исчезло с лица его. «Il y a une providence pour les voyageurs! [1] — воскликнул он,— много я на своему веку получал приглашений на обед или ужин, но всегда порознь: и вот здесь, на пустом берегу, среди дикарей — приглашение на обед и ужин разом!»

Но обед и ужин не обеспечивали нам крова на приближавшийся вечер и ночь. Мы пошли заглядывать в строения: в одном лавка с товарами, но запертая. Здесь еще пока такой порядок торговли, что покупатель отыщет купца, тот отопрет лавку, отмеряет или отрежет товар и потом запрет лавку опять. В другом здании кто-то помещается: есть и постель, и домашние принадлежности, даже тараканы, но нет печей. Третий, четвертый домы битком набиты или обитателями местечка, или опередившими нас товарищами.

Но, однако ж, кончилось все-таки тем, что вот я живу, у кого — еще и сам не знаю; на досках постлана мне постель, вещи мои расположены как следует, необходимое платье развешено, и я сижу за столом и пишу письма в Москву, к вам, на Волгу.

— Décidement il y a une providence pour les voyageurs! [2]— скажу вместе с бароном Криднером. Места поочистились, некоторые из чиновников генерал-губернатора отправились вперед, и один из них, самый любезный и приятный из чиновников и людей, М. С. Волконский [3], быстро водворил меня, и еще одного товарища, в свою комнату. Правда, тут же рядом, через перегородку, стоял покойник, и я с вечера слышал чтение псалмов, но это обстоятельство не помешало мне самому спать как мертвому.

Через три дня предстояло отправиться далее, а мы жили буквально спустя рукава. Нас всех, Улиссов, разделили на три партии, чтоб не встретилось по дороге затруднения в лошадях. Одна партия уже уехала, другая выезжала через день. Оставались мы трое: князь Оболенский, Тихменев и я, да с нами четверо людей. У князя кучер Иван Григорьев, рассудительный и словоохотливый человек, теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе, да Ванюшка, молодой малый, без всякого значения на лице, охотник вскакнуть на лошадь и промчаться куда-нибудь без цели да за углом, особенно на се-

---

[1] Везет же путешественникам! *(франц.)*

[2] Решительно путешественникам везет! *(франц.)*

[3] Сын декабриста С. М. Волконского, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве.

новале, покурить трубку; с Тихменевым Витул, матрос с фрегата, и со мной Тимофей, повар.

Только по отъезде третьей партии, то есть на четвертый день, стали мы поговаривать, как нам ехать, что взять с собой и прочее. А выехать надо было на шестой день, когда воротятся лошади и отдохнут. Зимой едут отсюда на собаках, в так называемых *нартах*, длинных, низеньких санках, лежа, по одному человеку в каждых. Летом надо ехать верхом верст двести, багаж тоже едет верхом, вьюками. Далее, по рекам Мае и Алдану, спускаются в лодках верст шестьсот, потом сто восемьдесят верст опять верхом, по болотам, наконец остальные верст двести пятьдесят, до Якутска, на телегах.

Еще в тропиках, когда мелькало в уме предположение о возможности возвратиться домой через Сибирь, бывшие в Сибири спутники говорили, что в Аяне надо бросить все вещи и взять только самое необходимое; а здесь теперь говорят, что бросать ничего не надобно, что можно увязать на вьючных лошадей все, что ни захочешь, даже книги.

Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом (а я не хочу), то можно ехать в *качке* (сокращенное *качалке*), которую повезут две лошади, одна спереди, другая сзади. «Это-де очень удобно: там можно читать, спать». Чего же лучше! Я обрадовался и просил устроить качку. Мы с казаком, который взялся делать ее, сходили в пакгауз, купили кожи, ситцу, и казак принялся за работу.

«Помилуйте! — начали потом пугать меня за обедом у начальника порта, где собиралось человек пятнадцать за столом,— в качках возят старух или дам». Не знаю, какое различие полагал собеседник между дамой и старухой. «А старика можно?» — спросил я. «Можно»,— говорят. «Ну, так я поеду в качке».

«Сохрани вас боже! — закричал один бывалый человек,— жизнь проклянете! Я десять раз ездил по этой дороге и знаю этот путь, как свои пять пальцев. И полверсты не проедете, бросите. Вообразите, грязь, брод; передняя лошадь ушла по пояс в воду, а задняя еще не сошла с пригорка, или наоборот. Не то так передняя вскакивает на мост, а задняя задерживает: вы-то в каком положении в это время? Между тем придется ехать по ущельям, по лесу, по тропинкам, где качка не пройдет. Мученье!»

«Все это неправда,— возразила одна дама (тоже бывалая, потому что там других нет),— я сама ехала в качке, и очень хорошо. Лежишь себе или сидишь; я даже вязала дорогой. А верхом вы измучаетесь по болотам; якутские седла мерзкие...»

«Седло купите здесь, у американской компании, черкесское: оно и мягко и широко...»— «Эй, поезжайте в качке...» — «Нет, верхом: спасибо скажете...» — «Не слушайте их...» — «В качке на Джукджур не подниметесь...»

«Что это такое Джукджур?» — спросил я, ошеломленный этими предостережениями и поглядывая на всех.

«Вы не знаете, что такое Джукджур? — спросили меня вдруг все.— Помилуйте, Джукджур!..»

«Джукджур,— начал один учено-педантически,— по-тунгусски значит «большая выпуклость»...» — «Так вы думаете, что я па эту выпуклость в качке...» — «Не подниметесь...» — «А верхом...» — «Не въедете!» — отвечали все. «Как же быть-то?» — «Пешком взойдете, особенно если проводники, якуты, будут сзади поддерживать вас в спину».— «А их кто же поддерживает?» — «Они привыкли».— «Велите подковать себя»,— посоветовал кто-то. Я мрачно взглянул на собеседника, доискиваясь причины обиды. «У якутов есть такие подковки для людей»,— прибавил мнимый обидчик. «Зачем подковки? теперь не зима: там щебень, ноги не скользят»,— прибавил другой. «Так гора очень крутая?» — спрашивал я. «Да, так крута,— сказал один,— что если б была круче, так ни в качке, ни верхом, ни пешком нельзя было бы взобраться на нее».

Затем ли я не рискнул взобраться на Столовую гору и вообще обходил их все, отказываясь наслаждаться восхитительнейшими видами, чтоб лезть на какой-то тунгусский Монблан — поневоле!

«Полноте, это сущая безделица,— утешал меня один, самый бывалый собеседник,— я раз восемь спускался и поднимался на гору — ничего. Вот только как прошедший год спускался в гололедицу, так... того... Надо знать, что вершина у ней в самом деле выпуклая, горбом, так что прямо идти нельзя, а надо зигзагами. Была оттепель, потом вдруг немного подморозило, но так, что затянуло снег только сверху, и то на самой выпуклости. Якут хотел было подковать меня, но снег от оттепели сделался рыхл, можно было провалиться, и я пошел без подков. Пройти по самому выпуклому и трудному месту надо было сажен пятьдесят, наперекос; там начинались уже камни и снегу не было. Я пошел, а ниже меня сажен на десять шел товарищ. Надо было продавливать пяткой слой снега, но слегка, чтоб нога задерживалась только, а не вязла. Я прошел, хотя не скоро, но благополучно; оставалось сажен пять; вдруг пятка моя встречает сопротивление: я не успеваю продавить снег, срываюсь и лечу... («Ух», сделал я невольно) прямо на товарища: мы оба на краю пропасти. Он в ужасе. Я делаю усилие и что есть мочи вонзаю кулаком в снег, рука уходит по плечо. Я задержался и повис. Якуты выручили меня из западни».

Утешил, можно сказать, рассказом!

«Я тоже чуть не погиб там, года три назад,— сказал хозяин,— так, по своей глупости. Я ехал с человеком в двух нартах, третья была с провизией. Нас застала буря па самой горе. Ветер дул с вершины на нас так свирепо, что мы стесни-

лись на полугоре в кучу и не знали, как подниматься. Лишь только он затих немного, якут схватил меня за руки и потащил на выпуклость. Доведя до полгоры, он бросил мне топор, а сам воротился за моим человеком. Я пополз вверх, вдруг порыв ветра... я крепко прижался к земле, но чувствую, что сил нет, меня тащит с крутизны, еще минута... Я кое-как надавил топор на снег, зацепился и повис; порыв ветра пронесся. Я вздохнул свободно и проворно пополз вверх. Еще сажень — и я на вершине: но другой порыв, сильнее прежнего, дунул мне прямо в лоб и помчал наши нарты, с якутами и оленями, вниз. Я закрыл глаза и, почти без памяти, налегая на топор, прижимался к горе. Мне казалось, что кругом меня забегали волки и медведи, которых много водится в этом месте. Вдруг сзади кто-то хватает меня. «Медведь!» — подумал я, опустив лицо в снег. Нет, это якут Иван хочет поднять меня. «Жаль мне тебя стало»,— говорит он. Я поправился. «Поди спасай других!» — сказал я, сам добрался до вершины и, обессиленный, не чувствуя холода, лег у первых кустов. Через час пришли и нарты. Слава богу, никто не ушибся».

«Где же тут «глупость»?» — подумал я.

Тут же рассказали мне, что зимой не сходят и не съезжают, а спалзывают с горы. Оленей отпрягают и пускают сойти самих, а к нартам привязывают длинную сосну с ветвями и сталкивают вниз, с людьми и с кладью. Путешественник, лежа в санях и опершись руками и ногами в стенки, раза два обернется головой вниз — и ничего. Особенно такой спуск с гор, покрытых снегом, употребителен на пути в Камчатку. Один, ездивший туда по службе, рассказывал, что тунгус, подъехав к одному крутому утесу, с которого даже собаки не могли бежать, отпряг их и, одну за другой, побросал с утеса. Путешественник пришел в ужас, когда очередь дошла и до той нарты, где он лежал.

«Стой, стой! что ты?» — кричал он в отчаянии из окошечка своих крытых санок. Но тот ответил ему что-то по-своему и толкнул нарту. Прежде нежели проезжий успел опомниться, он уже вертелся на воздухе и упал в рыхлый снег. Потом свалился и сам тунгус и начал вытаскивать увязших в снегу собак, запряг их в нарты и отправился дальше.

В некоторых местах нарты проезжают по ледяным окраинам, вроде карнизов, над морем, так что нарте приходится иногда одной стороной полозьев скользить по воздуху... Фу, даже гадко слушать!

Между тем мы гуляли по Аяну в ожидании лошадей, играли в карты, даже танцевали. Я ходил смотреть свою качку. Это небольшая лодка с маленьким навесом. Казак в сарае, набрав гвоздей полон рот, вынимал их оттуда по одному и усердно обивал качку ситцем и кожей.

«А есть ли у вас переметные сумы?» — спрашивали нас.

«Что это такое?» — «Вы не знаете, что такое переметные сумы?»—«Опять напугают!»— подумал я. «Слыхал, — отвечал я,— это что-то не хорошо: *и нашим и вашим...*» — «Совсем не то; это просто две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади, для провизии и вообще для всего, что надо иметь под рукой».— «А ящики есть?» — спросили опять. «Нет; а разве надо?» — «Как же вы повезете вещи? В чемоданах и мешках не довезете: лошадь будет драть их и о деревья, и вязнуть в болотах, и... и... и т. д. А в каждый ящик положите по два с половиной пуда и навьючьте на лошадь. Чемодан бросьте».— «Зачем бросать? все возьмите!» — заметил бывалый. «А зонтик можно взять?» — спросил Тимофей, несмотря на мой свирепый взгляд. «И зонтик возьми»,— был ответ.

«Сары, сары не забудьте купить!» — «Это еще что?» — «Сары — это якутские сапоги из конской кожи: в них сначала надо положить сена, а потом ногу, чтоб вода не прошла; иначе по здешним грязям не пройдете и не проедете. Да вот зайдите ко мне, я велю вам принести».

И мой любезный хозяин М. С. Волконский повел меня к себе и велел позвать Александру. Пришла якутка, молодая и, вероятно, в якутском вкусе красивая, с плоским носом, с узенькими, но карими глазами и ярким румянцем на широких щеках. «Здравствуй...»— тут он сказал что-то по-якутски. «Что это значит?» — спросил я. «Прекрасная женщина».— «Есть сары?» — «Есть».— «Принеси».— «Слусаю»,— отвечала она и через пять минут принесла сапоги на слона, с запахом вспотевшей лошади и сала, которым они и были вымазаны. «Вынеси, вынеси скорей! — закричал я,— ужели их надевают люди?» — спросил я Михаила Сергеевича. «И очень порядочные,— отвечал он,— и вы наденете».

Но я подарил их Тимофею, который сильно занят приспособлением к седлу мешка с чайниками, кастрюлями, вообще необходимыми принадлежностями своего ремесла, и, кроме того, зонтика, на который более всего обращена его внимательность. Кучер Иван Григорьев во все пытливо вглядывался. «Оно ничего: можно и верхом ехать, надо только, чтоб все заведение было в порядке»,— говорит он с важностью авторитета. Ванюшка прилаживает себе какую-то щегольскую уздечку и всякий день все уже и уже стягивается кожаным ремнем.

П. А. Тихменев, взявшийся заведывать и на суше нашим хозяйством, то и дело ходит в пакгауз и всякий раз воротится то с окороком, то с сыром, поминутно просит денег и рассказывает каждый день раза три, что мы будем есть, и даже — чего не будем. «Нет, уж курочки и в глаза не увидите,— говорит он со вздохом,— котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет. Ах, вот забыл: нет ли чего сладкого в здешних пакгаузах? Сбегаю поскорей; черносливу или изюму: компот можно есть». Схватит фуражку и побежит опять.

Наконец в одно в самом деле прекрасное утро перед домиком, где мы жили, расположился наш караван, состоявший из восьми всадников и семнадцати лошадей, считая и вьючных. «А где же качка?» — спрашиваю я. Один из служащих улыбается, глядя на меня; а казак, который делал мне качку, вместо нее подводит оседланную лошадь. Гляжу: на ней и черкесское седло и моя подушка. «Качки нет,— сказал мне барон,— не поспела». Я понял, что меня обманули в мою пользу, за что в дороге потом благодарил не раз, молча сел на лошадь и молча поехал по крутой тропинке в гору.

Все жители Аяна столпились около нас: все благословляли в путь. Ч. и Ф., без сюртуков, пошли пешком проводить нас с версту. На одном повороте за скалу Ч. сказал: «Поглядите на море: вы больше его не увидите». Я быстро оглянулся, с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было сине, ярко сверкало на солнце серебристой чешуей. Еще минута — и скала загородила его. «*Прощай, свободная стихия! в последний раз...*» [1]

От Аяна едешь по ложбинам между гор, по руслу речек и горных ручьев, которые в дожди бурлят так, что лошади едва переходят вброд, уходя по уши. Каково седоку? Немного хуже, чем лошади. Теперь сухо, и мы едва мочили подошвы; только переправляясь через Алдаму, должны были поднять ноги к седлу.

Ничего нет ужасного в этих диких пейзажах, но печального много. По дороге идет густой лиственный лес; едешь по узенькой, усеянной пнями тропинке. Потом лес раздвигается, и глазам является обширное, забросанное каменьями болото, которое в дожди должно быть непроходимо. Щебень составляет природное дно речек, а крупные каменья набросаны, будто в виде украшений, с утесов, которые стоят стеной и местами поросли лесом, местами голы и дики. Нигде ни признака жилья, ни встречи с кем-нибудь. По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященый Иннокентий, архиепископ камчатский и курильский. Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобною, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил тракт к Аяну.

По деревьям во множестве скакали зверьки, которых здесь называют *бурундучками*, то же, кажется, что векши, и которыми занимались пристально наша собака да кучер Иван. Видели взбегавшего по дереву будто бы соболя, а скорее черную белку. «Ах, ружье бы, ружье!» — закричали мои товарищи.

Дорогу эту можно назвать прекрасною для верховой езды, но только не в грязь. Мы легко сделали тридцать восемь

[1] Из стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824).

верст и слезали всего два раза, один раз у самого Аяна, завтракали и простились с Ч. и Ф., провожавшими нас, в другой раз на половине дороги полежали на траве у мостика, а потом уже ехали безостановочно. Но тоска: якут-проводник, едущий впереди, ни слова не знает по-русски, пустыня тоже молчит, под конец и мы замолчали и часов в семь вечера молча доехали до юрты, где и ночевали.

Я думал хуже о юртах, воображая их чем-то вроде звериных нор: а это та же бревенчатая изба, только бревна, составляющие стену, ставятся вертикально; притом она без клопов и тараканов, с двумя каминами; дым идет в крышу; лавки чистые. Мы напились чаю и проспали до утра как убитые.

Еще проехали день и ночевали в юрте, у подошвы Джукджура. Я нанял двух якутов сопровождать меня по горе и помогать подниматься. Что за дорога была вчера! Пустыни, пустыни и пустыни, девственные, если хотите, но скучные и унылые. Мы ехали горными тропинками, мимо оврагов, к счастию окаймленных лесом, проехали вброд множество речек, горных ручьев и несколько раз Алдаму, потом углублялись в глушь лесов и подолгу ехали узенькими дорожками, пересекаемыми или горизонтально растущими сучьями, или до того грязными ямами, что лошадь и седок останавливаются в недоумении, как переехать или перескочить то или другое место. И это еще, говорят, безделица в сравнении с предстоящими грязями, где лошадь уходит совсем. «А что ж в это время делает седок?» — спросил я. «Падает в грязь»,— отвечали мне. Видели мы по лесу опять множество бурундучков, опять quasi-соболя, ждали увидеть медведя, но не видали, видели только, как якут, на станции, ведя лошадей на кормовище в лес, вооружился против «могущего встретиться» медведя ружьем, которое было в таком виде, в каком только первый раз выдумал его человек. Лошадям здесь овса не положено давать, за неимением его, зато травы из-под ног — сколько хочешь. По приезде на станцию их отведут в лес и там оставят до утра. Лес по дороге был лиственничный, потом стала появляться ель, сосна, шиповник. Много росло по пути брусники и рябины. Матрос наш набрал целую кружку первой, а рябину с удовольствием ел кучер Иван, жалея только, что ее не хватило морозцем.

Видели мы кочевье оленных тунгусов, со стадом оленей. Тишина и молчание сопровождали нас. Только раз засвистала какая-то птичка, да, кажется, сама испугалась и замолчала, или иногда вдруг из болота выскакивал кулик, местами в вышине неслись гуси или утки, все это пролетные гости здесь. Не слыхать и насекомых.

Вчера мы сделали тридцать пять верст и нисколько не устали. Что будет сегодня? Ах, Джукджур, Джукджур: с ума нейдет!

Наконец совершилось наше восхождение на якутский, или тунгусский, Монблан. Мы выехали часов в семь со станции и ехали незаметно в гору, буквально по океану камней. Редко-редко где на полверсты явится земляная тропинка и исчезнет. Якутские лошади малорослы, но сильны, крепки, ступают мерно и уверенно. Мне переменили вчерашнюю лошадь, у которой сбились копыта, и дали другую, сильнее, с крупным шагом, остриженную à la мужик.

Джукджур отстоит в восьми верстах от станции, где мы ночевали. Вскоре по сторонам пошли горы, одна другой круче, серее и недоступнее. Это как будто искусственно насыпанные пирамидальные кучи камней. По виду ни на одну нельзя влезть. Одни сероватые, другие зеленоватые, все вообще неприветливые, гордо поднимающие плечи в небо, не удостоивающие взглянуть вниз, а только сбрасывающие с себя каменья.

Я все глядел по сторонам, стараясь угадать, которая же из гор грозный Джукджур: вон эта, что ли? Да нет, на эту я не хочу: у ней крут скат, и хоть бы кустик по бокам; на другой крупны очень каменья. Давно я видел одну гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне алмазом, на самой крутизне. «Ну, конечно, не эта», — сказал я себе. «Где Джукджур?» — спросил я якута. «Джукджур!» — повторил он, указывая на эту самую гору, с ледяной лысиной. «Как же на нее взобраться?» — думал я.

Между тем я не заметил, что мы уж давно поднимались, что стало холоднее и что нам осталось только подняться на самую «выпуклость», которая висела над нашими головами. Я все еще не верил в возможность въехать и войти, а между тем наш караван уже тронулся при криках якутов. Камни заговорили под ногами. Вереницей, зигзагами, потянулся караван по тропинке. Две вьючные лошади перевернулись через голову, одна с моими чемоданами. Ее бросили на горе и пошли дальше.

Я шел с двумя якутами, один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана каменья помшистее, иногда клал голову на плечо якута. Двое товарищей уже взобрались и с вершины бросали на ледяную лысину каменья. Как я завидовал им! счастливцы! И собаке завидовал: она уж раза три вбежала на вершину и возвращалась к нам, а теперь, стоя на самой крутой точке выпуклости, лаяла на нас, досадуя на нашу медленность. А мне еще оставалось шагов двести. Каменья катились под ногами; якуты дали нам по палке. Наконец я вошел. Меня подкрепила рюмка портвейна. Как хорошо показалось мне вино, которого я в другое время не пью! У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь.

Остальная дорога до станции была отличная. Мы у речки, на мшистой почве, в лесу, напились чаю, потом ехали почти по

шоссе, по прекрасной сосновой, березовой и еловой аллее. Встретили красивый каскад и груды причудливо разбросанных как будто взрывом зеленоватых камней.

На Джукджуре всего более отличился мой слуга, Тимофей. Только что тронулся на крутизну наш караван и каменья зажурчали под ногами лошадей, вдруг Тимофей рванулся вперед и понесся в гору впереди всех. Он обогнал вьючных лошадей, обогнал проводников, даже собаку, и все еще, с распростертыми руками, в каком-то испуге, несся неистово в гору: «Тимофей! куда ты? с ума сошел!— кричал я, изнемогая от усталости,— ведь гора велика, успеешь устать!» Но он махнул рукой и несся все выше, лошади выбивались из сил и падали, собака и та высунула язык; несся один Тимофей. Наконец он и наши верховые лошади вбежали на вершину горы и в одно время скрылись из виду. «Зачем это ты?» — спросил я потом. «Однажды...» — начал он и не мог продолжать, задохся и уже на станции рассказал. «Зачем ты бежал так вверх?» — спросил я. Он, помолчав немного, начал так: «Однажды я ехал из Буюкдерэ в Константинополь и на минуту слез... а лошадь ушла вперед с дороги: так я и пришел пешком, верст пятнадцать будет...» — «Ну, так что ж?» — «Вот я и боялся,— заключил Тимофей,— что, пожалуй, и эти лошади уйдут, вбежавши на гору, так чтоб не пришлось тоже идти пешком».— «Эти лошади уйдут!» — с горьким смехом воскликнул кучер Иван. А лошади, взойдя, стали как вкопанные и поникли головами.

27. Пустая юрта между Челасином и Маилом.

Вы, конечно, не удивляетесь, что я не говорю ни о каких встречах по дороге? Здесь никто не живет, начиная от Ледовитого моря до китайских границ, кроме кочевых тунгус, разбросанных кое-где на этих огромных пространствах. Даже птицы и те мимолетом здесь. Зверей, говорят, много, но мы, кроме бурундучков и белок, других не видали. И славу богу: встреча с медведем могла бы доставить удовольствие, а может быть, и некоторую выгоду — только ему одному: нас она повергла бы в недоумение, а лошадей в неистовый испуг.

Тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни. Спросил бы стоящие по сторонам горы, когда они и все окружающее их увидело свет; спросил бы что-нибудь, кого-нибудь, поговорил хоть бы с нашим проводником, якутом: сделаешь заученный по-якутски вопрос: «*Кась бироста ям?*» (сколько верст до станции). Он и скажет, да не поймешь, или *гра-гра* ответит (далеко), или *чугес* (скоро, тотчас), и опять едешь целые часы молча.

Выработанному человеку в этих невыработанных пустынях пока делать нечего. Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах верст наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания, или дикарем, чтоб считать эти горы,

камни, деревья за мебель и украшение своего жилища, медведей — за товарищей, а дичь — за провизию.

Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками двенадцать с половиною. Дорога от Челасина шла было хороша, нельзя лучше, даже без камней, но верстах в четырнадцати или пятнадцати вдруг мы въехали в заросшие лесом болота. Лес част, как волосы на голове, болота топки, лошади вязли по брюхо и не знали, что делать, а мы, всадники, еще меньше. Переезжая болото, только и ждешь с беспокойством, которой ногой оступится лошадь.

Везде мох и болото; напрасно вы смотрите кругом во все стороны: нет выхода из бесконечных тундр, непроходимых без проводника. Горе тому, кто бы сам собой попробовал сунуться в сторону: дороги нет, указать ее некому. Болота так задержали нас, что мы не могли доехать до станции и остановились в пустой брошенной юрте, где развели огонь, пили чай и ночевали. Холодно было; вчера летела изморозь, дул ветер, небо мрачное и темное — осень, осень. Наши проводники залезли к нам погреться; мы дали им по стакану чаю, хотели дать водки, но и у нас ее нет: она разбилась на Джукджуре, когда перевернулись две лошади, а может быть, наша свита как-нибудь сама разбила ее... Потом якуты повели лошадей на кормовище за речку, там развели огонь и заварили свои два блюда: вареную в воде муку с маслом и муку, вареную в воде, без масла.

Кучер Иван, по своей части, приобрел замечательное сведение, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет, и сообщил об этом нам. Не знаю, правда ли.

Уже вьючат лошадей, пора ехать, мы еще не сделали вчера сорока верст. Маил в нескольких верстах отсюда.

28. Опять пустая юрта.

Что Джукджур, что каменистая дорога, что горные речки в сравнении с болотами! Подъезжаете вы к грязному пространству: сверху вода; проводник останавливается и осматривает, нет ли объезда: если нет, он нехотя пускает свою лошадь, она, еще более нехотя, но все-таки с резигнацией, без всякого протеста, осторожно ступает, за ней другие. Вдруг та оступилась передними, другая задними ногами, а та и теми и другими. Всадник в беспокойстве сидит — наготове упасть, если упадет лошадь, но упасть как можно безопаснее. Между тем лошадь чувствует, что она вязнет глубоко: вот она начинает делать отчаянные усилия и порывисто поднимает кверху то крестец, то спину, то голову. Хорошо в это время седоку! Наконец, побившись, она ложится на бок, ложитесь поскорее и вы: оно безопаснее. Так я и сделал однажды.

Мы дотащились до Маила, где нашли прекрасную новую юрту, о двух комнатах, опрятную, с окнами, где слюда вместо стекол, пол усыпан еловыми ветками, лавки чистые, камин хоть сейчас в гостиную, только покрасить. Мы ехали от Маила до

здешней юрты, всего двадцать верст, очень долго: нас задерживали беспрестанные объезды. Это своего рода пытка, вам неизвестная. В лесу немного посуше — это правда, но зато ноги уходят в мох, вся почва зыблется под вами. Вы едете вблизи деревьев, третесь о них ногами, ветви хлещут в лицо, лошадь ваша то прыгает в яму и выскакивает стремительно на кочку, то останавливается в недоумении перед лежащим по дороге бревном, наконец перескочит и через него и очутится опять в топкой яме.

Правду говорили мне в Аяне! Иногда якут вдруг остановится, видя, что не туда завел, впереди все одно: непроходимое и бесконечное топкое болото, дорожки не видать, и мы пробираемся назад. Пытка! Кучер Иван пытается утешить, говорит, что «никакая дорога без лужи не бывает, сколько он ни езжал». Это правда.

В Маиле нам дали других лошадей, все таких же дрянных на вид, но верных на ногу, осторожных и крепких. Якуты ласковы и внимательны: они нас буквально на руках снимают с седел и сажают на них; иначе бы не влезть на седло, потом на подушку, да еще в дорожном платье.

Погода вчера чудесная, нынче хорошее утро. Развлечений никаких, разве только наблюдаешь, какая новая лошадь попалась: кусается ли, лягается, или просто ленится. Они иногда лукавят. В этих уже нет той резигнации, как по ту сторону Станового хребта. Если седло ездит и надо подтянуть подпругу, лошадь надует брюхо — и подтянуть нельзя. Иному достанется горячая лошадь; вон такая досталась Тимофею. Лошадь начинает горячиться, а кастрюли, привязанные у него к седлу, звенеть. Прочие по этому случаю острят, особенно кучер Иван.

Этот Иван очень своеобычен и с трудом отступает от своих взглядов и убеждений, но словоохотлив и услужлив. Он, между прочим, с гордостью рассказывал, как король Сандвичевых островов, глядя на его бороду и особенное платье, принял его за важное лицо и пожал ему руку. Однажды, когда к вечеру стало холоднее, князь Оболенский спросил свой тулуп. «Да далеко закладено в чемоданы и зашито»,— сказал Иван. «Неправда, он должен быть в мешке,— сказал князь Оболенский,— покажи!» — «Никак нет, в чемодане»,— утверждал кучер, показывая мешок. «А это что у тебя в мешке?» — спросил тот. «Да это, кто ее знает, шкура какая-то».— «Посмотрите! — сказал нам князь Оболенский,— он змеиную шкуру из Бразилии положил поближе, а тулуп запрятал!» — «Да я думал, что шкуру-то можно и выбросить,— сказал Иван,— а тулупчика-то жаль».— «Вот этак же,— заметил князь Оболенский,— он вез у меня пару кокосовых орехов до самого Охотского моря: хорошо, что я увидал вовремя да выбросил, а то он бы и их в чемоданы спрятал». — «Зачем это ты, Иван Григорьев, вез орехи? —

спросил я.— Они понравились тебе — вкусны?» — «Нет, какое вкусны,— отвечал он с величайшим презрением,— это все пустое! А я вез их по той причине, что в Москве видел, в лавке за этакие орехи просили по пяти целковых за штуку, так думал, сбуду их туда».

Нелькан, 29 августа.

Вчера, в осьмом часу вечера, насилу дотащились последнюю станцию верхом. Сорок верст ехали и отдыхали всего полтора часа на половине дороги, в лесу. Скучно, хотя по лесу встречалось так много дичи, что даже досадно на ее дерзость. Тетерева просто гуляют под ногами у лошадей, вальдшнепы вылетали из каждого куста, утки полоскались в каждой луже. «Как жаль, что нет ружья!» — сказал кто-то. «Как нет, есть два, славнейшие ружья».— «А порох есть?» — «И порох, и дробь, и пули».— «Так что же не стреляем? давай!» — «Далеко спрятаны, на дне чемодана»,— сказал Иван Григорьев. «А змеиную шкуру держит под рукой!» — упрекнул князь Оболенский. «Шкуру недолго и бросить»,— оправдывался Иван. «А кокосы напрасно не взял,— заметил я ему,— в самом деле можно бы выгодно продать...» — «Оно точно, кабы взять штук сто, так бы денег можно было много выручить»,— сказал Иван, принявший серьезно мое замечание.

От Маильской станции до Нельканской идут все горы и горы — целые хребты; надо переправиться через них, но из них две только круты, остальные отлоги. Да и с крутых-то гор никакими кнутами не заставишь лошадей идти рысью: тут они обнаруживают непоколебимое упорство. Горы эти — всё ветви Станового хребта, к которому принадлежит и Джукджур. У подошвы каждой горы стелется болото; и как ни суха, как ни хороша погода, но болота эти никогда не высыхают: они или мерзнут, или грязны. Болота коварны тем, что поросли мхом и травой, и вы не знаете, по колено ли, по брюхо, или по морду лошади глубока лужа. «Ох!» — вырвется у того или другого среди мучительного молчания, в продолжительном и изворотливом пробиранье между кочек, луж и кустов.

Наконец вчера приехали в Нелькан и переправились через Маю, услыхали говор русских баб, мужиков. А с якутами разговор не ладится; только Иван Григорьев беспрестанно говорит с ними, а как и о чем — неизвестно, но они довольны друг другом.

В Нелькане несколько юрт и несколько новеньких домиков. К нам навстречу вышли станционный смотритель и казак Малышев; один звал пить чай, другой — ужинать, и оба угостили прекрасно. За ужином были славные зеленые щи, языки и жареная утка. В доме, принадлежащем американской компа-

нии, которая имеет здесь свой пакгауз с товарами (больше с бумажными и другими материями и т. п. нужными для края предметами, которыми торговля идет порядочная), комната просторная, в окнах слюда вместо стекол: светло и, говорят, тепло. У смотрителя станции тоже чисто, просторно; к русским печам здесь прибавили якутские камины, или чувалы: от такого русско-якутского тепла, пожалуй, вопреки пословице, «заломит и кости».

Мы отлично уснули и отдохнули. Можно бы ехать и ночью, но не было готового хлеба, надо ждать до утра, иначе нам, в числе семи человек, трудно будет продовольствоваться по станциям на берегах Маи. Теперь предстоит ехать шестьсот верст рекой, а потом опять сто восемьдесят верст верхом по болотам. Есть и почтовые тарантасы, но все предпочитают ехать верхом по этой дороге, а потом до Якутска на колесах, всего тысячу верст. Всего!

Мая извивается игриво, песчаные мели выглядывают так гостеприимно, как будто говорят: «Мы вас задержим, задержим»; лес не темный и не мелкий частокол, как на болотах, но заметно покрупнел к реке; стал чаще являться осинник и сосняк. Всему этому несказанно обрадовался Иван Григорьев. «Вон осинничек, вон сосначок!» — говорил он приветливо, указывая на знакомые деревья. Лодка готова, хлеб выпечен, мясо взято — едем. Теперь платить будем прогоны по числу людей, то есть сколько будет гребцов на лодках.

30 и 31 августа. Нельзя начать плавания при более благоприятных обстоятельствах, как начали мы. Погода была великолепная, теплая. Река, с каждым извивом и оборотом, делалась приятнее, берега или отлогие, лесистые, или утесистые. Лодка мчится с неимоверной быстротой. Мы промчались двадцать восемь верст в два часа и прибыли на станцию *Бáтанга* или *Вáтанга.* Дорогой, наконец, достали из чемодана ружье, после, однако ж, многих возражений со стороны Ивана Григорьева, и отдали Ванюшке. Он застрелил утку, подстрелил много еще, но нельзя было их достать. Издалека завидим мы их, они мчатся по течению, мы перегоняем, они улетают, а если остаются, то дорого платят за оплошность.

На *Бáтанге* живет очень смышленый старик, Петр Маньков, с женой, в хижине. Все это переселенцы. Они стараются прививать хлебопашество, но мало средств и земля не везде удобна. Отчасти промышляют зверями. От *Батанги* до *Семи Протоков* четырнадцать верст. Мы до Семи Протоков сделали быстрый переход. Но погода стала портиться: подул холодок, когда мы в темноте пристали к станции и у пылавшего костра застали якутов и русских мужиков и баб; последние очень красивы, особенно одна девушка, лет шестнадцати. Мы вошли в их бедную избу, пили чай и слушали рассказы о трудностях и недостатках, с какими, впрочем, неизбежно сопряжено пер-

воначальное водворение в новом краю. В избе и около избы толпились ребятишки, с голыми ногами, грудью и даже с голым брюхом. Мы дали им две рубашки, и мальчишки с гордостью и радостью надели их. Благодарностям не было конца.

Пока мы сидели в избе, задул ветер, повалил хлопьями снег, словом вьюга, или, по-здешнему, «пурга». Мужики стали просить подождать до луны, иначе темно ехать, говорили они: трудно, много мелей. Мы согласились, но пошли спать в лодку, чтоб тронуться тотчас же, лишь взойдет луна. Ночью во сне я почувствовал, что как будто еду опять верхом, скачу опять по рытвинам: это потащили нас по реке. Холод разбудил меня; мы на мели. Якуты, стоя по колени в реке, сталкивали лодку с мели, но их усилия натолкнули лодку еще больше на мель, и вскоре мы увидели, что стоим основательно, без надежды сдвинуться нашими силами. Наши люди вооружились: кто шестом, кто веслом и стали толкаться: все напрасно.

«Никак нельзя!» — в один голос сказали все.

До станции было еще семь верст. Мы послали одного из русских проводников туда, привести лодку почтовую, а сами велели Тимофею готовить обед: щи, вчерашнюю утку. На носу была набросана земля и постоянно горел огонь. Скоро задымилась кастрюля, и через час мы обедали, знаете, как обедают на станциях, в роще, на пикнике и т. п. Кто ел из кружки, кто из чашки, на сундуке, на подставке. Когда нужно стол, обыкновенно говорили Ивану Григорьеву: «Чтоб был стол».— «Слушаю»,— отвечал Иван и отправлялся в лес: через четверть часа перед нами стоял стол. В одной юрте не было ни окон, ни двери. Сказано Ивану Григорьеву, чтоб была дверь и окно. «Слушаю»,— сказал он и окна заткнул потниками от лошадей, а дверь так приладил, что наутро отворить было нельзя, а надобно было выколотить.

Наконец уже в четыре часа явились люди со станции снимать нас с мели, а между прочим, мы, в ожидании их, снялись сами. Отчего же просидели часа четыре на одном месте — осталось неизвестно. Мы живо приехали на станцию. Там встретили нас бабы с ягодами (брусникой), с капустой и с жалобами на горемычное житье-бытье: обыкновенный припев!

Станция называется *Маймакан.* От нее двадцать две версты до станции *Иктенда.* Сейчас едем. На горах не оттаял вчерашний снег; ветер дует осенний; небо скучное, мрачное; речка потеряла веселый вид и опечалилась, как печалится вдруг резвое и милое дитя. Пошли опять то горы, то просеки, острова и долины. До *Иктенды* проехали в темноте, лежа в каюте, со свечкой, и ничего не видали. От холода коченели ноги.

От Иктенды двадцать восемь верст до *Терпильской* и столько же до *Цепандинской* станции, куда мы и прибыли часу в осьмом утра, проехав эти 56 верст в совершенной темноте и во сне. Погода все одна и та же, холодная, мрачная. *Цепандинская*

станция состоит из бедной юрты, без окон. Здесь, кажется, зимой не бывает станции, и оттого плоха и юрта, а может быть, живут тунгусы.

Тунгусы — охотники, оленные промышленники и ямщики. Они возят зимой на оленях, но, говорят, эта езда вовсе не так приятна, как на Неве, где какой-то выходец из Архангельска катал публику: издали все ведь кажется или хуже, или лучше, но во всяком случае иначе, нежели вблизи. А здесь езда на оленях даже опасна, потому что Мая становится неровно, с полыньями, да, кроме того, олени падают во множестве, не выдерживая гоньбы.

Печальный, пустынный и скудный край! Как ни пробуют хлеб, все плохо родится. Дальше, к Якутску, говорят, лучше: и население гуще и хлеб богаче, порядка и труда больше. Не знаю; посмотрим. А тут, как поглядишь, нет даже сенокосов; от болот топко; сена мало, и скот пропадает. Овощи родятся очень хорошо, и на всякой станции, начиная от Нелькана, можно найти капусту, морковь, картофель и проч.

Якуты, народ с широкими скулами, с маленькими глазами, таким же носом; бороду выщипывает; смуглый и с черными волосами. Они, должно быть, южного происхождения и родня каким-нибудь маньчжурам. Все они христиане, у всех медные кресты; все молятся; но говорят про них, что они не соблюдают постановлений церкви, то есть постов. Да и трудно соблюдать, когда нечего есть. Они едят что попало: белок, конину и всякую дрянь; выпрашивают также у русских хлеба. Русские все старообрядцы, все переселены из-за Байкала. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия и его предшественников.

Чабда, станция, 2 сентября.

Мы все еще плывем по Мае, но холодно; ветер из осеннего превратился в зимний; падает снег; руки коченеют, ноги тоже. Леса по берегам желтые; по реке несутся падшие листья; все печально. После завтрака посмотришь, посмотришь, да и ляжешь опять спать, а после обеда опять. Станции пошли русские. Якуты здесь только ямщики; они получают жалованье, а русские определены содержателями станций и получают все прогоны, да еще от казны дается им по два пуда в месяц хлеба на мужика и по одному на бабу. Они обязаны содержать в исправности данные им от казны почтовые лодки. Прогоны платят по $1^1/_2$ коп. сер. с человека. Всех станций по Мае двадцать одна, по тридцати, тридцати пяти и сорока верст каждая. У русских можно найти хлеб; родятся овощи, капуста, морковь, картофель, брюква, кое-где есть коровы; можно иметь и молоко, сливки, также рыбу, похожую на сиги. На некоторых стан-

циях, например в Айме и вообще там, где есть конторы американской компании, можно доставать говядину.

Река, чем ниже, тем глубже, однако мы садились раза два на мель: ночью я слышал смутно шум, возню; якуты бросаются в воду и тащат лодку. Вчера один из гребцов кричит к нам в дверь каюты: «Ваше высокоблагородие! а ваше высокоблагородие!» — «Ну?» — сказал я. Товарищи мои спали. «Можно реветь?» — «Если это тебе нравится, пожалуй, только ты перебудишь всех. Зачем?» — «Станок (станция) близко: не видно, где пристать; там услышат, огонь зажгут».— «Ну, реви!» По реке понеслись фальцетто, медвежьи басы — ужас! И это повторяется каждую ночь, когда подъезжаем к станции.

Да, это путешествие не похоже уже на роскошное плавание на фрегате: спишь одетый, на чемоданах; ремни врезались в бока, кутаешься в пальто: стенки нашей каюты выстроены, как балаган; щели в палец; ветер сквозит и свищит — все à jour[1], а славу богу, ничего: могло бы быть и хуже.

Сегодня Иван Григорьев просунул к нам голову: «Не прикажете ли бросить этот камень?» Он держал какой-то красивый, пестрый камень в руке. «Как можно! это надо показать в Петербурге: это замечательный камень, из Бразилии...»— «Белья некуда девать,— говорит Иван Григорьев,— много места занимает. И что за камень? хоть бы для точила годился!»

От Чабдинской станции тянется сплошной, каменный высокий берег, версты на три, представляющий природную, как будто нарочно отделанную набережную. Река здесь широка, будет с нашу Оку; по берегам всюду мелкий лес. Мужики — все переселенцы из-за Байкала. Хлеб здесь принимается порядочно, но мужики жалуются на прожорливость бурундучков, тех маленьких лесных зверков, вроде мышей, которыми мы любовались в лесах. Русские не хвалят якутов, говорят, что они плохие работники. «Дай хоть целковый в день, ни за что пахать не станет». Между тем они на гребле работают без устали, тридцать и сорок верст, и чуть станем на мель, сейчас бросаются с голыми ногами в воду тащить лодку, несмотря на резкий холод. Переселенцев живет по одной, по две и по три семьи. Женщины красивы, высоки ростом, стройны и с приятными чертами лица. Все из-за Байкала, отчасти и с Лены.

Усть-Маи, Алданская слобода, 3 сентября.

Мы пока кончили водяное странствие. Сегодня сделали последнюю станцию. Я опять целый день любовался на трех станциях природной каменной набережной из плитняка. Ежели б такая была в Петербурге или в другой столице, искусству

---

[1] ажурное, прозрачное *(франц.)*.

нечего было бы прибавлять, разве чугунную решетку. Река, разливаясь, оставляет по себе след, кладя слоями легкие заметки. Особенно хороши эти заметки на глинистом берегу. Глина крепка, и слои — как ступени: издали весь берег похож на деревянную лестницу.

Летом плавание по Мае — чудесная прогулка: острова, мысы, березняк, тальник, ельник, все это со всех сторон замыкает ваш горизонт; все живописно, игриво, недостает только сел, городов, деревень; но они будут — нет сомнения. Чем ниже спускались мы по Мае, тем более переселенцы хвалили свое житье-бытье. Везде строят на станциях избы, везде огород первый бросается в глаза; снопы конопли стоят сжатые. Тунгусы начинают перенимать. Вчера уже на одной станции, *Урядской* или *Уряхской*, хозяин с большим семейством, женой, многими детьми, благословлял свою участь, хвалил, что хлеб родится, что надо только работать, что из конопли они делают себе одежду, что чего недостает, начальство снабжает всем: хлебом, скотом; что он всем доволен, только недостает одного... «Чего же?» — спросили мы. «Кошки,— сказал он,— последнее отдал бы за кошку: так мышь одолевает, что ничего нельзя положить, рыбу ли, дичь ли, ушкана ли (зайца) — все жрет».

Мы везде, где нам предложат капусты, моркови, молока, все берем с величайшим удовольствием и щедро платим за все, лишь бы поддерживалась охота в переселенцах жить в этих новых местах, лишь бы не оставляла их надежда на сбыт своих произведений. Желательно, чтоб все проезжие по мере сил поддерживали эту надежду. Сегодня мы с князем Оболенским пошли из слободы пройтись, зашли в лес и встретили двух якутов с корзинкой. В корзинке была дичь: два тетерева, утка и прекрасная большая рыба. «Куда вы идете?» — спросили мы. «Не толкуй»,— сказали они, то есть не знаем по-русски. «А это кому?» — спросили мы, показывая на дичь и рыбу. «Торгуй», то есть покупай,— отвечали они. Я их послал на нашу квартиру, где у них все купили и заплатили, что они хотели, за что я и был бранен распорядителем наших расходов, П. А. Тихменевым.

По случаю этих покупок наша лодка походила немного на китайскую джонку. Вверху лежала дичь и овощи (на крышке беседки), на носу говядина, там же тлел огонь и дымилась кастрюля. Эту фламандскую картину дополняла собака, которая виляла хвостом, норовя стащить плохо положенный кусок. В одной юрте она и так отличилась: якуты не имеют ни полок, ни поставцов, как русские, и ставят свои чашки и блюда под лавкой. Они поспешили встретить нас и спрятали туда остатки своего ужина. Пока мы усаживались, собака очистила все их чашки. «И дельно: не ставь снедь под лавку!» — заметил Иван Григорьев.

Одно неудобно: у нас много людей. У троих четверо слуг.

Довольно было бы и одного, а то они мешают друг другу и ленятся. «У них уж завелась лакейская,— говорит справедливо князь Оболенский,— а это хуже всего. Их не добудишься, не дозовешься, ленятся, спят, надеясь один на другого; курят наши сигары».

Сегодня, возвращаясь с прогулки, мы встретили молодую крестьянскую девушку, очень недурную собой, но с болезненной бледностью на лице. Она шла в пустую, вновь строящуюся избу. «Здравствуй! ты нездорова?» — спросили мы. «Была нездорова: голова с месяц болела, теперь здорова»,— бойко отвечала она. «Какая же ты красавица!» — сказал кто-то из нас. «Ишь что выдумали! — отвечала она,— вот войдите-ка лучше посмотреть, хорошо ли мы строим новую избу?»

Мы вошли: печь не была еще готова; она клалась из необожженных кирпичей. Потолок очень высок; три большие окна по фасаду и два на двор, словом большая и светлая комната. «Начальство велит делать высокие избы и большие окна»,— сказала она. «Кто ж у вас делает кирпичи?»— «Кто? я делаю, еще отец».— «А ты умеешь делать мужские работы?» — «Как же, и бревна рублю и пашу».— «Ты хвастаешься!» Мы спросили брата ее, правда ли? «Правда»,— сказал он. «А мне не поверили, думаете, что вру: врать не хорошо! — заметила она.— Я шью и себе и семье платье и даже обутки (обувь) делаю».— «Неправда. Покажи башмак». Она показала препорядочно сделанный башмак. «Здесь места привольные,— сказала она,— только работай, не ленись; рожь славная родится, особенно озимая, конопля; и скотине хорошо — все. Вина нет, мужик не пьет; мы славно здесь поправились, а пришли без гроша. Теперь у нас корова с теленком, лошадь; понемногу заводимся. Вот новую-то избу хотим под станок (станцию) отдать».

Вина в самом деле пока в этой стороне нет — непьющие этому рады: все, поневоле, ведут себя хорошо, не разоряются. И мы рады, что наше вино вышло (разбилось на горе, говорят люди), только Петр Александрович жалобно по вечерам просит рюмку вина, жалуясь, что зябнет. Но без вина решительно лучше, нежели с ним: и люди наши трезвы, пьют себе чай, и, славу богу, никто не болен, даже чуть ли не здоровее.

Мы здесь нашли исправника. Он послал за лошадьми и вперед дал знать, чтоб была подстава. Опять верхом, опять болота и топи! Утешают, что тут дорога лучше — дай бог! Можно, говорят, ехать верхом только верст восемьдесят, а дальше на колесах. Но лучше ли трястись на телегах, нежели верхом — не знаю. А других экипажей здесь нет. Мы сделали восемьсот верст: двести верхом да шестьсот по Мае: остается до Якутска четыреста верст. А там Леной три тысячи верст да от Иркутска шесть тысяч — страшные цифры! Надо спешить из Якутска сесть в лодку на Лене никак не позже десятого сентября, иначе не доберешься до Иркутска до закрытия реки.

Мочи нет, опять болота одолели! Лошади уходят по брюхо. Якут говорит: «Всяко бывает, и падают; лучше пешком или *пешкьюем*», как он пренежно произносит. «Весной здесь все вода, все вода,— далее говорит он,— почтальон ехал, нельзя ехать, слез, *пешкьюем* шел по грудь, холодно, озяб, очень *сердился*».

Мы вторую станцию едем от Устьмая, или Алданского селения. Вчера сделали тридцать одну версту, тоже по болотам, но те болота ничто в сравнении с нынешними. Станция положена, по их милости, всего семнадцать верст. Мы встали со светом, поехали еще по утреннему морозу; лошади скользят на каждом шагу; они не подкованы. Князь Оболенский говорит, что они тверже копытами, оттого будто, что овса не едят.

Товарищи мои и вьюки все уехали вперед; я оставил только своего человека, и где чуть сносно — еду, где худо — иду. Большая дорога — корыто грязи. Проводник, со всею якутскою учтивостью, отламывает от дерева сук, отрубает ножом ветви и подает мне посох. Сегодня мы ночевали в юрте. Что это за наказание! Дрянные бревна едва сколочены, щели заклеены бумагой, лавки покрыты сеном, да камин, от огня которого некуда деваться. Зато мы вчера пили чай с дамами, с якутками. Мы их позвали сесть с собой за стол, а мужчин оставили, где они были, в углу. Якутки были в высоких остроконечных шапках из оленьей шкуры, в белом балахоне и в знаменитых *сарах*. По этой причине мы все пятились от них. Две из них — молодые. Им налили чаю; они сняли шапки, поправили волосы и перекрестились, взяв стаканы. Одна принесла нам молока. Здесь есть уже коровы. Но до свидания: пора, пора, опять по кочкам!

Пока я писал в лесу и осторожно обходил болота, товарищи мои, подождав меня на станке, уехали вперед, оставив мне чаю, сахару, даже мяса, и увезли с тюками мою постель, белье и деньги. Через полчаса после моего приезда воротился князь Оболенский, встретивший на дороге исправника. Последний (г. Атласов, потомок Атласова, одного из самых отважных покорителей Камчатки) был так добр, что нарочно ездил вперед заготовить нам лошадей. С следующей станции можно, хотя с нуждою, ехать в телеге. Есть всего одна телега: ее оставляют мне, а прочие едут верхом.

Вот я один, с человеком, в самобеднейшей юрте, со множеством щелей, между якутами, в их семействе. Я принят очень хорошо. В камин подложили дров, уступили мне передний угол, принесли молока. Не разговорчивы только: что ни спросишь, только и отвечают «не толкуй», то есть не знаю. Дико, бедно и... неопрятно, хотел было сказать, но оглядываюсь: ни одного таракана и ничего другого... Правда сказать, как

и ужиться насекомому там, где стенки состоят из одиноких бревен без конопатки, едва кое-где замазанные глиной? Камин горит постоянно, покуда потушат; в юрте все равно что на дворе. Ах, скорее бы выбраться из этих нежилых, безмолвных мест! Тоска: на расстоянии тридцати верст ни живой души, ни встречи с человеком, ни жилища на дороге, ни даже самой дороги! Лес и болото. Дорога отсюда, говорят, идет хуже: ужели хуже этой, что была на сегодняшних семнадцати верстах? До Якутска еще около трехсот пятидесяти верст. Нет, видно, не попасть мне на Лену до льда; придется ждать зимнего пути в Якутске.

Нет сомнения, что по этому тракту была бы уже давно колесная дорога, если б... были проезжие: но их так мало, и то случайно, что издержки и труды по устройству дороги не вознаградятся ничем.

Здесь, на станции, уже заметно обилие. У хозяина есть четыре или пять коров, и стол покрыт красной тряпкой.

6-го сентября. Сегодня проехали тридцать одну версту, и всё почти на рысях. Мне дали необыкновенно покойную, неспотыкливую лошадь. Хотя дорога несравненно лучше вчерашних семнадцати верст, но местами было так худо, что из рук вон! Едете по прекрасной тропинке, вдруг сажен на сто болото. Когда я вышел сегодня из юрты садиться на лошадь, все было покрыто выпавшим ночью снегом. Я недоумевал, как же нам ехать? Все рытвины, ямы и кочки прикрыты снегом — коварно прикрытый обман! А вышло лучше: не видишь, так и не думаешь. Сомнения и ожидания дурного тревожат более, нежели самое дурное: я думаю, это все испытывают на каждом шагу.

В лесу, на семнадцатой версте, лошадь ямщика захотела отдохнуть, а я позавтракать. Вся трава была мокрая от снега, и лечь на нее было нельзя. Я нашел в лесу оставленную кем-то нару (сани) и лег на нее, как на диван; кругом пустыня. Впрочем, что такое пустыня: сосновый да еловый лес да по временам горы и болота! Отъезжайте верст за тридцать от Петербурга или от Москвы куда-нибудь в лес — и вы будете точно в такой же пустыне; вообразите только, что кругом никого нет верст на тысячу, как я воображаю, что здесь поблизости живут.

Сегодня, задолго до захождения солнца, при разгулявшейся погоде, приехали мы на станцию, не знаю какую — названия чудовищные. Кругом коровы, лошади и, между прочим, — телега; у главной юрты есть службы, хозяйственный вид порядка и довольства. Телега приготовлена для меня. Товарищи мои уехали сегодня утром вперед. Здесь видны уже признаки колес. Юрта здесь получше, только везде щелей много, да сверху из-под крыши все что-то сыплется на голову, должно быть мыши возятся. Две якутки хлопочут около какой-то каст-

рюли. По платью их не отличишь от мужчин, только и можно узнать по серьгам. Ямщики ужинают. Огонь трещит, искры летят во все стороны, так что страшно заснуть.

7-го сентября. Кажется, я раскланялся с верховой ездой. Вот уж другую станцию еду в телеге, или *скате*, как ее называют здесь и русские и якуты, не знаю только на каком языке. Телега как телега, только гораздо больше, длиннее и глубже обыкновенной. Когда я сел сегодня в нее, каким диваном показалась она мне после верховой езды! Вы думаете, если в телеге, так уж мы ехали по дороге, по колеям: отнюдь нет; просто по тропинкам да по мерзлым кочкам или целиком по траве. Взглянув на такую дорогу, непременно скажешь, что по ней ни пройти, ни проехать нельзя, но проскакать можно; и якут скакал во всю прыть, так что дух замирает. Мне сделали из ремней так называемый *плёт*: едешь точно в дормезе, не тряхнет!

Другую станцию, *Ичугей-Муранскую*, вез меня Егор Петрович Бушков, мещанин, имеющий четыре лошади и нанимающийся ямщиком у подрядчика, якута. Он и живет с последним в одной юрте; тут и жена его и дети. Из дверей выглянула его дочь, лет одиннадцати, хорошенькая девочка, совершенно русская. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Матреной,— сказал отец.— Она не говорит по-русски»,— прибавил он. «Мать у нее якутка? Не эта ли?» — спросил я, указывая на какое-то существо, всего меньше похожее на женщину. «Нет, русская; а мы жили всё с якутами, так вот дети по-русски и не говорят». Ох, еще сильна у нас страсть к иностранному: не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть дети говорят! Отчего Егор Петрович Бушков живет на Ичугей-Муранской станции, отчего нанимается у якута и живет с ним в юрте — это его тайны, к которым я ключа не нашел.

Я только было похвалил юрты за отсутствие насекомых, как на прошлой же станции столько увидел тараканов, сколько никогда не видал ни в какой русской избе. Я не решился войти. Здесь то же самое, а я ночую! Но, кажется, тут не одни тараканы: ужели это от них я ворочаюсь с боку на бок?

Итак, сегодня я сделал пятьдесят четыре версты. Лошадей нет: всех забрали товарищи. Они, как я узнал от ямщиков, сделали одну станцию в телегах, а дальше поехали верхом. Здесь предпочитают ехать верхом все сто восемьдесят верст до *Амгинской* слободы, заселенной русскими; хотя можно ехать только семьдесят семь верст, а дальше на телеге, как я и сделал. Только не требуйте колеи, а поезжайте большею частью по тропинке или целиком по болоту, которое усеяно поросшими травой кочками, очень похожими на сжатые и связанные снопы ржи. Оно довольно красиво: телега подпрыгивает, якут едет рысью там, где наш ямщик задумался бы проехать шагом.

Дорога идет все оживленнее. Кое-где есть юрты уже не из

одних бревен, а обмазанные глиной. Видны стога сена, около пасутся коровы. У Егора Петровича их десять.

Лес идет разнообразнее и крупнее. Огромные сосны и ели, часто надломившись живописно, падают на соседние деревья. Травы обильны. «Сена-то, сена-то! никто не косит!» — беспрестанно восклицает с соболезнованием Тимофей, хотя ему десять раз сказано, что тут некому косить. «Даром пропадает!» — со вздохом говорит он.

Больших гор нет, но мы едем всё у подножия холмов, усеянных крупным лесом. Беспрестанно встречаются якуты; они тихий и вежливый народ: съезжают с холмов, с дороги, чтоб только раскланяться с проезжим. От Амги шесть станций до Якутска, но там уже колесная езда, даже есть на станциях тарантасы. Нет сомнения, что будет езда и дальше по аянскому тракту. Все год от году улучшается; расставлены версты; назначено строить станционные домы. И теперь, посмотрите, какие горы срыты, какие непроходимые болота сделаны проходимыми! Сколько трудов, терпения, внимания — на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где никто почти не живет! Если б видели наши столичные чиновные львы, как здешние служащие (и сам генерал-губернатор) скачут по этим пространствам, они бы покраснели за свои так называемые *неусыпные* труды... А может быть, и не покраснели бы!

Амгинская станция, 8 сентября.

Не веришь, что едешь по Якутской области, куда, бывало, ворон костей не занашивал,— так оживлены поля хлебами, ячменем, и даже мы видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб уже в снопах, сено в стогах. День великолепный. Заслышав наш колокольчик у речки, вдруг впеpед от нас бросилось в испуге еще непривычное здесь к этим звукам стадо лошадей; только очутившаяся между ними корова с удивлением, казалось, глядела, чего это они так испугались. Вол, с продетым кольцом в носу, везший якутку, вдруг уперся и поворотил морду в сторону, косясь на наш поезд.

В девяти верстах от *Натарской* станции мы переправились через речку *Амгу*, впадающую в Маю, на пароме первобытной постройки, то есть на десятке связанных лыками бревен и больше ничего, а между тем на нем стояла телега и тройка лошадей.

На другой стороне я нашел свежих лошадей и быстро помчался по отличной дороге, то есть гладкой луговине, но без колей: это еще была последняя верховая станция. Далее поля всё шли лучше и богаче. По сторонам видны были юрты; на полях свозили ячмень в снопы и сено на волах, запряженных в длинные сани — да, сани, нужды нет что без снегу.

Искусство делать колеса, видно, еще не распространилось здесь повсюду, или для кочек и болот сани оказываются лучше — не знаю: Егор Петрович не мог сказать мне этого. «Исправные (богатые) якуты живут здесь»,— сказал он только в ответ на замечание мое о богатстве стороны. «А ржи не сеют?» — спросил я. «Нет-с».— «Что ж они едят?» — «А ячменную муку: пекут из нее лепешки с маслом и водой, варят эту муку».—«А за Амгинской слободой тоже сеют?» — «Нет, там не сеют: зябнет очень хлеб, там холодно».— «Да ведь всего разницы верст тридцать или сорок будет».— «Точно-с, и сами не надивимся этому».— «Ловится ли рыба в речке Амге?» — «Как же-с, разная, только мелкая».

О дичи я не спрашивал, водится ли она, потому что не проходило ста шагов, чтоб из-под ног лошадей не выскочил то глухарь, то рябчик. Последние летали стаями по деревьям. На озерах, в двадцати саженях, плескались утки. «А есть звери здесь?» — спросил я. «Никак нет-с, не слыхать: ушканов только много, да вот бурундучки еще».— «А медведи, волки?..»— «И не видать совсем».

Вот поди же ты, а Петр Маньков на Мае сказывал, что их много, что вот, славу богу, красный зверь уляжется скоро и не страшно будет жить в лесу. «А что тебе красный зверь сделает?» — спросил я. «Как что? по бревнышку всю юрту разнесет».— «А разве разносил у кого-нибудь?» — «Никак нет, не слыхать».— «Да ты видывал красного зверя тут близко?»— «Никак нет. Бог миловал».

Мы быстро доехали до Амгинской слободы. Она разбросана на двух-трех верстах; живут все якуты, большею частью в избах, не совсем русской, но и не совсем якутской постройки. Красная тряпка на столе под образами решительно начинает преобладать и намекает на Европу и цивилизацию. В Амге она уже не тряпка, а кусок красного сукна. Содержатель станции, из казаков, очень холодно объявил мне, что лошадей нет: товарищи мои всех забрали. «А лошадей-то надо»,— сказал я. «Нет»,— холодно повторил он. «А если я опоздаю в город,— еще холоднее сказал я,— да меня спросят, отчего я опоздал, а я скажу, оттого, мол, что у тебя лошадей не было...» Хотя казак не знал, кто меня спросит в городе и зачем, я сам тоже не знал, но, однако ж, это подействовало. «Вы не накушаетесь ли чаю здесь?» — «Может быть, а что?» — «Так я коней-то излажу». Я согласился и пошел к священнику. В слободе есть деревянная церковь во имя Спаса Преображения. Священников трое; они объезжают огромные пространства с требами. В самой слободе всего около шестисот душ.

Все сделалось, как сказал казак: через час я мчался так, что дух захватывало. На одной тройке, в «скате», я, на другой мои вьюки. Часа через полтора мы примчались на *Крестовскую* станцию. «*Однако* лошадей нет»,— сказал мне русский

якут. Надо знать, что здесь делают большое употребление или, вернее, злоупотребление из *однако*, как я заметил. «*Однако* подои корову»,— вдруг, ни с того ни с сего, говорит один другому русский якут: он русский родом, а по языку якут. Да Егор Петрович сам, встретив в слободе какого-то человека, вдруг заговорил с ним по-якутски. «Это якут?» — спросил я. «Нет, русский, родной мой брат».— «Он знает по-русски?» — «Как же, знает».— «Так что ж вы не по-русски говорите?» — «Обычай такой...»

Крестовская станция похожа больше на ферму, а вся эта Амгинская слобода, с окрестностью, на какую-то немецкую колонию. Славный скот, женщины ездят на быках; юрты чистенькие (если не упоминать о блохах).

«*Однако* лошадей надо»,— сказал я. «Нету»,— отвечал русский якут. «А если я опоздаю приехать в город,— начал я,— да меня спросят, отчего...»— и я повторил остальное. Опять подействовало. Явились четверо якутов, настоящих якутских якутов, и живо запрягли. Под вьюки заложили три лошади и четвертую привязали сзади, а мне только пару. «Отчего это?» — спросил я. «Ту на дороге припряжем»,— сказали они. «Ну, я пойду немного пешком»,— сказал я и пошел по прекрасному лугу, мимо огромных сосен. «Нельзя, барин: лошадь-то коренная у нас с места прыгает козлом, на дороге не остановишь».— «Пустое, остановишь!» — сказал я и пошел. Долго еще слышал я, что *Затей* (как называл себя и другие называли его), тоже русский якут, упрашивал меня сесть. Я прошел с версту и вдруг слышу, за мной мчится бешеная пара; я раскаялся, что не сел; остановить было нельзя. *Затей* (вероятно, *Заккей*) направил их на луг и на дерево, они стали. Я сел; лошади вдруг стали ворочать назад; телега затрещала, *Затей* терялся; прибежали якуты; лошади начали бить; наконец их распрягли и привязали одну к загородке, ограждающей болото; она рванулась; гнилая загородка не выдержала, и лошадь помчалась в лес, унося с собой на веревке почти целое бревно от забора.

«Теперь не поймаешь ее до утра, а лошадей нет!» — с отчаянием сказал *Затей*. Мне стало жаль его; виноват был один я. «Ну, нечего делать, я останусь здесь до рассвета, лошади отдохнут, и мы поедем»,— сказал я.

Он просиял радостью, а я огорчился тем, что надо сидеть и терять время. «Нечего делать, готовь бифштекс, ставь самовар»,— сказал я Тимофею. «А из чего? — мрачно отвечал он,— провизия с вьюками ушла вперед». Я еще больше опечалился и продолжал сидеть в отпряженной телеге с поникшей головой. «Чай готовить?»— спросил меня Тимофей. «Нет»,— мрачно отвечал я. Якуты с любопытством посматривали на меня. Вдруг ко мне подходит хозяйский сын, мальчик лет пятнадцати, говорящий по-русски. «Барин»,— сказал он робко. «Ну!» — угрюмо

отозвался я. «У нас есть утка, сегодня застрелена, не будешь ли ужинать?» — «Утка?» — «Да, и рябчик есть». Мне не верилось. «Где? покажи». Он побежал в юрту и принес и рябчика и утку. «Еще сегодня они оба в лесу гуляли».—«Рябчик и утка, и ты молчал! Тимофей! смотри: рябчик и утка...»— «Знаю, знаю,— говорил Тимофей,— я уж и сковороду чищу». Через час я ужинал отлично. Якут принес мне еще две пары рябчиков и тетерева на завтра.

9 сентября. «Однако есть лошади?» — спросил я на *Ыргалахской* станции... «Коней нету»,— был ответ. «А если я опоздаю, да в городе спросят» и т. д. «Коней нет»,— повторил русский якут.

Дорога была прекрасная, то есть грязная, следовательно для лошадей очень нехорошая, но седоку мягко. Везде луга и сено, а хлеба нет; из города привозят. Видел якутку, одну, наконец, хорошенькую, и, конечно, кокетку.

Заметив, что на нее смотрят, она то спрячется за копну сена, которое собирала, то за морду вола, и так лукаво выглядывает из-за рогов...

Сосны великолепные, по ним и около их по земле стелется мох, который едят олени и курят якуты, в прибавок к махорке. «Хорошо, славно! — сказал мне один якут, подавая свою трубку,— покури». Я бы охотно уклонился от этой любезности, но неучтиво. Я покурил: странный, но не неприятный вкус, наркотического ничего нет.

Еще я попробовал вчера где-то кирпичного чаю: тоже наркотического мало; похоже на какую-то лекарственную траву. Когда я подскакал на двух тройках к *Ыргалахской* станции, с противоположной стороны подскакала другая тройка; я еще издали видел, как она неслась. Коренная мчалась нахально, подымая шею, пристяжные мотали головами, то опуская их к земле, то поднимая, как какие-нибудь отчаянные кутилы. Они сошлись с моими лошадьми и дружески обнюхались, а мы, то есть седоки, обменялись взглядами, потом поклонами. Это был заседатель. «Лошадей вот нет»,— сейчас же пожаловался я. Он оборотился к старосте и сказал ему что-то по-якутски. Я так и ждал, что меня оба они спросят: «Parles vous jacouth» [1] и, кажется, покраснел бы, отвечая: «Non, messieurs» [2].

Потом заседатель сказал, что лошади только что приехали и действительно измучены, что «лучше вам подождать до света, а то ночью тут гористо» и т. п.

Нечего делать: заседатель — авторитет в подобных случаях, и я покорился его решению. Мы принялись за чай. «У меня есть рябчики, и свежие»,— сказал я. «А! — значительно сделал заседатель,— а у меня огурцы»,— прибавил он,

---

[1] Вы говорите по-якутски? *(франц.)*
[2] Нет, господа *(франц.)*.

«А! — еще значительнее сделал я.— У меня есть говядина»,— сказал я, больше затем, чтоб узнать, что есть еще у него. «У меня — белый хлеб».— «Это очень хорошо; у меня есть черный...»— «Прекрасно!» — заметил собеседник. «Да человек вчера просыпал в него лимонную кислоту: есть нельзя. Но зато у меня есть английские супы, в презервах»,— добавил я. «Очень хорошо,— сказал он,— а у меня вино...»— «Вино!» Тут я должен был сознаться, что против него я — пас.

Он ехал целым домиком и начал вынимать из так называемого и всем вам известного «погребца» чашку за чашкой, блюдечки, ножи, вилки, соль, маленькие хлебцы, огурцы, наконец покинувший нас друг — вино. «А у меня есть,— окончательно прибавил я,— повар».

VIII

ИЗ ЯКУТСКА

Ураса. — Станционный смотритель. — Ночлег на берегу Лены. — Перевоз. — Якутск. — Сбор в дорогу. — Меховое платье. — Русские миссионеры. — Перевод св. писания на якутский язык. — Якуты, тунгусы, карагаули, чукчи. — Чиновники, купцы. — Проводы.

Было близко сумерек, когда я, с человеком и со всем багажом, по песку, между кустов тальника, подъехал на двух тройках, в телегах, к берестяной юрте, одиноко стоящей на правом берегу Лены.

У юрты встретил меня старик лет шестидесяти пяти, в мундире станционного смотрителя, со шпагой. Я думал, что он тут живет, но не понимал, отчего он встречает меня так торжественно, в шпаге, руку под козырек, и глаз с меня не сводит. «Вы смотритель?» — кланяясь, спросил я его. «Точно так, из дворян»,— отвечал он. Я еще поклонился. Так вот отчего он при шпаге! Оставалось узнать, зачем он встречает меня с таким почетом: не принимает ли за кого-нибудь из своих начальников?

Это обстоятельство осталось, однако ж, без объяснения: может быть, он сделал это по привычке встречать проезжих, а может быть, и с целью щегольнуть дворянством и шпагой. Я узнал только, что он тут не живет, а остановился на ночлег и завтра едет дальше, к своей должности, на какую-то станцию.

«А вы куда изволите: *однако* в город?» — спросил он. «Да, в Якутск. Есть ли перевозчики и лодки?»

«Как не быть! *Куда девается*? Вот перевозчики!» — сказал он, указывая на толпу якутов, которые стояли поодаль.

«А лодки?» — спросил я, обращаясь к ним. «Якуты *не слышат* по-русски»,— перебил смотритель и спросил их по-якутски. Те зашевелились, некоторые пошли к берегу, и я за ними.

У пристани стояли четыре лодки. От юрты до Якутска считается девять верст: пять водой и четыре берегом.

«Мне надо засветло поспеть на ту сторону»,— сказал я.

«*Чего* не поспеть, поспеете!»— заметил смотритель и опять спросил перевозчиков по-якутски, во сколько времени они перевезут меня через реку. «Часа в три, говорят, перевезут».

«Что вы: да ведь через три часа ночь будет!» — возразил я.

«Извольте видеть, доложу вам,— начал он,— сей год вода-то очень низка: оттого много островов и мелей; где прежде прямиком ехали, тут едут между островами».

«Где же река?» — спросил я, глядя на бесконечное, расстилавшееся перед глазами пространство песков, лугов и кустов.

«А вот она и есть,— сказал смотритель, указывая на луга, пески и на проток, сажен в пять шириной, на котором стояли лодки.— Это-то все острова»,— прибавил он.

«Лена, значит, шире к той стороне, к нагорной, как Волга»,— заключил я про себя.

Смотритель опять стал разговаривать с якутами и успокоил меня, сказав, что они перевезут меньше, нежели в два часа, но что там берегом четыре версты ехать мне будет не на чем, надо посылать за лошадьми в город.

«А там есть какая-нибудь юрта, на том берегу, чтоб можно было переждать?» — спросил я.

«*Однако* нет,— сказал он,— кусты есть... Да почто вам юрта?» — «Куда же чемоданы сложить, пока лошадей приведут?»— «А на берегу: что им *доспеется*? А не то, так в лодке останутся: не *азойно* будет» (то есть не тяжело).

Я задумался: провести ночь на пустом берегу вовсе не занимательно; посылать ночью в город за лошадьми взад и вперед восемь верст — когда будешь под кровлей? Я поверил свои сомнения старику.

«Там берегом дорога хорошая, ни грязи, ни ям нет,— сказал он,— славно пешком идти».

«Человек мой города не знает: он не найдет ни лошадей, ни гостиницы»,— возразил я.

«*Однако* гостиницы нет в Якутске»,— перебил смотритель.

«Как нет: где же я остановлюсь?»— спросил я, испуганный новым, неожиданным обстоятельством.

«Извольте послать вашу подорожную в управу: сейчас квартиру отведут; обязаны».

«*A tout malheur remède*» [1],— заметил я почти про себя.

«Чего изволите?»

«Нет, это я так, по-якутски обмолвился. Вот что, господин смотритель: я рассудил, что, если я теперь поеду на ту сторону, мне все-таки раньше полночи в город не попасть. Надо

[1] От всех бед есть лекарство *(франц.)*.

будить всех. Не лучше ли мне ночевать здесь, в юрте?..» — «Оно, конечно, лучше,— отвечал он.—Юрта хорошая, теплая; тут ничего не воруют; только блох *дивно*».

Мне наскучил якутский язык, я обрадовался русскому, даже и этому, хотя не все и по-русски понимал. Решено: я остался. Мы вошли в юрту или, правильнее, *урасу*. Это просто большой шалаш, конической формы, из березовой коры, сшитый довольно плотно, так что ветер мало проходил насквозь. Кругом лавки, покрытые сеном, так же как и пол. Посредине открытый очаг, вверху отверстие для дыма. Кроме того, там были два столика, крытые красным сукном; на одном лежала таблица, с показанием станций и числа верст, и стояла чернильница с пером. Юрта походила на военную ставку, особенно когда смотритель повесил свою шпагу на гвоздь.

Я пригласил его пить чай. «У нас чаю и сахару нет,— вполголоса сказал мне мой человек,— все вышло».— «Как, совсем нет?» — «Всего раза на два».— «Так и довольно,— сказал я,— нас двое».—«А завтра утром что станете кушать?» Но я знал, что он любил всюду находить препятствия. «Давно ли я видел у тебя много сахару и чаю?» — заметил я. «Кабы вы одни кушали, а то по станциям и якуты и якутки, чтоб им...»— «Без комплиментов! давай что есть!»

«Скажите, пожалуйста, каков город Якутск?» — стал я спрашивать смотрителя.

О Якутске, собственно, я знал только, да и вы, вероятно, не больше знаете, что он главный город области этого имени, лежит под 62° с. широты, производит торг пушными товарами и что, как я узнал теперь, в нем нет... гостиницы. Я даже забыл, а может быть, и не знал никогда, что в нем всего две тысячи семьсот жителей.

Я узнал от смотрителя, однако ж, немного: он добавил, что там есть один каменный дом, а прочие деревянные; что есть продажа вина; что господа всё хорошие и купечество знатное; что зимой живут в городе, а летом на *заимках* (дачах), под камнем, «то есть камня никакого нет,— сказал он,— это только так называется», что проезжих бывает *мало-мало*; что если мне надо ехать дальше, то чтоб я спешил, а то по Лене осенью ехать нельзя, а берегом худо, и т. п.

Потом он поверил мне, что он, по распоряжению начальства, переведен на дальнюю станцию, вместо другого смотрителя, Татаринова, который поступил на его место; что это не согласно с его семейными обстоятельствами, и потому он просил убедительно Татаринова выйти в отставку, чтоб перепроситься на прежнюю станцию, но тот не согласился, и что, наконец, вот он просит меня ходатайствовать по этому делу у начальства.

Я все обещал ему. «Плотников — моя фамилия»,— добавил он. «Очень хорошо — Плотников»,— записал я в кни-

жечку, и мне живо представилась подобная же сцена из «Ревизора».

Потом смотритель рассказывал, что по дороге нигде нет ни волков, ни медведей, а есть только якуты; «еще *ушканов* (зайцев) дивно», да по Охотскому тракту у него живут, в своей собственной юрте, две больные, пожилые дочери, обе девушки, что «*однако*,— прибавил он,— на Крестовскую станцию заходят и медведи — и такое чудо,— говорил смотритель,— ходят вместе со скотом и не давят его, а едят рыбу, которую достают из *морды*...»— «Из морды?» — спросил я. «Да, что ставят на рыбу, по вашему мерёжи».

Смотритель говорил, не подозревая, что я предательски, тут же, при нем, записал его разговор.

Подали чай. Человек мой хитро сложил в пирамиду десятка полтора кусков сахару, чтоб не обнаружить нашей дорожной нищеты. Я придвинул сахар к смотрителю. Он взял самый маленький кусочек и на мое приглашение положить сахару в стакан отвечал, что никогда этого не делает— сюрприз для моего человека, и для меня также: у меня наутро оставался в запасе стакан чаю. Смотритель выпил три стакана и крошечный оставшийся у него кусочек сахару положил опять на блюдечко, что человеком моим было принято, как тонкий знак уменья жить.

Между тем наступила ночь. Я велел подать что-нибудь к ужину, к которому пригласил и смотрителя. «Всего один рябчик остался»,— сердито шепнул мне человек. «Где же прочие? — сказал я,— ведь у якута куплено их несколько пар».— «Вчера с проезжим скушали»,— еще сердитее отвечал он. «Ну, разогревай английский презервный суп»,— сказал я. «Вчера последний вышел»,— заметил он и поставил на очаг разогревать единственного рябчика.

Смотритель вынул из несессера и положил на стол прибор: тарелку, ножик, вилку и ложку. «Еще и ложку вынул!» — ворчал шепотом мой человек, поворачивая рябчика на сковородке с одной стороны на другую и следя с беспокойством за движениями смотрителя. Смотритель неподвижно сидел перед прибором, наблюдая за человеком и ожидая, конечно, обещанного ужина.

Я с удовольствием наблюдал за ними обоими, прячась в тени своего угла. Вдруг отворилась дверь и вошел якут с дымящеюся кастрюлей, которую поставил перед стариком. Оказалось, что смотритель ждал не нашего ужина. В то же мгновение Тимофей с торжественной радостью поставил передо мной рябчика. Об угощении и помину не было.

Как бы, кажется, около половины сентября лечь раздетому спать на дворе, без опасности простудиться насмерть? Ведь березовая кора не бог знает какие стены. В Петербурге сделаешь это и непременно простудишься, в Москве реже, а еще далее, и особенно в поле, в хижине, кажется, никогда. Мы легли. Че-

ловек сделал мне постель, буквально «сделал», потому что у меня ее не было: он положил на лавку побольше сена, потом непромокаемую шинель, в виде матраца, на это простыню, а вместо одеяла шинель на вате. В головах черкасское седло, которое было дано мне напрокат с тем, чтоб я его доставил в Якутск. Я быстро разделся и еще быстрее спрятался в постель.

Не то было с смотрителем: он методически начал разоблачаться, медленно снимая одну вещь за другою, с очков до сапог включительно. Потом принялся с тою же медленностью надевать ночной костюм: сначала уши заткнул ватой и подвязал платком, а другим платком завязал всю голову, затем надел на шею шарф. И так, раздеваясь и одеваясь, нечувствительно из старика превратился в старуху. Пламя камина освещало его изломанные черты, клочки седых волос, выглядывавших из-под платка, тусклый, апатический, устремленный на очаг взгляд и тихо шевелившиеся губы.

Я смотрел на него и на огонь: с одной стороны мне было очень тепло — от очага; спина же, обращенная к стене юрты, напротив, зябла. Долго сидел смотритель неподвижно; мне стало дрематься.

«Осмелюсь доложить,— вдруг заговорил он, привстав с постели, что делал всякий раз, как начинал разговор,— я боюсь пожара: здесь сена много, а огня тушить на очаге нельзя, ночью студено будет, так не угодно ли, я велю двух якутов поставить у камина смотреть за огнем!..»

«Как хотите,— сказал я,— зачем же двух?»

«Будут и друг за другом смотреть».

Пришли два якута и уселись у очага. Смотритель сидел еще минут пять, понюхал табаку, крякнул, потом стал молиться и, наконец, укладываться. Он со стонами, как на болезненный одр, ложился на постель. «Господи, прости мне грешному! — со вздохом возопил он, протягиваясь.— Ох, боже правый! Ой-о-ох! ай!» — прибавил потом, перевертываясь на другой бок и покрываясь одеялом. Долго еще слышались постепенно ослабевавшие вздохи и восклицания. Я поглядывал на него и, наконец, сам заснул.

Проснувшись ночью, я почувствовал, что у меня зябнет не одна спина, а весь я озяб, и было отчего: огонь на очаге погасал, изредка стреляя искрами то на лавку, то на тулуп смотрителя или на пол, в сено. Сверху свободно струился в юрту ночной воздух, да такой, бог с ним, свежий... Оба якута, положив головы на мой sac de voyage[1], носом к носу, спали мертвым сном. Смотритель спал болезненно: видно, что, по летам его, ему и спать уж было трудновато. Он храпел, издавая изредка легкое стенанье, потом почавкает губами, перестанет храпеть и начнет посвистывать носом.

---

[1] саквояж *(франц.)*.

Тут же я удостоверился, что в юрте в самом деле блох *дивно*.

На другой день, при ясной и теплой погоде, я с пятью якутами переправился через Лену, то есть через узенькие протоки, разделявшие бесчисленные острова. Когда якуты зашевелили веслами — точно обоз тронулся с места: раздался скрип, стук. После гребли наших матросов куда неискусны показались мне ленские гребцы! Один какой-то якут сидел тут праздно, между тем мальчишка лет пятнадцати работал изо всех сил; мне показалось это не совсем удобно для мальчишки, и я пригласил заняться греблей праздного якута. Он с величайшею готовностью спрятал трубку в сары и принялся за весло. «Кто это такой?» — спросил я. «Староста,— сказали мне,— с *наслега* едет в город». Я раскаялся, что заставил работать такого сановника, но уж было поздно: он так и выходил из лопаток, работая веслом. Мальчишка достал между тем из сапога грубый кусок дерева с отверстием (это трубка), положил туда щепоть зеленоватого листового табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и покрошил туда же; из кремня добыл огня, зажег клочок моха, вместо трута, и закурил все это вместе. «Зачем дерево кладешь в табак?» — спросил я. «Крепше!» — отвечал он.

Вдали сияли уже главы церквей в Якутске. «Скоро ли же будет Лена?» — спрашивал я, все ожидая, что река к нагорному берегу будет глубже, следовательно островов не имеет, и откроется во всей красе и величии. Один из якутов, претендующий на знание русского языка, старался мне что-то растолковать, но напрасно. У одного острова якуты вышли на берег и потянули лодку бечевою вверх. Дотянув до конца острова, они сели опять и переправились, уж не помню через который, узенький проток и пристали к берегу, прямо к деревянной лесенке.

«Тут!» — сказали они. «Что тут?» — «*Пешкьюем* надо».— «Где же Лена?» — спрашиваю я. Якуты, как и смотритель, указали назад, на пески и луга. Я посмотрел на берег: там ровно ничего. Кустов *дивно*, правда, между ними бродит стадо коров да два-три барана, которых я давно не видал. За Лену их недавно послано несколько для разведения между русскими поселенцами и якутами. Еще на берегу же стоял пастушеский шалаш из ветвей.

Один из якутов вызвался сходить в город за лошадьми. Я послал с ним человека, а сам уселся на берегу, на медвежьих шкурах. Нельзя сказать, чтоб было весело. Трудно выдумать печальнее местности. С одной стороны Лена — я уж сказал какая — пески, кусты и луга, с другой, к Якутску — луга, кусты и пески. Вдали, за всем этим, синеют горы, которые, кажется, и составляли некогда настоящий берег реки. Якутск построен на огромной отмели, что видно по пространным пескам, кустам

и озеркам. И теперь, во время разлива, Лена, говорят, доходит до города и заливает отчасти окрестные поля.

От нечего делать я развлекал себя мыслью, что увижу, наконец, после двухлетних странствий, первый русский, хотя и провинциальный город. Но и то не совсем русский, хотя в нем и русские храмы, русские домы, русские чиновники и купцы, но зато как голо все! Где это видано на Руси, чтоб не было ни одного садика и палисадника, чтоб зелень, если не яблонь и груш, так хоть берез и акаций, не осеняла домов и заборов? А этот узкоглазый плосконосый народ разве русский? Когда я ехал по дороге к городу, мне попадались навстречу якуты, якутки на волах, на лошадях, в телегах и верхом.

Городские якуты одеты понаряднее. У мужчин грубого сукна кафтан, у женщин тоже, но у последних полы и подол обшиты широкой красной тесьмой; на голове у тех и у других высокие меховые шапки, несмотря на прекрасную, даже жаркую погоду. Якуты стригутся, как мы, оставляя сзади за ушами две тонкие пряди длинных волос— вероятно, последний, отдаленный намек на свои родственные связи с той тесной толпой народа, которая из Средней Азии разбрелась до берегов восточного океана. Я в этих прядях видел сокращение китайской косы, которую китайцам навязали маньчжуры. А может быть, якуты отпускают сзади волосы подлиннее просто затем, чтоб защитить уши и затылок от жестокой зимней стужи.

Сколько я мог узнать, якутов, кажется, несправедливо считают кочующим народом. Другое дело тунгусы, чукчи и прочие племена здешнего края: те, переходя с одного места на другое, более удобное, почти никогда на прежнее не возвращаются. Якуты, напротив, если и откочевывают на время в другое от своей родной юрты место, где лучше корм для скота, то ненадолго, и после возвращаются домой. У них большей частью по две юрты: летняя и зимняя. Этак, пожалуй, и мы с вами кочующий народ, потому что летом перебираемся в Парголово, Царское село, Ораниенбаум.

Якутского племени, и вообще всех говорящих якутским языком, считается до двухсот тысяч обоего пола в области. Мужчин якутов сто пять тысяч. Область разделена на *округи*, округи на *улусы*, улусы на *наслеги*, или *нослеги*, или, наконец... не знаю как. Люди, не вникающие в филологические тонкости, попросту называют это здесь *ночлегами*.

В улусе живет до несколька сот, даже до тысячи и более человек. Селений и деревень нет: их заменяют эти «наслеги». Наслегом называется несколько разбросанных, в двадцати, или около того, верстах друг от друга, юрт, в которых живет по два и по три, происходящих от одного корня, поколения или *рода*. Улусом управляет выборный, утвержденный русским начальством *голова*, наслегом — *староста* и его помощники, *старшины*. Членов одного *рода* называют по-русски *родовичами*.

Они заботятся о взаимных нуждах, по крайней мере должны заботиться, и, кажется, отвечают за благочиние, порядок и исправный взнос повинностей.

Кстати, напомню вам, что Якутская область, с первого января 1852 года, возвышена в своем значении тем, что отделена от зависимости иркутского губернского начальства и управление ее вверено особому гражданскому губернатору. Впрочем, она, на положении других губерний, подчинена главному управлению генерал-губернатора Восточной Сибири.

Нужды нет, что якуты населяют город, а все же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени одноэтажных, деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь! У ней есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах, обычаях, отчасти, как вы видите, в языке, что и образует ей свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию.

Пока я ехал по городу, на меня из окон выглядывали ласковые лица, а из-под ворот сердитые собаки, которые в маленьких городах чересчур серьезно понимают свои обязанности. Весело было мне смотреть на проезжавшие по временам разнохарактерные дрожки, на кучеров в летних кафтанах и меховых шапках или, наоборот, в полушубках и летних картузах. Вот гостиный двор, довольно пространный, вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом.

В гостином дворе, который в самом деле есть двор, потому что большая часть лавок открывается внутрь, я видел много входящих и выходящих якутов: они, говорят, составляют большинство потребителей. Прочие горожане закупают все, что им нужно, раз в год на здешней ярмарке.

Я ехал мимо старинной, полуразрушенной стены и нескольких башен: это остатки крепости, уцелевшей от времен покорения области. Якутск основан пришедшими от Енисея казаками, лет за двести перед этим, в 1630 годах. Якуты пробовали нападать на крепость, но напрасно. Возникшие впоследствии между казаками раздоры заставили наше правительство взять этот край в свои руки, и скоро в Якутск прибыл воевода.

Еще я видел больницу, острог, казенные хлебные магазины; потом проехал мимо базара, с пестрой толпой якутов и якуток. Много и русского и нерусского, что со временем будет тоже русское. Скоро я уже сидел на квартире в своей комнате, за обедом.

После обеда я пошел к товарищам, которые опередили меня. Через день они отправлялись далее; я хотел ехать вслед за ними, а мне еще надо было запастись меховым платьем и обувью: на Лене могли застать морозы.

«Где я могу купить шубу?» — спросил я одного из якутских жителей, которых увидел у товарищей. «Вам какую угодно: лисью, тарабаганью, песцовую или беличью?» — спросил

он. «Которая теплее».— «Так медвежью хорошо».— «Ну, медвежью».— «Азойно (тяжело) будет в медвежьей»,— промолвил другой. «Так песцовую».— «Теперь здесь мехов никаких не найдете...»— заметили мне. «В Якутске не найду мехов!» — «Не найдете; вот если б летом изволили пожаловать, тогда *дивно* бывает мехов: тогда бы славный купили, какой угодно и дешево».— «А вот тогда-то бы и не купил: зачем мне летом мех?»

«Лучше всего вам *кухлянку* купить, особенно двойную...»— сказал другой, вслушавшийся в наш разговор. «Что это такое кухлянка?» — спросил я. «Это такая рубашка, из оленьей шкуры шерстью вверх. А если купите двойную, то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо».

«Нет, это тяжело надевать,— перебил кто-то,— в двойной кухлянке не повороти́шься. А вы лучше под одинакую кухлянку купите *пыжиковое пальто*,— вот и все».—«Что это такое *пыжиковое* пальто?» — «Это пальто из шкур молодых оленей».

«Всего лучше купить вам *борловую доху*,— заговорил четвертый,— тогда вам ровно ничего не надо».— «Что это такое борловая доха?» — спросил я. «Это шкура с дикого козла, пушистая, теплая, мягкая: в ней никакой мороз не проберет».

«Помилуйте!— сказал тут еще кто-то,— как можно доху? шерсть лезет».— «Что ж такое, что лезет?»

«Как что: в рот, в глаза налезет?»

«Где ж мне купить доху или кухлянку?» — перебил я. «Теперь негде: вот если б летом изволили пожаловать,— дружно повторили все,— тогда приезжают сюда сверху, по Лене, из Иркутска, купцы; они закупают весь пушной товар».

«*Торбасами* не забудьте запастись,— заметили мне,— и пыжиковыми *чижами*».— «Что это такое торбасы и чижи?» — «Торбасы — это сапоги из оленьей шерсти, чижи— чулки из шкурок молодых оленей».

«Но, главное, помните, меховые панталоны»,— сказал мне серьезно один весьма почтенный человек. «Нет, уж от этого позвольте уклониться».— «Ну, помяните меня!» — сказал он пророческим голосом. «Не забудьте также мехового одеяла»,— прибавил другой.

«Зачем же меховые панталоны?» — с унынием спросил я: так напугали меня все эти предостережения! «А если попадете на *наледи...*» — «Что это такое наледи?» — спросил я. «Наледи — это незамерзающие и при жестоком морозе ключи; они выбегают с гор в Лену; вода стоит поверх льда; случится попасть туда — лошади не вытащат сразу, полозья и обмерзнут: тогда ямщику остается ехать на станцию за людьми и за свежими лошадями, а вам придется ждать в мороз несколько часов, иногда полсутки... Вот вы и вспомните о меховых панталонах».

«Ну, а меховое одеяло зачем?» — спросил я. «На Лене почти всегда бывает *хиус...*»— «Что это такое хиус?» — «Это ве-

тер, который метет снег; а ветер при морозе — беда: не спасут никакие панталоны; надо одеяло...»— «С кульком, чтоб ноги прятать»,— прибавил другой. «Только все летом!» — повторяют все. «Ах, если б летом пожаловали, тогда-то бы мехов у нас!..»

Меня даже зло взяло. Я не знал, как быть. «Надо послать к одному старику,— посоветовали мне,— он, бывало, принашивал меха в лавки, да вот что-то не видать...» — «Нет, не извольте посылать»,— сказал другой. «Отчего же, если у него есть? я пошлю».— «Нет, он теперь употребляет...»— «Что употребляет?» — «Да... вино-с. Дрянной старичишка! А нынче и отемнел совсем».— «Отемнел?» — повторил я. «Ослеп»,— добавил он.

Стало быть, нельзя и ехать, потому что нельзя ничего достать, купить? Все можно: à tout malheur remède! Видя мое раздумье, один из жителей посоветовал обратиться к Алексею Яковличу, к Петру Федорычу или к Александру Андреяпычу да Ксенофонту Петровичу: у них-де должны быть и дохи и медвежьи шкуры. «Кто это Алексей Яковлич и Петр Федорыч?» — «А вот они: здешние жители, один управляет тем, другой этим».— «Но я не имею удовольствия их знать...» А. Я., П. Ф. и А. А. сами предупредили меня. Они начали с того, что позвали к себе обедать и меня и товарищей, и хотя извинялись простотой угощения, но угощение было вовсе не простое для скромного городка. У них действительно нашлись дохи, кухлянки и медвежьи шкуры, которые и были уступлены нам на том основании, что мы проезжие, что у нас никого нет знакомых, следовательно все должны быть знакомы; нельзя купить вещи в лавке, следовательно надо купить ее у частного, не торгующего этим лица, которое остается тут и имеет возможность заменить всегда проданное.

Но ведь этак, скажут мне, не напасешься вещей, если каждый день будут являться проезжие, и станешь угощать: оно бестолково. Если каждый день будут проезжие, тогда будет и трактир; если явятся требования на меха, тогда не все будут отсылать вверх, а станут торговать и здесь. В том-то и дело, что проезжие в Якутске — еще редкие гости и оттого их балуют пока. Но долго ли это будет? сомневаюсь. Еще несколько лет — и если вы приедете в Якутск, то, пожалуй, полиция не станет заботиться о квартире для вас, и вы в лавке найдете, что вам нужно, но зато, может быть, не узнаете обязательных и гостеприимных К. П., П. Ф., А. Я. и других.

Вот теперь у меня в комнате лежит доха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, заячье одеяло, торбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукавицы и несколько медвежьих шкур, для подстилки. Когда станешь надевать все это, так чувствуешь, как постепенно приобретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, козлового и медвежьего, а человеческое мало-помалу пропадает. Кухлянка и доха лишают

употребления воли и предоставляют полную возможность только лежать. В пыжиковых чулках и торбасах ног вместе сдвинуть нельзя, а когда наденешь двойную меховую шапку, или, по-здешнему, малахай, то мысли начинают вязаться ленивее в голове и одна за другою гаснут. Еще бы что-нибудь прибавить, так, кажется, над вами, того и гляди, совершится какая-нибудь любопытная метаморфоза.

Все это надевается в защиту сорокаградусного мороза. «Сорок градусов! — повторил я, — у нас когда и двадцать случится, так по городу только и разговора, что о погоде: забудут всякие и политические и литературные новости».— «У вас двадцать хуже наших сорока»,— сказал один, бывший за Уральским хребтом. «Это отчего?» — «От ветра: там при пятнадцати градусах да ветер, так и нехорошо; а здесь в сорок ничего не шелохнется: ни движения, ни звука в воздухе; над землей лежит густая мгла; солнце кровавое, без лучей, покажется часа на четыре, не разгонит тумана и скроется».— «Ну, а вы что?»— «А мы — ничего, хорошо; только дышать почти нельзя: режет грудь».— «Вы что делаете в эти морозы?» — спросил я одну барыню. «Визиты, говорит, делаем».— «Что вы!..»— «Да как же? а в рождество, в Новый год: родные есть, тетушка, бабушка, рассердятся, пожалуй, как не приедешь».

Впрочем, здесь, как я увидел после, и барыня, и кучер, и лошадь — все визиты делают. Барыню вводят в гостиную, кучера в людскую, а лошадь в сарай.

«В чем же вы ездите, в дохе и в малахае?» — спросил я ее. «Нет, в шляпках, в салопах».— «Конечно, не в таких салопах, которые носят барыни в Петербурге и которые похожи на конфетные бумажки, так что не слыхать, есть ли что на плечах, или нет! Верно, здесь кроют байкой или сукном?»

А оказалось, что в таких же: «Материей, говорит, крыты».

Несмотря, однако ж, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как все шевелится здесь, в краю! Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность — словом, творится то же, что творится, по словам Гумбольдта, с материками и островами посредством тайных сил природы. Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сушей и водой? кто меняет почву и климат? Титанов много, целый легион; и все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне — все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех,

кто воздвиг это здание, и также не допытается, как не допыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться — и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее, и теперь хотят возвратить творцу плод от брошенного им зерна. А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом...

Я не уехал ни на другой, ни на третий день. Дорогой на болотах и на реке Мае, едучи верхом и в лодке, при легких утренних морозах, я простудил ноги. На третий день по приезде в Якутск они распухли. Доктор сказал, что водой по Лене мне ехать нельзя, что надо подождать, пока пройдет опухоль.

Через неделю мне стало лучше; я собрался ехать. «Куда вы? как можно! — сказали мне,— да теперь вы ни в каком *разе* не поспеете добраться водой: скоро пойдет *шуга*».— «Что это такое шуга?» — «Мелкий лед; тогда вы должны остановиться и ждать зимнего пути где-нибудь на станции. Лучше вам подождать здесь».— «А берегом?» — спросил я. «*Горой* ехать? помилуйте! почта два раза в год в распутицу приходит горой, да и то мучится, бьется. Ведь надо ехать верхом по утесам, через пропасти, по узеньким тропинкам. А вы еще с больными ногами! Лучше подождите: всего каких-нибудь два месяца...»

«Два месяца! Это ужасно!» — в отчаянии возразил я. «Может быть, и полтора»,— утешил кто-то. «Ну, нет: *сей год* Лена не станет рано,— говорили другие, — осень теплая и ранний снежок выпадал — это верный знак, что зимний путь не скоро установится...»

Опухоль в ногах прошла, но также прошла и всякая возможность ехать до зимы. Я между тем познакомился со всеми в городе; там обед, там завтрак, кто именинник, не сам, так жена, наконец тетка. Для вас, не последних гастрономов, замечу, что здесь есть превосходная рыба — нельма, которая играла бы большую роль на петербургских обедах. Она хороша и разварная, и в пирогах, и в жарком, да и везде; ее также маринуют. Есть много отличной дичи: рябчики, куропатки и тетерева — ежедневное блюдо к жаркому. Но коренные жители почти совсем не едят кур и телятины, как в других местах некоторые не едят, например, зайцев. Зелени тоже мало, кроме капусты и огурцов. Вина дороги: шампанское продается по 6 и 7 руб. сереб. бутылка; зато хороши наливки.

Обычаи здесь патриархальные: гости пообедают, распростятся с хозяином и отправятся домой спать, и хозяин ляжет, а вечером явятся опять и садятся за бостон до ужина. Общество одно. Служащие, купцы и жены тех и других видятся ежедневно и... живут все в больших ладах,

Я заикнулся на этих словах не потому, чтоб они были несправедливы, а потому, что, пробегая одну книгу о Якутске («Поездка в Якутск»), я прочел там совсем противное о якутском обществе. Автор жалуется на господствующую будто бы здесь страсть к ябедничеству (стр. 126), на недостаток веселости в собраниях, на общее друг к другу недоверие и т. п. Не знаю, что сказать: я ничего этого не видал, напротив, кажется. Впрочем, не спорю: тогда (в 1832 г.) могло быть и так. Физиономия маленького города изменяется легко: это зависит от обстоятельств, от того, что за люди первенствуют в обществе. Что касается меня, я нашел много живости и разговоров на обедах; недоверия не заметил: все кушают с большою доверчивостью и говорят без умолку. Почти ежедневно собираются друг у друга, потому что кружок очень невелик. В приведенной книге даже сказано, что будто приглашенные вечером гости, просидев часу до второго, возвращаются домой к своему ужину. Теперь это не так: попробуйте уехать без ужина, тихонько, так хозяева на крыльце за полу поймают. Я, по своей привычке не ужинать, часто затруднялся, как увернуться от этого, и кончал тем, что ужинал.

Сплетни, о которых тоже говорит автор книги, до меня не доходили, конечно потому, что я проезжий и не мог интересоваться ими. Автор прав, сказавши, что сплетни составляют общую принадлежность маленьких городов. Но полно — маленьких ли только? В больших их меньше слышно оттого, что не напасешься времени слушать и повторять слышанное. Нет, общество в том виде, как оно теперь в Якутске, право, порядочное. Да мне кажется, если б я очутился в таком уголке, где не заметил бы ни малейшей вражды, никаких сплетней, а видел бы только любовь да дружбу, невозмутимый мир, всеобщее друг к другу доверие и воздержание, я бы перепугался, куда это я заехал: все думал бы, что это недаром, что тут что-нибудь да есть другое... Замечу еще, что купцы здесь порядочно воспитаны, выписывают журналы, читают, некоторые сами пишут. Почти все они где-нибудь учились, в иркутской гимназии, например; притом они не носят бород и ходят в европейском платье, от этого нет резкого неравенства в обществе.

Говоря о ябедничестве, автор, может быть, относил эту слабость к якутам: они действительно склонны к ябедничеству; но теперь оно, как я слышал, стараниями начальства мало-помалу искореняется.

Если вы, любезный Аполлон Николаевич, признаете, и весьма справедливо, *русский пикет в степи зародышем Европы* (см. фельетон «СПб. ведомостей» № 176, 11 августа 1854 г.), то чем вы признаете подвиги, совершаемые в здешнем краю, о котором свежи еще в памяти у нас мрачные предания, как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений? А вот вы едете от Охотского моря, как ехал я, по таким местам,

которые еще ждут имен в наших географиях, да и весь край этот не все у нас, в Европе, назовут по имени, и не все знают его пределы и жителей, реки, горы; а вы едете по нем и видите поверстные столбы, мосты, из которых один тянется на тысячу шагов. Конечно, он сколочен из бревен, но вы едете по нем через непроходимое болото. Приезжаете на станцию, конечно, в плохую юрту, но под кров, греетесь у очага, находите летом лошадей, зимой оленей и смело углубляетесь, вслед за якутом, в дикую, непроницаемую чащу леса, едете по руслу рек, горных потоков, у подошвы гор или взбираетесь на утесы, по протоптанным и — увы! где романтизм? — безопасным тропинкам. Вам не дадут ни упасть, ни утонуть, разве только сами непременно того захотите, как захотел в прошлом году какой-то чудак-мещанин, которому опытные якуты говорили, что нельзя пускаться в путь после проливных дождей: горные ручьи раздуваются в стремительные потоки и уносят быстротой лошадей и всадников. Он не послушал, разгорячился, нашумел; якуты робки и послушны; они не противоречили более; поехал и был увлечен потоком. Надпись на кресте, поставленном на дороге, свидетельствует о его гибели и предостерегает неосторожных. Подъезжаете ли вы к глубокому и вязкому болоту, якут соскакивает с лошади, уходит выше колена в грязь и ведет вашу лошадь — где суше; едете ли лесом, он — впереди, устраняет от вас сучья; при подъеме на крутую гору опоясывает вас кушаком и помогает идти; где очень дурно, глубоко, скользко — он останавливается. «Худо тут,— говорит он,— *пешкьюем* надо», вынимает нож, срезывает палку и подает вам, не зная еще, дадите ли вы ему на водку, или нет. Это якут, недавно еще получеловек, полузверь!

«Где же страшный, почти неодолимый путь?» — спрашиваете вы себя, проехавши тысячу двести верст: везде станции, лошади, в некоторых пунктах, как, например, на реке Мае, найдете свежее мясо, дичь, а молоко и овощи, то есть капусту, морковь и т. п., везде; у агентов американской компании — чай и сахар.

Не забудьте, все это в краю, который слывет безымянной пустыней! Он пустыня и есть. Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор без растительности, с ледяными вершинами, с лежащим во все лето снегом во впадинах, или на эти леса, которые растут тесно, как тростник, деревья жмутся друг к другу, высасывают из земли скудные соки и падают сами от избытка сил и недостатка почвы. Вы видите, как по деревьям прыгают мелкие зверки, из-под ног выскакивает испуганная редким появлением людей дичь. Издалека доносится до ушей шум горных каскадов, или над всем этим тяготеет такое страшное безмолвие, что не решаешься разговором или песнью будить пустыню, пугаясь собственного голоса. А пугаться нечего: вы едете безопасно, как будто идете с Морской

на Литейную. Я дорогой, от скуки, набрасывал на станциях в записную книжку беглые заметки о виденном. При свидании прочту вам их, и вы увидите подробные доказательства всему, что говорю теперь.

Может быть, мне возразят, что бывают неудачи, остановки, особенно зимой; иногда недостает оленей, или, если случится много проезжих, лошади скоро изнуряются, и тогда... Да, переверните медаль — окажется, что проезжий иногда станет среди дороги. Надо знать, что овса здесь от Охотского моря до Якутска не родится и лошадей кормят одним сеном, оттого они слабы. Если случится много проезжих, например возвращающихся с наших транспортов офицеров, которые пришли морем из России, лошади не выносят частой езды. Недостаток оленей случается иногда от недостатка корма, особенно когда снега глубоки, так что олени, питающиеся белым мхом, не могут отрывать его ногами и гибнут от голода. Олень— нежное и слабое животное. Проезжий терпит от всего этого остановку на станциях. Случалось даже иногда путешественнику, от изнурения лошадей, дойти до станции пешком.

Но во всех этих неудобствах виновата, как видите, природа, против которой пока трудно еще взять действительные меры. Трудно, но не невозможно, конечно. Человек кончает обыкновенно тем, что одолевает и природу, но при каких условиях! Если употребить, хоть здесь, например, большие капиталы и множество рук, держать помногу лошадей на станциях, доставлять для корма их, с огромными издержками, овес, тогда все затруднения устранятся, нет сомнения. Но для кого, спрашивается, все эти расходы и хлопоты: окупятся ли они? будет ли кому поблагодарить за это? Почта ходит раз в месяц, и дорога по полугоду глохнет в совершенном запустении. И то сколько раз из глубины души скажет спасибо заботливому начальству здешнего края всякий, кого судьба бросит на эту пустынную дорогу, за то, что уже сделано и что делается понемногу, исподволь,— за безопасность, за возможность, хотя и с трудом, добраться сквозь эти при малейшей небрежности непроходимые места! В одном месте, в палатке, среди болот, живет инженерный офицер; я застал толпу якутов, которые расчищали землю, ровняли дороги, стройли мост. В алданском селении мы застали исправника, К. П. Атласова: он немного встревожился, увидя, что нам троим, с четырьмя людьми при нас, и для вьюков, нужно до восемнадцати лошадей. «Я не знал, что вы будете,— сказал он,— теперь, может быть, по станциям уже распустили лишних лошадей. Надо послать нарочного вперед». Мы остались тут ночевать: утром, чем свет, лошади были готовы. Мы пошли поблагодарить исправника, но его уж не было. «Где ж он?» — спрашиваем. «Да уехал вперед похлопотать о лошадях,— говорят нам,— на нарочного не пона-

деялся». На третьей станции мы встретили его на самой дурной части дороги. «Все готово,— сказал он,— везде будут лошади»,—и, не отдохнув получаса, едва выслушав изъявления нашей благодарности, он вскочил на лошадь и ринулся в лес, по кочкам, по трясине, через пни, так что сучья затрещали.

Кроме остановок, происходящих от глубоких снегов и малосильных лошадей, бывает, что разольются горные речки, болота наводнятся и проезжему приходится иногда по пояс идти в воде. «Что ж проезжие?» — спросил я якута, который мне это рассказывал. «Сердятся»,— говорит. Но это опять все природные препятствия, против которых принимаются, как я сказал, деятельные меры.

Меня неожиданно и приятно поразило одно обстоятельство. Что нам известно о хлебопашестве в этом углу Сибири, который причислен, кажется, так, из снисхождения, к живым местам, к Якутской области? что оно не удается, невозможно; а между тем на самых свежих и новых поселениях, на реке Мае, при выходе нашем из лодки на станции, нам первые бросались в глаза огороды и снопы хлеба, на первый раз ячменя и конопли. Местами поселенцы не нахвалятся урожаем. Кто эти поселенцы? Русские. Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или с Лены и селятся по нескольку семейств на новых местах. Казна не только дает им средства на первое обзаведение лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей. Я видел поселенцев по рекам Мае и Алдану: они нанимают тунгусов и якутов обрабатывать землю. Те сначала не хотели трудиться, предпочитая есть конину, белок, древесную кору, всякую дрянь, а поработавши год и поевши ячменной похлебки с маслом, на другой год пришли за работой сами.

Есть места вовсе бесплодные: с них, по распоряжению начальства, поселенцы переселяются на другие участки. Подъезжая к р. Амге (это уже ближе к Якутску), я вдруг как будто перенесся на берега Волги: передо мной раскинулись поля, пестреющие хлебом. «Ужели это пшеница?» — с изумлением спросил я, завидя пушистые знакомые мне золотистые колосья. «Пшеница и есть,— сказал мне человек,— а вон и яровое!»

Я не мог окинуть глазами обширных лугов с бесчисленными стогами сена, между которыми шевелились якуты, накладывая на волов сено, убирая хлеб. Я увидел там женщин, ребятишек, табуны лошадей и огороженные пастбища. «Где же это я? кто тут живет?» — спросил я своего ямщика, «*Исправные* якуты живут» (исправные — богатые),— отвечал он. Погода была великолепная, глаза разбегались, останавливаясь на сжатом хлебе, на прячущейся в чаще леса богатой, окруженной сараями и хлевами юрте, на едущей верхом на воле пестро одетой якутке.

Хлебопашество и разведение овощей по рекам Мае и Алдану — создание свежее, недавнее и принадлежит попечениям здешнего начальства. Поселенцы благословляют эти попечения. «Все сделано для нас,— говорят они,— а где не родилось ничего — значит, и не родится никогда». Когда якуты принялись за хлебопашество около Якутска, начальство скупило их урожай и роздало майским поселенцам. Так, в прошлом или третьем году куплено было до 12 тысяч пудов. Якуты принялись еще усерднее за хлебопашество, и на другой год хлеб продавался рублем дешевле на пуд, то есть вместо 2 р. 50 к. асс. продавали по 1 р. 50 к. На реке Амге хлебопашество — новость только вполовину. Оно заведено было там прежде, но, по словам тамошних жителей, шло до нынешнего времени очень плохо. Теперь с каждым годом оно улучшается. Частные люди помогают этому, поощряя хлебопашество и скотоводство: одни жертвуют хлеб для посева, другие посылают баранов, которых до сих пор не знали за Леной, третьи подают пример собственными трудами.

На Мае есть, между прочим, отставной матрос Сорокин: он явился туда, нанял тунгусов и засеял четыре десятины, на которые истратил по 45 руб. на каждую, не зная, выйдет ли что-нибудь из этого. Труд его не пропал: он воротил деньги с барышом, и тунгусы на следующее лето явились к нему опять. Двор его полон скота, завидно смотреть, какого крупного. Мы с уважением и страхом сторонились от одного быка, который бы занял не последнее место на какой-нибудь английской хозяйственной выставке. Сорокин живет полным домом; он подал к обеду нам славной говядины, дичи, сливок. Теперь он жертвует всю свою землю церкви и переселяется опять в другое место, где, может быть, сделает то же самое. Это тоже герой в своем роде, маленький титан. А сколько их явится вслед за ним! и имя этим героям — легион: здешнему потомству некого будет благословить со временем за эти робкие, но великие начинания. Останутся имена вождей этого дела в народной памяти — и то хорошо. Никто о Сорокине не кричит, хотя все его знают далеко кругом и все находят, что он делает только «как надо». На стенах у него висят в рамках похвальные листы, данные ему от начальников здешнего края. Висят эти листы в тени, так что их и не отыщешь скоро. Сорокин повесил их, конечно, не из хвастовства, а больше по обычаю русского простого человека вешать на стену всякую официальную бумагу, до паспорта включительно.

Еще одно важное обстоятельство немало способствует этим начинаниям. От берегов Охотского моря до Якутска нет ни капли вина. Я писал вам, что упавшая у нас на Джукджуре, или Зукзуре, якутском или тунгусском Монблане, одной из гор Станового хребта, вьючная лошадь перебила наш запас вина (так нам донесли наши люди), и мы совершили путь этот

по образу древних, очень патриархально, довольствуясь водой. Люди наши прожили эти пятнадцать или восемнадцать дней, против своего ожидания, трезво. Один из наших товарищей (мы ехали сначала втроем), большой насмешник, уверяет, что если б люди наши знали, что до Якутска в продаже нет вина, так, может быть, вино на горе не разбилось бы.

А вина нет нигде на расстоянии тысячи двухсот верст. Там, где край тесно населен, где народ обуздывается от порока отношениями подчиненности, строгостью общего мнения и добрыми примерами, там свободное употребление вина не испортит большинства в народе. А здесь — в этом молодом крае, где все меры и действия правительства клонятся к тому, чтобы с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей, диких младенцев человечества, для которых пока правильный, систематический труд — мучительная, лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепенного воспитания,— здесь вино погубило бы эту горсть, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп, по направлению к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой мере начальства кроется глубокий расчет — и уже *зародыш не Европы в Азии*, а русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно.

Но довольно похищать из моей памятной дорожной книжки о виденном на пути с моря до Якутска: при свидании мне нечего будет вам показать. Воротимся в самый Якутск.

Я познакомился почти со всеми членами здешнего общества, и служащими и торгующими, и неслужащими и неторгующими: все они с большим участием расспрашивали о моих странствованиях и выслушивали с живым любопытством мои рассказы. Но кто бы ожидал, что в их скромной и, по-видимому, неподвижной жизни было не меньше движения и трудов, нежели во всяких путешествиях? Я узнал, что жизнь их не неподвижная, не сонная, что она нисколько не похожа на обыкновенную провинциальную жизнь; что в сумме здешней деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас, из скромности, молчат. Только в якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущего историка Якутской области. Некоторые занимаются здесь и в Иркутске разбором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в свет. Но эти труды касаются прошедшего: подвиги нынешних деятелей так же скромно, без треска и шума, внесутся в реестры официального хранилища, и долго еще до имен их не дойдет очередь в истории.

Упомяну прежде о наших миссионерах. Здесь их, в Якутске, два: священники Хитров и Запольский. Знаете, что они делают? Десять лет живут они в Якутске и из них трех лет не прожили на месте, при семействах. Они постоянно разъезжают

по якутам, тунгусам и другим племенам: к одним, крещеным, ездят для треб, к другим для обращения.

«Где же вы бывали?» — спрашивал я одного из них. «В разных местах,— сказал он,— и к северу, и к югу, за тысячу верст, за полторы, за три».— «Кто ж живет в тех местах, например к северу?» — «Не живет никто, а кочуют якуты, тунгусы, чукчи. Ездят по этим дорогам верхом, большею частью на одних и тех же лошадях или на оленях. По колымскому и другим пустынным трактам есть, пожалуй, и станции, но какие расстояния между ними: верст по четыреста, небольшие — всего по двести верст!»

«Двести верст — небольшая станция! Где ж останавливаются? где ночуют?» — спрашивал я. «В иных местах есть *поварни*»,— говорят мне.

При этом слове, конечно, представится вам и повар, пожалуй, в воображении запахнет бифштексом, котлетами...

«Поварня,— говорят мне,— пустая, необитаемая юрта, с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах, с очагом посредине — и только». Следовательно, это quasi-поварня.

Если хотите сделать ее настоящей поварней, то приведите с собой повара, да кстати уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет; не забудьте взять и огня: попросить не у кого, соседей нет кругом; прямо на тысячу или больше верст пустыня, направо другая, налево третья и так далее.

«Славу богу, если еще есть поварня! — говорил отец Никита,— а то и не бывает...»— «Как же тогда?» — «Тогда ночуем на снегу».— «Но не в сорок градусов, надеюсь».— «И в сорок ночуем: куда ж деться?» — «Как же так? ведь, говорят, при 40° дышать нельзя...» — «Трудно, грудь режет немного, да дышим. Мы разводим огонь, и притом в снегу тепло. Мороз ничего,— прибавил он,— мы привыкли, да и хорошо закутаны. А вот гораздо хуже, когда застанет пурга...»

Пурга стоит всяких морских бурь: это снежный ураган, который застилает мраком небо и землю и крутит тучи снегу: нельзя сделать шагу ни вперед, ни назад; оставайтесь там, где застала буря; если поупрямитесь, тронетесь — не найдете дороги впереди, не узнаете вашего и вчерашнего пути: где были бугры, там образовались ямы и овраги; лучше стойте и не двигайтесь. «Мы однажды добрались в пургу до юрты,— говорил отец Никита, — а товарищи отстали: не послушали инстинкта собак, своротили их не туда, куда те мчали, и заблудились. Три дня ждали их, и когда прояснилось небо, их нашли у дверей юрты. Последнюю ночь они провели тут, не подозревая жилья». Какова должна быть погода!

На днях священник Запольский получил поручение ехать на юг, по радиусу тысячи в полторы верст или и больше: тут еще никто не измерял расстояний; это новое место. Он едет разведать,

кто там живет, или, лучше сказать, живет ли там кто-нибудь: и если живет, то исповедует ли какую-нибудь религию, какую именно и т. п., словом, узнать все, что касается до его обязанностей.

«Как же вы в новое место поедете? — спросил я,— на чем? чем будете питаться? где останавливаться? По этой дороге, вероятно, поварен нет...»— «Да, трудно; но ведь это только в первый раз,— возразил он,— а во второй уж легче».

А он в первый раз и едет, значит надеется ехать и во второй, может быть и в третий. «Можно разведать,— продолжал он,— есть ли жители по пути или по сторонам, и уговориться с ними о доставке на будущее время оленей...»— «А далеко ли могут доставлять оленей?» — спросил я. «Да хоть из-за шести- или семисот верст, и то доставят. Что вы удивляетесь? — прибавил он,— ведь я не первый: там, верно, кто-нибудь бывал: *в Сибири нет места, где бы не были русские*». Замечательные слова! «Долго ли вы там думаете пробыть?» — спросил я. «Летом, полагаю, я вернусь». Летом, а теперь октябрь!

Вы видите, что здесь в религиозном отношении делается то же самое, что уже сделано для алеутов. Не нужно напоминать вам имя архипастыря, который много лет подвизался на пользу подвластных нам американских племен, обращая их в христианскую веру. Вам известен он как автор книги «Записки об уналашкинском отделе Алеутских островов». Изд. в 1840 г. протоиерея (ныне камчатского, алеутского и курильского архиепископа Иннокентия) Вениаминова. Автор в предисловии скромно называет записки *материалами для будущей истории наших американских колоний;* но, прочтя эти *материалы*, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания: этнографии, географии, топографии, натуральной истории; но всего более обращено внимание на состояние церкви между обращенными, успехами которой он так много, долго и ревностно содействовал. Книга эта еще замечательна тем, что написана прекрасным, легким и живым языком. Кроме того, о. Вениаминовым переложено на алеутский язык евангелие, им же изданы алеутский и алеутско-кадьякский буквари, с присовокуплением на том и на другом языках заповедей, символа веры, молитвы господней, вседневных молитв, потом счета и цифр. То же самое, кажется, если не ошибаюсь, сделано и для колош.

Если хотите подробнее знать о *состоянии православной церкви в Российской Америке*, то прочтите изданную, под заглавием этим в 1840 году, брошюру протоиерея И. Вениаминова. Теперь он, то есть преосвященный Иннокентий, подвизается здесь на более обширном поприще, начальствуя паствой двухсот тысяч якутов, несколька тысяч тунгусов и других племен, раскиданных на пространстве тысяч трех верст в длину и в ширину

области. Под его руководством перелагается евангельское слово на их скудное, не имеющее права гражданства между нашими языками, наречие. Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь переводом евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод вчерне уже окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами.

Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для выражения многих не только нравственных, но и вещественных понятий, за неимением самых предметов. Например, у якутов нет слова *плод*, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока: нечего было и назвать этим именем. Есть рябина, брусника, дикая смородина или, по-здешнему, *кислица*, морошка — но то ягоды. Сами якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами, которые и вошли навсегда в состав якутского языка. Так, хлеб они и называют хлеб, потому что русские научили их есть хлеб, и много других, подобных тому. Так поступал преосвященный Иннокентий при переложении евангелия на алеутский язык, так поступают перелагатели священного писания и на якутский язык. Впрочем, так же было поступлено и с славянским переложением евангелия с греческого языка.

Один из миссионеров, именно священник Хитров, занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка, для руководства при обучении якутов грамоте. Она уже кончена. Вы видите, какое дело замышляется здесь. Я слышал, что все планы и труды здешнего духовного начальства уже одобрены правительством. Кроме якутского языка, евангелие окончено переводом на тунгусский язык, который, говорят, сходен с маньчжурским, как якутский с татарским. Составлена, как я слышал, и грамматика тунгусского языка, все духовными лицами. А один из здешних медиков составил тунгусско-русский словарь из нескольких тысяч слов. Так как у тунгусов нет грамоты и, следовательно, грамотных людей, то духовное начальство здешнее, для опыта, намерено разослать пока письменные копии с перевода евангелия в кочевья тунгусов, чтоб наши священники, знающие тунгусский язык, чтением перевода распространяли между ними предварительно и постепенно истины веры и приготовляли их таким образом к более основательному познанию священного писания, в ожидании, когда распространится между ними знание грамоты и когда можно будет снабдить их печатным переводом.

При этом письме я приложу для вашего любопытства образец этих трудов: молитву господню на якутском, тунгусском и колошенском языках, которая сообщена мне здесь. Что значат трудности английского выговора в сравнении с этими звуками, в произношении которых участвуют не только горло, язык, зубы, щеки, но и брови, и складки лба, и даже, кажется, волосы! А какая грамматика! то падеж впереди имени, то притяжательное местоимение слито с именем и т. п. И все это преодолено!

Я забыл сказать, что для якутской грамоты приняты русские буквы, с незначительным изменением некоторых из них посредством особых знаков, чтобы пополнить недостаток в нашем языке звуков, частью гортанных, частью носовых. Но вы, вероятно, знаете это из книги г. Бетлинка, изданной в С.-Петербурге: «Ueber die jakutische Sprache» [1], а если нет, то загляните в нее из любопытства. Это большой филологический труд, но труд начальный, который должен послужить только материалом для будущих основательных изысканий о якутском языке. В этой книге формы якутского языка изложены сравнительно с монгольским и другими азиатскими наречиями. Сам г. Бетлинк в книге своей не берет на себя основательного знания этого языка и ссылается на другие авторитеты. Для письменной грамоты алеутов и тунгусов приняты тоже русские буквы, за неимением никакой письменности на тех наречиях.

Теперь от миссионеров перейдем к другим лицам. Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями, с стихиями,— все это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство, печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. Но все они ходили за славой. А кто знает имена многих и многих титулярных и надворных советников, коллежских асессоров, поручиков и майоров, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни, к берегам Ледовитого моря, спят при 40° мороза на снегу — и все это *по казенной надобности*? Портретов их нет, книг о них не пишется, даже в формуляре их сказано будет глухо: «Исполняли разные поручения начальства».

Зачем же они ездят туда? Да вот, например, понадобилось снабдить одно место свежим мясом и послали чиновника за тысячу верст заготовить столько-то сот быков и оленей и доставить их за другие тысячи верст. В другой раз случится ка-

---

[1] «Учебник якутского языка» *(немецк.)*.

кое-нибудь происшествие, и посылают служащее лицо, тысячи за полторы, за две верст, *произвести следствие* или просто осмотреть какой-нибудь отдаленный уголок: все ли там в порядке. Не забудьте, что по этим краям больших дорог мало, ездят всё верхом и зимой и летом, или дороги так узки, что запрягают лошадей гусем. Другой посылается, например, в Нижне-Колымский уезд,— это ни больше ни меньше, как к Ледовитому морю, за две тысячи пятьсот или три тысячи верст от Якутска, к чукчам — зачем вы думаете: овладеть их землей, а их самих обложить податью? Чукчи остаются до сих пор еще в диком состоянии, упорно держатся в своих тундрах и нередко гибнут от голода, по недостатку рыбы или зверей. Завидная добыча, нечего сказать! Зачем же посылать к ним? А затем, чтоб вывести их из дикости и заставить жить по-человечески, и все даром, бескорыстно: с них взять нечего.

Чукчи держат себя поодаль от наших поселенцев, полагая, что русские придут и перережут их, а русские думают — и гораздо с большим основанием,— что их перережут чукчи. От этого происходит то, что те и другие избегают друг друга, хотя живут рядом, не оказывают взаимной помощи в нужде во время голода, не торгуют и, того гляди, еще подерутся между собой.

Чиновник был послан, сколько я мог узнать, чтоб сблизить их. «Как же вы сделали?» — спросил я его. «Лаской и подарками,— сказал он,— я с трудом зазвал их старшин на русскую сторону, к себе в юрту, угостил чаем, уверил, что им опасаться нечего, и после того многие семейства перекочевали на русскую сторону».

И они позвали его к себе. «Мы у тебя были, теперь ты приди к нам»,— сказали они и угощали его обедом, но в своем вкусе, и потому он не ел. В грязном горшке чукчанка сварила оленины, вынимала ее и делила на части руками — какими — боже мой! Когда он отказался от этого блюда, ему предложили другое, самое лакомое: сырые оленьи мозги. «Мы ели у тебя, так уж и ты, как хочешь, а ешь у нас»,— говорили они.

Он много рассказывал любопытного о них. Он обласкал одного чукчу, посадил его с собой обедать, и тот потом не отходил от него ни на шаг, служил ему проводником, просиживал над ним ночью, не смыкая глаз и охраняя его сон, и расстался с ним только на границе чукотской земли. Поступите с ним грубо, постращайте его — и во сколько лет потом не изгладите впечатления!

Любопытно также, как чукчи производят торговлю, то есть мену, с другим племенем, коргаулями, или карагаулями, живущими на островах у устья рек, впадающих в Ледовитое море. Чукча и каргауль держат в одной руке товар, который хотят променять, а в другой по длинному ножу и не спускают друг

с друга глаз, взаимно следя за движениями, и таким образом передают товары. Чуть один зазевается, другой вонзает в него нож и берет весь товар себе. Об убитом никто не заботится: «Должно быть, дурной человек был!» — говорят они и забывают о нем.

О коряках, напротив, рассказывают много хорошего, о тунгусах еще больше. Последние честны, добры и трудолюбивы. Коряки живут тоже скудными рыбными и звериными промыслами, и в юртах их нередко бывает такая же стряпня, как в *поварнях*, по колымскому и другим безлюдным трактам. В голод они делят поровну между собою все, что добудут: зверя, рыбу или другое. Когда хотели наградить одного коряка за такой дележ, он не мог понять, в чем дело. «За что?» — спрашивает. «За то, что разделил свою добычу с другими».— «Да ведь у них нет!»— отвечал он с изумлением. Бились, бились, так и не могли принудить его взять награду. Хвалят тоже их за чистоту нравов. Дочь одного коряка изменила правилам нравственности. По обычаю коряков, ее следовало убить. Отец не мог исполнить этого долга: она была любимая и единственная дочь. «Не могу, — сказал он, подавая ей веревку, — удавись сама». Она удавилась, и он несколько лет оплакивал ее.

Не то рассказывают про якутов. Хвалят их за способности, за трудолюбие, за смышленость, но в них, как в многочисленном, преобладающем здесь племени, уже развиты некоторые пороки: они, между прочим, склонны к воровству. Убийства между ними редки: они робки и боятся наказаний. Но в воровстве они обнаруживают много тонкости, которая бы не осрамила лондонских мошенников. Один якут украдет, например, корову и, чтоб зимой по следам не добрались до него, надевает на нее сары, или сапоги из конской кожи, какие сам носит. Но и хозяин коровы не промах: он поутру смотрит не под ноги, не на следы, а вверх: замечает, куда слетаются вороны, и часто нападает на покражу, узнавая по шкуре зарезанной коровы свою собственность.

Однажды несколько якутов перелезли на чужой двор украсть лошадь. Ворота заперты, вывести нельзя; они вздумали перетащить ее через забор: передние ноги уже были за забором; воры усердно тащили за хвост и другую половину лошади. Она, конечно, к этому новому способу путешествия равнодушна быть не могла и сильно протестовала с своей стороны и копытами и головой. Хозяин вышел на шум, а воры мгновенно спрятались, кроме того, который был на улице. «Хозяин, хозяин,— кричал он,— смотри, что я застал: у тебя лошадь воруют».— «И так воруют».— «Бери же ее назад». Стали тащить назад — не подается: вор с улицы крепко придерживал ее за узду. «Туда нейдет,— говорил он,— ты лучше подтолкни ее сюда; а потом отвори ворота, я ее приведу». Так и сделано. Само со-

бой разумеется, что вор ускакал на лошади, не дождавшись хозяина.

Якуты здесь всё: кучера, слуги, ремесленники; они — хорошие скорняки, кузнецы, но особенно способны к плотничной и столярной работе. Им недостает вкуса, потому что нет образцов. Здешние древние диваны и стулья переходят из дома в дом, не меняя формы; по ним делают и новую мебель. Дайте им образец — они сделают совершенно такую же вещь. Знаете ли, что мне обещал принести на днях якут? бюст Рашели из мамонтовой кости или из моржового зуба. Сюда прислан бюстик из гипса, и якут делает по нем. Якут и Рашель — каково сближение!

Кстати об изделиях из мамонтовой кости. Вы знаете, что кость эту находят не только в кусках, но в целых остовах. Мне сказывали здесь, что про найденный недавно остов мамонта кто-то выдумал объявить чукчам, что им приведется везти его в Якутск, и они растаскали и истребили его так, что теперь и следов нет.

Нет проезжего, к которому бы не явились якуты, и особенно якутки, с этими изделиями. Я купил резную подставку для часов, только она не стоит на месте. Но что это за изделия! Работа такая же допотопная, как и сама кость, с допотопными надписями на гребне: *в знак любве* или *кого люблю, того дарю*. На ящиках зачем-то вырезан русский герб. Жаль, что отдаленность и глушь края мешают обратить на это внимание: кости здесь очень много, якутов еще больше, так что наши столики были бы заставлены безделками из этого красивого материала. Один из моих спутников, князь Оболенский, хотел купить кусок необделанной кости и взять с собой. «Если немного, так, пожалуй, можно достать»,— отвечали ему. «Мне небольшой кусок»,— сказал он. «Пудов восемнадцать, что ли?»— спросили его. Но он отступился.

Еще слово о якутах. Г-н Геденштром (в книге своей «Отрывки о Сибири», С.-Петербург, 1830), между прочим, говорит, что «Якутская область — одна из тех немногих стран, где просвещение или *расширение понятий человеческих* (sic) (стр. 94) более вредно, чем полезно. Житель сей пустыни (продолжает автор), сравнивая себя с другими мирожителями, понял бы свое бедственное состояние и не нашел бы средств к его улучшению...» Вот как думали еще некоторые двадцать пять лет назад!

Автор берет пороки образованного общества, как будто неотъемлемую принадлежность просвещения, как будто и самое просвещение имеет недостатки: тщеславие, корысть, тонкий обман и т. п. Кажется, смешно и уверять, что эти пороки только обличают в человеческом обществе еще недостаток просвещения. Если дикари увлекаются скорее всего заманчивостью блеска или чувственных удовольствий — что совершенно спра-

ведливо,— то за ними, как за детьми, надо смотреть, что здесь и делается. Я выше сказал, что от Якутска до Охотского моря нет вина; против тайного провоза его приняты очень строгие меры. Если зло затем и прокрадется, так в такой незначительной степени, что оно уже не составит общей гибели. Факты свидетельствуют, что ябедничество тоже уменьшилось по судам. «Тщеславие, честолюбие и корысть», конечно, важные пороки, если опять-таки не посмотреть за детьми и дать усилиться злу; между тем эти же *пороки*, как их называет автор, могут, при разумном воспитании, повести к земледельческой, мануфактурной и промышленной деятельности, которую даже без них, если правду сказать, и не привьешь к краю. Что делается без честолюбия и корысти, в известной степени, разумеется? «Житель пустыни (говорит автор) понял бы свое бедственное положение и не нашел бы средств к его улучшению». Напротив, тогда-то и нашел бы, когда бы понял, или ему нашли бы, и находят.

Просвещение якута пока состоит в том, чтоб приучить его к земледелию, к скотоводству, к торговле; все это и делается. Нужды нет, что он живет в пустыне, просвещение находит средство справиться и с пустыней. Думали же прежде, что здесь не родится хлеб; а принялись с уменьем и любовью к делу — и вышло, что родится. Вот теперь разводят овец. Конечно, долго еще ждать, когда мы будем носить сукна якутских фабрик; но этого и не нужно пока. Славу богу, да, слава богу, не во гнев автору, что якуты теперь едят хлеб, а не кору, носят русское сукно, а не сырую звериную кожу! Дикие добродетели, простота нравов — какие сокровища: есть о чем вздыхать! Говорят, дикари не пьют, не воруют — да, пока нечего пить и воровать; не лгут — потому что нет надобности. Хорошо, но ведь оставаться в диком состоянии нельзя. Просвещение, как пожар, охватывает весь земной шар. «Но да пощадит оно,— восклицает автор (то есть просвещение) (стр. 96),— якутов и подобных им, к которым природа их земли была мачехою!» Другими словами: просвещенные люди! не ходите к якутам: вы их развратите! Какой чудак этот автор! А где же взять шубу? ведь это все у якутов, не у них, так у тунгусов, наконец у алеутов, у колош и т. д., все у тех же дикарей! Природа не совсем была к ним мачеха, наградив их край соболями, белками, горностаем и медведями.

Книга г. Геденштрома издана в 1830 году; может быть, автор с тех пор и сам отказался от своего парадокса.

Впрочем, обе приведенные книги, «Поездка в Якутск» и «Отрывки о Сибири», дают, по возможности, удовлетворительное понятие о здешних местах и вполне заслуживают того одобрения, которым наградила их публика. Первая из них дала два, а может быть, и более изданий. Рекомендую вам обе, если б вы захотели узнать что-нибудь больше и вернее об этом отда-

ленном уголке, о котором я, как проезжий, встретивший нечаянно остановку на пути и имевший неделю-другую досуга, мог написать только этот бледный очерк.

Не указываю вам других авторитетов, важнее, например, книги барона Врангеля: вы давным-давно знаете ее; прибавлю только, что имя этого писателя и путешественника живо сохраняется в памяти сибиряков, а книгу его непременно найдете в Сибири у всех образованных людей.

Мне остается сказать несколько слов о некоторых из якутских купцов, которые также достигают до здешних геркулесовых столпов, то есть до Ледовитого моря, или, в противную сторону, до неведомых пустынь. Один из них ездит, например, за пятьсот верст еще далее Нижне-Колымска, до которого считается три тысячи верст от Якутска, к чукчам, другой к югу, на реку Уду, третий к западу, в Вилюйский округ.

«Свет мал, а Россия велика»,— говорит один из моих спутников, пришедших также кругом света в Сибирь. Правда. Между тем приезжайте из России в Берлин, вас сейчас произведут в путешественники, а здесь изъездите пространство втрое больше Европы, и вы все-таки будете только *проезжий.* В России нет путешественников, всё проезжие, несмотря на то, что теперь именно это стало наоборот. Разве по железным дорогам путешествуют? Они выдуманы затем, чтоб «проезжать» пространства, не замечая их. Теперь я вижу, что у нас, в этих отдаленных уголках, только еще и можно путешествовать, в старинном, занимательном смысле слова, с лишениями, трудностями, с запасом чуть не на год провизии, с перинами и самоварами. Да и то благодаря здешнему начальству исчезает понемногу. И здесь заводятся удобства: того и гляди, скоро не дадут выспаться на снегу и в поварни приставят поваров — беда: совсем истребится порода путешественников! Обратимся к купцам.

Они берут известное число лошадей, смотря по количеству товара, иногда до сорока, едут, каждый по своему радиусу, в некоторые сборные пункты, которые называются великолепным именем *ярмарок.* Туда к известному дню стекаются якуты, чукчи, тунгусы и прочие, и производится мена. Чукчи покупают простой листовой табак, называемый здесь *черкасским,* и железные изделия, топоры, гвозди и проч., якуты — бумажные и шерстяные материи, дабу [1], грубые ситцы, холстину, толстое сукно, также чай, сахар; последний большею частию в леденце, вывозимом из Китая.

Купцы выменивают от них пушной товар, добытый в течение лета и осени; товар этот покупают у них, как выше сказано, приезжающие сюда на ярмарку в июле иркутяне, пере-

---

[1] Китайская бумажная ткань.

продают на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки или в Кяхту, оттуда в Китай и т. д.

Вот вам происхождение горностаевых муфт и боа, беличьих тулупов и лисьих салопов, собольих шуб и воротников, медвежьих полостей — всего, чем мы щеголяем за Уральским хребтом! Купцы отправляются в ноябре и возвращаются в апреле. Им сопутствуют иногда жены — и все переносят: ездят верхом, спят, если не в поварнях, так под открытым небом, и живут по многим месяцам в пустынных, глухих уголках, и не рассказывают об этом, не тщеславятся. А американец или англичанин какой-нибудь съездит, с толпой слуг, дикарей, с ружьями, с палаткой, куда-нибудь в горы, убьет медведя — и весь свет знает и кричит о нем!

Купцы, однако, жаловались мне, что торг пушными товарами идет гораздо тише прежнего, так что едва стоит ездить в отдаленные края. Они искали разных причин этому, приписывая упадок торговли частью истреблению зверей, отчего звероловы возвышают цены на меха, частью беспокойством, возникшим в Китае, отчего будто бы меха сбываются с трудом и дешево.

Но, кажется, причина тут другая: на некоторых пунктах по Лене открылись золотые прииски: золотопромышленники основали там свое пребывание, образовав около себя новые центры деятельности. Туда потянулось народонаселение, понадобились руки, там и товар находит сбыт. Вскоре, может быть, загремят имена местечек и городков, теперь едва известных по имени: Олекминска, Витима и других. Здесь имена эти начинают повторяться чаще и чаще. Люди там жмутся теснее в кучу; пустынная Лена стала живым, неумолкающим, ни летом, ни зимою, путем. Это много отвлекло рук и капиталов от Якутска.

Я так думал вслух, при купцах, и они согласились со мною. С общей точки зрения оно очень хорошо; а для этих пяти, шести, десяти человек — нет. Торговля в этой малонаселенной части империи обращается, как кровь в жилах, помогая распространению народонаселения. Одно место глохнет, другое возникает рядом, потом третье, и так далее, а между тем люди разбредутся в разные стороны, оснуются в глуши и, вместо золота, начнут добывать из земли что-нибудь другое.

Но довольно. Как ни хорошо отдохнуть в Якутске от трудного пути, как ни любезны его жители, но пробыть два месяца здесь — утомительно. Боже сохрани от лютости скуки и сорокаградусных морозов! Пора, пора, морозы уже трещат: 32, 35 и 37°; скоро *дышать будет тяжело*. В прошедшем году мороз здесь достигал, говорят, до 48°.

А я все хожу в петербургском байковом пальто и в резиновых калошах. Надо мной смеются и пророчат простуду, но ничего: только брови, ресницы, усы, а у кого есть и борода,

куржевеют, то есть покрываются льдом, так что брови срастаются с ресницами, усы с бородой и образуют на лице ледяное забрало; от мороза даже зрачкам больно.

Вот и повозка на дворе, щи в замороженных кусках уже готовы, мороженые пельмени и струганина тоже; бутылки с вином обшиты войлоком, ржаной хлеб и белые булки — все обращено в камень.

Я простился со всеми: кто хочет проводить меня пирогом, кто прислал рыбу на дорогу, и все просят непременно выкушать наливочки, холодненького... Беда с непривычки! Добрые приятели провожают с открытой головой на крыльцо и ждут, пока сядешь в сани, съедешь со двора,— им это ничего. Пора, однако, *шибко* пора!

Якутск, ноябрь, 1854.

IX

ДО ИРКУТСКА

Город Олекма. — Лена.—Станции по ней. — Сорок градусов мороза. — Вино и щи в кусках. — Юрты с чувалами. — Леса. — Тунгусы. — Витима.— Киренск. — Лошади и ямщики.

Я выехал из Якутска 26 ноября, при 36° мороза; воздух чист, сух, остр, режет легкие, и горе страждущим грудью! но зато не приобретешь простуды, флюса, как, например, в Петербурге, где стоит только распахнуть для этого шубу. Замерзнуть можно, а простудиться трудно.

И какое здесь прекрасное небо, даром что якутское: чистое, с радужными оттенками! Доха, то есть козлиная мягкая шкура (дикого горного козла), решительно защищает от всякого мороза и не надо никакого тулупа под нее: только тяжести прибавит. Она легка, пушиста и греет в 40°! Не защитит лишь от ветра, от которого ничто не защитит. Как же тогда? Опустите замет у повозки, или спрячьтесь, или, наконец, как знаете. Лошади от ветра воротят морды назад, ямщики тоже, и седоки прячут лицо в подушки — напрасно: так и режет шею, спину, грудь и непременно доберется до носа. У меня даже пятка озябла — это самая бесчувственная часть у всякого, кто не сродни Ахиллесу.

Ну, так вот я в дороге. Как же, спросите вы, после тропиков показались мне морозы? А ничего. Сижу в своей открытой повозке, как в комнате; а прежде боялся, думал, что в 30° не проедешь тридцати верст; теперь узнал, что проедешь лучше при 30° и скорее, потому что ямщики мчат что есть мочи; у них зябнут руки и ноги, зяб бы и нос, но они надевают на шею боа.

Еду я все еще по пустыне и долго буду ехать: дни, недели, почти месяцы. Это не поездка, не путешествие, это особая жизнь:

так длинен этот путь, так однообразно тянутся дни за днями, мелькают станции за станциями, стелются бесконечные снежные поля, идут по сторонам Лены высокие горы с красивым лиственничным лесом.

Еще однообразнее всего этого лежит глубокая ночь две трети суток над этими пустынями. Солнце поднимается невысоко, выглянет из-за гор, протечет часа три, не отрываясь от их вершин, и спрячется, оставив после себя продолжительную огнистую зарю. Звезды в этом прозрачном небе блещут так же ярко, лучисто, как под другими, не столь суровыми небесами.

По Лене живут всё русские поселенцы и, кроме того, много якутов: оттого все русские и здесь говорят по-якутски, даже между собою. Все их сношения ограничиваются якутами да редкими проезжими. Летом они занимаются хлебопашеством, сеют рожь и ячмень, больше для своего употребления, потому что сбывать некуда. Те, которые живут выше по Лене, могут сплавлять свои избытки по реке на золотые прииски, находящиеся между городами Киренском и Олекмой.

Зимой крестьяне держат лошадей на станциях. Лошади не сильны, хотя и резвы; корм их одно сено, и потому, если разгон велик, лошади теряют силу и едва выдерживают гоньбу по длинным расстояниям между станциями. Все станции расположены на пригорках, оттого при подъеме и спуске всегда берутся предосторожности. Экипажи спускают на Лену на одной лошади или *коне*, как здесь все говорят, и уже внизу подпрягают других, и тут еще держат их человек пять ямщиков, пока садится очередный ямщик; и когда он заберет вожжи, все расступятся и тройка или пятерка помчит что есть мочи, но скоро утомится: снег глубок, бежать вязко, или, по-здешнему, *убродно*.

Мне странно показалось, что ленские мужички обращают внимание на такую мелочь, спускают с гор на одном коне: это не в нашем характере. Ну, как бы не махнуть на тройке! Верно, начальство притесняет, велит остерегаться! Впрочем, я рад за шею ближнего, и в том числе за свою.

Многим нравится дорога не как путешествие, то есть наблюдение нравов, перемена мест и проч., а просто как дорога. Есть же охотники переезжать с квартиры на квартиру, гулять по осенней слякоти и т. п. Славно, говорят любители дороги, когда намерзнешься, заиндевеешь весь и потом ввалишься в теплую избу, наполнив холодом и избу, и чуланчик, и полати, и даже под лавку дунет холод, так что сидящие по лавкам ребятишки подожмут голые ноги, а кот уйдет из-под лавки на печку... «Хозяйка, самовар!» И пойдет суматоха: на сцену является известный погребец, загремят чашки, повалит дым, с *душистой струей*, от маленького графинчика, в печке затрещит огонь, на сковороде от поливаемого масла раздается

неистовое шипенье; а на столе поставлена уж водка, икра, тарелки etc., etc. [1]. Если спутник не один, идет шумный разговор, а один, так он выберет какого-нибудь старика и давай экзаменовать его: «Сколько хлеба, да какой, куда сбываете? А ты что спряталась, красавица? — тут же скажет девке мимоходом,— поди сюда!» Или даст разинувшему рот, не совсем умытому мальчишке кусок сахару: все это называется «удовольствием». Пожалуй, почему и не так? Но когда это удовольствие тянется так долго, как мое, тогда дашь ему и другое название.

Здесь идет правильный почтовый тракт, и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. Проедет почта или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом. На одной станции случается ехать по берегу, потом спуститься на проток Лены, потом переехать остров, выехать на самую Лену, а от нее опять на берег, в лес. Иногда же, напротив, едешь по Лене от станции до станции, любуешься то горами, то тóросом, то есть буграми льда, где Лена встала неровно; иногда видишь, в одном месте стоит пар над рекой. «Что такое?» — спросишь. «Наледи»,— говорят, то есть проступающая сквозь лед вода или вытекающие на ленский лед горные ключи, вероятно минеральные, которые иногда вовсе не замерзают, может быть от присутствия в них газов. К весне, в феврале и марте, дорога по Лене, говорят, очень хороша, укатана.

Какие развлечения на таком длинном переезде? Приедешь на станцию: «Скорей, скорей дай *кусочек* вина и *кружок* щей». Все это заморожено и везется в твердом виде; пельмени тоже, рябчики, которых здесь множество, и другая дичь. Надо иметь замороженный черный и белый хлеб. На станциях есть молоко, кое-где яйца, местами овощи, но на это нельзя рассчитывать. Жители, по малому числу проезжих, держат все это только для себя или отправляют, если близко, на прииски, которые много поддерживают здешние места, доставляя работу. Туда стекается народ: предметов потребления надобится все больше и больше, обозы идут чаще из Иркутска на прииски и обратно — и формируется центр сильного народонаселения и деятельности. Та же история, что в Калифорнии, в Австралии. Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. Дело — не в золоте.

Первые дни мороз был уж очень силен. Высунешь на минуту руку поправить что-нибудь — и пальцы озябнут до костей; дотронешься даже до дерева, и то жжется, как железо. На одной станции я спросил, сколько считают они градусов

---

[1] и т. д., и т. д. *(лат.)*.

такого мороза. «Градусов пятьдесят, батюшка»,— сказала мне старуха. Человек мой усмехнулся. «Градусов пятьдесят не бывает»,— сказал он. «И! родимый! у нас и семьдесят бывает»,— отвечала она. «Когда же кончаются эти морозы?» — «А в апреле, кормилец; в мае все тает, а уж в июне, в половине, и высохнет все».— «Как вы это живете тут?» — спросил я. «Да мы уж *обнатуренные*»,— сказала она. «А лето у вас хорошо?»— спросил я. «*Годявое*, да только коротко: сеем ярицу, да озябает, не каждый год родится, а когда родится, так хорошо».

В другом месте станционный смотритель позабавил меня уж другим языком. Он предложил обедать у него. «А что у вас есть?» — «Налимы имеются».— «А мясо есть?» — «Имеется баранина».— «Да скоро ли все это поспеет?» — «Быстро соорудим».

Откуда этот язык, да и *обнатуренные* — кто завез сюда?

Хороши камельки, или чувалы, на станциях и вообще в юртах. Как войдешь с морозу, охватит вас и в минуту согреет тепло, которое так и пышет от целого костра стоймя горящих поленьев лиственницы. Она лучше даже березы на дрова: славно горит и долго держит жар. Толпа крестьян, женщин, мальчишек в минуту похватают у вас кто шарф, кто шапку, рукавицы и тотчас высушат, держа у камина. Тот вам подвигает скамью, другой — стул. На станциях большею частью опрятно, сухо и просторно; столы, лавки и кровати — все выстругано из чистого белого дерева. Ветхие избы предположено весной перестроить по новому, лучшему образцу. Тесниться в духоте уже не позволено. Со мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер, для осмотра старых строений.

Пустыня имеет ту выгоду, что здесь нет воровства. Кибитка стоит на улице, около нее толпа ямщиков, и ничего не пропадает. По дороге тоже все тихо. Нет даже волков или редко водятся где-то в одном месте. Медведи зимой все почивают.

Мне, по случаю трудной дороги, подпрягают пять и шесть лошадей, хотя повозка у меня довольно легка, но у нее есть подрези, а здесь ездят без них: они много прибавляют тяжести по рыхлому снегу. Еще верст двести, триста, и потом уже будут запрягать лошадей гусем, по семи, восьми и даже десяти лошадей, смотря по экипажу. Там глубоки снега и дорога узенькая, так что тройка не уместится в ряд.

Каменская станция, 7 декабря.

Мороз не смягчается ни на минуту: везде по станциям говорят, что он свыше 40°. Я думал гораздо больше об этом морозе; я его легко переношу. Сегодня попались плохие лошади, и мы ехали тридцать верст $4^1/_2$ часа — мне и горя мало! Еще под Якутском один ямщик предложил мне «проехать зараз, вместо двадцати, сорок пять верст».— «Что ты, любезный, с

ума сошел: нельзя ли, вместо сорока пяти, проехать только двадцать?»— «Сделайте божескую милость,— начал он умолять,— на станции гора крута, мои кони не встащат, так нельзя ли вам остановиться внизу, а ямщики сведут коней вниз и там заложат, и вы поедете еще двадцать пять верст?» — «*Однако* не хочу,— сказал я,— если озябну, как же быть?» — «Да какнибудь уж...» Я сделал ему милость — и ничего. Только с носа кожа лупится.

Сегодня я проехал мимо полыньи: несмотря на лютый мороз, вода не мерзнет, и облако черного пара, как дым, клубится над ней. Лошади храпят и пятятся. Ямщик франт попался, в дохе, в шапке с кистью, и везет плохо. Лицо у него нерусское. Вообще здесь смесь в народе. Жители по Лене состоят и из крестьян и из сосланных на поселение из разных наций и сословий; между ними есть и жиды, и поляки, есть и из якутов. Жидов здесь любят: они торгуют, дают движение краю.

Сегодня я ночевал на *Ноктуйской* станции; это центр жительства золотоприискателей. Тут и дорога получше и все живее, потому что много проезжих. Лена делается у́же; в ином месте и версты нет, только здесь выдался плес, версты в две. Берега, крутые оба, сплошь покрыты лесом.

Скоро ехать нет возможности, как ездят, например, в Европейской России. Там можно, не выходя из экипажа, переменить лошадей и ехать далее. Можно даже закусить в экипаже и выйти на пять минут, съесть кусочек сыру, ветчины, холодной телятины: а здесь все замерзает до того, что надо щи рубить топором или ждать час, пока у камина отогреются. Вот и остановка. Вы с морозу, вам хочется выпить рюмку вина, бутылка и вино составляют одну ледяную глыбу: поставьте к огню — она лопнет, а в обыкновенной комнатной температуре не растает и в час; захочется напиться чаю — это короче всего, хотя хлеб тоже обращается в камень, но он отходит скорее всего; но вынимать одно что-нибудь, то есть чай — сахар — нельзя: на морозе нет средства разбирать, что взять, надо тащить все: и вот опять возни на целый час — собирать все!

Беда еще, когда столкнется много проезжих — лошадей мало. Вот нас едет четыре экипажа, мы и сидим теперь: я здесь, на Каменской станции, чиновник с женой и инженер — на Жербинской, другой чиновник — где-то впереди, а едущий сзади купец сидит, говорят, не на станции, а на дороге. Лошади устали, или *пристали*, как здесь говорят. Всему этому причина почта, которая настигла нас. Я забыл сказать, что мы сутки пробыли в Олекме. Это маленький, бедный городок. Там живет исправник, почтмейстер, окружной лекарь да несколько купцов. Нам указали квартиру у одного из последних. Останавливаться бы незачем, да надо возобно-

вить запас хлеба. Добрый купец и старушка, мать его, угощали нас как родных, отдали весь дом в распоряжение, потом ни за что не хотели брать денег. «Мы ради добрым людям,— говорили они,— ни за что не возьмем: вы нас обидите». Мы немало смеялись над m-me К., которая, в уверенности, что возьмут деньги, командовала в доме, требуя того, другого.

На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, это две тысячи верст: до Иркутска столько же остается — что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!

К удивлению моему, здешние крестьяне недовольны приисками: все стало дороже; пуд сена теперь стоит двадцать пять, а иногда и пятьдесят, хлеб девяносто коп.— и так все. Якутам лучше: они здесь природные хозяева, нанимаются в рабочие и выгодно сбывают на прииски хлеб; притом у них есть много лугов и полей, а у русских нет.

Поледуйская станция. 13 декабря.

Все еще пустыня, все Лена! Я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! Столетние сосны или лиственницы толпятся группами или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? Какой разгул для фантазии: то будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, и о чем-то умоляет: все это деревья и кусты с нависшим снегом; то будто танцующие фигуры; то медведь на задних лапах; а мертвецов какая пропасть! Особенно когда заснешь — беда: у шапки образуются сосульки и идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация «Нормы» [1].

Пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме, в вымерзнувшей речке: эта яма из ям. Я вышел вон и стал на холме. Пней множество, настоящий храм друидов: я только хотел запеть «Casta diva» [2], как меня пригласили в совет, как поступить. Лошади не могут вытащить. Тимофей советовал бить передовых лошадей (мы ехали гусем), я посоветовал запрячь тройку рядом и ушел опять на холм петь, наконец ямщик нарубил кольев, и мы стали поднимать повозку сзади, а он кричал на лошадей: «Эй, ну, дружки, чтоб вас задавило, проклятые!» Но дружки ни с места. К счастью, морозу было всего каких-нибудь 31, много 32°, а не 44, как на Николин день.

---

[1] «Норма» — опера итальянского композитора Венченцо Беллини (1801 —1835). Ее сюжет — восстание галльского племени друидов против Рима.

[2] «Дева пречистая» *(итал.)*.

Но прочь романтизм, и лес тоже! Замечу только на случай, если вы поедете по этой дороге, что лес этот находится между *Крестовской* и *Поледуевской* станциями. Но через лес не настоящая дорога: по ней ездят, когда нет дороги по Лене, то есть когда выпадают глубокие снега, аршина на полтора, и когда проступает снизу, от тяжести снега, вода из-под льда, которую здесь называют *черной водой*.

От Жербинской станции начинается Иркутская губерния и *Киренский* округ. Здесь выпадают ужасные снега, и оттого везут гусем верст на шестьсот, то есть почти от *Олекмы* до *Киренска* и даже далее. На Жербинской станции я застал беспорядок. Староста умер, и все ямщики отказывались ехать, под предлогом, что не их очередь. «А если я опоздаю в город, да меня спросят, отчего...»— начал я было свою угрозу, которая так помогала за Якутском: но здесь не помогла. Ямщики разбежались по избам и спрятались. Я сам пошел отыскивать их. Вошел в одну избу — ямщики все сидели по печкам с завязанными ногами и охали. «Батюшки! — стонали они,— смерть пришла, ноженьки, ой, ноженьки, мочи нет!» — «Что у вас?» — спросил я. «Горячка», — говорят.

Наконец одного здорового я застал врасплох и потребовал, чтобы он ехал. Он отговаривался тем, что недавно воротился и что надо лошадей кормить и самому поесть. «Сколько тебе нужно времени?» — спросил я. «Три часа».— «Корми четыре, а потом запрягай»,— сказал я и принялся, не помню в который раз, пить чай.

Ямщик пообедал, задал корму лошадям, потом лег спать, а проснувшись, объявил, что ему ехать не следует, что есть мужик Шеин, который живет особняком, на юру, что очередь за его сыновьями, но он богат и все отделывается. Я послал за Шеиным, но он рапортовался больным. Что делать? вооружиться терпением, резигнацией? так я и сделал. Я прожил полторы сутки, наконец созвал ямщиков и Шеина тоже, и стал записывать имена их в книжку. Они так перепугались, а чего — и сами не знали, что сейчас же привели лошадей.

Я проехал мимо приисков, то есть резиденции золотоискателей, или «разведенции», как назвал ямщик, указывая целую колонию домиков на другом берегу Лены.

«Какова дорога впереди?» — спрашиваю. «Торосовато или убродно»,— отвечал ямщик. По Лене свирепствует теперь, и часто, повальная горячка, единственная местная болезнь. Она много похитила жертв, и я на каждой станции встречаю бледные, больные лица. Еще чаще встречаю людей с знаками на лбу, щеках и особенно на носу... Mais hony soit qui mal y pense [1]. Это следы озноба. С любопытством всматриваюсь и

---

[1] Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает *(франц.)*.

вслушиваюсь во все. На Жербинской станции мне понравилась одна женщина, наполовину русская, наполовину якутская по родителям, больше всего тем, что любит мужа. Когда я записал и его имя в книжку за нерадение, она ужасно начала хлопотать, чтоб мне *изладить* коней: сама взнуздывала, завязывала упряжь, помогала запрягать, чтоб только меня успокоить, чтоб я не жаловался на мужа, и делала это с своего рода грацией. Она недурна собой.

Встретил еще несчастливца. «Я не стар,— говорил ямщик Дормидон, который попробовал было бежать рядом с повозкой во всю конскую прыть, как делают прочие, да не мог,— но горе меня одолело». Ну, начинается обыкновенная песня, думал я: все они несчастливы, если слушать их. «Что же с тобой случилось?» — спросил я небрежно. «Что? да сначала, лет двадцать пять назад, отца убили...» Я вздрогнул. «Тогда не то, что теперь: не открыли убийцу...» Я боязливо молчал, не зная, что сказать на это. «Потом моя хозяйка умерла: ну, бог с ней! Божья власть, а все горько!» «Да, в самом деле он несчастлив»,— подумал я; что же еще после этого назвать несчастьем? «Потом сгорела изба,—продолжал он,—а в ней восьмилетняя дочь. . Женился я вдругорядь, прижил два сына; жена тоже умерла. С сгоревшей избой у меня пропало все имущество, да еще украли у меня однажды тысячу рублей, в другой раз тысячу шестьсот. А как наживал-то! как копил! Вот как трудно было!» Мне стало жутко от этого мрачного рассказа. «Это страдания Иова!» — думал я, глядя на него с почтением. Дормидон претерпел все людские скорби — и не унывает, еще возит проезжих, сбывает сено на прииски — и ничего. А мы-то: палец обрежем, ступим неосторожно... «Вон, слышите *колоколец*? — спросил он меня.— Это мой Васютка заседателя везет. Эй, малый, вези по старой дороге,— крикнул он весело (слышите — весело!),— что нам новую-то проминать своими боками!»

Сегодня наткнулись мы на кочевье тунгусов. Пара оленей отделилась, и бросилась от наших лошадей вперед, и все мчалась по дороге, и забежала верст за семь от кочевья, а наши лошади пятились от них. Здесь сеют рожь, ярицу и ячмень; но первая вызябает, вторая, по краткости лета, тоже не всегда удается, но зато ячмень очень хорош. Берега Лены утесисты и красивы. Островов тут почти нет; река становится все у́же. По-якутски почти никто не говорит, и станции пошли русские; есть старинные названия, данные, конечно, казаками при занятии Сибири.

Чуйская станция, 13 декабря. Витима.

Лена, Лена и Лена! Но все еще пустая Лена; кое-где на лугах видны большие кучи снегу — это стога сена; кое-где три, четыре двора, есть хижины, буквально заваленные снегом, с

отверстиями, то есть окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол: ничего, тепло, только на улицу ничего не видать. В других избах, и это большею частию, окна затянуты бычачьими пузырями. На каждой станции кучи ямщиков толпятся у экипажа. Деревеньки содержат гоньбу всем миром, то есть с каждого мужика требуется пара лошадей. Все ямщики «ладят коней» и толпой идут спускать с горы. Двое везут.

Витима — слобода, с церковью Преображения, с сотней жителей, с приходским училищем, и ямщики почти все грамотные. Кроме извоза, они промышляют ловлей зайцев, и тулупы у всех заячьи, как у нас бараньи. Они сеют хлеб. От Витимы еще около четырехсот верст до Киренска, уездного города, да оттуда девятьсот шестьдесят верст до Иркутска. Теперь пост, и в Витиме толпа постников, окружавшая мою повозку, утащила у меня три рыбы, два омуля и стерлядь, а до рябчиков и другого скоромного не дотронулись: грех!

Кажется, я миновал дурную дорогу и не «хлебных» лошадей. «Тут уж пойдут *натуральные* кони и дорога торная, особенно от Киренска к Иркутску»,— говорят мне. «Натуральные»— значит — привыкшие, приученные, а не сборные. «Где староста?» — спросишь, приехав на станцию... «Коней ладит, барин. Эй, ребята! *заревите* или *гаркните* (то есть позовите) старосту»,— говорят потом.

Смотрители здесь не везде: они заведывают пятью станциями. Из них один на *Мухтуйской* станции — франт. Он двумя пальцами грациозно взял подорожную, согнув мизинец в кольцо. Форменный сюртук у него в рюмочку; сам расчесан. *Мухтуй* — называют здесь Парижем, потому что крестьяне (из ссыльных) ходят в пальто и танцуют кадрили. Но я пробыл на ней четверть часа и ничего этого не видал. Один проезжий мне сказывал, что, выехав рано утром, после проведенной здесь ночи, и вглядываясь в лицо своего ямщика, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить, где он его видел. «Я где-то видел тебя?» — спросил он, наконец, ямщика. «А вчера я был вашим визави в кадрили, на вечеринке»,— отвечал тот. Это уж не «натуральный» ямщик, говоря по-здешнему.

Вчера ночью я проехал так называемые *щеки*, одну из достопримечательностей Лены. Это — огромные, величественные утесы, каких я мало видал и на морских берегах. Едешь у подошвы, и повозки с лошадьми похожи на ползающих насекомых. Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорей миновать их. Щеки эти находятся между *Пьянобыковской* и *Частинской* станциями, верстах в тысяче двухстах от Иркутска. Какие названия станций! Всему есть местные причины, до которых археологу не трудно добраться по молодости края. Например, *Пьяным быком* прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. Спешу сообщить

вам это археологическое сведение, опасаясь, что оно погибнет от времени. Деревень еще мало: скоро пойдут, говорят, чаще, чем ближе к Иркутску. Встречаются часто прииска-тели, приказчики их, возы. Дорога уже лучше, торнее, морозы возобновились, да еще с ветром: несносно, спрятаться некуда.

Киренск. Решительно нельзя ехать: скоро очень везут. Только приедешь куда-нибудь, только скинешь с себя все и расположишься у теплой печки, как уж говорят, что лошади готовы. А все оттого, что кони *натуральные* и ямщики тоже. Не могу нахвалиться расторопностью и радушием здешних ямщиков: они не знают, как принять проезжего, где посадить, и угощают, чем богаты — сальной свечкой, лучиной, скамьей. Потом (это уж такой обычай) идут все спускать лошадей на Лену: «На руках спустим»,— говорят они, и каждую лошадь берут человека четыре, начинают вести с горы и ведут, пока лошади и сами смирно идут, а когда начинается самое крутое место, они все рассыпаются, и лошади мчатся до тех пор, пока захотят остановиться.

Слава богу! все стало походить на Россию: являются частые селения, деревеньки, Лена течет излучинами, и ямщики, чтоб не огибать их, едут через мыски и *заимки*, как называют небольшие слободки. В деревнях по улице бродят лошади: они или заигрывают с нашими лошадьми, или, испуганные звуком колокольчиков, мчатся что есть мочи вместе с рыжим поросенком в сторону. Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб — дым отечества! Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне... Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии.

Киренск город небольшой. «Где остановиться? — спросил меня ямщик,— есть у вас знакомые?» — «Нет».— «Так управа отведет».— «А кто живет по дороге?» — «Живет Синицын, Марков, Лаврушин».— «Поезжай к Синицыну».

Повозка остановилась у хорошенького домика. Я послал спросить, можно ли остановиться часа на два погреться? Можно. И меня приняли, сейчас угостили чаем и завтраком — и опять ничего не хотели брать.

В Киренске я запасся только хлебом к чаю и уехал. Тут уж я помчался быстро. Чем ближе к Иркутску, тем ямщики и кони *натуральнее*. Только подъезжаешь к станции, ямщики ведут уже лошадей, здоровых, сильных и дюжих на вид. Ямщики позажиточнее здесь, ходят в дохах из собачьей шерсти, в щегольских шапках. Тут ехал приискатель с семейством в двух экипажах да я — и всем доставало лошадей. На станциях

уже не с боязнью, а с интересом спрашивали: *бегут ли за нами еще подводы*?

Стали встречаться села с большими запасами хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя птица. Дорога все — Лена, чудесная, проторенная частой ездой между Иркутском, селами и приисками. «А что, смирны ли у вас лошади?» — спросишь на станции. «Чего не смирны? словно овцы: видите, запряжены, никто их не держит, а стоят».— «Как же так? а мне надо бы лошадей побойчее»,— говорил я, сбивая их. «Лошадей тебе побойчее?» — «Ну да».— «Да эти-то ведь настоящие черти: их и не удержишь ничем». И оно действительно так.

Верстах в четырехстах от Иркутска, начиная от Жегаловской станции, лошади на взгляд сухи, длинношеи, длинноплечи и не обещают силы. Они уныло стоят в упряжи, привязанные к пустым саням или бочке, преграждающей им самовольную отлучку со двора: но едва проезжие начнут садиться, они навострят уши, ямщики обступят их кругом, по двое держат каждую лошадь, пока ямщик садится на козлы. «Ты, парень,— говорят ему,— пошевеливайся, *коренняк-то* больно торопится». В самом деле, коренная поворачивает морду то направо, то налево, стараясь освободиться, пристяжные переминаются и встряхивают головой. Вот ямщик уселся, забрал вожжи, закрутил их около рук... «Ну!» — говорит он. Все мгновенно раздаются в сторону, и тройка разом выпорхнет из ворот, как птица, и мчит версты две, три вскачь, очертя голову, мотая головами, потом сажен сто резвой рысью, а там опять вскачь — и так до станции. Седок не имеет надобности побуждать ямщика, а ямщик — лошадей. Чуть лошади немного задумаются — ямщик поднимет над ними только руку или гикнет — и опять пошли. И не увидишь, как мелькнут двадцать пять верст.

К Иркутску все живее: много попадается возов; села большие, многолюдные; станционные домы чище. Крестьянские избы очень хорошие, во многих местах с иголочки.

На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было отчего: у носа постоянно торчал обледенелый шарф: кто-то будто держал за нос ледяными клещами. Боль невыносимая! Я спешил добраться до города, боясь разнемочься, и гнал более двухсот пятидесяти верст в сутки, нигде не отдыхал, не обедал.

От слободы Качуги пошла дорога степью; с Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрыл траву; лошади паслись и щипали ее, как весной. На последней станции все горы; но я ехал ночью и не видал Иркутска с «Веселой горы». Хотел было доехать бодро, но в дороге сон неодолим. Какое неловкое положение ни примете, как ни сядьте, задайте себе урок не заснуть, пугайте себя всякими опасностями — и все-таки

заснете, и проснетесь, когда экипаж остановится у следующей станции.

Я проснулся, однако, не на станции. «Что это? — спросил я, заметив строения, — деревня, что ли?» — «Нет, это Иркутск». — «А Веселая гора?» — «Э, уж давно проехали!»

В самую заутреню рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже — до свидания.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ[1]

I

11-го декабря 1873 года и 6-го января 1874 года небольшое общество морских офицеров собралось отпраздновать дружеским обедом двадцатилетнюю годовщину избавления их от гибели в означенные числа на море, при крушении в 1854 году в Японии фрегата «Диана».

На втором из этих обедов присутствовал и я, ласково приглашенный главным лицом этой группы, в которой было несколько офицеров, перешедших на фрегат «Диана» с фрегата «Паллада».

Многое возобновилось в памяти плавателей за этим обедом, много приведено было забытых подробностей путешествия, особенно при крушении «Дианы». Японская экспедиция была тут почти вся в сборе, в лице главных ее представителей, кроме бывшего командира «Паллады» (теперь вице-адмирала и сенатора И. С. Унковского), и я в этом знакомом мне кругу стал как будто опять плавателем и секретарем адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь за двадцать лет назад и доскажу, между прочим, о том, что сталось с «Палладой» и как заключилось дальнейшее плавание моих спутников после того, как я расстался с ними.

А заключилось оно грандиозной катастрофой, именно землетрясением в Японии и гибелью фрегата «Дианы», о чем в свое время газеты извещали публику. О том же подробно доносил великому князю, генерал-адмиралу, начальник экспедиции в Японию генерал-адъютант (ныне граф) Е. В. Путятин.

Бывают нередко страшные и опасные минуты в морских плаваниях вообще: было несколько таких минут и в нашем плава-

[1] Эти главы были помещены в литературном сборнике «Складчина», изданном в пользу голодающих самарцев. *(Прим. И. А. Гончарова.)*

нии до берегов Японии. Но такие ужасы, какие испытали наши плаватели с фрегатом «Диана», почти беспримерны в летописях морских бедствий.

Обязанность — изложить событие в донесении — лежала бы на мне, по моей должности секретаря при адмирале, если б я продолжал плавание до конца. Но я не жалею, что не мне пришлось писать рапорт: у меня не вышло бы такого капитального произведения, как рапорт адмирала («Морской сборник», июль, 1855).

Я могу только жалеть, что не присутствовал при эффектном заключении плавания и что мне не суждено было сделать иллюстрацию этого события под влиянием собственного впечатления, наряду со всем тем, что мне пришлось самому видеть и описать.

В то самое время, как мои бывшие спутники близки были к гибели, я в течение четырех месяцев проезжал десять тысяч верст по Сибири, от Аяна на Охотском море до Петербурга, и, в свою очередь, переживал, если не страшные, то трудные, иногда и опасные в своем роде минуты.

Я совершенно случайно избежал участи, постигшей моих товарищей. Открылась Крымская кампания. Это изменяло первоначальное назначение фрегата и цель его пребывания на водах восточного океана. Дело, начатое с Японией о заключении торгового трактата и об определении наших с нею границ на острове Сахалине, должно было, по необходимости, прекратиться. Адмирал, в последнее наше пребывание в Нагасаки, решил идти сначала к русским берегам Восточной Сибири, куда, на смену «Палладе», должен был прибыть посланный из Кронштадта фрегат «Диана»; потом зайти опять в Японию, условиться о возобновлении, после войны, начатых переговоров. Далее нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы принять по военным обстоятельствам: оставаться ли у своих берегов, для защиты их от неприятеля, или искать встречи с ним на открытом море. Может быть, пришлось бы, по неимению известий о неприятеле, оставаться праздно в каком-нибудь нейтральном порте, например в Сан-Франциско, и там ждать исхода войны.

Я испугался этой перспективы неизвестности и «ожидания» на неопределенный срок, где бы то ни было, у наших ли пустынных азиатских берегов, или хотя бы и в таком новом для меня и занимательном месте, как Сан-Франциско. Что там делать месяцы, может быть год или годы — ибо как было предвидеть конец войны? Тогда Pacific Rail Road [1] еще не было, чтобы пробраться через американский материк домой,— и мне пришлось бы отдать себя на волю случайных обстоятельств, то есть оставаться там без цели, праздным и лишним лицом.

---

[1] Тихоокеанская железная дорога *(англ.)*.

Притом два года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образа жизни.

Я намекнул адмиралу о своем желании воротиться. Но он, озабоченный начатыми успешно и неоконченными переговорами и открытием войны, которая должна была поставить его в неожиданное положение участника в ней, думал, что я считал конченым самое дело, приведшее нас в Японию. Он заметил мне, что не совсем потерял надежду продолжать с Японией переговоры, несмотря на войну, и что, следовательно, и мои обязанности секретаря нельзя считать конченными.

А того, что кончилось мое желание путешествовать, он не заметил, несмотря на мой глубокий вздох, которым я встретил его ответ.

Да я и не путешествовал, а плавал по «казенной надобности». Я был «командирован для исправления должности секретаря при адмирале во время экспедиции к нашим американским владениям»: так записано было у меня в формулярном списке. Следовательно, у меня и не было никакого права на «хочу» или «не хочу» оставаться или воротиться. Но потом, после нескольких разговоров с адмиралом об этом, он сам сжалился. Я, видимо, стал скучать, да, может быть, он и сам сомневался, удастся ли ему идти в Японию, так как на первом плане теперь была у него обязанность не дипломата, а воина. И вот он, неожиданно для меня, с свойственной ему добротой, однажды решил: «Бог с вами, поезжайте: я знаю, что здесь вам скучно будет теперь».

Я не заставил повторять себе этого приглашения и ни одну бумагу, в качестве секретаря, не писал так усердно, как предписание себе самому, от имени адмирала, «следовать до С.-Петербурга, и чтобы мне везде чинили свободный пропуск и оказываемо было в пути, со стороны начальствующих лиц, всякое содействие» и т. д.

Все это происходило в устьях Амура. Фрегат «Диана» уже пришел на смену «Палладе», которая отслужила свой срок, состарилась и притом избита была вытерпенными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды, и ураганом в Китайском море. Сначала ее хотели ввести в устье Амура, но по мелководью это оказалось невозможно. Ее оставили в Татарском проливе, в «Императорской бухте». Ее разоружили, то есть сняли с нее пушки, порох, такелаж, все, что можно было снять, а ветхий остов ее был оставлен под надзором моряков и казаков, составлявших наш пост в этой бухте, с тем, чтобы в случае прихода туда французов и англичан его затопили, не давая неприятелю случая похвастаться захватом русского судна.

Так «Паллада» и кончила свое существование в этой бухте: от нее оставалось одно днище, которое, вероятно, пригодилось на что-нибудь нашим людям, содержавшим там пост.

Во время этих хлопот разоружения, перехода с «Паллады» на «Диану», смены одной команды другою, отправления сверхкомплектных офицеров и матросов сухим путем в Россию я и выпросился домой. Это было в начале августа 1854 года.

Тогда же приехал к нам с Амура бывший генерал-губернатор Восточной Сибири, Н. Н. Муравьев, и, пробыв у нас дня два на фрегате, уехал в Николаевск, куда должна была идти и шкуна «Восток», для доставления его со свитою в Аян, на Охотском море. На этой шкуне я и отправился с фрегата и с радостью, что возвращаюсь домой, и не без грусти, что должен расстаться с этим кругом отличных людей и товарищей.

Помню еще теперь минуту комического страха, которую я испытал, впрочем напрасно, когда, отойдя на шкуне с версту от фрегата, мы стали на мель в устье Амурского лимана. Он весь усеян мелями, так что даже и легкая шкуна наша, и до Николаевска и после него до Охотского моря, беспрестанно становилась на мель. Но это ей, и всякому маленькому судну, нипочем. Она так же легко снималась с мелей, как и становилась на них. Я был внизу в каюте и располагался там с своими вещами, как вдруг бывший наверху командир ее, покойный В. А. Римский-Корсаков, крикнул мне сверху: «Адмирал едет к нам: не за вами ли?» Я на минуту остолбенел, потом побежал наверх, думая, что Корсаков шутит, пугает нарочно. Нет, не шутит: вон синяя гичка и в ней адмирал! «Да, верно передумал!» — с ужасом думал я, глядя на гичку.

Но адмирал приехал за каким-то другим делом, а более, кажется, взглянуть, как мы стоим на мели, или просто захотел прокатиться и еще раз пожелать нам счастливого пути — теперь я уже забыл. Тут мы окончательно расстались до Петербурга.

II

Обращаюсь к вышесказанным мною словам о страшных и опасных минутах, испытанных нами в плавании.

«Страшные» и «опасные» минуты — это не синонимы, как не синонимы и самые слова «страх» и «опасность» вообще, на море особенно. Страшных минут для иных вовсе не существует, для других — их множество. Это зависит от привычки или непривычки к морю, то есть от знакомства или незнакомства с его характером, с устройством и управлением корабля, и, наконец, от нервозности характера или от воспитания плавателя. Новичку все кажется страшно или сомнительно на корабле. «Пошел все наверх!» — скомандует боцман, и четыреста человек бросятся как угорелые, точно спасать кого-нибудь или сами спасаться от гибели, затопают по палубе, полезут на ванты: не знающий дела или нервозный человек вздрогнет, подумает, что случилась какая-нибудь беда. Ничего не бывало:

надо прибавить или убавить парусов или что-нибудь в этом роде. А там загремит бегущий по роульсам (колесцам) канат. Не то так от качки, как будто с отчаяния, распахнет свои дверцы какой-нибудь шкаф в каюте, и вся его внутренность, то есть посуда — с треском и звоном полетит во все стороны и разобьется вдребезги. Чего не представится испуганному воображению нового плавателя при этом треске! Минута — «страшная», но только разве для буфетчика, который не запер крепко дверцы и которому за это достанется.

Так и мне, не ходившему дотоле никуда в море далее Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать в сомнение при этих, по непривычке «страшных», но вовсе не «опасных» шумах, тресках, беготне, пока я не ознакомился с правилами и обычаями морского быта.

Другое дело «опасные» минуты: они не часты, даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. И мне случалось забывать или, по неведению, прозевать испугаться там, где бы к этому было больше повода, нежели при падении посуды из шкафа, иногда самого шкафа или дивана.

О многих «страшных» минутах я подробно писал в своем путевом журнале, но почти не упомянул об «опасных»: они не сделали на меня впечатления, не потревожили нерв — и я забыл их или, как сказал сейчас, прозевал испугаться, оттого, вероятно, прозевал и описать. Упомяну теперь два-три таких случая.

Идучи на фрегате «Паллада» из Кронштадта в Англию, мы проходили Зунд.

Я писал тогда, как неблагоприятно было наше плавание по Балтийскому морю, в октябрьскую холодную погоду, при противных ветрах и туманах. Кроме того, как я тоже писал, у нас умерло три человека от холеры. И привычным людям казалось трудно такое плавание, а мне, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня, от осеннего холода, возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте от внешнего воздуха с дождем, отчасти с морозом, защищала одна рама в маленьком окне.

Иногда я приходил в отчаяние. Как, при этих болях, я выдержу двух- или трехгодичное плавание? Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад. И к этому еще туманы, качка и холод!

С приближением к Дании воздух стал гораздо мягче, теплее, но туманы продолжались. При входе в Зунд мы, как всегда делается в узких проходах, вызывали лоцмана, чтобы провести нас проливом. Вызывают обыкновенно лоцманским флагом, а если флаг не виден, палят из пушки. Но, вероятно, флага, за туманом, с берегу не было видно (я теперь забыл эти подробности), а пушка могла палить и по другой причине: что бы там ни было, но лоцман не явился. Мы шли, так сказать, ощупью,

подвигаясь тихо, осторожно, но все же подвигались: нельзя стать в открытом море на одном месте. Когда туман прояснился, мы были уже в проливе.

Было тепло, мне стало легче, я вышел на палубу. И теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня картина чужих берегов, датского и шведского.

Обаяние, производимое величественною картинностью моря и берегов, возымело свое действие надо мною. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям: привыкну ли к морской жизни, дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе и пугает, пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно выразила мне одна француженка, во Франции, на морском берегу, во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос: «Любит ли она грозу?» — «Oh, monsieur, c'est ma passion [1],— восторженно сказала она,— mais... pendant l'orage je suis toujours mal à mon aise!» [2]

Капитан и так называемый «дед», хорошо знакомый читателям «Паллады», старший штурманский офицер (ныне генерал),— оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. «Дед» беспрестанно бегал в каюту, к карте, и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. Я все любовался на картину, особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли кучей и всё жались к шведскому берегу, а мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому.

Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед и не раз, конечно, назвал лоцмана за неявку «каторжным». Он побежал в двадцатый раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним.

Они, казалось, оба были чем-то поражены.

— Мы на мели!— дошли до моего слуха тихие слова.

Я пощупал ногой палубу: она перестала двигаться, ноги стояли будто на земле.

Я смотрел на все это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск моря, теплая погода и поглощала картина новых берегов, а еще более радовала затихшая головная и зубная боль.

— Какая благодать!— говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы.

Но что за суматоха поднялась на фрегате — «из-за таких пустяков!» — думал я.

Засвистали всех наверх, поднялась возня, шум: «Спускать шлюпку! завозить верпы!» — только и слышалось. Офицеры, кто спал, кто читал или писал, все принялись за дело.

---

[1] О сударь, это моя страсть *(франц.)*.

[2] но... во время грозы мне всегда не по себе! *(франц.)*

«Верпы» — маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажен от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это — своего рода домашний способ тушить огонь, до прибытия пожарной команды.

Но тяжелый наш фрегат, с грузом не на одну сотню тысяч пуд, точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже «нагрузившись» и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое «городовых» на помощь.

И фрегат, потрогиваемый слабыми верпами, как будто подастся, поползет, крякнет, раздадутся радостные восклицания — а он ни с места. Нет, надо послать за «городовым». И послали.

Смотрел я на всю эту суматоху и дивился: «Вот привычные люди, у которых никаких «страшных» минут не бывает, а теперь как будто боятся! На мели: великая важность! Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее, заколеблется море!» — думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный слепец!

— Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит?— Приступу нет: и не глядят!

Я помню только, что один из офицеров, барон Шлиппенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом, помочь нам сняться с мели.

Пока моряки переживали свою «страшную» минуту, не за себя, а за фрегат, конечно,— я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай, ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки!

«Какая благодать! — твердил я, ложась, как на берегу, дома, на неподвижную постель.— Завозите себе там верпы, а я усну, как давно не спал!»

Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мели и остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложило экспедицию, и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах.

Но под утро, сквозь сон, я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной и как нас потащил могучий «городовой» пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман.

На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, отчего все были в такой тревоге, тем более, что средство, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой? Тогда только объяснили мне техническую сторону дела: что значит, когда судно «при-

ткнется» к мели. Прежде всего, даже легкое приткновение что-нибудь попортит в киле или в обшивке (у нашего фрегата действительно, как оказалось при осмотре в Портсмутском доке, оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо-де к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его), а главное: если бы задул свежий ветер и развел волнение, тогда фрегат не сошел бы с мели, как я, по младенчеству своему в морском деле, полагал, а разбился бы в щепы!

«И опять-таки мы все воротились бы домой! — думал я, дополняя свою грезу, — берег близко, рукой подать: не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею». — Опять неопытность! Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходившимся волнам — это неизмеримая, как я убедился после, разница. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывает.

Таким образом «опасная» минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе не замечена.

Но не на море только, а вообще в жизни, на всяком шагу, грозят нам опасности, часто, к спокойствию нашему, не замечаемые. Зато, как будто для уравновешения хорошего с дурным, всюду рассеяно много «страшных» минут, где воображение подозревает опасность, которой нет. На море в этом отношении много клеплют напрасно, благодаря «страшным», в глазах непривычных людей, минутам. И я бывал в числе последних, пока не был на море.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всем случайностям, постигающим плавателей. Не из камня же они: люди! везде люди, и искренний моряк — а моряки почти все таковы — всегда откровенно сознается, что он не бывает вполне равнодушен к трудным или опасным случаям, переживаемым на море. Бывает у моряка и тяжело и страшно на душе, и он нередко, под влиянием таких минут, решает про себя — не ходить больше в море, лишь только доберется до берега. А поживши неделю, другую, месяц на берегу, — его неудержимо тянет опять на любимую стихию, к известным ему испытаниям.

Но моряк, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображения и не поддастся мелочным и малодушным опасениям на каждом шагу, по привычке к морю с ранней молодости.

III

По приходе в Англию забылись и страшные и опасные минуты, головная и зубная боли прошли благодаря неожиданно хорошей для тамошнего климата погоде, и мы, прожив там два месяца, пустились далее. Я забыл и думать о своем намерении

воротиться, хотя адмирал, узнав о моей болезни, соглашался было отпустить меня. Вперед, дальше, манило новое. Там, в заманчивой дали, было тепло и ревматизмы неведомы.

Упомяну кстати о пережитой мною в Англии морально страшной для меня минуте, которая, не относясь к числу морских треволнений, касается, однако же, все того же путешествия, и она задала мне тревоги больше всякой качки.

Адмирала с нами не было: он прежде фрегата уехал один в Англию делать разные приготовления к продолжительному плаванию и, между прочим, приобрел там шкуну «Восток», для плавания вместе с «Палладой», и занимался снаряжением ее и разными другими делами. В Петербурге я видел его мельком и уже на Портсмутском рейде явился к нему в качестве секретаря и последовал за ним в Лондон. Он сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург, между прочим изложить кратко историю нашего плавания до Англии, и вместе о том, как мы «приткнулись» к мели, и о необходимости ввести фрегат в Портсмутский док, отчасти для осмотра повреждения, а еще более для приспособления к фрегату, тогда еще нового, водоопреснительного парового аппарата.

Он мне показал бумаги, какие сам писал до моего приезда в Лондон. Я прочитал и увидел, что... ни за что не напишу так, как они написаны, то есть таким строгим, точным и сжатым стилем: просто не умею!

«Зачем ему секретарь? — в страхе думал я,— он пишет лучше всяких секретарей: зачем я здесь? Я — лишний!» Мне стало жутко. Но это было только начало страха. Это опасение я кое-как одолел мыслью, что если адмиралу не недостает уменья, то недостанет времени самому писать бумаги, вести всю корреспонденцию и излагать на бумагу переговоры с японцами.

Самое худшее было впереди, когда я вернулся из Лондона в Портсмут и когда надо было излагать в рапорте историю плавания до Англии и причины ввода фрегата в док. Я думал, что это ровно ничего не значит. Я помнил каждый шаг и каждую минуту — и вот взять только перо, да и строчить привычной рукой: было, мол, холодно, ветер дул, качало или было тепло, вот *приехали* в Данию... (боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле «приехали»: покраснеют! «Пришли», а не приехали!) Нет — вижу, не клеится. Ничего не выходит. «А вы возьмите,— говорят мне,— шканечный журнал, где шаг за шагом описывается все плавание». Кроме того, я взял еще книги и бумаги подобного содержания. Погляжу в одну, в другую бумагу или книгу, потом в шканечный журнал и читаю.

«Положили марсель на стеньгу»,— «взяли грот на гитовы»,— «ворочали оверштаг»,— «привели фрегат к ветру»,—«легли на правый галс»,— «шли на фордевинд»,— «обрасопили

реи»,— «ветер дул NNO или SW». А там следуют «утлегарь», «ахтер-штевень», «шкоты», «брассы», «фалы» и т. д., и т. д.

Этими фразами и словами, как бисером, унизан был весь журнал. «Боже мой, да я ничего не понимаю! — думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге,— зачем я поехал!»

Мне припомнилась школьная скамья, где сидя, бывало, мучаешься до пота над «мудреным» переводом с латинского или немецкого языков, а учитель, как теперь адмирал, торопит, спрашивает: «Скоро ли? готово ли? Покажите, говорит, мне, прежде нежели дадите переписывать...»

«Что я покажу?» — ворчал я в отчаянии, глядя на белую бумагу. Среди этих терминов из живого слова только и остаются несколько глаголов, и между ними еще вспомогательный: много помощи от него!

В трехнедельный переезд до Англии я, конечно, слышал часть этих выражений, но пропускал мимо ушей, не предвидя, что они, в течение двух-трех лет, будут моей почти единственной литературой.

«Зачем я здесь? А если уж понесло меня сюда, то зачем я не воспользовался минутным расположением адмирала отпустить меня и не уехал? Ах, хоть бы опять заболели зубы и голова!» — мысленно вопил я про себя, отвращая взгляд от шканечного журнала.

Кроме этих терминов, целиком перешедших к нам при Петре Великом из голландского языка и усвоенных нашим флотом, выработалось в морской практике еще свое особое, русское наречие. Например, моряки говорят и пишут: «приглубый берег», то есть имеющий достаточную глубину для кораблей. Это очень хорошо выходит по-русски, так же как, например, выражение: «остойчивый», «остойчивость», то есть прочное, надлежащее сиденье корабля в воде; «наветренная» и «подветренная» сторона или еще: «отстояться на якоре», то есть воспротивиться напору ветра и т. д. И таких очень много. Некоторые из этих выражений и подобные им, например «вытравливать (вместо выпускать) канат или веревку»,— и т. п., просятся в русскую речь и не в морском быту.

Но зато мелькают между ними — очень редко, конечно, и другие — с натяжкой, с насилием языка. Например, моряки пишут: «Такой-то фрегат где-нибудь в бухте стоял «мористо»: это уже не хорошо, но еще хуже — выходит «мористее», в сравнительной степени. Неморскому читателю, конечно, в голову не придет, что «мористо» значит близко, а «мористее» — ближе к открытому морю, нежели к берегу.

Это «мористо» напоминает двустишие какого-то проезжего (не помню, от кого я слышал), написанное им на стене, после ночлега в так называемой «чистой горнице» постоялого двора: «действительно, здесь чисто,— написал он,— но тараканисто, блохисто и клописто!»

Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка!

Не помню, как я разделался с первым рапортом: вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом — и бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком и многое не забыл и до сих пор.

IV

Теперь перенесемся в восточный океан, в двадцатые градусы северной широты, к другой «опасной» минуте, пережитой у Ликейских островов, о которой я ничего не сказал в свое время. Я не упоминаю об урагане, встреченном нами в Китайском море, у группы островов Баши, когда у нас зашаталась грот-мачта, грозя рухнуть и положить на бок фрегат. Об этом я подробно писал.

В путешествии своем, в главе «Ликейские острова», я вскользь упомянул, что два дня, перед приходом нашим на Ликейский рейд, дул крепкий ветер, мешавший нам войти,— и больше ничего. Вот этот ветер чуть не наделал нам большой беды.

Мы подходили к островам около вечера. На глазомер оставалось версты три, и нам следовало зайти за коралловый риф, кривой линией опоясывавший все видимое пространство главного, большого острова. Издали чуть-чуть видно было, как буруны перекатывались, играя пеной, через каменную гряду. В этой гряде было два входа на рейд: один узкий с севера, другой еще уже — с юга. Фрегату входить надо было очень верно, как карете въезжать в тесные ворота, чтобы не наткнуться на риф. Адмирал не решился в сумерки рисковать и предпочел подождать рассвета. Отдали якорь при тихом, ласковом ветре, в теплой, южной ночи — и заранее тешились надеждой завтра погулять по новым прелестным местам. Наши суда: «Князь Меншиков» и шкуна «Восток», кажется, оба (забыл теперь) уже пришли прежде нас и проскользнули в узкости легко. Небольшим судам, неглубоко сидящим в воде,— это нипочем. Офицеры оттуда приезжали к нам повидаться и уезжали.

Вдруг около полуночи задул ветер, не с берега, а с океана к берегу — а мы в этом океане стояли на якоре! Отдали другой якорь — и готовились бороться с неожиданным и внезапным врагом. Мы, не моряки, спали опять безмятежно и безмятежнее всех — я. По своему береговому, не совсем еще в морском деле окрепшему понятию, я все думал, что стоять на месте все-таки лучше, нежели ходить по морю. Оно, пожалуй, и так, если стоять во время шторма в закрытом порте, но мы стояли в океане! Так провели ночь, беспокойно, то есть они, моряки, следя за успехами ветра. На другой день, около полудня, ветер стал стихать: начали сниматься с якоря — и толь-

ко что второй якорь «встал» (со дна) и поставлены были марселя (паруса), как раздался крик вахтенного: «Дрейфует!» (тащит). «Отдать якорь!» — вслед за тем немедленно раздалась команда.

Все это, то есть команда и отдача якорей, уборка парусов, продолжалось несколько минут, но фрегат успело «подрейфовать», силой ветра и течения, версты на полторы ближе к рифам. А ветер опять задул крепче. Отдан был другой якорь (их всех четыре на больших военных судах) — и мы стали в виду каменной гряды. До нас достигал шум перекатывающихся бурунов.

Я — ничего себе: всматривался в открывшиеся теперь совсем подробности нового берега, глядел не без удовольствия, как скачут через камни, точно бешеные белые лошади, буруны, кипя пеной; наблюдал, как начальство беспокоится, как появляется иногда и задумчиво поглядывает на рифы адмирал, как все примолкли и почти не говорят друг с другом. Да и нечего говорить, разве только спрашивать: «Выдержат ли якорные цепи и канаты напор ветра, или нет?» Вопрос, похожий на гоголевский вопрос: «Доедет или не доедет колесо до Казани?» Но для нас он был и гамлетовским вопросом: быть или не быть? — Чуть ветер тише — ну, надежда: выдержит; а заревел и натянул канаты — сомнение и злоба. А фрегат так и возит взад и вперед, насколько позволяют канаты обоих якорей — и вот-вот, немножко еще — трах... и...

— И что? — допытывался я уже на другой день на рейде, ибо там, за рифами, опять ни к кому приступу не было: так все озабочены. Да почему-то и неловко было спрашивать, как бывает неловко заговаривать, где есть трудный больной в доме, о том: выздоровеет он или умрет?

— Как «что»! Лопни канаты — и через несколько минут фрегат наваливает на рифы: ну — и в щепы!

— Сейчас и в щепы! хорошо, положим — и в щепы. Конечно, это огромная беда, но все же люди спаслись бы...

— Тут, у этих рифов, при этом волнении? Подите!

Я не унывал нисколько, отчасти потому, что мне казалось невероятным, чтобы цепи — канаты двух, наконец трех и даже четырех якорей не выдержали, а главное — берег близко. Он, а не рифы, был для меня «каменной стеной», на которую я бесконечно и возлагал все упование. Это совершенно усыпляло всякий страх и даже подозрение опасности, когда она была очевидна. И я смотрел на всю эту «опасную» двухдневную минуту, как на дело, до меня нисколько не касающееся.

И только на другой день, на берегу, вполне вникнул я в опасность положения, когда в разговорах об этом объяснилось, что между берегом и фрегатом, при этих огромных, как горы, волнах, сообщения на шлюпках быть не могло; что если б фрегат разбился о рифы, то ни наши шлюпки — а их шесть-семь

и большой баркас,— ни шлюпки с других наших судов не могли бы спасти и пятой части всей нашей команды. При волнении они, то есть шлюпки, имели бы полный комплект гребцов, и места для других почти не было бы совсем, разве для каких-нибудь десяти человек на шлюпку, а нас всех было более четырехсот. И те десять человек стесняли бы свободные действия гребцов — и не при этом океанском волнении. «И просто не выгрести бы на таких волнах!» — говорили мне.

Бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна, а английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении.

Однако лейтенант Савич, чуть ли не на двойке (двухвесельной шлюпке) с двумя гребцами, изволил оттуда прокатиться до нас по этим волнам — «посмотреть, что вы тут делаете»,— сказал он. И, посидевши с нами, так же отправился назад. И теперь помню, как скорлупка-двойка вдруг пропадала из глаз, будто проваливалась в глубину между двух водяных гор, и долго не видно было ее, и потом всползала опять боком на гребень волны. Я не спускал глаз с Савича, пока он не скрылся за риф,— и, конечно, не у него, а у меня сжималось сердце страхом: «Вот, вот кувырнется и не появится больше!»

Провели мы еще, что называется, mauvais quart d'heure [1] в Татарском проливе, где мы медленно подвигались к устьям Амура. Офицеры на шлюпках посылались вперед для измерения глубины — и по их следам шел тихо и фрегат, беспрестанно останавливаясь, иногда в ожидании прилива. И вот в один вечер стали на якорь на хорошей глубине. По сторонам видны были оба берега, маньчжурский и острова Сахалина,— и очень близко. Мы расположились покойно. Утром стали сниматься с якоря, поставили грот-марсель, и в это время фрегат потащило несколько десятков сажен вперед. Якорь опять отдали. Глубины под килем все-таки оказалось достаточно, но далее подвигаться не решились, ожидая, что с приливом воды прибудет. Но оказалось, что мы стоим уже на большой воде, на приливе, и вскоре вода начала убывать, и когда убыла, под килем оказалось всего фута три-четыре воды.

Вот тут и началась опасность. Ветер немного засвежел, и помню я, как фрегат стал бить об дно. Сначала было два-три довольно легких удара. Затем так треснуло, что затрещали шлюпки на боканцах и марсы (балконы на мачтах). Все бывшие в каютах выскочили в тревоге, а тут еще удар, еще и еще. Потонуть было трудно: оба берега в какой-нибудь версте; местами, на отмелях, вода была по пояс человеку.

Но если бы удары продолжались чаще и сильнее, то корпус

---

[1] неприятные четверть часа *(франц.)*.

тяжело нагруженного и вооруженного фрегата, конечно, мог бы раздаться, и рангоут, то есть верхние части мачт и реи, полететь вниз. А так как эти деревья, кажущиеся снизу лучинками, весят которое двадцать, которое десять пуд,— то всем нам приходилось тоскливо стоять внизу и ожидать, на кого они упадут.

После смешно было вспоминать, как при каждом ударе и треске все мы проворно переходили одни на место других на палубе. «Страшновато» было! — как говорил, бывало, я в подобных случаях спутникам. Впрочем, все это продолжалось, может быть, часа два, пока не начался опять прилив, подбавивший воды, и мы снялись и пошли дальше.

V

Мы подвергались опасностям и другого рода, хотя не морским, но весьма вероятным тогда и обязательным, так сказать, для военного судна, которых не только нельзя было избегать, но должно было на них напрашиваться. Это встреча и схватка с неприятельскими судами.

Сколько помню, адмирал и капитан неоднократно решались на отважный набег к берегам Австралии, для захвата английских судов, и кажется, если не ошибаюсь, только неуверенность, что наша старая, добрая «Паллада» выдержит еще продолжительное плавание от Японии до Австралии, удерживала их, а еще, конечно, и неуверенность, по неимению никаких известий, застать там чужие суда. В последнее наше пребывание в Шанхае, в декабре 1853 г., и в Нагасаки, в январе 1854 г., до нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Турцией и Англией; мы знали только, из запоздавших газет и писем, что близко к тому — и больше пока ничего. Я помню, что в Шанхае ко мне все приставал лейтенант английского флота, кажется Скотт, чтоб я подержал с ним пари о том, будет ли война, или нет? Он утверждал, что не будет, я был противного мнения. Пари не состоялось, и мы ушли сначала в Нагасаки, потом в Манилу — все еще в неведении о том, в войне мы уже или нет,— и с каждым днем ждали известия и в каждом встречном судне предполагали неприятеля.

В этой неизвестности о войне пришли мы и в Манилу и застали там на рейде военный французский пароход. Ни мы, ни французы не знали, как нам держать себя друг с другом, и визитами мы не менялись, как это всегда делается в обыкновенное время. Пробыв там недели три, мы ушли, но перед уходом узнали, что там ожидали английскую эскадру.

Так как мы могли встретить ее или французские суда в море, и, может быть, уже с известиями об открытии военных действий,— то у нас готовились к этой встрече и приводили

фрегат в боевое положение. Капитан поговаривал о том, что в случае одоления превосходными неприятельскими силами необходимо-де поджечь пороховую камеру и взорваться.

Все были более или менее в ожидании, много говорили, готовились к бою, смотрели в зрительные трубы во все стороны.

Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти и ко всему, невозмутимо покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не предполагал их нигде и ни в ком: ни на море, ни на суше, ни в людях, ни в кораблях. У него была вражда только к одной большой пушке, как совершенно ненужному в его глазах предмету, которая стояла в его каюте и отнимала у него много простора и свету.

Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств — и в сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен, приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освященная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко: ему не нужно было уменья — он иным быть не мог. Он не вмешивался никогда не в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных, неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много — и своими познаниями и нравственным влиянием на весь кружок плавателей, не поучениями и проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой души.

В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора.

Кажется, я смело могу поручиться за всех моих товарищей плавания, что ни у кого из них не было с этою прекрасною личностью ни одной неприятной, даже досадной, минуты... А если бывали, то вот какого комического свойства. Например, помню, однажды, гуляя со мной на шканцах, он вдруг... плюнул на палубу. Ужас!

Шканцы — это нечто вроде корабельной скинии, самое парадное, почти священное место. Палуба — скоблится, трется кирпичом, моется почти каждый день и блестит, как стекло.

А отец Аввакум — расчихался, рассморкался и — плюнул. Я помню взгляд изумления вахтенного офицера, брошенный на него, потом на меня. Он сделал такое же усилие над собой, чтоб воздержаться от какого-нибудь замечания, как я — от смеха. «Как жаль, что он не матрос!» — шепнул он мне потом, когда отец Аввакум отвернулся. Долго помнил эту минуту офицер, а я долго веселился ею.

В другой раз, где-то в поясах сплошного лета, при безветрии, мы прохаживались с отцом Аввакумом все по тем же шкан-

цам. Вдруг ему вздумалось взобраться по трехступенной лесенке на площадку, с которой обыкновенно, стоя, командует вахтенный офицер. Отец Аввакум обозрел море и потом, обернувшись спиной к нему, вдруг... сел на эту самую площадку «отдохнуть», как он говаривал.

Опять скандал! Капитана наверху не было — и вахтенный офицер смотрел на архимандрита — как будто хотел его съесть; но не решался заметить, что на шканцах сидеть нельзя. Это, конечно, знал и сам отец Аввакум, но по рассеянности забыл, не приписывая этому никакой существенной важности. Другие, кто тут был, улыбались — и тоже ничего не говорили. А сам он не догадывался и, «отдохнув», стал опять ходить.

При кротости этого характера и невозмутимо покойном созерцательном уме он не легко поддавался тревогам. Преследование на море врагов нами или погоня врагов за нами казались ему больше фантазиею адмирала, капитана и офицеров. Он равнодушно глядел на все военные приготовления и продолжал, лежа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для моциона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил.

Вдруг однажды раздался крик: «Пароход идет! Дым виден!»

Поднялась суматоха. «Пошел по орудиям!» — скомандовал офицер. Все высыпали наверх. Кто-то позвал и отца Аввакума. Он неторопливо, как всегда, вышел и равнодушно смотрел, куда все направили зрительные трубы и в напряженном молчании ждали, что окажется.

Скоро все успокоились: это оказался не пароход, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее из него жир. От этого и дым. Неприятель все не показывался. «Бегает нечестивый, ни единому же ему гонящу!» — слышу я голос сзади себя.

Это отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожидаемую встречу с врагами. Я засмеялся, и он тоже. «Да, право, так!»— заметил он, спускаясь неторопливо опять в каюту.

VI

Но как все страшное и опасное, испытываемое многими плавателями, а также испытанное и нами в плавании до Японии, кажется бледно и ничтожно в сравнении с тем, что привелось испытать моим спутникам в Японии! Все, что произошло там, представляет ряд страшных, и опасных, и гибельных вместе,— не минут, не часов, а дней и ночей.

Много ужасных драм происходило в разные времена с кораблями и на кораблях. Кто ищет в книгах сильных ощущений, за неимением последних в самой жизни, тот найдет большую пищу для воображения в «Истории кораблекрушений»,

где в нескольких томах собраны и описаны многие случаи замечательных крушений у разных народов. Погибали на море от бурь, от жажды, от голода и холода, от болезней, от возмущений экипажа.

Но никогда гибель корабля не имела такой грандиозной обстановки, как гибель «Дианы», где великолепный спектакль был устроен самой природой. Не раз на судах бывали ощущаемы колебания моря от землетрясения,— но, сколько помнится, больших судов от этого не погибало.

Пересев на «Диану» и выбрав из команды «Паллады» надежных и опытных людей, адмирал все-таки решил попытаться зайти в Японию, и если не окончить, то закончить на время переговоры с тамошним правительством и условиться о возобновлении их по окончании войны, которая уже началась, о чем получены были, наконец, известия.

Перед отплытием из Татарского пролива время, с августа до конца ноября, прошло в приготовлениях к этому рискованному плаванию, для которого готовились припасы на непредвиденный срок, ввиду ожидания встречи с неприятелем.

По окончании всех приготовлений адмирал, в конце ноября, вдруг решился на отважный шаг: идти в центр Японии, коснуться самого чувствительного ее нерва, именно в город Оосаки, близ Миако, где жил микадо, глава всей Японии, сын неба, или, как неправильно прежде называли его в Европе, «духовный император». Там, думал не без основания адмирал, японцы струсят неожиданного появления иноземцев в этом закрытом и священном месте и скорее согласятся на предложенные им условия.

Так и сделал. «Диана» явилась туда — и японцы действительно струсили, но, к сожалению, это средство не повело к желаемым результатам. Они стали просить удалиться и все берега свои заставили рядами лодок, так что сквозь них надо было пробиваться силою, а к этому средству адмирал не имел полномочия прибегать.

Японцы тут ни о каких переговорах не хотели и слышать, а приглашали немедленно отправиться в город Симодо, в бухте того же имени, лежащей в углу огромного залива Иеддо, при выходе в море. Туда, по словам их, отправились и уполномоченные для переговоров японские чиновники. Туда же чрез несколько дней направилась и «Диана». В этой бухте предстояло ей испытать страшную катастрофу.

Здесь я кладу перо как путешественник и автор. Далее меня не было с плавателями, и я являюсь только редактором некоторых их воспоминаний, рассказов и донесений о крушении «Дианы» и о возвращении в Россию.

Постараюсь сделать это в нескольких общих чертах, как можно короче, чтобы не лишать большого интереса тех из читателей, которые пожелают ознакомиться с событием из са-

мого рапорта адмирала, где все изложено — полно, подробно и весьма просто и удобопонятно, несмотря на обилие морских терминов.

Все это событие и последствия его принадлежат истории нашего мореплавания, а теперь пока они теряются на страницах малодоступного большинству публики специального морского журнала.

«Одним из тех ужасных, редких явлений в природе, случающихся, однако, чаще в Японии, нежели в других странах, совершилась гибель фрегата «Диана». Так начинается рапорт адмирала к великому князю генерал-адмиралу,— и затем, шаг за шагом, минута за минутой, повествует о грандиозном событии и его разрушительном действии на берегах и на фрегате.

Прочитав это повествование и выслушав изустные рассказы многих свидетелей, можно наглядно получить вульгарное изображение события, в миниатюре, таким образом: возьмите большую круглую чашку, налейте до половины водой и дайте чашке быстрое, круговращательное движение — а на воду пустите яичную скорлупу или представьте себе на ней миниатюрное суденышко, с полным грузом и людьми. Вот положение судна и людей. Но в чашке нет ни скал, стоящих в виде островов посередине, ни угловатых берегов— а это все было в бухте Симодо.

Надо заметить, что бухта Симодо не закрыта с моря и, следовательно, не может служить безопасным местом для стоянки судов.

11 декабря, в 10 часов утра (рассказывал адмирал), он и другие, бывшие в каютах, заметили, что столы, стулья и прочие предметы несколько колеблются, посуда и другие вещи прискакивают, и поспешили выйти наверх. Все, по-видимому, было еще покойно. Волнения в бухте не замечалось, но вода как будто бурлила или клокотала.

Около городка Симодо течет довольно быстрая горная речка: на ней было несколько джонок (мелких японских судов). Джонки вдруг быстро понеслись не по течению, а назад, вверх по речке. Тоже необыкновенное явление: тотчас послали с фрегата шлюпку с офицером, узнать, что там делается. Но едва шлюпка подошла к берегу, как ее водою подняло вверх и выбросило. Офицер и матросы успели выскочить и оттащили шлюпку дальше от воды. С этого момента начало разыгрываться страшное и грандиозное зрелище.

Вот рисунок этой картины в двух-трех главных штрихах.

Вследствие колебания морского дна у берегов Японии в бухту Симодо влился громадный вал, который коснулся берега и отхлынул, но не успел уйти из бухты, как навстречу ему, с моря, хлынул другой вал, громаднее. Они столкнулись, и не вместившаяся в бухте вода пришла в круговоротное дви-

жение и начала полоскать всю бухту, хлынув на берега, вплоть до тех высот, куда спасались люди из Симодо. Второй вал покрыл весь Симодо и смыл его до основания. Потом еще вал, еще и еще. Круговращение продолжалось с возрастающей силой и ломало, смывало, топило и уносило с берегов все, что еще уцелело. Из тысячи домов осталось шестнадцать, и погибло около ста человек. Весь залив покрылся обломками домов, джонок, трупами людей и бесчисленным множеством разнообразнейших предметов: жилищ, утвари и проч.

Все это прибило к одному из берегов в такой массе, что образовало, по словам рапорта адмирала, «как бы продолжение берега».

А что делалось с фрегатом в это время?

По изустным рассказам свидетелей, поразительнее всего казалось переменное возвышение и понижение берега: он то приходил вровень с фрегатом, то вдруг возвышался саженей на шесть вверх. Нельзя было решить, стоя на палубе, поднимается ли вода, или опускается самое дно моря? Вращением воды кидало фрегат из стороны в сторону, прижимая на какую-нибудь сажень к скалистой стене острова, около которого он стоял, и грозя раздробить, как орех, и отбрасывая опять на середину бухты.

Потом стало ворочать его то в одну, то в другую сторону с такой быстротой, что в тридцать минут, по словам рапорта, было сделано им сорок два оборота! Наконец начало бить фрегат, по причине переменной прибыли и убыли воды, об дно, о свои якоря, и класть то на один, то на другой бок. И когда во второй раз положило — он оставался в этом положении с минуту...

И страх, и опасность, и гибель — все уложилось в одну эту минуту!

Все уцепились, кто за что мог. Все оцепенело в молчании. Потом раздались слова молитвы: все молились, кто словами, и все, конечно, внутренно, так усердно, как, по пословице, только молятся на море!

Бог услышал молитвы моряков, и «провидению,— говорит рапорт адмирала,— угодно было спасти нас от гибели». Вода пошла на прибыль, и фрегат встал, но в каком положении!

Не все, однако, избавились и от гибели, один матрос поплатился жизнью, а двое искалечены. Две неприкрепленные пушки, при наклонении фрегата, упали и убили одного матроса, а двум другим, и, между прочим, боцману Терентьеву, раздробили ноги.

Помню я этого Терентьева, худощавого, рябого, лихого боцмана, всегда с свистком на груди и с линьком или лопарем в руках. Это тот самый, о котором я упоминал в начале путешествия и который угощал моего Фаддеева то линьком, то лопарем по спине, когда этот последний, радея мне (без моей прось-

бы, а всегда сюрпризом), таскал украдкой пресную воду на умыванье, сверх положенного количества, из цистерн, во время плавания в Немецком море.

Несколько часов продолжалось это возмущение воды при безветрии и, наконец, стихло. По осмотре фрегата он оказался весь избит. Трюм был наполнен водой, подмочившей провизию, амуницию и все частное добро офицеров и матросов. А главное, не было более руля, который, оторвавшись вместе с частью фальш-киля, проплыл, в числе прочих обломков, мимо фрегата — «продолжать берег», по выражению адмирала.

Фрегат разоружили: свезли все шестьдесят орудий на берег и отдали на сохранение японцам, объяснив им, как важно для нас, чтобы орудия не достались неприятелю. И японцы укрыли и сохранили их тщательно, построив для того особые сараи.

Вообще они, несмотря на то, что потерпели сами от землетрясения, оказали нашим всевозможную помощь и послуги. Японские власти присылали провизию и снабжали всем нужным.

Наш государь оценил их услуги и, в благодарность за участие к русским плавателям, подарил все 60 орудий японскому правительству.

Но и наши не оставались в долгу. В то самое время, когда фрегат крутило и било об дно, на него нанесло напором воды две джонки. С одной из них сняли с большим трудом и приняли на фрегат двух японцев, которые неохотно дали себя спасти, под влиянием строгого еще тогда запрещения от правительства сноситься с иноземцами. Третий товарищ их решительно побоялся, по этой причине, последовать примеру первых двух и тотчас же погиб, вместе с джонкой. Сняли также с плывшей мимо крыши дома старуху.

Когда утихло, адмирал послал на развалины Симодо К. Н. Посьета и доктора, подать помощь раненым. Но, ради все того же страха, раненых спрятали и объявили, что их нет. Но наши успели мельком заметить их.

Так кончился первый акт этой морской драмы,— первый потому, что «страшные», «опасные» и «гибельные» минуты далеко не исчерпывались землетрясением. Второй акт продолжался с 11-го декабря 1854 по 6-е января 1855 г., когда плаватели покинули фрегат, или, вернее, когда он покинул их совсем, и они буквально «выбросились» на чужой, отдаленный от отечества берег.

Фрегат повели, приделав фальшивый руль, осторожно, как носят раненого в госпиталь, в отысканную в другом заливе, верстах в 60 от Симодо, закрытую бухту Хеда, чтобы там повалить на отмель, чинить — и опять плавать. Но все надежды оказались тщетными. Дня два плаватели носимы были бурным ветром по заливу и, наконец, должны были с неимоверными

усилиями перебраться все (при морозе в 4°) сквозь буруны, на шлюпках, по канату, на берег, у подошвы японского Монблана, горы Фудзи, в противуположной стороне от бухты Хеда.

С наступлением тихой погоды хотели, наконец, посредством японских лодок, дотащить кое-как пустой остов до бухты — и все-таки чинить. Если фрегат держался еще на воде в тогдашнем своем положении, так это, сказывал адмирал, происходило, между прочим, оттого, что цистерны в трюме, обыкновенно наполненные пресной водой, были тогда пусты, и эта пустота и мешала ему погрузиться совсем.

Сто японских лодок тянули его: оставалось верст пять-шесть до места, как вдруг налетел шквал, развел волнение: все лодки бросили внезапно буксир и едва успели, и наши офицеры, провожавшие фрегат, тоже, укрыться по маленьким бухтам. Пустой, покинутый фрегат качало волнами с боку на бок...

Ночью нельзя было следить за ним, а наутро его уже не было видно...

Когда читаешь донесения и слушаешь рассказы о том, как погибала «Диана», хочется плакать, как при рассказе о медленной агонии человека.

Вот эти два числа — 11 декабря, день землетрясения, и 6 января, высадки на берег, как знаменательные дни в жизни плавателей, и были поводом к собранию нашему за двумя вышеупомянутыми обедами.

Наконец третье действие — это возвращение путешественников, тоже под страхом и опасностями своего рода, разными путями, в Россию...

Так кончилось крушение «Дианы», которое займет самое видное место в летописи морских бедствий.

VII

К этому остается прибавить немногое, что еще рассказывали мне мои бывшие спутники о дальнейших своих похождениях и о заключении этой замечательной во всех отношениях экспедиции.

От подошвы Фудзи наши герои, «по образу пешего хождения», через горы, направились в ту же бухту Хеда, куда намеревались было ввести фрегат, и расположились там на бивуаках (при 4° мороза, не забудьте!), пока готовились бараки для их помещения, временного и по возможности не долгого, потому что в положении Робинзонов Крузе пятистам человекам долго оставаться нельзя. Надо было изыскать средство уйти оттуда каким бы то ни было образом. Дожидаться ответа на рапорт, пока он придет в Россию, пока оттуда вышлют другое судно, чего в военное время и нельзя было сделать,— значит нести все тягости какого-то плена. Не затем прошли

сквозь все гибели, чтобы киснуть на полудиком прибрежье, сложив руки, когда «наши там... дерутся!» — думали плаватели.

Решились искать помощи в самих себе — и для этого, ни больше ни меньше, положил адмирал построить судно собственными руками, с помощью, конечно, японских услуг, особенно по снабжению всем необходимым материалом: деревом, железом и проч. Плотники, столяры, кузнецы были свои; в команду всегда выбираются люди, знающие все необходимые в корабельном деле мастерства. Так и сделали. Через четыре месяца уже готова была шкуна, названная в память бухты, приютившей разбившихся плавателей, «Хеда».

Из донесений известно, что наши плаватели разделились на три отряда: один отправился, на нанятом американском судне, к устьям Амура, другой на бременском судне был встречен английским военным судном. Но англичане приняли наших не за военнопленных, а за претерпевших кораблекрушение и, разделив по своим судам, доставили их, кругом мыса Доброй Надежды, в Европу.

Наконец сам адмирал, на самодельной шкуне «Хеда», с остальною партиею около сорока человек, прибыл тоже, едва избежав погони английского военного судна, в устья Амура и по этой реке поднялся вверх до русского поста Усть-Стрелки, на слиянии Шилки и Аргуни, и достиг Петербурга.

Чего стоило одно странствование по этой пустынной, тогда еще не исследованной нашей Миссисипи!

Сам адмирал, капитан (теперь адмирал) Посьет, капитан Лосев, лейтенант Пещуров и другие да человек осьмнадцать матросов составляли эту экспедицию, решившуюся в первый раз, со времени присоединения Амура к нашим владениям, подняться вверх по этой реке на маленьком пароходе, на котором в первый же раз спустился по ней генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев.

Последний воротился тогда в Иркутск сухим путем (и я примкнул к его свите), а пароход и при нем баржу, открытую большую лодку, где находились не умещавшиеся на пароходе люди и провизия, предоставил адмиралу. Предполагалось употребить на это путешествие до Шилки и Аргуни, к месту слияния их, в местечко Усть-Стрелку, месяца полтора, и провизии взято было на два месяца, а плавание продолжалось около трех месяцев.

И чего не случалось с нашими странниками! То вдруг воды в реке нет и плыть нельзя, то сильно несет течением. То дров в изобилии, то один мелкий хворост по берегам, негодный и на лучину, нечем пищу варить и топить пароход! В иных местах у туземцев: мангу, орочан, гольдов, гиляков и других, о которых европейские этнографы, может быть, еще и не подозревают, можно было выменивать сушеное оленье мясо, просо

на бисер, гвозди и т. п. А в других местах было или совсем пусто по берегам, или жители, завидев, особенно ночью, извергаемый пароходом дым и мириады искр, в страхе бежали дальше и прятались, так что приходилось голодным плавателям самим входить в их жилища и хозяйничать, брать провизию и оставлять бусы, зеркальца и т. п. предметы взамен. Сами ловили рыбу и иногда роскошничали за стерляжьей ухой, особенно в первой половине плавания.

Когда не было леса по берегам, плаватели углублялись в стороны, для добывания дров. Матросы рубили дрова, офицеры таскали их на пароход. Адмирал порывался разделять их заботы, но этому все энергически воспротивились, предоставив ему более легкую и почетную работу, как-то: накрывать на стол, мыть тарелки и чашки.

В последние недели плавания все средства истощились: по три раза в день пили чай и ели по горсти пшена — и только. Достали было однажды кусок сушеного оленьего мяса, но не свежего, с червями. Сначала поусумнились есть, но потом подумали хорошенько, вычистили его, вымыли и... «стали кушать», «для примера, между прочим, матросам»,— прибавил К. Н. Посьет, рассказывавший мне об этом странствии. «Полно, так ли,— думал я, слушая,— для примера ли: не по пословице ли: «голод не тетка»?»

За два дня до прибытия на Усть-Стрелку, где был наш пост, начальник последнего, узнав от посланного вперед орочанина о крайней нужде плавателей, выслал им навстречу все необходимое в изобилии и, между прочим, теленка. Вот только где, пройдя тысячи три верст, эти не блудные, а блуждающие сыны добрались, наконец, до упитанного тельца!

Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся «Одиссея» и «Энеида»[1]— и ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых «*иных уж нет, а те далече*!» [2]

Одних унесла могила: между прочим, архимандрита Аввакума. Этот скромный ученый, почтенный человек ездил потом с графом Путятиным в Китай, для заключения Тсянзинского трактата, и по возвращении продолжал оказывать пользу по сношениям с китайцами, по знакомству с ними и с их языком, так как он прежде прожил в Пекине лет пятнадцать при нашей миссии. Он жил в Александро-Невской лавре и скончался там лет восемь или десять тому назад.

---

[1] «Энэида» — история странствований легендарного троянского героя Энея, изложенная в эпической поэме римского поэта Вергилия (70—19 гг. до н. э.) «Энеида».

[2] Из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (глава восьмая), строфа LI).

Нет более в живых также капитана (потом генерала) Лосева, В. А. Римского-Корсакова, бывшего долго директором морского корпуса, обоих медиков, Арефьева и Вейриха, лихого моряка Савича, штурманского офицера Попова [1].

Из остающихся в живых — старшие занимают высокие посты в морской и в других службах, осыпаны отличиями,— младшие на пути к отличиям.

С самыми лучшими чувствами симпатии и добрых воспоминаний обращаюсь я постоянно к этой эпохе плавания по морям, к кругу этих отличных людей, и встречаюсь с ними всегда, как будто не расставался никогда.

Мне поздно желать и надеяться плыть опять в дальние страны: я не надеюсь и не желаю более. Лета охлаждают всякие желания и надежды. Но я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей и — если представится им случай идти (помните, «идти», а не «ехать») на корабле в отдаленные страны — предложить совет: ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений. Читатель, может быть, возразит на этот совет, что довольно и того, что написано в этой главе, чтобы навсегда отбить охоту к морским путешествиям. Напротив, именно этот рассказ и подтверждает мой совет. Как же: в то время, когда от землетрясения падали города и селения, валились скалы, гибли дома и люди на берегу, фрегат все держался, и из пятисот человек погиб один! И после, потеряв корабль, плаватели отделались благополучно и все добрались домой и большая часть живут и здравствуют доныне.

Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута и после обедни сказал речь, в которой остерегал от этих страхов. Он исчислил опасности, какие можем мы встретить на море,— и, напугав сначала порядком, заключил тем, что «и жизнь на берегу кишит страхами, опасностями, огорчениями и бедами,— следовательно, мы меняем только одни беды и страхи на другие».

И это правда. Обыкновенно ссылаются на то, как много погибает судов. А если счесть, сколько поездов сталкивается на железных дорогах, сваливается с высот, сколько гибнет людей в огне пожаров и т. д., то на которой стороне окажется перевес? И сколько вообще расходуется бедного человечества по мелочам, в одиночку, не всегда в глуши каких-нибудь пустынь, лесов, а в многолюдных городах!

«А все же «страшновато» как-то на море: сомнения, неуверенность, одни ожидания опасностей чего стоят!»— скажут на это.

---

[1] К этому скорбному списку надо прибавить скончавшихся в последние годы И. П. Белавенеца, служившего в магнитной обсерватории в Кронштадте, и А. А. Халезова, известного под названием «деда» в этих очерках плавания. (*Прим. И. А. Гончарова.*)

Да, тут есть правда; но человеку врожденна и мужественность: надо будить ее в себе и вызывать на помощь, чтобы побеждать робкие движения души и закалять нервы привычкою. Самые робкие характеры кончают тем, что свыкаются. Даже женщины служат хорошим примером тому: сколько англичанок и американок пускаются в дальние плавания и выносят, даже любят, большие морские переезды!

Зато какие награды! Дальнее плавание населит память, воображение прекрасными картинами, занимательными эпизодами, обогатит ум наглядным знанием всего того, что знаешь по слуху,— и, кроме того, введет плавателя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей.

И этого всего потом из памяти и сердца нельзя выжить во всю жизнь: и не надо — как редких и дорогих гостей.

КОНЕЦ

ПРИМЕЧАНИЯ

В конце 1852 года из Петербурга в кругосветное плавание отправился военный парусный корабль — фрегат «Паллада». Начальнику экспедиции на «Палладе» был нужен секретарь — «человек, который бы хорошо писал по-русски, литератор» («Литературное наследство», № 22—24, стр. 344). Этим секретарем стал И. А. Гончаров, уже известный в то время писатель, автор ряда литературных произведений, в том числе романа «Обыкновенная история».

Согласно официальной версии, фрегат должен был посетить русские владения в Америке (то есть принадлежавшую в то время России Аляску и острова у ее берегов). Однако подлинной задачей экспедиции было установление связей с далекой Японией, в то время отсталым феодальным государством, не имевшим почти никаких отношений со странами Европы и Америки. Лишь немногим из европейцев удавалось в то время побывать в Японии. Японские власти всеми силами препятствовали их проникновению в свою страну. В начале XIX века русский посланник Н. П. Резанов (1764—1807) в течение ряда лет (1803—1805) вел переговоры с японским правительством о торговом договоре, но эти переговоры ни к чему не привели. Немного позже замечательный русский мореплаватель В. М. Головнин (1776—1831) во время одного из своих путешествий был захвачен на Курильских островах в плен японцами и некоторое время жил в Японии (о пребывании в японском плену Головнин рассказал в книге «Записки флота капитана Головнина о приключениях его у японцев в 1811, 1812, 1813 годах.С приобщением замечаний его о японском государстве и народе». СПб. 1816).

Начальником русской экспедиции в Японию на «Палладе» был назначен Е. В. Путятин (1803—1888) — моряк, дипломат, государственный деятель, активный проводник политики царизма в Азии. (Позднее, в 1861 году, он приобрел печальную известность как инициатор ряда реакционных мер в области высшего образования, вызвавших резкий протест передовой русской общественности.)

Командовал «Палладой» И. С. Унковский (1822—1886) — выдающийся командир русского парусного флота, ученик замечательного флото-

водца и ученого, одного из первооткрывателей Антарктиды — адмирала М. П. Лазарева (1788—1851). В путешествии участвовали видные моряки, путешественники и ученые, такие как А.А. Халезов (дед), совершавший на «Палладе» свое четвертое кругосветное путешествие, участник экспедиции Г. И. Невельского, которая открыла пролив между азиатским материком и Сахалином (Татарский пролив); К. Н. Посьет (1819—1899) — впоследствии почетный член Академии наук и Географического общества, автор «Писем с кругосветного плавания» («Морской сборник», 1853; «Отечественные записки», 1855); крупный востоковед, в совершенстве владевший китайским языком,— Д. С. Честной (о. Аввакум, 1801—1866).

Кроме «Паллады», в состав эскадры входили шкуна «Восток», купленная в Англии, под командованием В. А. Римского-Корсакова (1822—1871) — впоследствии адмирала, начальника Морского училища, автора «Дневника из японской экспедиции» и «Писем о Китае» («Новый мир», 1956, № 6); корвет «Оливуца», под командованием Н. Н. Назимова (1822—1867) и транспортное судно «Князь Меншиков», под командованием И. В. Фуругельма, присоединившиеся к экспедиции на островах Бонин.

Во всех дореволюционных изданиях «Фрегата «Паллада» имена и фамилии участников экспедиции были зашифрованы начальными буквами. Читатели, незнакомые с подлинной историей экспедиции, не воспринимали героев произведения Гончарова как изображение определенных лиц. И действительно, это прежде всего — художественно воссозданные живые характеры русских моряков и путешественников, как известных, так и неизвестных, ничем не прославившихся. Перед читателями путевых очерков во всей своей жизненности и характерности предстают и легкомысленный юнец Зеленый (впоследствии одесский губернатор-самодур), и светский сибарит Криднер, и хозяйственный, вызывающий большие симпатии, Тихменев, и простой русский матрос, костромской крестьянин, Фаддеев, и многие другие матросы и офицеры — весь тот, по словам Гончарова, «маленький русский мир, с четырьмястами обитателей, носившийся два года по океанам».

Первоначально предполагалось, что «Паллада» направится в Японию наиболее коротким путем — вокруг Америки, обогнув южную ее оконечность — мыс Горн. Однако экспедиция задержалась в Петербурге и затем в Англии,где фрегат вынужден был стать на капитальный ремонт.В результате кораблю пришлось бы плыть между Южной Америкой и Антарктидой в то время, когда в южных морях разыгрывались сильнейшие бури и штормы, которых устаревший и износившийся фрегат мог не выдержать. Поэтому решено было плыть вокруг Африки, более длинным, но более безопасным путем. (Правда, и на этом пути фрегат встретился с тяжелыми штормами у мыса Доброй Надежды и в Китайском море, когда офицеры и матросы проявили подлинный героизм, спасая фрегат от почти неминуемой гибели.)

«Паллада» достигла берегов Японии в августе 1853 года. Переговоры о торговом договоре, которые вел Путятин, продолжались до января 1854 года (с перерывом от середины ноября до середины декабря 1853 года: в это время фрегат посетил Шанхай). В январе 1854 года, в связи с Крымской войной, так и не добившись заключения договора, экспедиция по-

кинула Японию. После этого «Паллада» побывала на островах Лю-чу (Ликейских), в Маниле на Филиппинах и затем направилась к берегам Сибири. Здесь-то, в устье Амура, летом 1854 года и закончилось плавание фрегата. Гончарову, чтобы добраться до Петербурга, пришлось проделать длинный и трудный путь на лошадях через Сибирь.

Гончаров, еще готовясь к кругосветному плаванию, хорошо понимал, что от него по возвращении будут ждать рассказа о таком незаурядном по тем временам событии. «Трудно теперь съездить и в Италию без ведома публики тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом...» — пишет Гончаров в первой главе «Фрегата «Паллада». Он замечал в одном из писем перед отплытием, что результатом его «вояжа» могла бы быть книга, «которая во всяком случае была бы занимательна, если бы даже просто, без всяких претензий литературных, записывал только то, что увижу» («Литературное наследство», № 22—24, стр. 344).

Создавая книгу очерков о кругосветном плавании, Гончаров не собирался дать «систематическое описание путешествия». Он опускает целый ряд фактов, не освещает многие стороны деятельности экспедиции. Так, например, он не касается содержания дипломатических переговоров, которые вел Путятин в Японии и других странах (хотя сам был свидетелем и участником этих переговоров). В очерках Гончарова почти не отражена героика тяжелого морского похода (об опасностях его писатель рассказал позднее в очерке «Через двадцать лет», написанном в 1874 году). «Фрегат «Паллада» не подробное и последовательное описание плавания или изложение истории экспедиции, а художественное произведение, в котором наблюдения и впечатления писателя-путешественника художественно преображены и осмыслены под определенным углом зрения.

Наблюдая в начале своего путешествия жизнь капиталистической Англии, писатель сразу же задается вопросом: «Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?» Цель, «искомый результат путешествия», по его мнению,— сравнение своего и чужого. «Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа, или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в каких книгах не отыщешь». Знакомство с жизнью народов и государств, стоявших на разных ступенях экономического, социального, политического и культурного развития, действительно давало обильный материал для размышлений.

«Фрегат «Паллада» как по времени своего создания, так и по проблематике и тематике связан с трилогией, в особенности с романом «Обломов». Много лет спустя после путешествия, в письме к В. В. Стасову, Гончаров так рассказывает об истории написания своих романов: «Обломов» начат был в 1846 году, когда я сдал в редакцию «Современника» первый роман «Обыкновенную историю». Написав первую часть, я отложил ее в сторону и не касался продолжения до 1857 года. В промежуток этот я плавал вокруг света, возил и 1-ю часть «Обломова» с собой, но не писал, а обрабатывал в голове и параллельно обдумывал и другой роман, «Обрыв», план

которого родился у меня в 1849 году на Волге, где я провел лето» (И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 502).

Гончаров писал, что все его романы объединены «последовательною идеею — перехода от одной эпохи русской жизни... к другой» (там же, стр. 72). Действительно, в этих романах отразилась начинавшаяся ломка старого крепостнического уклада русской жизни, признаки перехода к новому, буржуазному строю. Антикрепостническое мировоззрение Гончарова — мировоззрение русского просветителя сороковых годов — позволило ему понять, что патриархальное бытие многочисленных обломовок неминуемо будет разрушено.

Хорошо зная русскую крепостническую действительность и улавливая, в сороковых—пятидесятых годах, возникновение в этой действительности новых явлений, Гончаров не мог не сравнивать начинающегося распада русской крепостнической системы с подобным же процессом перехода от феодализма к капитализму в других странах.

Этот переход имел всемирно-историческое значение. Эпоха 1789—1871 годов, «с великой французской революции до франко-прусской войны, есть эпоха подъема буржуазии, ее полной победы. Это восходящая линия буржуазии, эпоха буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности, эпоха быстрой ломки переживших себя феодально-абсолютистских учреждений» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 21, стр. 126).

Гончаров отразил как типично русские формы этого процесса (романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв»), так и некоторые его проявления в Европе, Африке, Азии («Фрегат «Паллада»).

Одно из наиболее существенных проявлений буржуазного развития — колониализм. Буржуазия развитых капиталистических государств подчиняла себе страны, экономически и социально отсталые. Она рассматривала колонии как источники сырья и рынки сбыта и не была заинтересована в самостоятельном их развитии. Поэтому, как правило, буржуазия метрополий объединялась с реакционной феодальной верхушкой зависимой страны в борьбе с национальными буржуазно-демократическими или народными движениями.

Ощущая сложность этих противоречий, Гончаров, естественно, не мог во всем объеме осознать их.

Когда он пишет о новой эпохе, идущей на смену феодализму, о прогрессе в экономической, социальной, политической областях, он рассматривает и оценивает явления прогресса с точки зрения своих просветительских взглядов. Он радуется тому, что в косную и застывшую атмосферу обломовок вторгается «цивилизация» — просвещение, гуманность, «комфорт» (под комфортом писатель разумел удовлетворение естественных, «указанных природой и разумом», «потребностей большинства, а не безумных прихотей немногих»). Цивилизация для Гончарова — это прежде всего многовековая европейская культура, которую он называет «всеобщей». Гончаров считает, что интенсивное развитие связей между странами, уничтожение феодальных перегородок, феодальной замкнутости и обособленности делают европейскую культуру достоянием всего мира, приводят к глубокому укоренению цивилизации в дотоле отсталых странах.

По его мнению, «цивилизация» в своем постепенном распространении захватывает и отсталые страны Азии и Африки, то есть приходит к ним извне, из Европы. «Все собственные источники исчерпаны, и жизнь похожа на однообразный, тихо, по капле, льющийся каскад, под журчание которого дремлется, а не живется»,— пишет он о народах Азии. Браминская Индия и языческий Египет «одряхлели, и надо было занять и им сил и жизни у других (то есть у европейцев.— *К. Т.*), как истощенному полю переменить посев». Писатель, как видим, недооценивает способность самих народов Азии и Африки встать на новый путь развития, уничтожить старые, косные общественные порядки. Одностороннее и чисто внешнее знакомство с некоторыми народами Азии мешало ему отбросить свои ошибочные представления на этот счет, которые сказались, например, в повествовании о Корее.

«Сингапур и Гонконг...— пишет Гончаров А. С. Норову в октябре 1853 года, два новые и живые создания силы воли и энергии англичан. Везде памятники неимоверных усилий, гигантских работ, везде цивилизация, торговля и комфорт, особенно торговля» («Русский архив», 1899, № 1, стр. 193—194). Через многие очерки проходит мысль об успехах торговли как важного средства распространения цивилизации. Как думает Гончаров, «купец», который становится предпринимателем, промышленником, плантатором, играет огромную роль в ликвидации крепостнического натурального хозяйства, в разрушении искусственных перегородок между разными странами, между частями земного шара.

Но уже с самого начала путешествия Гончаров обращает внимание на глубокое различие в положении господ-колонизаторов и бесправных подчиненных народов, на их вражду. По Капской колонии в Африке он путешествует, когда там идет Третья кафрская война, то есть война местных племен, называвшихся принятым тогда именем «кафры», с английскими колонизаторами, которые, захватив в 1806 году принадлежавшую ранее голландцам Капскую колонию и расширяя свои владения на юге Африки, оттесняли кафров на север. Гончарову кажется, что виновниками войны во многом являются сами кафры, которые не понимают выгод цивилизации. Писатель все же не может не отметить, что те местные жители, которые не сопротивляются колонизаторам, по-прежнему остаются их слугами, рабами. Он, однако, надеется, что со временем «черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии и цивилизации», ибо европейские «купцы» изменят методы колонизации, а народы колоний поймут ее благодетельность. Гончаров не понимает, что противоречие между зависимыми народами и капиталистами-колонизаторами имеет глубочайшие экономические и социальные корни, что лишь полное уничтожение колониализма может разрешить это противоречие.

По мере дальнейшего знакомства с жизнью народов Азии Гончаров более трезво судит о намерениях и методах колонизаторов. В первой главе «Фрегата «Паллада»,написанной позже, чем очерк «На мысе Доброй Надежды», он говорит о целых странах, гибнущих под английским управлением. В этой же главе рисуется сатирический образ буржуазного дельца. «Специализация», подчинение всей жизни «делу», стремление лишь к

«прямой цели», превращающееся в «животный инстинкт», так сказать, «машинальный» характер поступков — все это вызывает у автора «Фрегата «Паллада» глубокую антипатию.

Автор «Фрегата «Паллада» осуждает методы, с помощью которых колонизаторы подчиняют себе народы стран Африки и Азии, делают эти народы своими рабами. Ему отвратительно кулачное право — «фаустрехт», на котором держится власть колонизаторов. В главе «Русские в Японии» он так характеризует действия «по-английски»: «Выйти без спросу на берег и, когда станут не пускать, начать драку,потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну». Колонизаторы в изображении Гончарова — господа, относящиеся с высокомерным презрением и грубостью к бесправному местному населению (отношение англичан к китайцам—глава «Шанхай»). Недаром европейцы и американцы вызывают недоверие и враждебность в тех азиатских и африканских странах, которые стали объектом их колонизаторской активности (так, например, ликейцы бегут в страхе, завидев офицеров «Паллады», которые никак не могут понять почему они распространяют «чувство безотчетного ужаса»: оказывается, как иронически замечает Гончаров, что «люди Соединенных Штатов» уже взяли под свое «покровительство» эту «благословенную» страну — глава «Ликейские острова»).

Таким образом, Гончаров, как просветитель сороковых годов, принимает в буржуазном миропорядке то, что соответствует его идеалу «цивилизации» и «прогресса», и отвергает все то, что препятствует материальному, умственному и нравственному развитию — бесчеловечие эксплуататоров, роскошь и сопутствующую ей нищету. Хотя он и не делает со всей определенностью вывода о непримиримости интересов угнетенных и угнетателей, тем не менее изображение взаимоотношений колонизаторов и колониальных народов наводит читателя на эту мысль.

Особенно безотрадная картина деятельности европейской и американской буржуазии развернулась перед Гончаровым в Китае. Средством выкачивания из Китая огромных ценностей была опиумная торговля, подрывавшая экономику и финансы этой страны, приводившая к обнищанию крестьянства. Китайцы, писал об этом Гончаров, за опиум «отдают свой чай, шелк, металлы, лекарственные, красильные вещества, пот, кровь, энергию, ум, всю жизнь. Англичане и американцы хладнокровно берут все это, обращают в деньги...»

Гончаров отметил, что в феодальном Китае «между правительством и народом лежала бездна». Торговля опиумом обострила социальные противоречия до предела. Правившая в Китае династия Цин не могла, да и не хотела противостоять контрабандной торговле опиумом, приносившей колоссальный доход английским капиталистам, от которых в виде внушительных взяток перепадало и китайским властям. «Ввоз опиума и прогнившее господство маньчжурской династии Цин были двумя сторонами одной медали». «Бесстыдство господствующих классов Китая достигло крайней степени, и, как полагал народ, придворная клика вполне заслуживала изгнания из страны» (Фань Вэнь-лань, Новая история Китая, М. 1955, т. I, стр. 25, 30).

В Китае в середине XIX века враждебность интересов народных масс

зависимой страны и колонизаторов, объединившихся с правящей феодальной верхушкой, привела к Великой крестьянской войне (так называемое восстание «тайпинов»). Это было национально-освободительное, антифеодальное движение.

Китайское крестьянство восстало против феодальных привилегий, во имя равенства. Идея равенства приняла у тайпинов форму своеобразного религиозного учения, использовавшего положения христианства. Это учение было создано одним из руководителей восстания — Хун Сю-цюанем. Восставшие образовали свое государство — Тайпин тяньго (Небесное государство великого благоденствия), во главе которого стал Хун Сю-цюань, наделенный титулом «Тайпин Тянь-ван», то есть «Небесный государь тайпинов» (у Гончарова — Тайпин-ван). Часть восставших тайпинов (так называемое общество «Триада») боролась под лозунгом уничтожения маньчжурской династии Цин и восстановления китайской династии Мин, правившей до 1644 года.

В Шанхае восстание вспыхнуло в сентябре 1853 года, то есть незадолго до посещения его Гончаровым, который наблюдал борьбу между сторонниками тайпинов и войсками Цинской династии. Гончаров отмечал, что поддерживаемые населением «инсургенты» (повстанцы) чувствуют себя гораздо увереннней, чем «империалисты» (сторонники Цинской династии) и что восстание в Шанхае — лишь эпизод движения, охватившего весь Китай (во «Фрегате «Паллада» упоминается о связи шанхайских «инсургентов» с Нанкином — столицей тайпинского государства). Гончаров одним из первых европейцев писал о «тайпинах», пытался оценить и понять восстание. Однако глубина и серьезность тайпинского движения, его решающее влияние на судьбы китайского общества остались ему неясны. Шанхайские повстанцы в оценке автора «Фрегата «Паллада» — всего лишь «толпа бродяг и оборванцев», а армия «империалистов» — «куча сволочи без дисциплины, скорей разбойники, нежели войска».

Гончаров не был революционным просветителем. Свойственное ему представление о характере развития общества мешает ему понять смысл и значение широких народных выступлений против феодализма. Он с большим вниманием следит за тем новым, что появляется в странах Азии. В этом отношении особый интерес представляют главы «Русские в Японии». Гончаров подмечает, что многие японцы уже думают о необходимости перемен, освобождения от пут феодализма, чувствуют «потребность чего-то лучшего против окружающего». Эти люди,— как это совершенно ясно писателю,— «будущность Японии». Но Гончаров — противник революционных методов борьбы с крепостничеством, он полагает, что старое, отживающее уйдет само, без сопротивления, а новое упрочится «без насилия, боя и крови» (И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, стр. 89).

Гончаров остается верен себе и в той части «Фрегата «Паллада», которая посвящена путешествию по Сибири.

С большим уважением пишет он о русских людях, отдающих свои силы освоению Сибири, этого «печального, пустынного и сурового края», таких, как отставной матрос переселенец Сорокин или потомок отважного русского «землепроходца», первого исследователя Камчатки казака В. В. Атласова (ум. в 1811 г.), и многих других безвестных героях, участниках

и двигателях «химически-исторического процесса» приобщения Сибири к просвещению и цивилизации. «И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание...» «А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом...»

В главе «Из Якутска» Гончаров возражает русскому путешественнику М. М. Геденштрому (ок. 1780—1845 гг.), автору книги «Отрывки о Сибири», по мнению которого, просвещение для «жителей пустыни» вредно, ибо приносит с собой многообразные пороки. Для автора «Фрегата «Паллада» такая точка зрения совершенно неприемлема. Геденштром «берет пороки образованного общества, как будто неотъемлемую принадлежность просвещения, как будто и самое просвещение имеет недостатки: тщеславие, корысть, тонкий обман и т. п. Кажется, смешно и уверять, что эти пороки только обличают в человеческом обществе еще недостаток просвещения». Просвещение, по мнению Гончарова, совершенно необходимо для отсталых народностей Сибири, таких, как якуты, тунгусы и др. Правда, и в этом случае сказывается свойственное Гончарову ошибочное представление об отсталых народностях. Он смотрит на них как на «детей», увлекающихся «заманчивостью блеска и чувственных удовольствий» и потому нуждающихся в постоянной опеке со стороны «просвещенной» русской администрации и русского духовенства. В действительности царские чиновники, миссионеры и купцы отнюдь не заботились в массе своей о просвещении якутов и тунгусов.

В объяснении от автора, предпосланном первой появившейся в «Отечественных записках» статье «Ликейские острова», Гончаров замечает, что во время путешествия он вел дневник «и по временам посылал его в виде писем к приятелям в Россию, а чего не послал, то намеревался прочесть в кругу их сам, чтоб избежать изустных с их стороны вопросов о том, где он был, что видел, делал и т. п.» («Отечественные записки», 1855, № 4, стр. 239). (Многие из этих действительно посланных писем сохранились и опубликованы в «Литературном наследстве», № 22—24. Изучение их позволяет понять творческую историю путевых очерков Гончарова.) Кроме того, Гончаров вел во время плавания так называемый «журнал», который, к сожалению, не сохранился, и неизвестно, насколько записи в нем использованы писателем для «Фрегата «Паллада».

Уже во время путешествия Гончаров придает своим запискам вид, пригодный для печати. В письме от 14/26 марта 1854 года он говорит: «Пробовал заниматься, и, к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками, мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова, все это записано у меня, и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас («Литературное наследство», № 22—24, стр. 407).

В процессе работы постепенно выясняются содержание и форма путевых очерков. Писатель прочитывает множество книг, изучает как русскую, так и зарубежную литературу «путешествий». Он пытается найти ответ на

волновавший его вопрос: «Как и что рассказывать и описывать», «чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения»? Литературный жанр «путешествия», собственно, не имеет никаких канонов: «Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат». Впрочем, жанр «путешествия» и не мог попасть под «ферулу риторики», ибо он развивается главным образом с конца XVIII века, когда литературные каноны, устанавливавшиеся классицистическими риториками, были разрушены напором новых литературных явлений. Русские сентименталисты, начиная с Карамзина («Письма русского путешественника»), создают огромное количество произведений в новом жанре «путешествия», весьма различных по своей идейной направленности. Этот жанр разрабатывают романтики и реалисты. А. А. Бестужев пишет «Поездку в Ревель», Пушкин — «Путешествие в Арзрум», не говоря уже о произведениях менее значительных писателей (например, упоминаемые во «Фрегате «Паллада» «Письма об Испании» В. П. Боткина, опубликованные в журнале «Современник» в 1845 году).

Помимо произведений, имеющих прежде всего художественное значение, появляются и более специальные «путешествия», хорошо известные Гончарову (например, «Записки Головнина», «Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Сенявин» в 1826—1829 годах» Ф.П. Литке, «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю» Ф. П. Врангеля, «Поездка в Якутск» Щукина и др.).

Начиная с конца XVIII века переводятся на русский язык многочисленные произведения в жанре «путешествия» западноевропейских писателей. В № 1 за 1791 год «Московского журнала» Карамзина появляется упоминаемое Гончаровым в его путевых очерках «Путешествие в Африку» Вальяна (1783—1824). В начале сороковых годов переводится книга Жака Араго «Путешествие вокруг света» (об этой книге Гончаров также пишет во «Фрегате «Паллада») и многие другие.

Кроме того, писателю были известны многие «ученые» географические и этнографические сочинения, как на русском, так и на французском, немецком и английском языках. Он упоминает в своих путевых очерках специальные исследования Н. Я. Бичурина (о. Иакинфа, 1777—1853) — крупного ученого-востоковеда, проведшего четырнадцать лет в Китае; И. Е. Вениаминова (о. Иннокентия, 1797—1879) — этнографа, много сделавшего в изучении народов Дальнего Востока; сочинения английского путешественника Эдварда Бельчера (1799—1877) о совершенном им кругосветном плавании; шведского врача, естествоиспытателя и путешественника Карла Петера Тунберга (1743—1824) о путешествии по Европе, Африке и Азии; американского исследователя островов Тихого океана Чарльза Вилькса (1798—1877), немецкого врача и путешественника, жившего в Японии, Энгельберта Кемпфера (1651—1716), немецкого врача Филиппа-Франца Зибольда (1796—1866), английского мореплавателя и писателя Базиля Галля (1788—1844) о путешествии в Корею и на Ликейские острова; английского мореплавателя Броутона об исследовании северной части Тихого океана; великого немецкого естествоиспытателя, ученого, путешественника Александра Гумбольдта (1769—1859) и другие.

Гончаров был совершенно прав, когда писал, что все эти произведе-

ния не подходят под единую мерку, что между ними очень мало общего (кроме того, что все они так или иначе — «путешествия»).

Сам писатель ориентируется на такой жанр, который имеет художественное значение, отказываясь написать что-либо «ученое». Он ставит перед собой задачу: передать читателю в «пестрой» панораме непосредственные наблюдения, размышления о виденном, которые возникают у русского путешественника, бегло знакомящегося с неизвестной ему жизнью. Жанр путевого дневника, составленного из писем к друзьям, позволял сделать читателя как бы участником путешествия, который чувствует и размышляет вместе с рассказчиком, дать читателю наглядное, почти зримое представление о чуждой и далекой действительности. Это литературное задание в то же время полностью соответствовало особенностям таланта Гончарова. Белинский причислял Гончарова к поэтам-художникам, сущность таланта которых он определил так: «Схватить данный предмет во всей истине, заставить его, так сказать, дышать жизнию...» Действительно, Гончарову в высшей степени свойственно умение «схватить», закрепить с помощью слова в художественном образе движущуюся жизнь с ее пестротой, разнохарактерностью и разноголосицей. Писатель и стремится в своей книге о кругосветном плавании к тому, чтобы передать «дыхание жизни», то есть то, чего «не смог никто записать на карте», что не покоряется «никаким выкладкам и цифрам», как говорит он в главе «Плавание в Атлантических тропиках». Эту особенность «Фрегата «Паллада» подметил Д. И. Писарев, когда писал, что в очерках Гончарова «мало научных данных, в них нет новых исследований, нет даже подробного описания земель и городов, которые видел г. Гончаров; вместо всего этого читатель находит ряд картин, набросанных смелою кистью, поражающих своею свежестью, законченностью, оригинальностью» (Д. И. Писарев, Сочинения, СПб. 1904, стр. 29—32).

Говоря о Гоголе, Белинский заметил, что тот обладает «субъективностью», «которая не допускает его с апатическим равнодушием быть чуждым миру, им рисуемому, но заставляет его проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу...» Такая субъективность в полной мере присуща и Гончарову. Он мог изображать наглядно лишь то, что заинтересовало или взволновало его, всколыхнуло его воображение, в чем он почувствовал красоту и поэзию. Недаром он так часто пишет о единстве природы и души человеческой, о том, как «широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений», которыми дарит природа. Сама природа олицетворяется, оживляется, так сказать очеловечивается, в воображении возникают красочные поэтические образы: «Все кажется, что среди тишины зреет в природе дума, огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно, внезапный, тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос; все кажется, что среди тишины и живой, теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос». Эти яркие картины, смелые образы, приподнятость тона напоминают художественные средства романтиков, но у Гончарова они свободны от постоянной напряженности, сложной и искусственной вычурности, свойственной, например, стилю такого видного писателя-романтика, как А. А. Бестужев-Марлинский.

Используя лучшие достижения романтиков в области словесной выразительности и изобразительности, Гончаров в целом противопоставляет свои творческие принципы романтической эстетике. «Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы — не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите». Эту мысль писатель развивает в главе «Плавание в Атлантических тропиках», имеющей форму письма к поэту-романтику В. Г. Бенедиктову. Эта глава имеет важное принципиальное значение, так как в ней Гончаров высказывает свои эстетические принципы, формулирует свою эстетическую программу. Через все очерки проходит полемика с романтической традицией в изображении моря, морских приключений, романтики путешествий. Принять такую традицию, по мысли Гончарова, мог только тот, «кто не бывал на море». В этой связи интересна оценка автором «Фрегата «Паллада» «старых романов Купера и Мариета о море и моряках», его знаменитая тирада против поэтизирования устаревшего парусного флота, в защиту пароходов. «Поэзия изменила свою священную красоту»,—пишет Гончаров, обращаясь к своим петербургским друзьям, поэтам А. Н. Майкову и В. Г. Бенедиктову. Романтики не сумели найти поэзию в обыкновенном. Поэтому никто из них не мог бы сказать о русской природе так, как говорится о ней во «Фрегате «Паллада»: «Я вспомнил косвенные, бледные лучи, потухающие на березах и осинах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный свет заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека — мне вдруг захотелось туда, где холоднее...»

Вернувшись в Петербург, Гончаров приступает к публикации отдельных глав своих путевых очерков в журналах. Первым был напечатан очерк «Ликейские острова» в 1855 году в четвертой книжке «Отечественных записок». В течение 1855 года появляются: «Атлантический океан и о. Мадера» («Отечественные записки», № 5), «Заметки на пути от Манилы до берегов Сибири» («Морской сборник», № 5, отд. 1-й), «Из Якутска» («Морской сборник», № 6), «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов», части I, II, III («Морской сборник», № 9—11). Часть вторая, называвшаяся в журнале «От Нагасаки до Шанхая», в отдельном издании «Фрегата «Паллада» была выделена в самостоятельную главу под названием «Шанхай», «От мыса Доброй Надежды до Явы» («Современник», № 10), «Манила» («Отечественные записки», № 10). «Русские в Японии» вышли в 1855 году отдельной книжкой. В течение 1856 года: «Острова Бонин-Сима» («Современник», № 2), «Сингапур» («Отечественные записки», № 3), «На мысе Доброй Надежды» («Морской сборник», июньский и июльский номера), «От Кронштадта до мыса Лизарда» («Русский вестник», т. 6). В 1857 году публикуются два очерка: «Аян. Заметки из памятной книжки на сибирских станциях» («Библиотека для чтения», март) и «Плавание в Атлантических тропиках» («Русский вестник», т. 9). Первое отдельное издание «Фрегата «Паллада» вышло в 1858 году. В издании 1879 года в состав «Фрегата «Паллада» был включен очерк «Через двадцать лет» (впервые опубликованный

в сборнике «Складчина», СПб. 1874 — под названием «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании»).

Среди русских читателей — современников Гончарова — «Фрегат «Паллада» пользовался большой популярностью. Об этом свидетельствуют шесть изданий книги при жизни автора. Сам Гончаров говорил о «постоянном внимании публики к его очеркам».

Большой интерес представляют путевые очерки Гончарова и для современного читателя, который найдет в них произведение значительной художественной и познавательной ценности, своеобразный документ русской общественной мысли середины XIX века, дополняющий знаменитую гончаровскую трилогию.

К. Тюнькин

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФРЕГАТ «ПАЛЛАДА»

Том второй

I

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

В конце 1853 и в начале 1854 годов

II

ШАНХАЙ

VI

ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

VII

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

VIII

ИЗ ЯКУТСКА

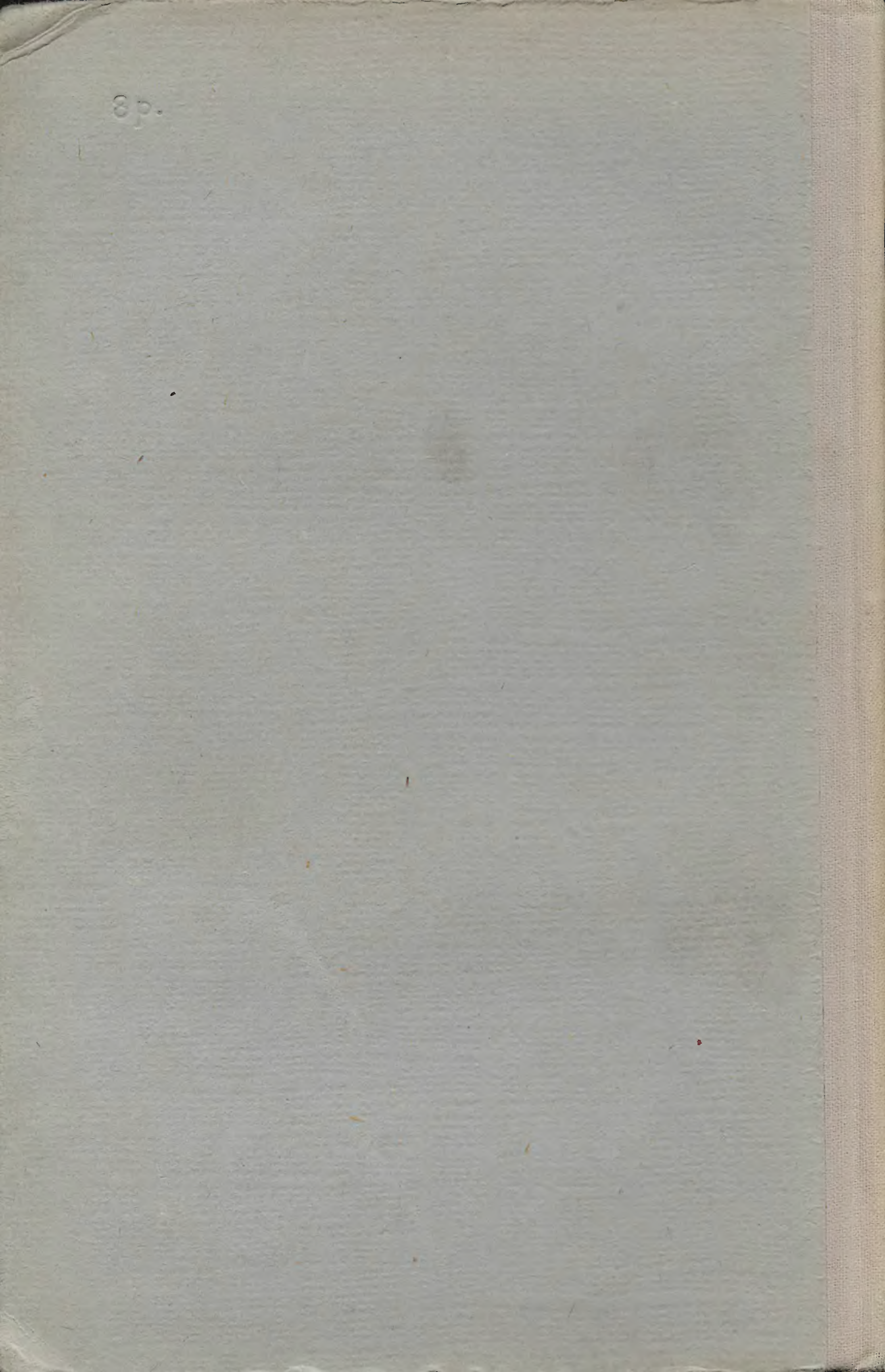
Иван Александрович Гончаров

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ 3

Редактор М. Блинчевская.
Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор В. Овсеенко
Корректоры К. Полетика и А. Юрьева

Сдано в набор 1/VI 1959 г. Подписано в печать 12/VIII 1959 г.
Бумага 60×92[1]/[16]. —24 печ. л. 24,71 уч. -изд. л.
Тираж 250 000 экз. Заказ № 3175. Цена 8 р.
Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского, городского Совнархоза.
Москва, Ж-54. Валовая, 28


8p.